ISSN 0012-6756

ДРУЖБА НАРОДОВ

ДРУЖБА НАРОДОВ 10/2011

10’2011

Наум Басовский
Во все стороны взгляда
Стихи

Владимир Шпаков
Смешанный brak
Роман

Максим Кронгауз
Кто отвечает за русский язык

Эмиль Паин
Иранская или турецкая?

Владимир Огнев
Каменная книга, или
Посрамление Дон Кихота
Фрагменты из книги

ДРУЖБА НАРОДОВ

Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал

10'2011

Учредитель — трудовой коллектив редакции «ДН»

Основан
в марте 1939 года

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Наум БАСОВСКИЙ. Во все стороны взгляда. *Стихи* **3**
Владимир ШПАКОВ. Смешанный brak. *Роман* **7**
Анаит ТАТЕВОСЯН. Игра в города. *Стихи* **70**
Глеб ШУЛЬПЯКОВ. Случай в Стамбуле. *Стихи* **73**
Слава СЕРГЕЕВ. Вечера на хуторе близ экватора. *Повесть* **75**
Наталья ПОЛЯКОВА. Сортировочная Москва. *Стихи* **122**
Иван НАУМОВ. Сан Конг. *Повесть* **125**
Елена КРЮКОВА. Краденая помада. *Рассказ* **143**

Публицистика

Максим КРОНГАУЗ. Кто отвечает за русский язык **154**

Нация и мир

Эмиль ПАИН. Иранская или турецкая? *Сравнительный анализ моделей и социальных условий управляемой модернизации* **162**

Почва и судьба

Владимир ОГНЕВ. Каменная книга, или Посрамление Дон Кихота. *Фрагменты из книги* **175**

Критика

Ольга ЛЕБЁДУШКИНА. «ФРАМ» и окрестности.
Пять комментариев к Максу Фраю **197**
Владимир ХОЛКИН. Странствие по внутреннему морю.
Разрозненные заметки об одном странном романе и не только о нем **206**

Эхо

Над крестами и полумесяцами. *Рубрику ведет Лев Аннинский* **215**

Summary **224**

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ И

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ **(МФГС)**

Главный редактор
Александр ЭБАНОИДЗЕ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Лев АННИНСКИЙ, Леонид БАХНОВ, Наталья ИГРУНОВА, Галина КЛИМОВА, Владимир МЕДВЕДЕВ, Фарит НАГИМОВ (заместитель главного редактора)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Рамазан АБДУЛАТИПОВ, Вячеслав АР-СЕРГИ, Сухбат АФЛАТУНИ, Муса АХМАДОВ, Резо ГАБРИАДЗЕ, Алла ГЕРБЕР, Денис ГУЦКО, Иван ДЗЮБА, Валерий ИСХАКОВ, Александр КЛЯЧИН, Валентин КУРБАТОВ, Ольга ЛЕБЁДУШКИНА, Давид МУРАДЯН, Захар ПРИЛЕПИН, Кнут СКУЕНИЕКС, Валери ТУРГАЙ, Сергей ФИЛАТОВ, ЭЛЬЧИН, Леонид ЮЗЕФОВИЧ

© «Дружба народов», 2011

Наум Басовский

Во все стороны взгляда

Садовник

Карлу Штивельману

1.

...возле теплицы садовника Мамулашвили...

Александр Големба

В теплице садовника Мамулашвили
растут гиацинты, фиалки, левкои.
Бутоны такого высокого стиля
способны украсить любые покои.

К нему не идут за обычным букетом —
к нему обращаются *в случае* только:
в цветочном искусстве слывет он поэтом,
цвета и оттенки рифмующим тонко.

— Батоно Давид, вы меня не забыли?
— Батоно Давид, вы готовы ручаться?..
В теплице садовника Мамулашвили
клиенты бывают не так уж и часто.

Случается за день не больше десятка,
и тысяча за год едва ль наберется.
Все прочее время — поливка, посадка,
прополка, доставка воды из колодца.

А надо еще поспевать за наукой,
а надо еще порадеть о рекламе,
и все это вовсе не кажется мукой
и вовсе не гасит негромкое пламя.

И если события жизни вас били,
и если хотите в тиши помолиться,
зайдите к садовнику Мамулашвили,
и домом покажется эта теплица.

Басовский Наум — поэт. Родился в 1937 г. в Киеве. Окончил Киевский педагогический институт и Московский институт радиотехники, электроники и автоматики. С 1962 г. жил в Москве, работал в области технической акустики. С 1992 г. живет в Израиле. Автор 9 сборников стихов, в т.ч. последние — «Возвращается эхо» (Иерусалим, 2009), «Контрапункт. Двадцать три поэмы» (Иерусалим, 2010). Дважды лауреат поэтического фестиваля памяти Ури-Цви Гринберга (2004, 2006).

2.

Он проходит по горным отрогам,
отдаваясь любимому делу.
Он храним от опасностей Богом,
ибо ищет цветок саповнелу.

Тот цветок никогда не видали,
и другое известие — ложно;
даже имя особое дали —
саповнела: найти невозможно.

Но садовника старое тело
не скулит и не просит пощады.
Нет в саду у него саповнелы —
он мечтает, превыше награды,

посадить, и взрастить, и размножить,
чтобы те, кто не верили в чудо,
огорченно ворчали: — О Боже,
восхищенно кричали: — Откуда?

Год проходит, и пять, и десяток,
иногда лишь досада заденет:
у других и покой, и достаток,
у него ни покоя, ни денег.

Но на рынке вчера говорили,
и в духане молва прозвенела —
у садовника Мамулашвили
прорастает своя саповнела...

* * *

Бледно-синий простор во все стороны взгляда —
может, это как раз мне сегодня и надо:
это взгляд одного посреди океана,
и его обрести лучше поздно, чем рано.

Если рано понять, что меня ожидает —
что всегда человек одинок и страдает, —
можно воли лишиться и радости тоже,
лишь потери и зло скрупулезно итожа.

А того не понять даже в поздние годы —
значит, попросту жить по закону природы,
и не думать о том, для чего я на свете,
и не вкладывать душу в сомнения эти.

Но когда в некий день осознаю под старость,
сколько там, за спиной, и как мало осталось,
дарит мне ощущенье спокойного лада
бледно-синий простор во все стороны взгляда.

* * *

Смеется солнце, глаз притворно хмуря,
и, двигая тончайший карандаш,
на задней стенке в камере-обскуре
рисует перевернутый пейзаж.

Всего-то дел: фотопластинка, ящик,
в передней стенке крохотный прокол —
и ты владеешь чем-то настоящим,
что прямиком от солнца произвел.

Не нужно дорогого объектива,
не нужно хитроумного замка:
картинка многоцветна и красива,
ну разве что немного нерезка.

Она такой естественностью дышит,
такой на ней доподлинности знак —
не всякий живописец так напишет,
не всякий фотомастер снимет так.

Пусть от тебя не многое зависит,
но ты за это многое отдашь —
тот миг поймать, когда в небесной выси
задвижется тончайший карандаш.

Памяти Сигизмунда Кржижановского

1.

В комнатке-пеналике кушетка,
колченогий стол и табурет;
на стене большая птичья клетка;
ни на что другое места нет.

Человек живет писанья ради
на голодной горестной земле.
В клетке той не птицы, а тетради —
экономят место на столе.

Быт, еда, одежда — как вериги:
тяжелы, а никуда без них.
Человек вынашивает книги.
Он родился ради этих книг.

Потому-то место для тетрадок —
птичья клетка — выбрано с умом:
в рукописях должен быть порядок
вне заботы о себе самом.

Нужно с пряжей честно потрудиться,
а к печати приведет ли нить —
это как судьба распорядится;
нам бы написать да сохранить.

Десять лет и десять раз по десять —
все равно; пока любовь со мной,
я пишу, на Господа надеясь,
доверяюсь только ей одной.

2.

Как будто за форточкой мутной
в окне от земли на полметра,
я вижу лицо Сигизмунда,
покрытое бледностью смертной.

Но взгляд проницательно-мудрый
не тронут ни болью, ни снами:
я вижу лицо Сигизмунда,
как будто не век между нами.

Не мастер, а попросту гений
единства углов и овалов
не знал возносящих мгновений —
ни славы не знал, ни провалов.

Не взвесить судьбу на безмене —
там поровну слева и справа, —
а он угодил в безвременье,
в эпоху, где кончилось право.

Но перышко все же скрипело,
живя в пустоте нежилого,
и слово шептало и пело,
смеялось и плакало слово!

И шествует глория мунди,
пронзив безвременье сегодня.
Я вижу лицо Сигизмунда
и думаю: чудо Господне.

Видение

...А предположим, что ошибся рок —
«Титаник» разминулся с катастрофой
и, попрощавшись вежливо с Европой,
пошел по курсу и пришел в Нью-Йорк.

А чтобы от реалий не уйти,
случилось это не в прошедшем веке,
а в наши дни: не так сильны помехи
и более нахожены пути.

Приходит время, и обратный рейс,
и за кормою статуя Свободы.
Нос режет атлантические воды,
и волны тут же заживляют рез.

Могучая громада корабля
морскую зыбь утюжит неустанно,
и штурман сообщает капитану:
- Согласно карте быть должна земля —

но нет ее! Но нет ее для глаз,
для линз бинокля, даже для радара,
как будто континент Европы старой
сознательно обманывает нас!

Там, впереди, не только нет земли —
умолкли даже радиосигналы,
как будто города и терминалы
все в одночасье под воду ушли.

Надеюсь, капитан, я не дурак
и попусту не поднимал бы шума,
но древний ужас побуждает думать,
что там, в Европе, все случилось так...

. . . . . .

Идет «Титаник». Встречные суда
исчезли все, и тишина в эфире,
и мертвенный покой в подлунном мире,
и по бортам спокойная вода.

Молчат конторы европейских стран —
там, видно, нет ни гавани, ни пирса, —
и штурман до беспамятства напился,
и поседел за вахту капитан.

А в Штатах на устах у всех одно,
в ушах и в перехваченных гортанях:
неведомо куда уплыл «Титаник»,
а целый континент ушел на дно!..

Владимир Шпаков

Смешанный brak

Роман

1. Drang nach Osten

Этот тип с фотокамерой расхаживает перед домом со скучающим видом, похоже, не очень верит в успех. Иногда он направляет объектив на окна в третьем этаже, выжидает паузу и делает снимок. Пауза означает: в глубине души папарацци все же надеется, что плотные коричневые шторы, закрывающие окна наглухо, хотя бы чуть-чуть сдвинутся и кадр оживится, сразу повысив свою ценность в глазах редактора. Но шторы неподвижны, как и кроны лип, протянувшихся вдоль пустынной улицы. Странный какой-то штиль: ни ветерка; и людей совершенно не видно, и булочная на первом этаже закрыта — в общем, совершенно мертвенный пейзаж. Репортер приближается к витрине, чтобы застыть на минуту перед румяными штруделями, что нарисованы на огромных кусках картона и призваны пробуждать аппетит покупателей. Папарацци поглаживает живот, видно, начинающий бурчать, потом смотрит на часы. До открытия булочной еще далеко, и он со вздохом (вздох заметен даже издали) достает жвачку и заталкивает ее в рот. Из его рта наверняка неприятно пахнет, потому что ночь он провел где-нибудь в ночном клубе, где беспорядочно пил, снимая одуревшую от музыки молодежь, и дыхание под утро сделалось смрадным, будто ел продукты с помойки.

Дом похож на склеп: темно-серый, мрачный, с малым количеством окон по фасаду, он хорошо смотрелся бы на каком-нибудь старом итальянском кладбище. На нашем кладбище склепов нет, но в католических странах, я знаю, любят монументальность в местах захоронений, и дом, выходящий углом на перекресток, был бы там уместен. Надо только булочную убрать: слишком радостная вывеска. Здесь не нужны неоновая реклама и пышные штрудели в витринах: строгость, аскетизм и приглушенные тона — вот что подошло бы кладбищу.

Один из обитателей дома тоже был бы уместен на католическом кладбище, он ведь католик по воспитанию. К тому же он не живет в доме в полном смысле слова, можно сказать, он заживо похоронен там. Из-за чего человек с камерой, лениво устремляющий объектив на зашторенные окна, кажется извращенцем, некрофилом, желающим достать из склепа труп и подвергнуть его вскрытию. Или он шакал, опоздавший к пиршеству таких же трупоедов? Да, это будет правильнее — шакал, койот, гриф без крыльев, зато с зеркальной фотокамерой, снабженной к тому же телеобъективом. Шакал опять переходит улицу, чтобы лучше видеть окна, и делает очередной щелк. На снимке (камера-то хорошая!) будет заметна пыль на стеклах; и уж наверняка там будет запечатлен кусок фанеры, прикрывающий частично разбитое левое окно. Светлая фанера на фоне серых штор выделяется, напоминая о днях, когда

Владимир Шпаков — прозаик, эссеист, критик, постоянный автор «ДН». Последняя крупная публикация в нашем журнале — роман «Счастливый Феликс» (№ 9—10, 2009).

шакалы с грифами кружили здесь целыми стаями. Тогда и телекамеры появлялись, и люди с микрофонами — потому что сенсация, хоть и мрачноватого толка. Теперь новость поблекла, покрылась такой же пылью, как и окна в третьем этаже, только вот этот, опоздавший, трется возле дома без надежды на успех.

Фанера появилась после того, как местные наци швырнули в окно камень. Говорили, швырнули прямо на глазах полицейских, которые демонстративно отвернулись, мол, ничего не видим, ничего не знаем. Наци, конечно, не шакалы, это волки, но, когда требовалось, власть легко с ними справлялась. Только в тот раз справляться, похоже, не хотелось. Город тогда разделился во мнениях насчет человека, который похоронен за массивными шторами, а в те дни сам занимался похоронами. И хотя старался делать это втайне, все быстро узнали новость, отреагировав поразному. Кто-то был готов швырнуть камень в окно или передоверить «священную месть» бритоголовым ублюдкам; другие, напротив, сочувствовали. Ну и, конечно, свое слово сказали СМИ: писали и pro, и contra, причем не только в городских, но и в центральных газетах.

Странно: папарацци меня не замечает. Наверное, причина в моем камуфляжном армейском костюме. Зеленоватый с примесью хаки, цвет костюма неброcок, даже в черте города одетый так человек скрыт от любопытных глаз, он сливается со стенами домов, стволами лип, а если учесть, что я как раз прислонился к стволу, то обнаружить меня довольно трудно. Ствол шершавый, теплый, к нему приятно прислоняться, и если бы не фотограф-некрофил, я бы так и стоял, слушая легкий шелест кроны (совсем легкий, поскольку штиль) и вдыхая утренний воздух, еще не загаженный выхлопами авто, прозрачный и напоенный кислородом. Только к черту кислород, он мне в легкие не лезет, потому что на окна опять направляют объектив.

Я приближаюсь сзади, бесшумно и стремительно, словно участник полицейских спецподразделений, что борются с террористами. Хоп! Камера у меня в руках, я отхожу и прячу аппарат за спину.

— Эй, ты что делаешь?! — Папарацци, видно, в шоке. — Отдай!

Отступив на несколько шагов, поднимаю камеру над головой.

— Если ты подойдешь, я ее разобью. И тебе нечем будет фотографировать.

Решительно ко мне было направившись, репортер застывает.

— Как это — разобьешь?!

— Очень просто — об асфальт. После чего тебя уволят с работы, потому что новую камеру ты купишь не скоро. Сколько такая стоит? Тысячу евро? Или две?

Он с удовольствием призвал бы на помощь полицейского, но улица пустынна, потому что шесть утра, выходной день, центурионы не спешат патрулировать безлюдные кварталы, и я спокойно могу уронить дорогое техническое устройство на асфальт. А потом наступить на него армейским ботинком с массивным подкованным каблуком. Кроме формы, у меня еще и ботинки соответствующие (я собрался в долгий путь!), и если таким каблуком придавить камеру, объектив треснет, как куриное яйцо.

— Слушай, ты кто такой?

Папарацци с подозрением меня оглядывает, видно, форма сбивает с толку. Вроде не полицейский, не солдат бундесвера, но что-то военное (а военный — всегда сила!) в моем облике проглядывает.

— Я тот, кто должен тебя прогнать. Ты уйдешь отсюда?

— Зачем уходить?! — искренне недоумевает он. — Разве я кому-то мешаю?

— Мне мешаешь. Я хочу стоять на этой улице один.

— Ах, вот как… Ладно, уйду. Только отдай камеру, она действительно дорогая. И куплена, между прочим, в кредит.

Засунув аппарат в чехол, репортер еще раз внимательно ко мне приглядывается. И уже с другой стороны улицы кричит:

— Я тебя узнал! Ты его брат! Ты работаешь в «Городской газете»!

— Уже не работаю, — отвечаю я. — Уволился. Я уезжаю.

Человек, живущий (надеюсь, все-таки живущий) за разбитым окном и плотными серыми шторами, действительно мой старший брат Франц. Точнее, мой сводный брат: у нас разные отцы; и фамилии разные, так что не многие знают про наше

родство, разве кое-кто из пронырливой газетной братии. И мой визит к дому утром воскресного дня говорит о том, что паблисити мне по-прежнему не нужно.

Если честно, я даже не знаю, жив мой сводный брат или нет. Последний раз я видел его, точнее, снимок с его изображением, несколько недель назад. Изможденный небритый человек выходил из булочной, держа в руке пакет с едой, а другой рукой закрывал лицо от объектива очередного папарацци. Но глаза, полные усталости, погасшие, все равно попали в кадр, и, скажу я вам, человек с такими глазами способен на многое. Не буду брать в расчет его католическое воспитание, это детство, покончить с жизнью оно не мешает. Как покончить? Желательно не популярным в кинематографе способом: ванна, окрашенная красным вода и бритва на полу, выпавшая из безвольной руки. И не сованием головы в петлю, потому что глаза вылезают из орбит, язык вываливается, а лицо синеет... Бр-р! По мне, так лучше всего голодовка, отказ от пищи, в итоге угасаешь достойно, все материальное из тебя постепенно уходит, ты вроде как мумифицируешься заживо.

Стоп, стоп! Что значит: «лучше»? Лучше, чтобы сводный брат был жив и здоров и отодвинул штору вначале чуть-чуть, а потом, увидев меня, на ширину окна. Чтобы убрал фанеру, открыл створку и, высунувшись по пояс наружу, на всю улицу прокричал:

— Курт, привет! Заходи!

Он всегда кричал громко, вообще был громким, шумным, заметным — совершенно не германский темперамент, скорее, романский. Он ведь был наполовину француз — по отцу, они же у нас разные. Так вот, он кричит, а я со стеснением оглядываю окна, в которых появляются возмущенные физиономии фрау, проживающих по соседству. Стеснения добавляло то, что я заходил редко, слишком уж мы различались, по возрасту в том числе. То есть это я так считал, а Франц плевать хотел на разницу в возрасте и на мой стеснительный характер. Каждый раз у него были новые увлечения: марки, диски с рок-н-роллом, и все время то друзья в гостях, то девушки. Девушек, надо сказать, я боялся больше всего, особенно тех, кто пьет пиво. Они и меня угощали, после чего подсаживались и начинали расспрашивать о школьных подругах. При этом они переглядывались, хихикали, будто ждали, что я сболтну что-то личное, даже непристойное, выдам тайну. Я же не выдавал тайну (да ее и не было), только удушливо краснел, пряча лицо в очередном альбоме Scorpions...

Если бы Франц выглянул минуту назад, он бы, наверное, оценил мое поведение. В сцене с папарацци я был немножко братом, это его стиль — неожиданный, дерзкий, парадоксальный. Но Франц не выглянул; и минуту спустя не выглянул, и десять минут спустя — тоже. Так что пора отсюда уходить. Я бросаю прощальный взгляд на серые шторы, и вдруг горло перехватывает. Кислорода, которым полна утренняя улица, почти нет, я задыхаюсь от боли и отчаяния, кажется, я сам готов умереть...

Я знаю, что увезу это воспоминание туда, где не раз бывал сводный брат и где я не был ни разу. Воспоминание займет совсем немного места в моем походном рюкзаке, но будет самым тяжелым грузом. Что еще будет в рюкзаке? Две рубашки защитного цвета; еще одни армейские брюки; пять пар носков, три пары белья, шерстяной свитер, полиэтиленовый дождевик с капюшоном, спальный мешок, фонарик, блокнот, портативный компьютер и, конечно, карты. Без подробных карт мое путешествие немыслимо, хотя, если честно, оно и с картами немыслимо. Поэтому где-то в углу рюкзака будут прятаться мои самонадеянность, авантюризм, стремление что-то доказать (что? и кому?), в чем-то разобраться (в чем?); там окажутся мои страхи и непонимание того, что брат сделался *таким*, мое одиночество, впрочем, одиночество я с собой не возьму, я оставлю его здесь.

Рюкзак выбран старый и потертый, новый я забраковал. В путешествии, я знаю, костюм запылится, где-то, возможно, порвется, то есть быстро придет в соответствие с рюкзаком. В итоге я буду меньше привлекать внимание, ведь от этого один шаг до ненужных расспросов, а вслед за расспросами может последовать неприятность.

Так если ты боишься неприятностей, спрашиваю себя, зачем отправляешься в путь? И сам же отвечаю пословицей из чужого языка: «Береженого бог бережет, не береженого — конвой стережет». Замечательная фраза! Она осталась от старого

солдата вермахта, моего учителя чужого языка, и я обязательно возьму ее с собой, уложив в непромокаемый мешок, а затем завернув в шерстяной свитер. Возможно, в рюкзак будут уложены еще два необязательных предмета, но я пока не решил, возьму ли их с собой.

Сборы закончены вчера вечером, а накануне я навестил Гюнтера. Он тоже удивленно разглядывал костюм, в котором я разгуливаю уже несколько дней — привыкаю. Внезапно Гюнтер захохотал, точнее, заржал, как конь, тряся огромной гривой белых, словно солома, волос. Он всегда, сколько помню, ходил с этой гривой и всегда все делал внезапно.

— Ты выглядишь нелепо! Ты что — собрался в джунгли Центральной Африки?! Или записался в Иностранный легион?! А ботинки, вы только посмотрите! Ты можешь дойти в таких ботинках до Сибири, но ты вроде туда не собираешься?

Внезапно Гюнтер замолк.

— Вы всегда были чокнутыми, и ты, и Франц.

— Франц — да, а я никогда не был чокнутым.

— Был, был! Помнишь, как мы с тобой боролись в пятом классе? Я тебя уложил на спину, можно сказать, одержал чистую победу, а ты, лежа внизу, вдруг взялся меня душить!

— Не помню, — сказал я. Я действительно не помнил. Из школьного времени я помнил лишь старого солдата, преподававшего чужой язык. Понятно, что солдатом он давно не был; а преподавал в частном порядке (официально бывший боец вермахта преподавал географию).

Когда я спросил про старого солдата, Гюнтер замахал руками.

— Помню, конечно. Он тоже был чокнутый!

После чего протянул руку и, открыв дверцу холодильника (мы сидели в его крохотной кухне), достал оттуда запотевшую бутылку.

— Давай выпьем шнапса. Ты должен привыкнуть к шнапсу, там — он махнул рукой в сторону запада, подразумевая, очевидно, восток, — пьют только этот напиток. Причем очень холодный, вот такой.

— Я не хочу шнапса, — сказал я. — И привыкать не хочу. У тебя пиво есть?

Гюнтер опять заржал.

— Если любишь пиво, то оставайся! Там, — он опять махнул рукой в направлении французской границы, — нет хорошего пива! А здесь через полтора месяца начнется Oktoberfest, так что оставайся! Попьем Lowenbrau, найдем тебе... Кстати: как отношения с Магдой? Никак? Ну, ничего, найдем тебе девочку, ты наконец женишься, и тебя не потянет больше в странствия! А? Не хочешь девочку? И шнапса не хочешь? Тогда пей свое пиво, а я буду шнапс.

Гюнтер пил маленькими глотками, закусывая шнапс арахисом и с ехидством вспоминая Drang nach Osten, который ничем хорошим, как известно, не кончился. И твой Drang, говорил он, ничем хорошим не кончится, поверь, я немного знаю Восток.

— Откуда?! — удивлялся я.

— Я жил в Дрездене, — нахально заявлял Гюнтер. — И в Лейпциге!

— Это — не Восток.

— Ну ладно, тогда вспомни своего брата. Тебе мало этого ужаса? Тебе хочется ужаса еще большего?

— Нет, — сказал я после паузы, — ужаса не хочется. Но мне надо уехать, я больше не могу сидеть на месте. Помнишь, что говорил Ницше? «Усидчивость есть грех против духа святого».

— Ницше не верил в святого духа. Он сам считал себя святым. И вообще он был...

— Чокнутый, я знаю. Но он был прав, и это главное.

Внезапно Гюнтер сделался агрессивным. Он заметно опьянел, угрожающе тряс своей гривой и выплевывал из себя ругательства вперемешку с непрожеванным арахисом. Я, как мог, уклонялся от арахиса, но разве пропустишь мимо ушей обвинения в глупости и безрассудстве? В попытках прыгнуть выше головы? В стремлении выглядеть не как все? Причем Гюнтер не отделял меня от Франца, мы в тот момент были для него единым целым, неким двухголовым драконом или, если хотите, двугла-

вым орлом, обе головы которого повернуты туда (опять следовал неверный указующий жест). Он ведь, Гюнтер, несколько раз приходил к Францу, хотел поговорить, один раз даже психоаналитика с собой привел. Так Франц не открыл!

— Мне он тоже не открывает... — осторожно вклинился я, но Гюнтер этого не услышал (или не захотел услышать).

— В общем, вы мне надоели! Оба! Глупцы, кретины и... — он саркастически расхохотался. — Да вы же психопаты! Мне нужно было не психоаналитика приводить, а психиатра, потому что вы оба верите в ту мистическую ерунду, которую писали про сына Франца. Необычный, уникальный, антропологическое чудо! Чушь, глупость! Это писали желтые газеты, понимаешь?! Ты должен понимать, ты же работаешь в нормальной «Городской газете», ее читаю даже я, Гюнтер, который никаких газет вообще не читает!

— «Городская газета» тоже писала об этом. Хотя я там уже не работаю. Я уволился.

— Все равно не верю ни в какую мистику! — запальчиво крикнул Гюнтер. — Я понимаю одно: надо бороться, надо своими руками менять эту идиотскую жизнь, иначе Европа рухнет к чертям собачьим!

Внезапно захотелось ударить Гюнтера. Он затронул что-то такое, о чем здесь и сейчас, под пиво и шнапс, просто не имел права говорить. И, чтобы не устроить напоследок драку с одним из немногих друзей, я решил уйти. Уже в дверях я сказал:

— Ты неправильно шнапс пьешь. Там, — указал я на восток, — не пьют маленькими глотками. И не закусывают арахисом, тем более — сладким.

— Пошел к черту! — крикнул мне в спину Гюнтер.

Наверное, я действительно чокнутый и мне нужен психиатр. Но я ничего не могу поделать: я знаю, что после дома-склепа направлюсь на кладбище, к могиле в дальнем конце боковой аллеи. Купив за два евро свечу в автомате у входа, я сверну налево и пройду почти до ограды, чтобы обнаружить скромную гранитную плиту с указанием дат рождения и смерти. Цифры будут различаться до обидного незначительно, во всяком случае, моя жизнь не старого еще человека в несколько раз длиннее прочерка между датами, высеченными на граните. Но что такое — продолжительность жизни? Ее содержание не измеряется годами, даже если я протяну еще три прожитых срока и умру дряхлым старцем, никто не придет на мою могилу и не прошепчет: дас ист фантастиш! А вот сюда приходят, и шепчут, и оставляют всякую ерунду на могиле, потому что кто-то пустил слух: если что-то здесь оставите из дорогих сердцу вещей, вам будет счастье. Я опять увижу дамские зеркальца и шарфы болельщиков, дешевые наручные часы и автомобильные брелоки, кепки-бейсболки и компьютерные диски с фильмами и играми — в общем, мусор человеческий, с которым расстаются в надежде обрести нечто более значительное. Потом все это попадает в мусорный бак, который набивают уборщики, или на блошиный рынок, где марокканцы (недавно в городе осела их колония) раскидывают коврики с ворованными и подобранными на улицах вещами. Обретается ли столь желаемое счастье? Понятия не имею. Но я тоже прошепчу те самые слова, благо, имею на это больше прав, чем любой из приходящих. Они-то пользуются слухами, трижды перевранными папарацци всех мастей, я же был свидетелем, да что там — участником чего-то странного, нетипичного, выходящего за рамки обыденности настолько, что факты плохо укладывались в голове.

— Ха! — сказал бы Гюнтер. — Какие факты?! Чистейшая выдумка! Франц просто хотел популярности, а вы, журналисты, ему помогли!

А я бы ему ответил... Ничего бы я не ответил. Глупо спорить, слишком грандиозна (да-да!) тема, чтобы полемизировать, будто сидишь в пивном баре и обсуждаешь программы ХДС и социал-демократов. Я тоже в чем-то позитивист. И в школе, в отличие от Франца, изучал основы религии в протестантском классе, где упор делался на обыденной жизни, а не на библейских чудесах. Но чуда хочется даже самым отъявленным скептикам, и если жизнь тебе преподносит *такое*...

2. Записка из мертвого дома

Вера получает аккуратно заклеенный конверт раз в две недели, бывает, и чаще. Вот и сегодня в почтовом ящике что-то белеет, значит, надо вынимать. Или не надо? Она долго стоит перед тронутой ржавчиной стальной конструкцией, разбитой на ячейки, и перебирает в кармане ключи. Внизу лязгает подъездная дверь, Вера вздрагивает и торопливо сует ключ в одну из ячеек. Черт, заело! Когда же заменят эти ящики?! Она с раздражением рвет на себя металлическую дверцу, и та вываливается вместе с замком. Всходя по лестнице, она с бессильной ненавистью сжимает в руке конверт. Разорвать? Так уже рвала, и что толку? Конверты приходили со зловещей какой-то регулярностью, как повестки из карательных органов. Перед дверью она сует конверт в карман и вставляет ключ в замочную скважину. Если и этот замок заест (а его иногда заедает), она точно опустится на грязный бетонный пол и зарыдает. К счастью, замок щелкает, и она вваливается в холодную темноту квартиры.

Она не сразу включает свет, честно говоря, его и включать-то не хочется. В полутьме эта хавира еще похожа на место для жизни, при включенном же (а также при дневном) освещении убожество лезет изо всех дыр. Наконец рука тянется к выключателю, другой рукой она вынимает конверт. Чем раньше, тем лучше, все равно ничего нового там не будет.

В записках вообще не было ничего, что могло бы напугать стороннего читателя, так, банальные бытовые просьбы, изложенные бесстрастным тоном. Иногда тон делался обиженным, порой даже прокурорским, мол, почему не приходишь? Не отвечаешь? Почему забыла обо мне?! Но если бы сторонний читатель узнал, *кто* пишет эти записки, его хватила бы кондрашка. Наверное, он с отвращением отбросил бы конверт, не читая; а если бы все-таки прочел, негодованию не было бы предела. Да как она смеет, сука?! Как у нее рука поднимается что-то просить, ей же впору найти крюк на стене, накинуть веревку и сунуть голову в петлю! А что? Были такие, что сами с удовольствием накинули бы, дай только волю. На части бы распилили, ага, четвертовали бы без малейших угрызений совести.

Итак, что же там? Оторвав край конверта, она вынимает записку и, прежде чем прочесть, принюхивается. Так и есть: аромат «Шанель», который был принесен ею три месяца назад. Надо же, какая экономная: половину крошечного пузырька на столько времени растянула! Она вообще стала там такой рациональной и педантичной, что диву даешься! Вот и в записке все поименовано по пунктам:

1. Нужна зубная паста с мятным вкусом. Не перепутай: с мятным, другой вкус вызывает у меня тошноту.

2. Принеси вязаные домашние тапки с кошачьими мордочками. Здесь постоянно дуют сквозняки и в обычных тапках холодно.

3. Захвати байковый халат — по той же причине, не хочу мерзнуть.

4. Из еды купи питьевой йогурт и банку консервированных ананасов, нарезанных кольцами. Обрати внимание: КОЛЬЦАМИ, а не кусочками, у тех совсем другой вкус.

5. Журнал Cosmopoliten оказался неинтересным. Принеси не столь гламурное чтиво, хотелось бы прочитать что-то о проблемах современной семьи.

Ну и так далее, всего пятнадцать пунктов. Почему от всех этих безобидных реестров веет жутью? Потому что надо писать о *другом*, надо с первой до последней строчки выть, рвать на себе волосы, а не просить «прочитать что-то о проблемах современной семьи»! Блядь! У тебя была самая современная семья, современней не бывает, и что в итоге?!

Отложив конверт, она вынимает из сумочки сигареты, прикуривает дрожащими руками и после нескольких глубоких затяжек продолжает чтение. Еще требуют полотенце, телепрограмму на неделю, три упаковки женских прокладок, блок сигарет, черта лысого, а в конце, как всегда, ставит полное имя: Любовь. Имя звучит издевательски, какой-то гомерической насмешкой звучит, хорошо еще, не приписывает, как раньше: «твоя сестра». Может, забывает, а может, уже не считает нужным лишний

раз напоминать, мол, ты — моя ближайшая родственница, значит, обязана ухаживать за мной и таскать все это дерьмо, включая телепрограмму.

А ведь Вера могла бы напрочь порвать с этой жутью, одним махом разрезав кровавую пуповину, что связывала их многие годы. Она, собственно, и разрезала, когда съехала с прежнего адреса, спешно обменяв жилье в Замоскворечье на хавиру в Царицыне. Странная была операция, любой из знакомых сказал бы: ты — дура, если решилась на столь неравноценный обмен! То есть сказал бы, если б знал, но, по счастью, никто этого не знает. Она просто сбежала куда подальше, ей хотелось затеряться, зарыться в песок, замуроваться в асфальт, в бетон, лечь на дно, как подводная лодка, и лежать в режиме полного молчания. Ни знакомым, ни соседям, ни товарищам по работе (с которой она быстро уволилась) Вера не сказала ни слова, просто исчезла в одном месте и возникла в другом. Она даже прическу изменила и цвет волос — вместо легкомысленной длинноволосой блондинки в Царицыне появилась коротко стриженная брюнетка, в черной кожаной куртке, черных джинсах и черных очках.

Это была свобода, живительный глоток воздуха, которым она не дышала с момента смерти матери. До этого еще как-то умудрялась дышать, ходить на работу, выносить взгляды соседей, наверное, чувствовала защиту матери, но уже на девятый день почувствовала вокруг пугающую пустоту. Если на похороны народ еще пришел, были и родственники, и соседи, то на девять дней не пришел НИКТО. Мол, долг вежливости отдан, теперь варись в своем соку. И тогда стало страшно. Она сидела среди наготовленных салатов, кутьи, блинов, раскрытых бутылок водки, и в нее вползал космический какой-то страх. Казалось, ее отправили в одиночный полет на Луну, точнее, на Марс или Нептун — куда-то в холодную бездну. Все население Земли осталось в своей колыбели, она же летела в черной пустоте, удаляясь от людей все дальше, дальше...

Она жутко напилась, можно сказать, надралась. Сидела перед портретом матери, хлопала рюмку за рюмкой, закусывая вначале кутьей, затем вообще не закусывая. Когда же прошел похмельный синдром, начался ад. Если раньше ее прикрывала мать, то теперь оголились и тылы, и фланги, любой мог нанести удар в незащищенное место. Чтобы избежать ударов, она выработала особый режим, исключающий прямые столкновения с людьми. Перед тем как выйти на улицу, вначале выглядывала с балкона: не сидит ли кто на скамейке у подъезда? Потом озирала в глазок лестничную площадку, прислушивалась, не хлопает ли дверь лифта, лишь потом выскакивала на улицу с надвинутой на глаза кепкой и поднятым воротником. На работе — никаких междусобойчиков и задержек: от звонка до звонка, хорошо еще, стол за шкафом, в уединенном месте. А чтобы не слушать пересудов — наушники в уши, и прощайте, слухи-сплетни! Обычно она включала колыбельную Брамса, раз по десять слушала, ну очень успокаивало. В магазины же ходила только круглосуточные, что ночью работают. Пару раз к ней приставали подозрительные личности, однажды пытались отнять деньги, но лучше трястись от страха, шагая по ночным переулкам, чем проходить к подъезду под перекрестными взглядами соседей.

Впрочем, она вытерпела бы даже взгляды, невыносимы были именно звонки и письма той, кто подписывался: Любовь. Раньше трубку поднимала мать и с каменным лицом слушала бред дочери, обдолбанной препаратами и напрочь утратившей память. Веру не подпускали к телефону, говоря: она на работе. Или: вышла в магазин. На письма тоже отвечала мать; она и на свидания ездила с кошелками, набитыми всякой дребеденью. А когда это надо делать самой?! Слышать голос, записки читать, а главное, мотаться в «мертвый дом», чтоб он развалился! Такую жизнь не только на Царицыно — на Мытищи без сожаления обменяешь!

С трудом отвоеванная свобода кончилась, когда она сообщила сестре новый адрес. Не хотела ведь сообщать; и новые владельцы родительской квартиры ничего о ней не знали, так что Вера имела шанс начать новую жизнь. Так нет же, сама накинула петлю на шею! Почему?! Вера вдруг пугается ответа. Она знает, *почему*, но не хочет этому верить. Нет, на такое она не способна, чушь! Она выкуривает вторую сигарету, перемещается в кухню, ставит чайник, и постепенно возбуждение утихает. Прожитый день завершен, скоро ко сну, пусть со снотворным, но лучше так, чем ворочаться всю

ночь, выкуривая пачку или даже две. Во время бессонницы всякое взбредало в голову, например, среди ночи звонила знакомым: разыщите ей, дескать, *хорошего* фармацевта.

— Постой, я еще не проснулся... Для начала скажи: ты где?!

— В Караганде. Найдешь хорошего фармацевта?

— Можно попробовать.... А что значит — хорошего?

— Это значит: имеющего доступ к любым медикаментам, а не того, кто аспирин отпускает.

— К любым, значит... Ладно, где теперь живешь? И чем? Ты, говорят, даже с работы уволилась...

— Уволилась. И адрес сменила. И номер телефона, как ты видишь, у меня другой.

— Вижу, что другой... Ладно, я тебе позвоню, если фармацевта найду.

— Я сама позвоню. Ты, главное, найди.

Она пресекала лишние разговоры, в конце концов, какое им дело, почему нужен *хороший* фармацевт? Дежурные расспросы о жизни все равно скатятся к единственной теме, которая до сих пор (а времени уже прошло немало!) интересовала всех и вся. «Хочу все знать!» — читалось на лбу любопытствующих (кажется, в далеком детстве был такой тележурнал). А что тебя судороги бьют и кишки завязываются морским узлом, никого не волнует. От силы пару человек волнует, в лучшем случае трех, с ними она и поддерживает (пока) зыбкие отношения.

Ну, здравствуй, друг «Имован»! Надежный друг, безотказный, палочка-выручалочка, не позволяющая бессоннице пожирать мозг, высасывать душу и превращаться в монстра. Вера вытряхивает на ладонь таблетку, добавляет еще одну и, глотнув вдогонку остывшего чаю, падает лицом в подушку. «Имован» ограждал в том числе от кошмаров, накрывая подсознание черным одеялом, укутывая им изможденный мозг, и разве что под утро, когда наступало пробуждение, сюровое видение иногда пролезало верткой хитрой змеей и наносило укус.

На этот раз змея опережает звонок будильника на минуту, но куснуть успевает болезненно. Куда она попала? Ага, это аудитория, где сидит «сборная Европы», готовая усвоить очередной урок русского. Какой оборот будем сегодня изучать? «Казнить нельзя помиловать»? Очень хорошо! Итак, если поставить запятую в этом месте, то какой будет смысл? Правильно: казнить! А если поставим в другом месте — что изменится? «Сборная Европы» качает головами, мол, ничего не изменится! Как это?! Вы что, сброд иноземный, хотите сказать, что знаете язык лучше меня?! Вера ставит запятую в нужном месте, только смысл (она и впрямь это чувствует) не меняется. То есть, как ни ставь, а получается: казнить!

— Не переживайте, — говорит Вальтер, — у нас тоже так было. Читали Гете, слушали Вагнера, а все равно казнили, казнили...

— Не говорите ерунды! — отвечает Вера. — Одно дело ваши «наци», другое дело я! Так, кто пойдет к доске? Мелани, попрошу вас!

Бельгийка Мелани, как обычно, в драных джинсах, со жвачкой во рту, лениво выгребает к доске, ставит жирную запятую после второго слова, но смысл остается прежним: казнить! Вера вызывает француза Патрика, итальянца Марко, англичанку Кэтрин, и раз за разом фраза оборачивается гибельным императивом. Так, кто там тянет руку? Вера вглядывается в дальний угол и обнаруживает сидящего за столом ребенка. Он очень большого роста, пожалуй, выше остальных взрослых, но видно, что это ребенок лет десяти. Внезапно накатывает слабость — она *знает* этого ребенка! Причем Вера убеждена: он-то сразу разберется с упражнением, такая задачка для него — раз плюнуть, главное, вызвать его к доске. Вера делает жест, мол, выходи, ребенок встает перед аудиторией, и тут делается заметно: он просто огромный!

— Вау! — шпокает жвачкой Мелани. — Какой большой бэби!

Ребенок, однако, не отвечает на реплику, он абсолютно серьезен. Он берет мел, стирает написанное и выводит большими буквами: «ФАРМАЦЕВТ — НЕ НУЖЕН!».

Ну и как после этого пробуждаться? Если ночная рубашка — хоть выжимай, и руки трясутся, будто вчера пила по-черному? Почему-то в голове бьется мысль, дескать, надо ехать на работу, ее ждут ученики, и лишь спустя минуту мир обретает

привычную конфигурацию. Слава богу, никуда ехать не надо. Там, где она учит «сборную Европы» премудростям «великого и могучего», сегодня выходной; а к сестре она ездила недавно, так что очередная записка ни к чему не обязывает.

На первое свидание Вера шла в убеждении, что будет общаться с сестрой через прозрачную перегородку по телефону (сказался просмотр голливудской продукции). Только никакой перегородки не было, была комната с решеткой на окне, и стоял стол с двумя стульями. Нет, был еще третий стул, на нем сидел охранник, таращась на молодых женщин, которые никак не могли начать разговор.

— А нам нельзя, ну... С глазу на глаз пообщаться?

— Нельзя, — отрубил охранник. — Общайтесь в моем присутствии, причем торопитесь: время пошло.

Часы висели как раз позади сестры, Вера вскидывала на них взгляд, но стрелка, как назло, двигалась черепашьими темпами. В тот раз она мысленно подгоняла время, потому что было невыносимо видеть стеклянные глаза, застывшую маску, некогда бывшую лицом (красивым лицом!), и слушать бред насчет хозяйственного мыла, которое дают для стирки. Мол, ужасное мыло, от него руки разъедает (она протягивала для убедительности ладони: вот, погляди!), а значит, ты должна принести мне нормальный порошок!

— Порошок нельзя, — встрял охранник. — Можно другое мыло.

— Тогда другое мыло, ароматическое какое-нибудь. И шаль принеси, а то здесь сквозняки, я мерзну. Мамину шаль, помнишь? Из ангорки.

— Да, конечно, — медленно ответила Вера. — Ведь маме шаль больше не нужна.

Она ждала вопроса: почему не нужна? — но его не задали. Сестра вообще ничем не интересовалась, кроме своих бытовых неудобств, и оттого их беседа выглядела сюрреалистически: вроде как двое сидят в машине, у которой передние колеса зависли над пропастью, и говорят о погоде на завтра. С содроганием ожидая *главный* вопрос, Вера заранее подыскивала слова, готовая от стыда провалиться под землю (охранник хоть и сволочь, но все-таки человек). По счастью, вопрос не прозвучал, сестра только улыбнулась краешками губ, сказав на прощанье: я все знаю!

— Что знаешь? — спросила Вера.

— Все. — Не стали уточнять. — Ты не бойся: я не оторвана от мира. Я смотрю телевизор, читаю журналы...

— Участвую в самодеятельности... — пробормотал охранник, вставая со стула. Вера обратила на него полные удивления глаза.

— Вы серьезно?! Ну, про самодеятельность?

— Шучу, конечно. Никакой самодеятельности, в том числе и касательно регламента свиданий. Все, время вышло, прощайтесь!

Позже она узнает от пожилой медсестры, что охрана таким манером мстила всем и вся, обиженная новым приказом. Раньше в этой психушке со спецконтингентом с трудом справлялись медсестры пенсионного возраста да парочка санитаров, а мордовороты с дубинками только КПП охраняли. И тут приказ по казарме (после одного серьезного инцидента): привлечь охрану к надзору за психами-уголовниками! Охранники приказу подчинились, делать-то нечего, но изгалялись после этого, как могли.

Потом было еще несколько свиданий, и та же эгоистическая озабоченность мелочами. Те же капризы, бесчисленные просьбы, и если бы не охранник, Вера наверняка бы не сдержалась, заорала бы истошным голосом, а может, и стулом бы огрела по башке, чтоб в себя пришла.

— Ладно, пусть учится, — сказала сестра во время последней встречи, — я согласна.

— Кто учится? — не поняла Вера.

— Мой сын. Пусть он учится в этом колледже для особо одаренных, я не возражаю. Я только считаю, что он должен каждые каникулы проводить дома, с мамочкой. Он ведь приедет скоро из Мюнхена, правда?

У Веры даже пальцы похолодели, настолько жутко стало. Она увидела угрюмую усмешку на лице охранника и, чувствуя подступающую дурноту, вдруг засобиралась. А ночью набрала номер и попросила найти ей *хорошего* фармацевта...

Собственно, у нее украли сон. Главный сон, из которого не хочется выходить; тот, что посылается единожды и больше никогда не повторяется. В этом сне тоже был ребенок, бледнокожий, с веснушками на курносом носу, и с черными, как смоль, вьющимися волосами. Рост, правда, он имел нормальный, как и положено ребенку; но разве дело в росте? Спустя годы она поняла: все это мелочи, фикция, можно рядом с совершенным крохой, с второклассником, чувствовать себя полным ничтожеством, карликом или муравьем. Можно было, как выяснилось, быть муравьем даже рядом с младенцем.

Впервые это чувство возникло, когда Норман только ползать начинал, бессмысленно (так казалось) играя с кубиками. Когда Вера увидела однажды собранное на полу слово БОЛЬ, она решила, что это сделала сестра. Но спустя день то же слово было выложено теперь уже латиницей. Норман с детства был билингвом, то есть осваивал два языка, но тогда он в лучшем случае агукал, не в силах связать какие бы то ни было слова, и аккуратно сложенный KRANK из кубиков смотрелся насмешкой, шуткой старшей сестры (та, надо признать, всю жизнь подшучивала над младшей, и не всегда по-доброму). Люба, правда, отнекивалась, мол, ничего я не складывала. Кубики были давно перемешаны, с паласа, который утюжил Норман, слышалось очередное «агу», а Веру не покидало ощущение чего-то невероятного, что находится рядом, но пока не опознается. Когда через пару дней Норман заболел воспалением легких и был увезен в больницу, Вера напомнила сестре о кубиках, но та на нее наорала: иди к черту со своими кубиками! Дите чуть на тот свет не отправилось, под капельницей лежит, а ты с глупостями лезешь! Это она в будущем начнет везде выставлять Нормана, преподносить его как чудо из чудес, а тогда и внимания-то на него особо не обращала.

Потом в сон ворвется, как всегда, шумный и заводной Франц, заявившийся вместе с сестрой откуда-то из Норвегии. Он обрушит на их головы массу планов и проектов, заставит в чем-то участвовать, и кубики на время отодвинутся в сторону. Помнится, Вера тогда спросила Франца: почему сыну дали такое странное имя: Норман?

— Почему? — Франц засмеялся. — Возможно, потому что были такие морские странники: норманны, которые покорили почти всю Европу. И наши дети будут жить в общей Европе. Это должно быть... Как это по-русски? «Нормой», правильно? Вот поэтому и Норман!

Утро не дает облегчения: кажется, на плечи взвалили камень, и надо тащить его до вечера. Ко времени сна Вера согнется под этой тяжестью так, что, кажется, вот-вот хрустнет позвоночник. «Нет, — говорит она себе, — не должен хрустнуть. У меня еще важное дело впереди. "Казнить нельзя помиловать..." Надо же!»

3. Долгое прощание

Два дня, отведенных на прощание, в голове крутится банальная мысль: «Мы не ценим, что имеем». Покидаемое пространство оказывается на удивление комфортным, подогнанным по фигуре, как мой армейский костюм, будто все выемки этого мира соответствуют выпуклостям моей натуры (равно как и наоборот). Тот мир, что меня ждет, вряд ли будет столь же уютным, и оттого в душе — некий микст боязни и ностальгии, каковую испытываю заранее. Обжитое пространство кричит из-за каждого угла: остановись, безумец! Кричит здание детского сада, куда меня водили в далеком детстве, и где на стене нарисована сороконожка. Сад так и назывался: «Сороконожка», и родное насекомое, кажется, тянет бесчисленные лапки, чтобы меня удержать. Кричит супермаркет на углу, где я закупаю продукты и свежее баварское пиво, а однажды получил выигрыш в виде недельной корзины продуктов. Во что я играл? Не помню, вроде бы проводилась дегустация сыров, а может, дегустация вин. И редакция, где работал много лет, кричит так, что я не выдерживаю и вопреки данному себе обещанию захожу туда.

— Ты передумал?! — Вижу удивление в глазах редактора. — Хотя, если судить по твоему мундиру...

— Нет, — говорю, — зашел попрощаться.

— Тогда прощайся.

Всплеск эмоций миновал, и в глазах читается список срочных дел: совещание, утверждение макета, сдача номера и т.д.

— Извини, — говорит он, — но я не мог оставить тебя в редакции. И командировку оформить не мог, слишком долгий у тебя поход. Но если будут интересные материалы — присылай.

— Обязательно, — говорю, — у меня будет компьютер с подключением к GSM, и если что…

— Присылай. Договоримся так: если помещаем, я перечисляю гонорар тебе на карточку. Только… Не пиши о необыкновенных вещах, хорошо? Лучше про обычную жизнь, это больше интересует читателя.

— О'кей, — говорю, — хотя раньше вы не возражали против *необыкновенного…*

— Это была ошибка. Я не против сенсаций, они повышают тираж и наши бонусы. Но мы слишком серьезно к этому подошли, взялись писать о каком-то явлении, хотя на самом деле… — Он смотрит на часы. — Извини, дела. — И после паузы: — Будь там осторожен. Я знаю: это опасное предприятие, очень опасное!

В этот момент мне хочется стащить с себя наряд десантника, расшнуровать ботинки на толстой подошве и, сунув ноги в летние сандалии (я всегда ходил в редакции в сандалиях), плюхнуться в вертящееся кресло, которое идеально подходит к моему телу, как и остальной здешний мир. Я всей душой готов согласиться: ничего необыкновенного в этой жизни нет, она тривиальна, объяснима, в чем-то вульгарна, но этим и хороша! Да, да, хочу закричать я, это была обычная газетная утка, ничего особенного под плитой с именем Norman — нет! А значит, и дальше будем стряпать сенсации, размещать рекламу, словом, жить, как всегда, без пеших путешествий по опасным восточным странам! Одним словом, я готов повернуть обратно: я даже рюкзак до конца не собрал, отложив два необязательных предмета.

Один из предметов, который я должен (или не должен?) положить в рюкзак, имеет вид средневековой реликвии. Это икона Девы Марии, с потускневшим от времени изображением, украшенным кованой жестью. Жесть покрыта серовато-коричневым налетом, что также свидетельствует о древнем происхождении иконы.

— Это мне принесли месяц назад, — сказал редактор. — Помнишь, мы публиковали материал о возвращении культурных ценностей, перевезенных сюда во время войны? Так вот, владелец принес эту икону, чтобы мы вернули ее на место.

— Вы знаете, где это место?

— Да, он назвал населенный пункт, там должна быть церковь. Кажется, это по дороге.

Когда я сверился с картой, указанный «пункт» оказался не совсем по дороге, и потому икона под вопросом. Обещаний я не давал, так что обитая жестью доска может полежать и дома, а по возвращении я скажу: не нашел церковь. Что будет, наверное, правдой, они сами рушили свои храмы, не надо было никаких бомбардировщиков Ю-88, чтобы уничтожить древний культ. Тем более для меня этот культ не близкий, даже абсурдный. Неровная доска с нарисованной картинкой, испещренной сеткой мелких трещин, грубое покрытие из жести — все это оставляло ощущение плохо сработанной вещи. Если бы ту же вещь делал мастер из Баварии или Саксонии, она бы выглядела иначе и наверняка была бы прочнее. А тут даже рама (которую вроде называют «окладом») рассыпалась! В общем, протестантское воспитание бунтует, не желает поклоняться доскам, надеясь только на себя, на дела своих рук, на свою волю, способную медленно, но верно менять окружающий мир…

Все же икона укладывается в рюкзак. Ты сам слил в унитаз свое протестантское воспитание, говорю я себе. Ты еретик, отступник, желающий чудесных и быстрых метаморфоз, а не медленного и упорного преображения жизни. Втайне ты надеешься, что доска с жестью послужит тебе пропуском в другой мир или будет этой… Ага, охранной грамотой! При условии, конечно, что ее не конфискуют на границе; говорят, польские таможенники — настоящие звери.

Второй предмет я тоже решаю взять с собой. Что не менее абсурдно, зато более понятно: уже сам предмет проще, грубее, без всякого мистического наполнения,

зато со вполне понятной символикой. Небольшой кусок бетона, с одной стороны гладкий, с другой — имеющий бугристый скол. Чья кирка отколола этот кусочек? Или, может, то был тяжелый молот, какими разбивали бетонный монолит, некогда разделивший Берлин на части? Точнее, на части разделили целый мир, и вот он опять воссоединялся (в те дни так думалось), а кто же откажется от раритета, свидетельствующего об эпохальном событии?

Кусок стены привез Франц, бывший в ту пору в Берлине. Что пробудило во мне страшную зависть, я-то был еще подростком, которого не пустили на великий праздник воссоединения. Сводный брат пребывал в эйфории, и я полностью разделял эти чувства, поэтому поместил невзрачный кусок бетона на полку под стекло, словно это был фрагмент кладки иерусалимского храма. Помнилось, возбужденный Франц принес только что опубликованное эссе Патрика Зюскинда, в возмущении потрясая журналом.

— Посмотри, что пишет автор «Парфюмера»! Читал? Тогда почитай! Он пишет: нам, оказывается, было уютно в том мире, со стеной! И к этому новому миру нам надо привыкать! Ты понял?! Ему надо привыкать! Ему неуютно, гораздо уютнее было сидеть за стеной и писать истории своих убийц! Нет, это поколение стариков, они так ничего и не поняли!

Предвидел ли Франц, что спустя годы сделается героем истории, которая напомнит Зюскинда? Вряд ли предвидел, он вообще был оптимистом, мрачные прогнозы отметал с порога. Франц был *легкий*, что проглядывало и в летящей походке, и в свободной манере общения, и в той непринужденности, с какой ему покорялись обстоятельства. В каком-то смысле он вообще не был немцем, отличался от общей массы и внешне, и внутренне. Что кого-то могло сделать изгоем, но только не Франца, умевшего найти общий язык даже с турками. Они тогда поселились в соседнем районе, заняв дешевое социальное жилье и начав разрушение старых, еще гитлеровских времен зданий. Работа была тяжелой и грязной, немецкие рабочие разбивать вручную мощные бетонные конструкции не желали, турки же брались за это охотно — несмотря на тяжелые травмы и даже смертные случаи. А поскольку школа Франца располагалась неподалеку от турецкого квартала, стычки с чужими подростками были неизбежны.

После одной из таких стычек на развалинах старого универмага обе стороны могли записать себе в актив выбитые зубы и порванную одежду противника. Назревала повторная «атака», стороны запасались камнями, когда Франц неожиданно сказал: «Постойте. Дайте полчаса, я с ними договорюсь».

Полчаса не потребовалось — буквально через десять минут он привел высокого смуглого парня, сказав: это Исмаил, он хочет с нами дружить. И остальные хотят — при условии, что мы не будем их бить. В тот раз дипломатия Франца вызвала общее восхищение, стычки прекратились, а Исмаил вскоре перешел учиться в класс Франца. Ну и как тут не счесть себя человеком мира? Тем более что в роду нашей матери были англичане и шведы, как мы выяснили после исследования генеалогического древа, а один из предков его отца Жан-Жака оказался поляком, служившим во французской армии еще Наполеону Бонапарту.

— Получается, что я — европеец! — восклицал Франц. — Человек новой Европы!

— А я? — спрашивал я ревниво.

— И ты тоже! Это вообще глупо: разделять людей на страны и нации! Помнишь, до чего это доводит? До Маутхаузена!

Более всего ему хотелось присоединить к созданной в воображении Европе ту «медвежью шкуру», чей ближний край начинался в белорусских лесах, а дальний омывали волны Тихого океана. Тут и непомерные амбиции сказались, и комплекс вины, все-таки в его жилах текла кровь двух завоевателей, пытавшихся (бесславно) покорить Россию. Тогда и появился старый солдат. В школе Франца он преподавал географию, но в запасе имел язык, выученный во время пребывания в российском плену. Почему-то более всего запомнилось, как он рассказывал про лес, покрывавший огромные пространства.

— Зимой сорок второго меня ранили в районе Ладожского озера, и я полетел в госпиталь в Кенигсберг. Наш старенький «Ю» делал примерно двести километров в

час, а всего я летел больше пяти часов. И что видел внизу? Один лес! Лес, лес, ничего кроме леса! А если бы я полетел на Урал? Туда нужно было бы лететь двадцать часов, и я видел бы то же самое...

Старый солдат (тогда не очень старый) валил русский лес в течение пяти лет и вряд ли нанес серьезный ущерб тамошней природе. Работа была адская, обморозив правую руку, он лишился двух пальцев, но почему-то не проклинал ту страну. Он даже отозвался на просьбу странного подростка преподавать язык.

— У тебя хорошо получается... — покачал он головой после первого урока с Францем. — Запоминаешь прямо на лету!

Оценка моих результатов была сдержанной, но я дал себе слово: не уступлю брату! Потом долгое время казалось: чуждый язык лишь отягощает мозг, который мог бы освоить, допустим, испанский, хорошо помогающий путешественникам на Майорку и Тенерифе. Но вот настал час, когда заложенное старым солдатом должно пригодиться — вместе с картами, спальным мешком и доской, покрытой жестью...

Амбиции стали удовлетворяться спустя годы, когда Франц попал на работу в институт Густава Штреземана. Стена к тому времени давно рухнула, межнациональные связи интенсивно налаживались, и укреплять их должны были сотрудники этого учреждения, расположенного в Бонне, в двух шагах от правительственного квартала. Естественно, что Франц был тут в первых рядах, сделав за год головокружительную карьеру от младшего сотрудника до заместителя директора. Он курировал самое сложное и рискованное восточное направление. Он любил рисковать, как тогда, с турками, что после драки могли в слепой злобе изувечить его или даже убить. Ведь там, где риск, интересно.

А если еще страсть вспыхнет? То есть вмешается личное начало? Тогда интерес умножайте на два, а риск — на десять, потому что страсть, как известно, слепа, она не видит дальше своего носа и губ объекта желания. У этой русской были какие-то невероятные губы: полные, нечетко очерченные, они постоянно меняли конфигурацию, шевелились в разговоре, расходились в улыбке, вытягивались трубочкой для поцелуя... Не помню, чтобы они были статично сжаты или поджаты, и это непрестанное движение ярко-малиновых губ, надо полагать, завораживало особей мужского пола. Франц, во всяком случае, был загипнотизирован и, когда она что-то говорила на семинаре, устроенном в институте на День святого Сильвестра, замирал, будто мышь под взглядом гремучей змеи.

Она попала в семинар случайно, кажется, ее привез кто-то из австрийцев (она до этого болталась в Вене), так что речи были вполне дежурными. Но разве вслушивается в смысл тот, кто охвачен страстью? Ему интересно не *что*, а *как* она это делает: как подносит к малиновым губам пивной бокал, как откидывает волосы или склоняется перед тобой, так что вырез платья отвисает, выставляя на обозрение две идеальные полусферы. Я говорю: «идеальные», потому что сам видел эти полусферы; и губы наблюдал, и тщательно выбритые белые подмышки (она любила платья без рукавов), и даже, как положено нормальному гетеросексуалу, возбуждался. Но ума не терял, чего не скажешь о Франце.

— Ты понял, что означает ее имя? — спрашивал я брата, и тот выпучивал глаза: что же оно означает?!

— Die Liebe. Странное имя, у нас так женщин не называют...

— Да?! — поражался Франц. — А ведь ты прав! ЛЮБОВЬ — это очень, очень необычно!

Впоследствии он назовет ее другим именем, которое носила супруга одного древнегреческого героя, жутко ревновавшая мужа и натворившая бед. Но это будет много позже, а в тот Новый год он буквально отупел, как это нередко бывает с влюбленными.

Спустя годы я наблюдал похожее отупение — в аэропорту, когда встречал самолет из России. Причиной этого был страшный груз, летевший вместе с братом в нижнем отсеке А-320. Когда в зале прибытия показался совершенно седой человек, я не сразу узнал брата. Его взгляд был не то чтобы отсутствующий — взгляда вообще не было. Глаза были обращены не вовне, а вовнутрь, в темноту сознания, внешние же реакции проявлялись какими-то странными автоматизмами.

— Зачем ты здесь встал? — спросил я, когда он остановился у ленты раздачи багажа. — У тебя ведь только портфель, который ты провез в салоне.

— А как же... — в глазах читалось недоумение ребенка.

— Они сами его отвезут, куда требуется.

— Да? Тогда пойдем, конечно...

Его приходилось буквально водить за руку, как младенца, растолковывая простейшие истины. Франц, нельзя хоронить Нормана на семейном кладбище. Почему нельзя?! Потому что категорически возражает наша мать. Мать?! Где она, дай с ней поговорить! О, майн Гот! Она давно живет в Ганновере, разве ты не помнишь?! Она уехала из-за того, что в свое время была большая шумиха вокруг мальчика, ей это очень не нравилось! Ах, да, помню... Франц, мы должны провести кремацию и похороны поздно вечером. Почему вечером?! Потому что сбегутся журналисты! Потому что не утих ажиотаж, больше того — появились фанаты, точнее, адепты, и вообще делай, что говорят! Да, я срывался, нелегко разговаривать с роботом, которым приходится руководить в столь жуткой обстановке. Меня-то никто не спрашивал: что ты чувствуешь, Курт? Не хочешь ли тоже сбежать в Ганновер, а еще лучше — в какую-нибудь Лапландию, где одни северные олени и финский Николаус по имени, кажется, Йолупукки? Если бы спросили, я бы ответил: очень хочу. Но кто находился бы рядом с Францем? Мать не хотела, Жан-Жак умирал в онкологической клинике под Тулузой, значит, оставался я — сводный брат.

Робот ожил только на кладбище, когда поздним вечером урну с прахом накрывали мраморной плитой. Франц, тревожно озираясь, указал в густеющие сумерки: там — люди!

— Там никого нет, — сказал я.

Он же стоял на своем: там — сотни людей! А может, и тысячи! Он так убедительно говорил о том, что видит пламя свечей, заплаканные лица, что меня пробрала дрожь. Не было никого, мы даже журналистов обвели вокруг пальца! А все равно казалось: кладбище таинственно шепчется, вдали мелькают тени, посверкивают прикрытые ладонями свечи...

Мне тоже неуютно, как и Патрику Зюскинду, не сумевшему примерить на узкие плечи западного немца новую страну, более просторную, другого покроя. Мое положение еще хуже, ту страну, куда я собрался, вообще невозможно «примерить», зато можно запросто утонуть в ее бесконечных лесах и ее водочных реках. И потому пространство кричит. Кричит любимый пивной бар на углу; кричит тенистый парк с утками в пруду; даже зеркальная витрина, где отражается человек в армейском костюме, разговаривает со мной на повышенных тонах. «Хорошо выглядишь, — говорит зеркало, — но учти: так выглядеть ты будешь недолго. Острые сучья, солнце и дожди за неделю превратят тебя в оборванца! Ты взял электробритву? Правильно, и не надо, потому что где ты возьмешь электричество в лесу?!»

Последний крик — уже не крик, а панический возглас: куда ты собрался, майн либер?! Почему ты меня оставляешь?! Зайди ко мне, я дам тебе таблетку, сделаю тебе компресс на голову, и голова опять встанет на место! Если хочешь, ты можешь даже лечь в стационар, у тебя будет прекрасная палата, а главное, рядом буду я, твоя Магда!

Я стою перед утопающим в зелени двухэтажным домом, с клумбой перед входом и с баскетбольным кольцом, прикрепленным к боковой стене. Раньше кольца не было, наверное, Магда решила поддерживать спортивную форму еще и посредством баскетбола. Обычно она поддерживает ее ездой на велосипеде, даже в больницу добирается на нем, хотя имеет шикарный «Opel Astra». Вот он, стоит на брусчатке за клумбой; и велосипед стоит там же, значит, Магда дома.

Но я не буду заходить; и звонить на прощанье тоже не буду. Это в прошлом — звонки, встречи, велосипедные прогулки (мне тоже пришлось купить велосипед), поездки на Oktoberfest, где меня строго ограничивали двумя кружками Lowenbrau, и постоянный рефрен: как ты себя чувствуешь, майн либер? По мнению Магды, человечество на сто процентов было больным, только не каждый знал, чем он болен. Поэтому она всегда держала мое состояние под контролем, в любую минуту готовая вытащить из кармана ослепительно белого халата стетоскоп и прослушать сердце и

легкие. Что? У Магды не было стетоскопа? То есть это воспоминание из времен «Сороконожки»? Ладно, выразимся иначе: она в любой момент была готова сделать обезболивающий укол, поскольку работала анестезиологом. Вот только я не был к этому готов, потому мы и расстались.

Рано или поздно, однако любое прощание заканчивается. И вот ранним утром я покидаю город, не спеша отправляясь на вокзал. Я все буду делать медленно, не спеша — это моя принципиальная установка. Франц был не только *легкий*, но и крайне *быстрый*. Он слишком быстро переместился в иной мир, слишком быстро взялся его осваивать, вообще вел себя импульсивно. Я же должен сбавить обороты, проделать то же, но более основательно, как и положено человеку с протестантским воспитанием. Да, я плохой протестант, поэтому катехизиса Лютера в моем рюкзаке нет. Зато там есть адреса (много адресов!), так что я не пропаду. Первый адрес у меня польский, это городок на границе с Белоруссией; последний — московский. Буквально неделю назад я разыскал через Интернет моего старого знакомого Вальтера, жившего сейчас в Москве и писавшего книгу. Впрочем, до Москвы еще надо добраться...

4. Приглашение на казнь

Вера не знает, зачем устроилась на эту работу. Были же другие места, да, менее оплачиваемые, да, с полным рабочим днем, но ради душевного уюта можно потерпеть. Здесь же ни уюта, ни покоя, сплошной невроз и реплики типа:

— Мне кажется, вы нас не любите...

Услышав такое, Вера изображает удивление.

— Я не люблю?! Вас лично, Вальтер, я очень люблю! Можно сказать, обожаю!

Долговязый нескладный Вальтер через силу усмехается.

— Я говорю про всех... Про всех, кто у вас учится.

— И я про них говорю. Я вас всех люблю, ценю и всеми силами повышаю ваш общеобразовательный уровень! Впрочем, если я чем-то вас не устраиваю, можете жаловаться начальству.

Интересно, побежит жаловаться или нет? Стукачество — оно же у них в крови, такая нация. Кто-то, помнится, рассказывал, как в Потсдаме припарковался в неположенном месте — на пять минут, чтобы в магазин заскочить. Так за эти пять минут какой-то добросовестный немец успел стукнуть в полицию, и те моментально примчались, чтобы оштрафовать презирающих «орднунг» русаков...

— Зачем жаловаться? Разве после этого вы будете нас любить?

— Заставят любить. Помните, я вам приводила один русский императив? Не можешь — научим, не хочешь — заставим...

Лицо Вальтера опять кривит усмешка.

— Помню, натюрлих... Хотя этот императив — не только русский.

Вера убеждена: кто-нибудь из «сборной Европы» наверняка наябедничает, это лишь вопрос времени. Может, Мелани (Вера постоянно делает ей замечания), может, смазливый Марко, который вознамерился приударить за преподавательницей, но получил жесткий отпор. Тоже мне, Челентано, блин! Или жаловаться побежит Кэтрин? На последнем занятии Вера иронизировала насчет ее феминистских убеждений, из-за чего Кэтрин пятнами пошла, заявив, что Вера агрессивно навязывает свою точку зрения, пользуясь статусом преподавателя...

Они беседуют на пороге местного кафе, расположенного на первом этаже. Вроде тема исчерпана, и Вера проскальзывает внутрь, мол, извини, Вальтер, я очень проголодалась.

Вера усаживается за угловой столик, чтобы видеть всех, вкушающих дары шведского стола. Что там ковыряет ложкой Кэтрин? Любимую овсянку? Или взяла яичницу с беконом? У раздачи суетится Патрик, надо полагать, выискивая трюфели под соусом из шампиньонов, а вот и Марко, как всегда, в расстегнутой на две пуговицы рубашке, открывающей черную курчавость на груди. Кажется, итальяшка считает, что сей атавизм выглядит очень сексуально; вот и сейчас он обводит взглядом кафе и,

обнаружив двух особей женского пола, расстегивает третью пуговицу. После чего, набухав в тарелку спагетти с соусом и прихватив бутылку пива, усаживается неподалеку от Веры.

Марко прихлебывает пиво, с усмешкой поглядывая на Веру. Мол, глупая русская, почему ты меня оттолкнула? Я же обнимал тебя страстно, но нежно, как это умеют делать обворожительные уроженцы Апеннин, и если бы мы продолжили в номере, куда я тебя зазывал... Далее он поглощает спагетти: вот, мол, какой у меня аппетит! Именно такой должен быть у самца, который ночью доводит женщин до полного изнеможения, и если ты, дура, этого не понимаешь, то сиди и смотри, как я буду кадрить Мелани.

Войдя в кафе, эта овечка бросается к раздаче и, навалив в тарелку гору всего, плюхается на стул рядом с Марко. Мелани презирает овсянки, диеты, а также депиляцию и дезодоранты. Я, заявила она при знакомстве, сторонница жизни «а натюрель», то есть хочу быть естественной! А спустя полчаса вообще убила заявлением:

— Я хочу секс. Хороший секс с вашим парнем — с русским!

Судя по тому, как вяло она реагирует на воркование Марко, бельгийская сучка не отказалась от планов приманить русского кобеля. Вера же чувствует, как в груди набухает и ворочается нечто темное, готовое вот-вот прорваться наружу, чтобы залить вонючей жижей разносортную жратву, Марко с Мелани, Патрика с Кэтрин...

Она встает, не допив кофе, и выбегает наружу.

Вера оказалась здесь, на тихой улице неподалеку от метро «Новослободская», вопреки логике. По идее ей на пушечный выстрел нельзя было приближаться к месту, где проживала «сборная Европы», занимаясь всяк своим делом, а заодно обучаясь нюансам ВМПС (великого, могучего, правдивого, свободного). Ей полагалось за квартал обходить бывшую гостиницу Высшей партийной школы, переоборудованную для приема иноземных гостей, а вот поди ж ты — устроилась именно сюда! Правду говорят: ненависть и любовь разделяет малая дистанция; и про запретный плод говорят правильно, а еще — что чужая душа потемки, а своя тем более.

Наверное, ей требовался символ, олицетворение вселенской дряни, которая размолотила ее жизнь в труху, заставив скрываться ото всех и вся, а главное, таскаться в «мертвый дом». «Пардон! — возражало второе, более разумное "я". — Энтшульдигунг, а также excuse me! Разве в твоих бедах виноваты нынешние ученики?!» Но, поскольку возражение было негромким, первое «я» с легкостью его перекрикивало: виноваты! Это их тупость, самонадеянность, необыкновенная легкость в мыслях и легкость бытия (кто сказал, что она «невыносимая»?) загнали меня, молодую, симпатичную и неглупую женщину, в полную задницу! Они едут сюда, подстелив соломки, заручившись поддержкой фондов и международных программ, держа в зубах гранты и бонусы и поселяясь скопом в гостинице ВПШ, дабы не пропасть поодиночке в московских джунглях. Им предоставляют очень недурные апартаменты с телефоном, душем, навороченными кухнями, холлами для отдыха, по сути оборудуют своеобразный форт. После чего, экипировавшись и подкрепившись, конкистадоры делают вылазку на незнакомую территорию. «Подожди, не горячись! — не сдавалось второе "я". — Эти конкистадоры, как ты выражаешься, никого не завоевывают, они всего лишь занимаются исследованиями! К примеру, диссертация Кэтрин посвящена женскому вопросу в России. Точнее, гендерному вопросу, а он, как ты понимаешь, у нас далек от разрешения. А Вальтер? Он вообще пишет книгу о советских беспризорниках тридцатых годов!»

Первое «я» с брезгливым выражением выслушивало эту лабуду, набирало воздуха и выдавало: «Трижды "ха-ха!" Эти исследования порождены интересом энтомолога к экзотическим козявочкам! Надо же, как мило: беспризорники! Бедные и несчастные мои инфузории, давайте изучим вас под микроскопом, повернем анфас, сфотографируем в профиль, затем составим отчет о безвременной кончине миллиона козявочек! Напишем трактат, отправим копию в библиотеку Конгресса, пусть и там знают о гибели козявочек. Что? В тридцатые козявочки не гибли, а перековывались в горниле детдомов? О'кей, пусть напишет о перековке, и пусть тема обсуждается потом в ООН. А гендерный вопрос — это вообще нечто! Дабы ускорить его разрешение, я бы послала Кэтрин туда, где пенсионерки охраняют уголовниц с психическими

отклонениями и где охранник нагло пялит свои буркала, в воображении делая тебе минет. Или делая его твоей собеседнице (хотя это, говорят, практикуют и в натуре). Пусть, короче, побудет в моей шкуре, тогда буду ее уважать; а пока она бегает по лесбийским шоу, я этого делать не собираюсь!».

После такого убийственного аргумента (пусть побудут в моей шкуре!) второе «я» окончательно глохло, и первое, распоясавшись, над ним глумилось: «Да они же не видят дальше своего носа! Сытые, благополучные, имеющие возможность в любой момент вернуться в свои обустроенные дома, они напоминают новую номенклатуру! Да, да, не зря они поселились в этой партийной общаге, тут проглядывает нечто символическое: старую номенклатуру смыло волной перемен, но появилась новая, из Европ и Америк, теперь она командует парадом!». Презрение к «господам хорошим» защищало и поднимало в собственных глазах. Да если бы, думала Вера, кто-то из «сборной» узнал, *какое* решение она приняла, он бы в штаны наделал! Памперс запросил бы, а потом билет на ближайший рейс, чтобы никогда не возвращаться в эту страну!

Решение заставляет Веру в очередной раз звонить знакомому: где, мол, обещанный фармацевт? Ах, уже нашел?! С меня причитается, то есть могу проставить коктейль в баре «Марабу». Почему в «Марабу»? Потому что это большая и грустная птица, чем-то напоминающая меня. Ладно, где находится твоя птица? В Царицыне?! Ну, ты совсем к черту на кулички забралась...

Бар выбран по принципу: пребывать в стороне от маршрутов прежних знакомых. Тем не менее при встрече Вера решает подстраховаться:

— Никому не говори о большой и грустной птице, хорошо?

— Ты про этот шалман? — Знакомый по имени Коля с недоумением озирается. — Было б чего рекламировать... Место сбора местных алкашей?

— Не обижай свой народ. Он, как известно, до смерти работает, до полусмерти пьет.

— Видно, какие тут работнички сидят... — бормочет Коля. — Ладно, буду молчать о твоей новой явке. Хотя фармацевт придет именно сюда, ты уж извини.

— Фармацевт пусть приходит, он мне никто.

Коля молчит, хотя по лицу видно: очень хочет спросить — на фига козе баян? То есть фармацевт?

— Чего вытаращился? Снотворное мне нужно, ясно тебе? Знаешь, что такое «Имован»?

— Не-а, — крутит головой Коля, — не знаю.

— Желаю тебе и дальше не знать. А я без него не засыпаю.

— А...

— А без рецепта снотворное не отпускают, потому и нужен фармацевт! Еще вопросы есть?

— Не-а, — говорит Коля, пригубливая коктейль,

«А ты, Коля-Николай, явно имеешь на меня виды! — вдруг понимает Вера. — Неровно ко мне дышишь, не исключено, еще и замуж позовешь!» Ей вдруг делается смешно: надо же, что в голову себе вбил, астроном несчастный! Ну, переспали раз, вроде неплохо получилось, до утра терзали друг друга, а в промежутках между соитиями говорили о звездах. Завернувшись в одеяла, они усаживались на подоконник с бокалами «Изабеллы» и, прихлебывая, таращились в небо под аккомпанемент Колиных разъяснений. Вон там, мол, Скорпион, здесь — Телец, а тут Дева! Где, где она? Кто? Дева. Да вот же она! Обнявшись, они покатывались со смеху, астроном подхватывал ее на руки, тащил в кровать, и опять начиналось сплетенье рук, сплетенье ног... Увы, в судьбы сплетенье связь не переросла, потому что случилось *событие*, перевернувшее всю жизнь. Коля, что называется, вошел в положение, пытался успокаивать, предлагал куда-то уехать месяца на два, а еще лучше — на полгода. Но Вера отмалчивалась, уйдя в себя. Если использовать терминологию астронома, она стала выгоревшей звездой, погасшим светилом, внутри которого кончилось термоядерное горючее. «А что потом с ними происходит?» — спросила она, узнав о существовании выгоревших звезд. «Такие звезды взрываются», — ответил Коля, что тоже напоминало ее, Веру. Для жизни у нее «горючего» не хватало, а вот для взрыва — вполне, и

Коля-Николай, у которого, по счастью, имеются знакомые фармацевты, в этом ей поможет.

— Ну, и где твой кадр с рецептами? Позвони, поторопи его, что ли...

Потыкав в кнопки мобильного, Коля разводит руками: вне зоны доступа, не иначе, в метро едет. А затем, кашлянув, говорит:

— Все это жутко, конечно, но уходить в свою раковину, как улитка, не стоит. Жить все равно надо. Помнишь, мы говорили про Канта? Которого больше всего удивляло звездное небо над головой...

— ...и нравственный закон — под ногами! — раздраженно добавляет Вера. Разговоры в пользу бедных бесят, из нее опять рвется наружу черная жижа, но она пока сдерживается. Если астроном уйдет, как она опознает фармацевта? Когда Вера допивает коктейль, Коля-Николай заказывает еще, мол, теперь плачу я. А затем говорит: мы разучились видеть чудесное — в обычном. Нам нужно настоящее чудо, чтобы все газеты и телепрограммы трезвонили, чтобы сенсацией пахло за версту, а вот в обыденной жизни...

— Ты кого имеешь в виду?

— Сама знаешь: кого.

— Ах, вот как...

Вера набирает в легкие воздуха, затем выдыхает: стоп, не будем рубить с плеча. Не будем плескать коктейль в лицо, просто убьем взглядом звезданутого недотепу. Вера вдруг различает нелепую долговязую фигуру, неуверенность во взгляде, даже веснушки проступают на бледной физиономии. Откуда?! Раньше не было веснушек! Она еще раз набирает воздуху и ровным голосом произносит:

— Ты ни черта в этом не смыслишь. Ты... Да ты просто не имеешь права говорить о Нормане! Лучше смотри в свои телескопы, копайся в своих дурацких спектрометрах, а сюда не лезь!

Она таки срывается на крик, и Коля вскоре натягивает куртку. К столику приближается некто в черном плаще, он с удивлением взирает на Колю-Николая, кидающего на стол купюры (как раз принесли коктейли).

— Эй, ты куда?!

Однако вопрос обладателя плаща обращен уже в спину.

— Кажется, я попал на конфликт?

— Это не помешает. Вы...

— Я тот, кто вам нужен.

— Тогда присаживайтесь. Кстати: можете выпить, это наш заказ.

Перебирая в памяти обрывки разговора, Вера запомнила чувство брезгливости, смешанное с облегчением: ура, ей повезло! Никакого тебе базара о звездном небе, подход оказался деловым, хотя поначалу Вера удивила даже этого прожженного делягу.

— Ого! — округлил он глаза. — Я думал, вам нужно снотворное, а этот препарат, знаете ли...

— Вполне безобидный, — пожала плечами Вера, — ну, в малых дозах.

— В малых — да, но стоит чуть прибавить... Откуда, кстати, вам о нем известно? Это специальная информация, не все мои коллеги о нем знают...

— Я смотрю передачу «Хочу все знать». Вы не смотрите?

— Есть такая передача? Ладно, какая мне разница. Вопрос в сумме. Сколько? Тут ведь пахнет сами знаете чем.

С третьей попытки пришли к консенсусу. Помнится, он еще поинтересовался, дескать, зачем вам препарат? Хотите покинуть лучший из миров? А Вера ответила, что в доме завелись крысы и она собралась сократить их поголовье.

— Крысы, значит... Хотя какая разница? В общем, условия такие: деньги вперед, половина сейчас, остальное — когда достану препарат. Возьмете его в условленном месте, я вам лично передавать не собираюсь. И вообще мы с вами не виделись и друг друга не знаем.

Потом звонил Коля и, заикаясь, говорил: с этим фармацевтом надо быть осторожнее, он скользкий какой-то, и зря он (Коля) их свел. Вера высказалась в том духе,

что, мол, поздно пить «Боржом», когда почки отвалились, после чего отключила телефон.

Ни черта ты, Коля-Николай, в жизни не смыслишь. Ты и представить не можешь, что вовсе не обязательно направлять телескопы в черную бездну с ее бесчисленными светилами, галактиками и прочей мурой, сияющей благодаря непрерывной термоядерной реакции (так ты вроде объяснял?). Звезда может вспыхнуть и рядом с тобой. Согласно твоей терминологии назовем ее Сверхновой, каковая внезапно разрастается, пухнет и вскоре начинает слепить глаза, так что в ее сиянии окружающие звезды меркнут, они почти не видны.

Сияние проявилось уже на фото из Дома малютки. Когда Нормана регистрировали, пригласили фотографа, но снимки получились бракованные. То есть это сестра так считала, мол, отсветы, блики, так что верните деньги! И хотя она порвала снимки, что-то уцелело, и Вера уверена: это сияние над головой мальчика. Ха-ха, скажет кто-нибудь, может, это нимб?! Нимб или нет, а сияние присутствовало, что видно даже слепому.

А его феноменальные знания? Еще до того, как он толком научился ходить, не говоря уж о «читать», им были поименованы все греческие боги. Помнилось, у Веры отвисла челюсть, когда Норман, листая иллюстрированную книжку (он любил книжки с картинками), перечислил: Афина, Аполлон, Зевс, Гермес... «Кто-кто это?» — ошарашенно спросила Вера. А Норман ткнул пальцем в обнаженного бога с крылышками и, картавя, повторил: Гелмес! А как он грибы собирал? Он их не искал — он находил отборные белые даже под листвой, словно видел сквозь нее, так что увлекательное, по идее, занятие превращалось в банальное набивание корзин дарами леса. Поэтому Веру ажиотаж не удивлял — она могла бы рассказать немало удивительного, жаль, никто не спрашивал. Спрашивали сестру, вдруг очнувшуюся и быстренько прибравшую уникального отпрыска к рукам.

Это будет точное выражение: прибрала к рукам. Заполучила в собственность, можно сказать, поскольку именно из ее лона вышел на свет феномен по имени Норман. Удивительные существа женщины: они считают, что вынашивание, роды, вскармливание и прочая лабуда дают право распоряжаться чужой судьбой! Да ты глаза пошире раскрой, дуреха, твое тело просто использовали, как инкубатор! Увы, не хочет раскрывать глаза. Хочет владеть единолично, чтобы звездиться, молоть языком перед телекамерами, чувствуя себя как минимум Марией Ульяновой. А как максимум — понятно, какой Марией. Вокруг чего-то невероятного всегда найдутся шептуны, которые надуют в уши такое... Ей и надули ребята из окружения Учителя — так сестра именовала одного нового знакомого, великого и ужасного Руслана-непомню-как-по-батюшке. Этот кадр прибрал к рукам сразу двоих, вначале дуру-сестру, а через нее — Нормана. Он и на телевидение их протолкнул, и в научные институты посылал, дабы поверить феномен алгеброй. И это, возможно, переполнило чашу.

Как именно переполнило? Вера не знает, она лишь приблизительно может восстановить картину, дополнив ее воображением. Это был период откровенного фанатизма сестры, утратившей человеческий облик. Она сделалась фурией, мегерой, куском пакли, что вспыхивал от малейшей искры, короче, невроз в крайней степени, переходящий в психоз. Фурия мечется по дому, мысленно проклиная оппонентов, мужа (к тому моменту бывшего) и нервно говоря: собирайся, едем в Петербург, на комиссию в Институт мозга! Старая кляча Бехтерева утрется, когда своими глазами тебя увидит! Норман молчит, потом тихо говорит: я не поеду. «Как не поедешь?! — вспыхивает пакля. — Это крайне важно!» Но мальчик не хочет, он устал, и вот уже негодование переходит в гнев, мол, надо им доказать, пусть проверят твои способности! И пусть гены проверят, я знаю: это от моего прадеда к тебе перешло, он тоже был уникум! А мальчик просит оставить его в покое, он хочет в деревню, где живет бабушка и где в реке водятся раки. Большегубый рот перекашивает: какие раки?! Какая бабушка?! Мы обещали Учителю, что пройдем эту чертову комиссию, вырвем у нее заключение, и тогда все точки над і будут расставлены! Сестра хватает ремень с массивной пряжкой, угрожая расправой, и тут Норман совершает ошибку. Если не пускаешь к бабушке, говорит он, отправь меня к папе, это уже подобно красной тряпке. Между матерью и отцом к тому времени накопилось столько, что они

на дух друг друга не переносили; и вот уже мегера визжит, и пряжка гуляет по спине непокорного отпрыска. Или там было что-то тяжелее пряжки? И били не только по спине, но и по голове, по рукам, по лицу, которое превратилось в сплошной кровоподтек...

Здесь воображение обычно отказывает. Слишком жутко; да и какой толк в подробностях? Главное, Сверхновую загасили, и кто-то должен за это поплатиться.

Спустя несколько дней она отправляется в условленное место, где фармацевт оставил «снадобье». Едет на указанный виадук, разыскивает третий с краю фонарь, в основании видит кирпич (бог мой, кино про шпионов!), за которым лежит полиэтиленовый пакетик с желтоватым порошком. Как ни странно, потешная конспирация помогает, она превращает в игру вполне серьезное (даже страшное) мероприятие. Инструкций нет, они существуют лишь в устном варианте, но память у Веры хорошая. «Пять к одному, — повторяет она, входя в подъезд, — то есть пять частей жидкости и одна часть чудо-порошка...»

Йогурт уже куплен — тот, что просили: питьевой. У питьевого, по счастью, имеется крышечка, которую можно отвинтить, отлить немного густой белой массы и влить полученный раствор. Устная инструкция утверждала: зелье бесцветно и безвкусно, значит, никакого подозрения не возникнет. И никакого эффекта поначалу не будет. «Это, — усмехнулся фармацевт, — не яд кураре, он действует исподволь. Вроде как почечная недостаточность развивается, причем не сразу, а с течением времени. Но результат дает стопроцентный». Идеальная, короче, отрава: и алиби обеспечит, и с гарантией отправит эту душу в ад.

Манипуляции выглядят неким ритуалом, Вере так легче. «Душу — в ад» — тоже часть ритуала, она ведь не знает: есть ад? Или это выдумки? Зато она знает другое: если не поставить барьер, это существо когда-нибудь может оказаться на свободе. У нас, подчеркнул в беседе лечащий врач, нетипичное пенитенциарное учреждение. То есть это не тюрьма. И если консилиум посчитает, что пациентка практически выздоровела, может быть принято соответствующее решение.

— Подождите, я что-то не поняла... Что значит: практически выздоровела?! А как же...

— Ну, это ведь происходило в помраченном состоянии сознания, что признала экспертиза. Не исключено, спустя время мы отдадим ее на попечение родственникам. Иначе говоря, на ваше попечение.

И это было еще одним аргументом, толкавшим в спину: какое, к черту, попечение?! Да она с балкона ее скинет, в ванне утопит или сделает чего похуже!

Так, йогурт уложен, и пробка завинчена аккуратно, словно никакого вскрытия не было. Следом в пакет укладывается зубная паста с мятным вкусом, домашние тапки с кошками, халат и банка ананасов, конечно же нарезанных кольцами. Чтиво, правда, отсутствует, но оно вряд ли понадобится. На том свете (если таковой опять же существует) обходятся без журналов и газет. Вера подхватывает пакет, выходит на площадку и спускается вниз. Спускается торжественно, продолжая ритуал, словно Немезида, исполняющая волю Рока.

Вдруг вспоминается сон, в котором гигантский ребенок выводит на доске: «ФАРМАЦЕВТА НЕ НАДО». Извини, Норман — надо. Возможно, она вообще симулировала невменяемость. А что? Всегда была немного актрисой, Вера никогда не понимала: всерьез говорила она или подтрунивала? И если оставить ее в живых, она еще раз украдет чей-нибудь невероятный сон, убьет чью-то надежду, значит: казнить, нельзя помиловать!

Дорога неблизкая: метро, потом на автобусе почти до МКАД, но это все равно Москва. А ведь когда-то была надежда, что сестру ушлют подальше: в Питер, в Казань, в крайнем случае, в Смоленскую область, где тоже имелся «психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением», другими словами, «мертвый дом». Еще до суда, зная о заключении врачей, они с матерью выяснили эту жуткую географию, правда, переживали по разным поводам. Мать беспокоилась, чтобы не услали очень далеко, Вера, наоборот, желала отдалить сестрицу на максимальную дистанцию. Так нет же, нашлось и здесь богоугодное заведение, упрятанное на задворки мегаполиса!

На этот раз Вера отказывается от встречи, только оставляет в окошке передачу. Толстая тетка с бородавкой на щеке буравит Веру взглядом, будто знает о ее планах и сейчас противным резким голосом вскрикнет: «А ну-ка, отправим этот йогурт на экспертизу!» На самом деле никакого вскрика нет, окошко захлопывается, значит, можно идти домой. Вера даже разочарована тем, что возмездие осуществилось столь буднично — финальная часть ритуала, по сути, выглядела трюизмом.

Дверь, ступени, асфальтовая дорожка, ведущая к выходу с территории, КПП — Вера минует все это. На душе пусто, как бывает, когда долго и тщательно готовишь какое-то важное дело, а потом резко его сбрасываешь. Пока Вера размышляет, чем бы заполнить зияние внутри, оно само начинает заполняться, так что делается не по себе. Вера добредает до остановки, ждет автобус, а мысли между тем становятся все назойливей. Ты, мол, не совсем права, а может, совсем не права. Почему сестра должна отвечать за всех? Разве она одна виновата? История борьбы за Нормана — это ж целая эпопея, почище войны Алой и Белой роз! И в этой войне никто средств не выбирал, то есть обе стороны были хороши!

«Все, дело сделано», — говорит себе Вера, глядя на выползающий из-за поворота автобус. Однако дверцы схлопываются перед носом, а она по-прежнему торчит на остановке. Почему казнить полагается сестру? Почему не послать йогурт бывшему мужу? Он тоже заслужил сей «дар Изоры», а может, вообще должен принять угощение вместо нее. Или сыпануть эту адскую смесь в спагетти, которые любит Марко? В овсянку Кэтрин сыпануть или (для верности) приправить весь шведский стол? Это ведь они во всем виноваты, а сестра — просто жертва обстоятельств! Спасительные «они», олицетворяющие беды и страдания этого мира, укладываются на весы могучей гирей, и перевес уже на другой стороне.

Начинает моросить, Вера прячется под крышу, но вернуться не решается. Возвращение — верх нелепости, да и не отдадут ей обратно передачу! Ноги, тем не менее, сами направляются к КПП, она ловит удивленный взгляд охранника, бормочет, мол, кое-что забыла, и спешит к главному корпусу. Кино крутится в обратную сторону: опять дверца, бородавка, и голос (Вера угадала: резкий и противный!) посылает ее подальше. Только Вера знает: если ей не вернут просроченный, как она утверждает, йогурт, она сама протиснется в окошечко и, разодрав в кровь толстую рожу, отберет бутылочку.

Несколько минут пролетают как один миг. Она выпадает из привычного пространства-времени, придя в себя уже на остановке. Дождь припускает основательно, но Вера не замечает его, она сжимает в руке бутылочку, которая сейчас улетит в урну. Нет, в урну нельзя, не дай бог какой-нибудь бомжара положит глаз на дармовое угощение, чтобы убедиться: не все йогурты одинаково полезны. Мелькает дикая мысль: не глотнуть ли самой? Чтобы через неделю-другую переместиться в нирвану? Соблазн столь велик, что Вера буквально заставляет себя вылить содержимое в мутный поток воды, бегущей по асфальту...

5. Польский тамбур

Он переполнен историями, этот пан Анджей, они из него сочатся, как пот. Пот тоже сочится, пан — очень грузный и еще постоянно прихлебывает пиво, с одного глотка уничтожая половину кружки. На пшеничных усах оседает пена, ее утирают, и пан вроде как прислушивается к тому, как пиво медленно стекает по пищеводу, попадая в резервуар, именуемый в моей стране Bierbauch — пивной живот. После чего прямо из живота-бочки жидкость устремляется в кожные поры, выходя наружу блестящей испариной.

— Они — другие! — убежденно говорит пан, утирая испарину полотенцем. — Совсем другие!

— Совсем-совсем?

— Можно сказать, они... — он подбирает понятие из немецкого языка. — Антилюди!

— Вы хотите сказать: антиподы?

— Ну да, это и хочу сказать! Настоящие антиподы! Один мой знакомый поехал в Брест организовать бизнес: он хотел получать бензин и сигареты в обмен на вещи. Так вот, они сидят и ведут переговоры, как и положено. И что делает один русский?! Когда ему не понравились условия, он выхватил пистолет и прострелил договор вместе с крышкой стола! Мой знакомый еле успел убрать из-под стола ногу, он мог бы остаться инвалидом!

Еще один глоток, прислушивание и — новая страшная история, призванная остановить безумца.

— Мой дед тоже говорил: они — другие! Вот скажи: когда наступает нормальная армия?

— Не знаю. У меня только костюм армейский, в нем удобно ходить пешком. Я не был на военной службе.

— Зря не был! Парень должен служить, чтобы в случае чего... Ну, сам понимаешь. Так вот: нормальная армия, как говорил мой дед, наступает летом. Наполеон наступал летом, Гитлер тоже наступал летом, и только русские наступают зимой!

Я осторожно замечаю, что и Наполеон, и Гитлер потерпели поражение, значит, их стратегия не является образцовой.

— Правильно, потерпели! — говорит пан. — Потому что дураки были! Гитлер вообще до Москвы не дошел, Наполеон пробыл там несколько недель. И только мы, поляки, завладели Москвой почти на год! Только мы, поляки!

Очередная история призвана доказать избранность поляков, маленького, но гордого народа, зажатого между русским и немецким мирами и таящего неприязнь к обоим. Я вдруг вспоминаю мать. Рассказывая о родине первого мужа Жан-Жака, та всегда подчеркивала неопрятность французов: как только переезжаешь границу, говорила она, сразу появляется грязь! Мусор на перронах, окурки, пьяные клошары, сразу видно: это — не Германия! Она не называла французов свиньями (это было бы слишком), но исключительность немцев подчеркнуть любила. И пана, скорее всего, не приняла бы в свой круг. В этом приграничном городке тоже заметна грязь, Ordnung соблюдается не везде, зато на лбу каждого встречного читается: мы — европейцы! На лбу пана Анджея уж точно читается, он даже готов поступиться избранничеством, лишь бы влиться в Евросоюз.

— Я не помню Аушвиц! — крутит головой пан. — Я его забыл, честное слово! Мы хотим к вам! Давай за это выпьем? Только пить будем шнапс, или, по-нашему, водку. Ты ведь знаешь, что «водка» — это польское слово?

— Польское?! Я думал: русское...

— Нет, — качает головой пан, — они у нас его позаимствовали.

— Возможно, — говорю. — Только пить водку вместе с пивом нельзя. Надо есть.

— Почему нельзя?! — удивляется пан. — Можно! Очень даже можно! А есть будем потом! Мы будем закусывать бигосом! Знаешь, как замечательно моя жена готовит бигос?

Становится смешно. Живя на границе с восточной страной, пан и сам — часть Востока, но видит себя на границе с Западом, а может, вообще в центре Европы, которая кружится вокруг маленького, но гордого народа хороводом звездочек — тех, что на эмблеме Евросоюза. Польше очень туда хочется, и она напрягается: строится, одевается, торгует, что очень заметно в приграничном городке, наполненном большими и маленькими рынками. На рынках там и тут лежат огромные тюки, надо полагать, с одеждой или обувью, их носят бесчисленные носильщики, перевозят крытые и открытые автомобили, и все это приносит звонкие «злотые», на которые можно купить новый автомобиль или выстроить уютный двухэтажный домик, как у пана Анджея. Я не знаю, чем торгует пан, но, судя по животу и стоящему под окнами Audi, прибыль получается неплохая. Чудо преображения национальной гордости во что-то предметное, материальное, комфортабельное — вот что я вижу перед собой. Страна хочет отрастить Bierbauch, но забывать ради этого Аушвиц, конечно, не стоит...

В комнате сына, которую предоставляют для ночлега, я вижу на стенах плакаты с изображениями Рембо, Терминатора и прочих суперменов. Сын отсутствует, пан сказал: служит в морской пехоте, и я думаю, служит с удовольствием. Накачивает

мышцы, тренируется в стрельбе из автомата, вышагивает по плацу, с каждым днем приближаясь к своим идеалам, в сущности, тоже хочет чудесного преображения мальчика из польской провинции — в Сверхчеловека. Вряд ли мечта сбудется; а вот шанс угодить в очередной «ограниченный контингент» у парня есть. Когда он вернется в запаянном гробу, пан будет безутешен и, скорее всего, проклянет тот год, когда Польша обязалась поставлять в далекие воюющие страны пушечное мясо. Это будет очередное печальное преображение сознания человека, его взглядов, сегодня одних, завтра абсолютно противоположных.

«А ты разве лучше? — спрашиваю себя, укладываясь на жесткую кровать. — Разве ты не пережил преображение сознания? Если бы ты рассказал пану о мотивах своего путешествия, он бы от удивления подавился пивом. А потом долго крутил бы пальцем у виска, показывая, что ты — сумасшедший. Думается, он вообще вычеркнул бы тебя из списков немецкой нации, потому что немцы такими быть не должны».

— Почему не должны? — отвечает темнота, когда выключаю свет. — Вспомни Ahnenerbe, это была целая служба, которая занималась таинственными и оккультными явлениями. Вспомни предсказателей и астрологов, они постоянно крутились рядом с Шикльгрубером, который, между прочим, мечтал в детстве сделаться аббатом.

— Точно мечтал? — спрашиваю упавшим голосом.

— Абсолютно точно. Genau. И его будущий сподвижник Йозеф Геббельс всерьез задумывался о церковной карьере, так что стремление к мистике — в вашей крови.

Я лежу, думаю, различая в полутьме силуэт. Это ребенок, только большой, можно сказать: маленький взрослый. Я понятия не имею, что еще может выдать этот взрослый-ребенок, во всяком случае, когда в семилетнем возрасте он произнес подлинную фамилию Гитлера — «Шикльгрубер», а затем взялся рассуждать о судьбе Третьего рейха, моему удивлению не было предела. «Норман, откуда ты это знаешь?!» — спросил я. А тот вопросительно посмотрел на отца, будто советовался: отвечать этому дураку? Или пусть пока пребывает в неведении? Франц прятал улыбку, чтобы не так было заметно: он буквально сияет от счастья. Я уже слышал что-то о необычных способностях племянника, но одно дело слышать, другое — самому беседовать с юным созданием, допустим, о римских императорах. Или слушать, как тот наизусть читает Вергилия, причем на латыни! «Ребенок-энциклопедия» — окрестили его журналисты, от которых ничего не скроешь. Хотя Франц и не пытался скрывать, он даже был доволен (поначалу), что вокруг мальчика такой шум. Было время, я тоже об этом писал, публикуя материалы в «Городской газете»; и в других газетах писал, но потом перестал. Вдруг стало понятно: мои слова ничтожны в сравнении с феноменом, который не укладывался в рамки ходячей энциклопедии. Это был лишь верхний слой, кожура плода, а сам плод пребывал нетронутым, лишь иногда намекая на свой необычный вкус.

Один из намеков проявился красноватой сыпью на коже, то есть это поначалу казалось, что на теле — сыпь. Когда же присмотрелись, различили буквы, которые вроде бы складывались в слова. Проныры-журналисты тут же раззвонили об этом, после чего под окнами Франца начали появляться «паломники» — вначале поодиночке, затем толпами. Помню, заезжие кришнаиты сидели под липами целую неделю; когда же их спрашивали о цели пребывания, пускались в рассуждения о новой аватаре великого Кришны. Нехорошо, говорили, прятать Кришну, но они люди кроткие и терпеливые, они будут ждать. Хозяин расположенной в доме булочной в те дни делал двойную, а то и тройную выручку — «паломники» не были склонны поститься и поглощали свежие булочки в немалых количествах. Недоволен был только Франц, вдруг осознавший: у славы есть еще и бремя, то есть лучи софитов могут обжигать. А тут еще органы здравоохранения забили тревогу: у мальчика кожная болезнь, а вместо лечения отец и представители СМИ вычитывают на его теле какие-то письмена! Когда же приехала русская мать и потребовала, чтобы отдали сына, вообще начался сумасшедший дом. Франц в конце концов сдался, он не мог сдержать бешеного напора, хотя, если б знал, что произойдет через несколько месяцев...

Глядя на силуэт, я хочу спросить Нормана о судьбе его неистовой русской матери. Я знаю: был суд, признание невменяемости и какое-то психиатрическое

учреждение, куда ее поместили. Больше я не знаю ничего, но и спрашивать неудобно — слишком страшная тема.

— Ты много знаешь... — говорю после паузы. — Точнее, ты знаешь то, что тебе знать не полагается.

— Это странное утверждение, — отзывается темнота. — Что значит: полагается или не полагается?

— Ну, если ты такой всезнающий, то... Известно ли тебе, что у твоей матери была сестра?

— Конечно. Я не раз с ней играл, беседовал, как с тобой. И она тоже говорила, что я слишком много знаю.

— И как же ее зовут?

— У нее необычное имя — Вера, у вас так женщин не называют.

— Ты говоришь: «у вас»?! Мне всегда казалось, что для тебя не существует «у вас» или «у нас». Ты — порождение двух цивилизаций, верно?

Темнота отвечает молчанием.

— Норман! Почему молчишь?! Я хотел просить о поддержке в дороге, чтобы ты меня защитил...

Когда силуэт исчезает, с плакатов сходят супермены и, окружив кровать, хохочут.

— У кого ты просишь защиты?! У беспомощного малыша?! Он слабый, он даже себя не смог защитить, а ты хочешь, чтобы он защитил тебя!

Они играют накачанными мышцами, бряцают тесаками и с лязгом передергивают затворы крупнокалиберного оружия. «Может, ты вообще больной? — интересуется Рэмбо. — Есть такой диагноз: шизофрения, когда сознание раздваивается. Здесь ведь нет никакого мальчика, есть только мы, продукты массовой культуры, воплощенные грезы маленьких людей о могуществе!».

Я отворачиваюсь к стене. Это не шизофрения, не галлюцинация, это игра, которую я придумал. Я вроде как брал в дорогу виртуального спутника-собеседника, кто скрашивал бы мне долгий путь. Спутники могли менять облик, и первым, когда я шагал к вокзалу, меня нагнал виртуальный Франц.

— Ты точно решился? — спросил он. — Не боишься пожалеть?

— Я постараюсь не совершать твоих ошибок.

— И как же ты их избежишь?

Я выдержал паузу.

— У меня нет иллюзий, — сказал я осторожно. — А у тебя они были. Помнишь Исмаила?

— Помню, конечно. Я знаю, он стал успешным, у него появился свой бизнес... Где он сейчас?

— Он погиб, совсем недавно. Уже после того, как у тебя все произошло. Сгорел вместе с машиной.

— Как сгорел?! У него была старая машина?!

— У него была новая машина. Он купил новенький Volkswagen и поставил его перед домом. Но в ту ночь наши люди... Нет, мне трудно произнести слово: наши. В общем, они традиционно развлекались: подкладывали петарды под машины турок. Машина Исмаила вспыхнула, он выбежал ее тушить, и тут взорвался бензобак.

— Почему они подкладывали петарды?!

— Потому что турки — другие. Я писал об этом по поручению редакции, и один из тех, кто поджигал машины, дал интервью — инкогнито. Так вот он сказал: мы даем понять, что они другие и лучше бы им отсюда убраться. Это ведь иллюзии диктовали тебе: пойди, пообщайся по-человечески с «чужими», и все проблемы за секунду решатся! Все обнимутся, как братья, и начнут жить по общим законам! Не-ет, Франц, все гораздо сложнее! Помнишь форму здания твоего института? Снизу она не просматривается, но с птичьего полета заметно, что институт Густава Штреземана выстроен в форме вопросительного знака.

— И что?

— Вопросительного, заметь. Основатели этого учреждения были осторожными людьми. Понимали, что сливаться в объятиях одним и другим — очень непросто!

Вторым явился Норман, что тоже объяснимо. Он сидит в моем подсознании, командует воображением, и я не удивлюсь, если в пути он явится мне подобно тому, кто явился двоим, идущим в Эммаус...

Сестра — другое дело, тут нет никакой мистики. Ее адрес тоже имеется в блокноте; три месяца назад я даже написал ей заказное письмо, вернувшееся с пометкой: адресат отсутствует. А я так хочу разыскать ее!

Пока же я топчусь в этом польском тамбуре, не решаясь перейти из одного вагона в другой. Хожу по городку, наблюдаю деловую суету местных «гешефтмахеров», пью кофе или пиво, по возможности общаюсь. В одном кафе мой костюм привлекает внимание пожилой польки, учительницы немецкого языка. Оказывается, пан Анджей утаил массу сведений об этом городке, очень древнем и даже знаменитом. Городок находился под властью множества королей, не раз переходил из рук в руки, в общем, обладал многовековой историей и даже мистическими преданиями. В местном костеле, как мне сказали, имелась статуя Мадонны, которая воздействовала на погоду. Если неделями хлестал дождь или налетал шквалистый ветер, Мадонну выносили из костела под открытое небо и начинали молиться. После чего метеообстановка тут же нормализовалась.

— А где сейчас эта статуя?

— Погибла. Во время войны в костел попала бомба, и Мадонна сгорела.

Пани Гражина (так зовут мою визави) очень хочет рассказать что-то еще, но мне, к сожалению, пора покидать тамбур, я и так задержался.

Перед отъездом я спрашиваю пана Анджея насчет Мадонны — слышал ли он об этом? Тот озадаченно чешет затылок.

— Слышал что-то такое... Они тут, ну, наши ксендзы, вроде как колдовали, чтобы погода хорошая была.

— Вы считаете: молиться и колдовать — это одно и то же?

Пан машет рукой.

— Да я в этом не разбираюсь! И не верю совсем. Я вот в это верю! — Он указывает на черную блестящую Audi. — В немецкий мотор верю! В этот... В прогресс!

В меня, как я понимаю, он не очень верит, то есть я и прогресс — два несовместимых понятия. Как иначе, если по российским дорогам (по мнению пана, очень плохим дорогам!) вместо надежного немецкого мотора меня понесут ненадежные ноги? Ведь их могут прострелить или поломать сумасшедшие аборигены, они могут устать, оказаться сбитыми до крови, да и вообще это глупо. Вежливый пан не говорит таких слов, но они вертятся у него на языке, я чувствую.

— Там нет прогресса, — говорит он, глядя на восток. — Там есть только лес. При этом в лесу ты будешь чувствовать себя спокойно, а в городах — нет!

Внезапно поднимается ветер, начинает накрапывать дождь, и на лице пана появляется озабоченность. Он мог бы довезти меня до пограничного поста, но, увы, надо спешить на склад, поэтому едем до автовокзала.

На вокзале ко мне приближается улыбчивый оборванец, нахально ощупывает мой рюкзак, затем протягивает руку.

— Янек, иди отсюда! — отгоняет его пан. — Иди, дурная голова, не приставай к человеку!

Он поясняет:

— Это наш дурачок, местный. Так-то он ничего, безобидный, но за руку с ним лучше не здороваться.

Поздно: городской сумасшедший Янек крепко сжимает мою ладонь, словно благословляет на дальнейший путь. Свой опознал своего, выдал визу, разрешающую пересечение границы с восточным блоком...

Настоящее разрешение я получу вечером, отстояв очередь к зданию КПП. Где-то слышится гул техники, это переставляют вагоны с одной железнодорожной колеи на другую. А в очереди то и дело звучат слова: «летнее время», после чего начинается перевод часов, сопровождаемый разноязыкой руганью. По ту сторону границы все другое: другое время, другая ширина колеи, и я сам не знаю: зачем отправляюсь путешествовать по этому миру?

6. Кино судьбы

На очередном занятии в рядах «сборной Европы» назревает непонятный конфликт, вроде как игроки спорят о стратегии матча, не посвящая в суть разногласий тренера. Вера несколько раз прерывает урок, стучит указкой по столу, но тихие реплики на английском (универсальный, черт побери, язык!) не смолкают. В чем дело?! Это кому надо — вам?! Или мне?! Вера только что растолковывала тонкости жаргонных выражений, по их же просьбе, а внимания — ноль!

Наконец Патрик изволит объяснить, мол, обсуждаем вчерашний телерепортаж.

— Утром тоже показали репортаж, — нервно уточняет Кэтрин, но Патрик поднимает руку: неважно. Важна сама конфликтная ситуация, связанная с ребенком, которого отец тайком вывез в родную страну.

— Какого ребенка?! — не вникает Вера. — Куда вывез?!

Оказывается, речь о бракоразводном скандале некой Инны Барановой и Анри Мишо, подданного Французской республики, куда и был вывезен малолетний Александр. У Веры, как всегда при волнении, холодеют пальцы. Они что — нарочно? То есть что-то знают и разговор про каких-то Анри Барановых — лишь повод выведать еще больше?

Чтобы не выдать себя, она присаживается. Нет, этот случай не имеет к ней отношения, она убеждена. Здесь другая история, хотя тоже был спор из-за ребенка и судебный процесс, который продолжался несколько месяцев. Патрик, понятно, на стороне папаши Анри, и не только из национальной солидарности. Александр родился во Франции — вот что главное! Да, в процессе зачатия в равной степени участвуют и мать, и отец, но дальше роль играет место рождения!

— Инна Баранова почему-то не отказалась рожать в Лионе, в дорогой клинике. Очень дорогой! И за это платил... Кто?!

— Кто же платил? — спрашивает Вера.

— Анри Мишо! Это значит, по закону он имеет право на ребенка! Но у вас... В общем, у вас не очень уважают закон.

— А Франция не уважает права женщин! — встревает Кэтрин.

Патрик пожимает плечами.

— Закону не важно, кто нарушил: мужчина, женщина... Римляне говорили: Dura lex, sed lex! — Он смотрит на Веру (нагло смотрит!). — Не знаю, как это по-русски...

— Закон суров, но это закон... — бормочет Вера.

— Но почему закон для женщины?! — не унимается Кэтрин. — Почему закон не для мужчины?! Знаете, как это называют?

— Как это называют? — лениво вопрошает Марко.

— Это называют: сексизм! Вот почему много женщины делают...

— Что делают? Аборто? — Марко подмигивает Кэтрин, от чего та вспыхивает до кончиков рыжеватых волос.

— Почему have an abortion?! — От волнения англичанка переходит на язык родных осин. — Они делают artificial insemination! На русском это... Оплодотворение без мужчины!

— Совсем без мужчины нельзя... — хихикает Вальтер.

А Марко опять подмигивает, теперь уже Вере. Мол, поняла, куда я гну? От меня никто не будет делать «аборто»; и оплодотворения захотят не анонимного, через пробирку со спермой, а только в натуре. Наверное, он тоже хочет ее вогнать в краску, как феминистку с туманного Альбиона, только шалишь, Челентано, не на ту напал. Вера вообще не встревает в перепалку, она успокоилась и желает насладиться разбродом и шатанием в рядах «сборной Европы».

Не такая уж сыгранная команда, если честно: стоило чуть-чуть измениться правилам игры, и вот, гол в свои ворота! Как минимум — пас в ноги противнику, а почему? Потому что мир разрезан не только крест-накрест, но и по диагонали, а еще горизонтальные слои между собой разделены, значит, как говорили те самые римляне... Ага: разделяй и властвуй! На время она чувствует себя хозяйкой ситуации: можно подыграть Патрику, можно — Кэтрин или никому не подыгрывать, а молча

таращиться в потолок, как Мелани, надувающая пухлыми щечками очередной пузырь жвачки. Эту овечку спор не колышет, ей хочется хорошего (при этом — безопасного!) секса, а всякие семейные дрязги — по барабану!

— У них был брачный договор! — продолжает спор Патрик, будто Марат на трибуне Конвента. Это он затеял свару, все-таки *его* соотечественник вступил в спор за живое наследство; да и вообще юриспруденция — его специализация, он вечно таскается с какими-то кодексами под мышкой.

— Это несправедливый договор! — возражает Кэтрин. — Там писали: имущество надо делить не... Не фифти-фифти, в общем, а каждый получает, что купил! А еще этот Мишо писал, что не будет обеспечить семью после развод! Это разве цивилизованный контракт?!

Марко закатывает глаза к потолку, затем достает маленькое карманное зеркальце и оглядывает себя. Ну, блин... Нарцисс из Лацио!

И вдруг: шпок! Это лопается пузырь на губах Мелани, после чего сборная дружно обращает на нее взоры, мол, чего отсиживаешься на скамейке запасных? А ну, вступай в игру!

— Excuse me... — смущается невинное дитя. — Почему вы... Так смотрите?!

— Мы хотим знать твое мнение! — требовательно говорит Кэтрин. — У тебя есть мнение?

— У меня?! — удивленно таращится Мелани.

— Да, у тебя. Что ты думаешь об этой женщине? У которой хотят отнимать ребенка?

На физиономии Мелани проявляется скука.

— I don't know... Я не знаю, я думаю... В общем, я думаю: рожать должны арабы!

Вера прыскает в кулак, затем аплодирует.

— Браво, Мелани! Рожать должны арабы, индусы, турки, а цивилизованные народы будут сидеть на одном месте и наслаждаться плодами цивилизации! Устами младенца глаголет истина! Кстати: что означает это выражение? Вальтер, вы знаете?

Она сворачивает полемику, возвращая команды на исходные позиции. Ну, давай, немчура, поборись с тонкостями великого и могучего! Вальтер, напрягаясь, объясняет суть выражения, спотыкается лишь на слове «глаголет». Не запоминается выражение, да и «уста» давно «устар.», так что приходится потеть. Остальные тоже напрягаются, объединяясь в сплоченную (так представляется) команду.

«Мы, — думает Вера, — так и играем пока на разных половинах. Казалось бы: миллионы ездят туда-обратно, учатся, работают, женятся, заводят детей, а копни глубже — склеить два мира не получается. Нет, блин, консенсуса, хоть тресни! Вода и масло, коллоидный раствор, который мешай не мешай, а единого целого все равно не получишь.

Она не раз наблюдала тех, кто обрел заграничных мужей и обосновался в европах. В их глазах читалось превосходство, в них, как в телевизорах, мелькали картины обеспеченной жизни, и некоторым, надо сказать, везло. Даже после разводов (а разводов — уйма!) они оказывались в шоколаде, умудряясь вписаться в кучу социальных программ, другими словами: сесть на шею государству, свесить стройные ножки и еще погонять нерасторопных евробюрократов: цоб-цобе! Но если не везло, глаза сразу менялись. Делались тревожными, растерянными; и круги синеватые под ними появлялись, и губы оказывались искусанными, и до истерики было рукой подать. «Никому не отдам свою дочь! — заявила в одной из телепрограмм очередная истеричка. — Не отдам, даже если решение суда будет не в мою пользу. Ведь она — часть меня! Как я могу ее от себя отделить?». В итоге в семейную свару посвящается вся страна, потом другая страна, и вот уже население обеих стран приникло к телеящикам или копошится в Интернете, разыскивая последние новости. Тоже, знаете ли, футбол, рейтинг этих новостей никак не меньше, чем у матчей национальных сборных. И, как на футболе, каждый болеет за своих. В чью пользу вынесет решение суд одной страны? А суд другой страны? А если украл ребенка — ты кто: герой (героиня)? Или преступник (преступница)? Герои-тире-преступники плачут в телекамеры, наперебой демонстрируя родительские чувства, апеллируют к

законности, предъявляют декларации о доходах, рвут и мечут, то и дело крича противной стороне: «Ты нарушила Гаагскую конвенцию!». «Нет, — кричит противная сторона, — это ты нарушил! Для тебя вообще нет ничего святого, ты относишься к ребенку как к бездушной собственности, как к своему "пежо"!». Пауза, набор воздуха и: «Ты можешь забрать "пежо". Ребенка оставь мне, а "пежо"...» — «Да засунь ты свой "пежо" себе в жо...».

В кафе хочется отойти от постоянного напряжения, отдохнуть от всего и от всех. Но тут Вальтер: можно присесть? И хотя Вера имеет право отказать, губы сами растягиваются в политкорректную улыбочку: как же, всю жизнь ждала вас, майн либер! Надеюсь, теперь не будете утверждать, что я вас не люблю?

— Извините... — он смущенно кашляет, выставляя чашку кофе. — Я хотел... В общем, проблема серьезная, а мы говорили несерьезно.

— Вы о чем? О младенце, чьими устами глаголет истина?

— Нет, о той женщине, у кого хотят отнять ребенка...

— Ах, вот как... Думаете, если мы об этом серьезно поговорим, что-то изменится?

— Не знаю. Я знаю, что эти конфликты могут плохо кончать.

— ...ся. Плохо кончаться.

— Извините... У детей после этого совсем не остаются родители. И дети становятся беспризорники, о которых я сейчас пишу. Но это не самое страшное. Самое страшное — это когда...

Он еще раз смущенно кашляет и замолкает, будто наткнулся на препятствие.

— Ну, что же вы? Смелее: если сказали «а», надо говорить «б»!

Через минуту Вера жалеет о своей настойчивости. Никак не ожидала от этого зажатого, неуклюжего, с веснушчатой физиономией «фрица» получить удар под дых! Вальтер, оказывается, хорошо помнит страшный случай, произошедший год назад. Больше того — знаком с братом человека, чей ребенок погиб от руки собственной матери!

— Я плохо знал Франца, мы мало встречались. Но Курта знал хорошо, мы учились вместе. Только я его не видел давно. И Франца давно не видел, последний раз — по телевизору, когда он давал интервью в криминальные новости...

Вера изображает припоминание.

— Да, вроде в прошлом году об этом газеты писали... Хотя времени прошло много, вы уж извините. Да и случаев подобных, как вы сами поняли, — пруд пруди.

— Пруд... пруди?! Что это значит?

— Это значит: много, очень много!

Немец мотает головой.

— Найн, таких случаев не может быть много! Это очень необычный случай!

— В чем же тут необычность? — усмехается Вера, опуская на глаза очки и вытаскивая из сумочки сигареты.

— Ребенок был необычный. Я не видел его, но так говорили — очень необычный. Я от Курта об этом слышал... Как это? Младенец глаго... Глаголет истину, правильно? В общем, тот ребенок говорил слова, которые не мог знать.

— Вундеркинд, что ли?

Усмешка Веры судорожная, но гримасу прячет клуб дыма.

— Нет, там было что-то другое... А что — я не знаю. Родители должны были знать, но где теперь эти родители?

«Где, где... В Караганде!». Вера вдруг понимает: вряд ли Вальтер догадывается о ее причастности к этой жути. Откуда, если даже в анкете, заполненной при поступлении на работу, — девичья фамилия матери.

Было такое ощущение, что ей напомнили о фильме, который хочется забыть и одновременно не хочется забывать. Отчасти фильм существовал в электронной памяти, протяни руку — и вот кассета, допустим, с записью ток-шоу, посвященного детям с ускоренным развитием. Нормана притащила туда мать, желавшая любой ценой достичь первенства. Там были: восьмилетний выпускник школы, десятилетний аспирант, ребенок-счетчик и т. д., и проч. Так вот Норман их всех за пояс заткнул, продемонстрировав рекордный IQ. Некий корейский вундеркинд установил когда-то

мировой рекорд — 210, но здесь рекордсмена обошли баллов на 20. Вот только радости на лице Нормана не было: на вопросы тот отвечал с недетской тоской в глазах, ее так и не убрали режиссерские ножницы. Зато сестра сияла от счастья: накрашенная, с модной прической (а блузка — все сиськи наружу!), она несла какую-то ахинею про детей-индиго...

Запись можно было счесть эпизодом большого кино их жизни. Значимым эпизодом, но, чтобы понять суть этой жизни, требовалось открутить «кино» назад — в то время, когда сестры пребывали еще в нежном возрасте. Они росли в рядовой, можно сказать, семье, отец работал инженером в НИИ, мать преподавала в школе, и дочерей развивали по известной программе: музыкальная школа, спортивная секция, факультатив по иностранному языку. Музыка давалась лучше старшей, Любе, да и к спорту ее тело (а тело уже тогда проглядывало!) было больше приспособлено. Угловатая и зажатая Вера, вечный предмет насмешек ровесников, продвигалась в языках, хотя толку в этом не видела. Ворота «совка» еще не распахнулись во всю ширь, а читать в подлиннике зарубежных классиков — еще то удовольствие для созревающей особы, больше озабоченной отношениями с молодыми людьми. Точнее, отсутствием отношений: ребята в те годы на нее вообще не обращали внимания. Зато на старшую сестру таращились во все глаза; и ущипнуть пытались, благо, было за что щипать, и в темном углу зажать. Одно из таких «зажатий» кончилось понятно чем, хорошо — без последствий. С той поры Люба, и без того смотревшая на Веру сверху вниз, вообще задрала нос. Общается по телефону со своими хахалями, а сама на младшую поглядывает, мол, видишь, какая у меня жизнь? Все новые шмотки доставались ей, причем даже в отсутствие сестры ее вещь не наденешь — разные комплекции. Доставая где-то импортную косметику, она ни разу не поделилась с Верой, хотя той очень хотелось накраситься по-взрослому. А рассказы о своих похождениях Люба вообще превращала в садистский спектакль.

— И вот он целует меня взасос... Ты целовалась взасос? Нет? Ты вообще не целовалась?! Ну, тогда ты этого не поймешь! — Или так: — Он расстегивает пуговицы и кладет руку на грудь... Ты любишь, когда ласкают грудь?

— Какое твое дело?! — заливалась краской Вера, а сестра хохотала:

— Ха-ха, да тут и ласкать-то нечего, потому что у тебя нет груди!

Она не была злой — просто веселилась, как старшие веселятся, подтрунивая над младшими, не особо задумываясь о боли, которую причиняют. Музыкальную школу она бросила, но способности бренчать на гитаре (она училась по классу гитары) не утратила, что вкупе с хрипловатым голосом действовало на мужиков магнетически. Или она феромоны источала в таком количестве, что никто не мог устоять? Кожа у нее была, во всяком случае, безупречной, с матовым блеском; плюс пухлые подвижные губы, плюс зеленоватые, завлекательно мерцающие глаза... Что-то блядское было в ее внешности, ну, с точки зрения Веры. С точки же зрения окружавших сестру самцов, в ней было что-то идеальное, соответствующее их похоти, раздвигающее ноги и принимающее в себя мужское семя. Идеальная п...да, прости господи, мать сыра земля, в которую что ни брось — все прорастет. Ростки, впрочем, безжалостно выпалывались, то есть из абортария Люба не вылезала, умудряясь при этом не ставить в известность родителей. «Что с тобой, Любочка?! Ты плохо выглядишь!» — «Простыла, мам... Ничего, полежу пару дней, и все пройдет!» Посвящена была лишь Вера, которой строго-настрого запретили болтать на эту тему. Почему она не настучала на сестру? Наверное, противно было столь подлым образом сводить счеты. А может, в ней теплилась надежда, что, мол, оценят и таки введут в мир чувственных наслаждений, чем дальше, тем больше волновавший подрастающую младшую...

Первый кадр из Европы оказался полуслепым: с бельмами на обоих глазах, этот странный немец по имени Отто выглядел жутковато. Он весь вечер наигрывал на гитаре мелодии немецких песенок, а в перерывах пытался нащупать коленку сестры. Та отбивала руку, хохоча грудным смехом и подтрунивая над «фрицем». «Я не Фриц, — говорил тот, — я Отто!». «Мы всех немцев называем фрицами!» — отвечала сестра, расточая запах феромонов. Получив в очередной раз по шаловливым рукам, Отто вздыхал и принимался рассказывать о своих европейских странствиях. Он жил в

Австрии, Швейцарии, Чехии, последний год болтался в Дании, но более всего ему нравится в России. То есть ему нравятся русские женщины, которых он не столько видит, сколько чувствует. Осознав, что со старшей ничего не светит, Отто возжелал коленки младшей, но получил увесистую оплеуху.

— Дура ты, — скажет позже сестра, — иностранцев, даже если они инвалиды, упускать не надо.

— А почему же ты сама...

— У меня таких еще сто штук будет. А тебе можно было бы и отдаться — для дебюта!

И так мерзко захохотала, что прямо ударить ее захотелось. Пока Вера барахталась в своих комплексах, Люба атаковала Европу, благо, СССР уже испустил дух, ворота раскрылись, и в них ринулись тысячи жителей бывшего «совка». Ее безуспешный воздыхатель Отто делал через своих друзей вызовы, и Люба отправлялась в один вояж за другим: Австрия, Дания, Швейцария... Почти без денег, она умудрялась жить там месяцами, да еще и с подарками приезжать! Главным оказалось вовсе не знание языков, а что-то другое: сестра «шпрехала» на европейских наречиях через пень-колоду, а дела проворачивала — невероятные! Она даже учила младшую, как следует устраиваться в этой самой Европе, как обходить правила и законы, пользоваться льготами, получать образование и т.д.

— Ты где хочешь образование получить? В принципе можно везде, но удобнее у фрицев, там льгот больше. А свободы вообще завались, у них принцип такой — академическая свобода.

— Полная свобода, что ли? — недоверчиво спрашивала Вера.

— Полнейшая! Занятия можешь не посещать, занимайся своими делами, только экзамены иногда сдавай. Платить, правда, надо, но для этого есть Общество взаимопомощи студентов. Фонды всякие есть, в них можно прошения подавать, ну и еще кое-что...

— Что именно?

Люба критически оглядывала Веру и со вздохом махала рукой.

— Это «кое-что» тебе не подойдет. Не твоя статья дохода!

Нет, проституткой сестра не была, это чересчур. Но разве есть четкая граница между шлюхой и содержанкой? Тем более, когда тебя содержат эпизодически, время от времени, да еще разные люди из разных стран, где ты в очередной раз «получаешь образование» или участвуешь в очередном «проекте»?

Ох уж эти «проекты», облепившие европейскую жизнь, как прыщи, как сыпь на лице подростка, когда прут дурные гормоны, образуя уродливый вулканизм на физиономии. То семинар где-то устроят, то форум, то вообще конгресс замутят, благо, бабки в федеральных бюджетах (а также в бюджете Европейского, блин, дома!) предусмотрены, и надо любой ценой их освоить. Сестра как-то быстро вписалась в этот свальный грех, в бесконечный треп обо всем и ни о чем. Она настолько вошла в роль, что сама поверила в полезность словесного поноса, изрыгаемого участниками «мероприятий»: немцами, голландцами, французами, португальцами и прочими греками. Она сделалась частью гигантской машины, перемалывающей воздух, деталью европейского ветряка, который крутился просто так, не давая энергии. Приезжая ненадолго, она взахлеб рассказывала об очередном «мероприятии», которое патронировала, допустим, Ванесса Редгрейв. Или королева Беатрикс. Или очередной начальник Евросоюза, выступавший на открытии и пожелавший им успехов в непосильном труде. Иногда она сбивалась, переходила на рестораны (всегда любила вкусно пожрать!), ну и, понятно, на любовников. Вот где была настоящая работа, ее мартеновский цех, в котором сестра трудилась в поте лица. Как-то раз, собираясь в абортарий тайком от родичей, Люба вслух рассуждала: кто бы мог быть отцом предполагаемого ребенка? Швед Юрген? Или венгр Ласло? Она будто никогда не слышала слова «презерватив», ускользая при этом и от СПИДа, и от банального трихомоноза. Заговоренная была п...да, не иначе, ждала своего часа, чтобы выдать Urbi et Orbi нечто доселе невиданное...

Но это случится позже. А в те годы Вера рыдала ночами в подушку, потому что тоже могла бы мотаться по европам, участвовать в «проектах», на худой конец —

получить там образование. Но — не судьба! Вместо этого она должна была тянуть лямку филфака плюс бесконечные подработки в магазинах, рекламных компаниях или агентствах по недвижимости. Папашин институт вначале закрыли, затем разворовали, и бывший инженер, не дотянув года два до пенсии, запил горькую. Покупал дешевую водку, усаживался в майке и трусах на кухне и, врубив ящик, после каждой рюмки поливал трехэтажным матом мелькающих на экране правителей. Потом переключался на семью, обзывал старшую «шлюхой международного масштаба»; доставалось и Вере с матерью. Странно: мать уже на том свете, а этот алкаш еще топчет землю, даже появляется порой на горизонте, просит денег! То есть появлялся, когда Вера жила в центре, адрес в Царицыне папаша, по счастью, не знает.

Франц поначалу представлялся «одним из», забавой на месяц-другой, так что его бесконечные звонки во время пребывания сестры в Москве — раздражали. Подняв трубку, Вера слышала неизменно веселый голос, оценивала чистый, почти без акцента русский выговор, однако неприязни унять не могла (зависти — тоже). Когда Франц однажды появился в их доме, мать растерянно металась по кухне, не зная, чем угощать, Люба же отмахивалась: бросьте, Mutti, эти буржуазные привычки!

— Угощать гостей — наша традиция, — сухо высказалась Вера, не особо почитавшая обязательные «огурчики» и «салатики из крабовых палочек». Она помогала накрывать на стол, мысленно издеваясь над сестрой: надо же — «буржуазные привычки»! С каких это пор отъявленная шмоточница и любительница парфюма «от Шанель» критикует бюргерские нравы?!

И все же что-то подсказывало: это — *другое*; и сестра другая, во всяком случае, пытается быть другой. Отчего зависть и обида вспухали еще сильнее, проявляясь шпильками в адрес гостя. «Герр Хорошее Настроение» — не без ехидства обозвала она Франца, который постоянно смеялся и шутил. Внешне он напоминал Джона Леннона: длинные темные волосы, прикрытые демократичной фуражкой, и тоненькие проволочные очки с округлыми стеклами. Обнаружив в соответствующем месте убогую сантехнику, Франц не насмехался и не зажимал нос, как нередко делают заезжие иностранцы, а прямо в одежде улегся в ванну, сложил руки на груди и, закрыв глаза, заявил: я, мол, умерший фараон. Что очень развеселило всех, кроме матери, не любившей шуток на замогильные темы.

Еще до рождения Нормана оба сделались адептами религии под названием «объединенная Европа». Франц фонтанировал идеями, а поскольку за его плечами стояла мощь института Густава Штреземана, идеи моментально воплощались в жизнь. Несколько пассов над клавиатурой лэптопа — и готово прошение к руководству. Оно тут же распечатывается, отсылается факсом, а через час возвращается с положительной резолюцией. После чего за дело бралась Люба: рассылала приглашения, вела переговоры, обговаривала формат встреч, в общем, играла роль правой руки. Она даже внешне тогда изменилась, превратившись из светской львицы (мягко выражаясь) в деловую женщину. Соответствовала, короче, потому что любовь зла, и если любишь меня, люби и мою собаку.

Безусловно, любовь была, Франц оказался первым, про кого сестра не делала интимных докладов. Обычно ее любовники, отстраняясь в пространстве, превращались в виртуальные трупы, которые можно было препарировать, не стесняясь подробностей. Здесь же молчок, Вере даже досталось однажды за очередную насмешку над Францем. Не смей, мол, оскорблять моего мужа! А они уже были мужем и женой, ага, причем не гражданскими, а настоящими, с ЗАГСом и Мендельсоном. На Мендельсоне настояла Люба, тут домостроевские традиции взяли верх над европейской брачной безответственностью. Франц, которому ЗАГС был по барабану, оговорил лишь условие, чтобы гостей было минимум: мать, сестра невесты и парочка его друзей, оказавшихся по случаю в Москве.

Первый конфликт случился, когда сестра была уже на сносях и встал вопрос: где рожать? Франц расписывал достоинства Evangelische Krankenhaus — так назывался германский роддом, куда он хотел поместить супругу. Там, дескать, и обезболивание, и отдельная палата с душем и туалетом, и мужей на роды пускают, и детей матерям приносят сразу, а не держат отдельно по три дня, как у вас!

— Ты-то откуда знаешь, что держат по три дня?! — удивлялась сестра.

— Мне рассказывали. И я наводил справки.

— Если наводил, то должен знать: у нас теперь тоже есть платные отделения. И мужей туда тоже пускают!

— Но Evangelische Krankenhaus — все равно лучше!

— Почему это лучше?! Если ваше, немецкое, значит — лучшее?!

В итоге она родила в Москве, вполне удачно, и конфликт себя исчерпал. В те годы они были молоды, в воздухе пахло предчувствием перемен, и над миром царило, плавая в вышине, будто облако, слово Millenium. Два самолета еще не влетели в воздушное пространство Нью-Йорка, отметив двумя вспышками-вешками границу тысячелетий, до рубежного события оставалось еще несколько лет, и то самое «кино судьбы» обещало новые увлекательные серии.

В ускоренном физическом развитии Нормана врачи патологии не видели: дескать, организм мальчика в порядке, он только взрослеет быстрее, чем положено (откуда, интересно, они знали: *как* положено?). Заговорил он очень рано, одинаково хорошо на двух языках. И сказки слушал на двух, и двух бабушек регулярно навещал, в общем, с младых ногтей воспитывался бикультуралом. Но коромысло, как известно, трудно удержать в равновесии, одно из ведер все время норовит перевесить.

Начиналось все в виде шутки: Франц говорил с сыном на одном языке, Люба — на другом, дальше следили за реакцией. Типа: яку мову, хлопчик, лучше розумиешь? Только с Норманом это не проходило, он был натуральный «двоеборец», так что приходилось задавать наводящие вопросы, мол, где тебе лучше? Проверка малыша на вшивость, по замыслу, являлась педагогическим приемом, вроде как Нормана приучали к толерантности, чтобы никому и ничему не отдавал предпочтения. Но по ходу беседы появлялись разногласия, вспыхивали споры, потому что, как уже говорилось, — одно ведро обязательно перевесит.

Летом Норман жил то на бабушкиной даче в Подмосковье, то в доме матери Франца, и везде его натаскивали, другого слова не подобрать, будто домашнее животное. Так не едят, так не сидят, с этими детьми не общаются или, наоборот: именно так сидят, едят, пердят и общаются только с этими детьми! По возвращении (оттуда или отсюда) Норману задавали устное сочинение на тему: как я провел лето? Вопрошающей стороне очень хотелось, чтобы лето оказалось полностью неудачным, а вот здесь, мой дорогой (майн либер) Норман, ты отдохнешь по-настоящему! Перетягивание каната закончилось тем, что мамаша Франца продала свой дом под Мюнхеном и смылась в Ганновер. Немецкая бабушка поняла: с таким внуком (и с такими родителями) покоя не будет, а фрау хотелось на склоне лет именно покоя.

Но остались еще единокровные отец и мать, которым покой только снился. Они оба поняли, что Норман, в отличие от большинства топчущей землю биомассы, использует серое вещество не на десять процентов, а на пятьдесят как минимум. А значит, он должен учиться в колледже для одаренных детей, такой есть под Мюнхеном. При чем тут Мюнхен?! У нас образование лучше, да, да, я знаю замечательную школу в Москве, там тоже обучают одаренных! В то время уже начались хождения по специалистам, конкурсы, оценка способностей по разным методикам...

Первый раз IQ сына проверил Франц во время очередных германских каникул. Потом он с гордостью показывал выданную справку, мол, полюбуйтесь на результат! Да в таком возрасте Эйнштейн — и тот был глупее на порядок! Люба «ответила Чемберлену» выходом в финал конкурса «Эрудиты всех стран, объединяйтесь!», который был организован отечественным TV. Мало того, что здесь можно было выявить энциклопедические познания мальчика, так еще и знание языков подчеркивалось (поскольку эрудиты — «всех стран»). Короче, супруги одурели, ведь сын своими феноменальными способностями вытащил отца с матерью в публичное пространство. А публичность — это ж наркотик! Они давали интервью, мелькали в таблоидах, ну и, понятно, участвовали в бесчисленных телевизионных шоу в пределах обеих границ.

Если прокрутить «кино» на пару серий вперед, мы увидим, как некогда дружная международная семья начинает вдруг делиться подобно клетке из учебника биологии. Единое ядро распадается на две части, они расходятся, и вот уже вокруг каждого нового ядра клубятся свои митохондрии и прочие рибосомы. То есть митоз состоял-

ся, разрезали, можно сказать, по живому; и если на клеточном уровне это называется: продолжение жизни, то на уровне приматов — горе горькое. А что? Они ведь и впрямь вели себя как приматы, которые дерутся за банан или кокос. И при этом спорят: где бананы вкуснее — у вас? Или у нас?

Каждому из них хотелось быть причастным к чему-то небывалому, заодно подтащив сюда традицию — всех тех, кто стоит у тебя за спиной. «Моцарт! Таким был Моцарт!» — восторгались тевтонские знакомые Франца, а наши отвечали, мол, Саша Пушкин тоже писал гениальные стихи, когда Державину и Жуковскому в пупок дышал. «Ха-ха! — отвечали тевтоны. — Да ваш Пушкин, между прочим — эфиоп! Или камерунец, короче, нигер, а не русский!» Мы же в ответ: осторожнее с расовыми теориями, дамен унд херрен! За такое можно и в Нюрнберг, то есть в Страсбург жалобу накатать!

В то время сестра пережила очередное физическое перевоплощение, можно сказать, обрела новую аватару. Образ шлюхи, как и деловой женщины, был оставлен в прошлом, зато зримой сделалась озабоченная мамаша, которая знает цену своему потомству и не даст (ни за что!) сбиться с истинного пути. Похудевшая, нервная, с постоянной тревогой в глазах, Люба напоминала орлицу, которая распростерла крылья над птенцом и агрессивно зыркает по сторонам. Не замай, мол, а то пущу в ход смертоносный крючковатый клюв! Изменился и Франц, он уже ничем не напоминал Джона Леннона: постригся, сменил легкомысленные проволочные очки на солидные роговые, да еще прибавил килограммов десять в весе. Классический бюргер, строгий воспитатель, настроенный на требовательность и порядок.

Эти два новых человека всегда сидели на судебных заседаниях в разных концах зала. А Норман сидел с Верой, ожидая очередного решения своей судьбы. Постановления были подчас абсурдными, например: провести генетическую экспертизу. Их отправили в какой-то медицинский центр, где Норман, пока родители сдавали ДНК, взялся рассуждать о расшифровке генома. Мол, следующая стадия после расшифровки — внедрение человеку нужных генов, по сути, программирование способностей.

— Да? — озадачилась Вера. — Но тогда, получается, можно будет такого, как ты, создать искусственно?

— Нет, — покачал головой Норман, — нельзя.

— Почему?

— Я тебе потом объясню. Сейчас меня больше занимает вопрос: почему они ссорятся? Почему такие злые?

Вера вздохнула.

— Это я тоже потом объясню. Когда эти придурки... Извини — твои родители придут с результатами экспертизы.

В одной из финальных серий появлялся Учитель, можно сказать — роковая фигура. В одиночку сестра не выдержала бы, слишком напряженным был конфликт. А тут — и теория, и практика в одном флаконе, в общем, подпитка по полной программе. Почему только после этого ей крышу снесло?!

Последний эпизод Вера предпочла бы вырезать, чтобы его вообще не было. Слишком страшное получалось «кино», куда там нынешним фильмам ужасов! Хорошо этой сучке с ее химической блокадой чувств, а Вере каково?! Тут ведь не выйдешь из зала, не крикнешь: эй, выключите проектор, я больше не хочу смотреть это «кино»!

Следующая встреча с Вальтером происходит спустя три дня. После занятий он ловит Веру в коридоре, чтобы сообщить о брате Франца: тот, оказывается, отправился в Москву пешком! Добрался до границы на поезде и теперь топает пешедралом через леса Белоруссии!

— У него с головой в порядке? Забыла, как его зовут...

— Курт. Я тоже удивлялся, если честно. Может, это задание редакции? Он работает в «Городской газете», а это издание серьезное, оно иногда пишет о проблемах вашей страны...

— Если это задание редакции, то с головой не в порядке у редактора. Послали бы уж сразу в Афганистан! Или в Руанду какую-нибудь, где людей мочат миллионами!

— Мочат?! Я не понимаю...

— Это значит: убивают. Ermorden, если по-вашему.

— А-а... Но у вас ведь не убивают миллионами, верно?

— До этого, слава богу, еще не дошло. Но пропадают у нас тысячами. Люди просто выходят из дому, причем не в леса Белоруссии, а за хлебушком. И не возвращаются!

Вальтер бледнеет, значит, испугался тевтон. А Вера вдруг ловит себя на том, что ей приятно пугать Вальтера, даже задор появляется, мол, вот такое мы говно! Не нравится? Тогда не приезжайте сюда, и пешком не ходите, а то серенький волчок так ухватит за бочок, что мало не покажется!

Она пытается вспомнить разговоры с Францем, касавшиеся брата. Обычно Франц либо отшучивался, либо откровенно скучнел, когда Вера спрашивала насчет Курта. По словам Франца, брат был тихоня, домосед и вообще «немецкий немец». «А ты кто такой?!» — удивлялась Вера. «Я? — Франц смеялся. — Я — европейский немец! Точнее, человек мира!» В то время у Веры был свой интерес, она тоже хотела познакомиться с кем-то *оттуда* (завидовала сестре!), но Курт не приезжал: ему больше нравилась размеренная немецкая жизнь.

«Значит, не очень-то нравилась, если в Москву отправился... Дойдет ли?»

7. Несварение желудка

«Икарус», на котором пересекаю границу, доверху набит коробками, мешками и сумками. Сумки и коробки стоят в проходе, свешиваются с багажных полок, иногда с них падают. Трах! — обрушивается коробка, но на грязный пол ей не дают упасть ловкие женские руки.

Обладательница рук, круглая, как шар, женщина не спешит укладывать ее наверх. Оценивающе меня оглядев, человеко-шар произносит высоком голосом:

— Да вы ж совсем пустой, молодой человек!

— Что значит: пустой?!

— Да без поклажи, только с рюкзачком. И в багажное ничего не укладывали, я это еще на посадке заметила.

— Не укладывал, — соглашаюсь. — Но... почему вас это волнует?

— Потому что обуви много купила. Видишь, даже на полку не влезает! Запиши несколько коробок в свою декларацию, а? Ты кто, поляк? Чувствую, говор у тебя не нашенский...

— Я из Германии.

— О, из самой Германии! А почему ничего не везешь? Из Германии можно столько всего... Ладно, запишешь, хорошо?

Кажется, моего согласия не требуется, за меня уже все решили, и я покорно делаю запись в бланке, выданном на посадке сумрачным долговязым сопровождающим. На его лице отражается вселенская тоска человека, постоянно пересекающего границу и не понимающего: где он? На других лицах тоски нет, зато видна озабоченность. О, майн Гот, как же нам провезти весь этот товар?! Эту обувь, эти куртки, брюки, носки, колготки, бюстгальеры, бикини, что там еще? Ага: мобильные телефоны, плееры, компьютеры, электронные навигаторы, автомобили... Нет, у перегонщиков автомобилей, я видел на границе, отдельная очередь и тоже тоска в глазах. Говорят, они несколько дней могут ожидать пересечения границы, в то время как мы, мелкие гешефтмахеры, тратим на это лишь несколько часов. Я говорю «мы», потому что не хочу отделять себя от других пассажиров автобуса (да мне, видно, никто и не позволит отделиться). Я тоже хочу сделаться человеко-шаром; или ее спутником, маленьким и юрким — тот так же оперативно рассовывает коробки и мешки тем, у кого мало багажа.

От остальных пассажиров меня отделяет пограничный контроль — слишком не соответствует германский паспорт и армейская форма дешевой обуви, которую я прижимаю к груди. Удивление в глазах пограничников сменяется усмешкой, затем скукой. Понятно: они видели и не такое. Они вообще проводят осмотр без азарта, похоже, этот поток перевозчиков материальных ценностей сродни реке Неман, кото-

рую мы переезжаем по мосту: он течет, не переставая. Вот уже и река позади, дальше — белорусская таможня, перед которой встаем надолго.

Водитель глушит двигатель, тут же отключаются кондиционеры. Или кондиционеров вообще не было, и свежий воздух притекал из открытых окон? Как бы там ни было, больше он не притекает, в салоне делается душно, но выпускать нас не хотят.

— Недавно на польской стороне женщину задержали, — сообщает юркий, подсев ко мне. — Вместе с дочерью.

— Почему задержали? — вежливо интересуюсь. — Они не внесли в декларацию товары?

— Они не везли товаров. Женщина дочь везла, из Германии. Но их не выпустили. Германский папаша объявил их в розыск; а пшеки перед немцами сейчас на цырлах бегают, потому и задержали.

— Пшеки... на цырлах?!

— Поляки, говорю, выслуживаются перед вами. Ты ведь немец, да?

— Немец.

— Вот я и говорю: пшеки слабые, Евросоюз сильный, поэтому вам и стараются угодить. Задержали, арестовали, теперь в полиции держат.

Пережитое оживает вдруг в памяти, вспыхивает огоньком, который превращается в обжигающий протуберанец. Юркий продолжает говорить, но я его не слышу. Я слабею, бледнею, так что собеседник вскоре трясет меня за плечо.

— Эй, очнись! Дурно, что ли? Еще бы: такая духота! Не поверишь — каждый раз торчим на границе часа по два! А в прошлый раз все три часа промариновали, козлы...

«Козлы» в военной форме наконец появляются в дверях, идет очередной осмотр багажа, сопровождаемый руганью. Чьи-то вещи выкидывают из автобуса, вслед за ними высаживают владельца. Остальные льстиво заглядывают в глаза стражам, кто-то сует свернутые трубочками деньги, моментально исчезающие в карманах.

Интересно, думаю я, женщина с дочерью тоже предлагала польским пограничникам деньги? Возможно, но желание угодить сильному соседу пересилило. Это в любом случае выигрыш: после такого их наверняка повысили в званиях, прибавили зарплату и т.д. Проиграла мать, а вот дочь... Проиграла или нет? С учетом моего опыта вопрос повисает в воздухе.

Чтобы отвлечься, достаю ноутбук и, включив его, получаю e-mail-привет от Гюнтера. Тот продолжает язвить, сравнивая меня — с кем бы вы думали? С Рудольфом Гессом! Ты такой же сумасброд, как Гесс, который перелетел в Англию, но что там нашел?! Отнюдь не радушный прием, напротив, оказался в тюрьме! Но он оказался в английской тюрьме, русские тюрьмы, я знаю, гораздо страшнее!

Вдруг вспоминается старый солдат, точнее, одна из его поговорок: «От сумы и от тюрьмы не зарекайся». Это значит, объяснял он, что каждый в этой стране может стать нищим, и любой может попасть в лагерь. Собственно, со мной это и произошло: я попал в лагерь, не имея при себе даже пары чистого белья. И, смеясь, добавлял про какого-то «сокола», который «голый».

— Дорогая штучка? — толкает в бок юркий. — Ну, компьютер твой? Я вот думаю: может, на них переключиться? Обувью все забито, у нас уже не берут ничего, а компьютеры, я слышал, спросом пользуются...

Он протягивает мне руку.

— Меня вообще-то Паша зовут. В смысле — Павел.

— А меня зовут Курт. В смысле — Курт.

Мы оба смеемся. Похожая на шар женщина (жена Павла) оказывается Мариной, она предлагает «колу». Я не употребляю «колу», пью обычную воду или пиво, но в этой духоте выбирать не приходится. «кола» теплая, приторная на вкус, и я после двух глотков возвращаю бутылку.

Оказав любезность, Марина считает возможным задавать вопросы. Что забыл в этой стране? Ах, здесь ты ничего не забыл?! В Москве забыл?! Так зачем же едешь через Белоруссию? Если б ты, допустим, перегонял в Москву тачку, то другого пути нет, это верно. Но ты ведь пустой совсем!

Я вежливо отмалчиваюсь. Я не понимаю, зачем в Москву «перегоняют тачки», и вообще пока не придумал легенды, объясняющей, почему иду пешком. Я уже понял:

это, по меньшей мере, странно, в эпоху авиалайнеров и скоростных болидов идущий пешком — либо чудак, либо преступник.

Чужая страна (Белая страна?) проявляется изменением в поведении пассажиров «Икаруса». Они явно успокоились и теперь озабоченно осматривают багаж, возвращая то, что было роздано. Вот и Марина забирает коробки, в качестве благодарности обещая показать приличную гостиницу.

— Или у тебя кто-то есть в Гродно? — уточняет она. — Ну, у кого можно остановиться?

— Нет, — мотаю головой, — в Гродно никого нет. В Минске есть один адрес.

— Ну, сказал! — смеется Павел. — Отсюда до Минска, как до Китая раком!

У меня хватает ума не переспрашивать, при чем здесь «рак» и «Китай». Я предчувствую: непонимания будет много и лучше молчать — молчащий хотя бы не выглядит глупцом.

Пассажиры высаживаются на центральной площади. Уже стемнело, из темноты то и дело выскакивают люди, обнимают приехавших, словно не виделись полгода, подхватывают сумки с коробками. Кто-то подъезжает на подержанных автомобилях, загружает товар в багажники, в общем, на площади царит оживление. Мои спутники ждут сына, который должен подъехать на своей машине.

— Вон то здание, видишь? — указывает Марина. — Это гостиница. Приличная гостиница, потому что...

Она запинается, и Павел уточняет:

— Потому что гостиница принадлежит ему.

— Кому — ему? — спрашиваю я.

— Ему. Который сидит в Минске и всем руководит. И вон та аптека принадлежит ему, как и вся аптечная сеть в этом городе. И вообще ему столько принадлежит, что...

— Ладно, — недовольно говорит Марина, — нечего чужое имущество считать. За своим следи!

В приличной гостинице почему-то нет горячей воды в душе, но после сегодняшнего автобуса мне, скорее, нужна прохладная. После душа я проглатываю плитку шоколада и быстро засыпаю, чтобы внезапно проснуться посреди ночи. Я долго ворочаюсь, не могу уснуть, а тогда лучше прогуляться по ночному городу.

Город спит, поблескивая фонарями и редкими горящими окнами. Я двигаюсь медленно, стараясь запомнить дорогу обратно, и вскоре выхожу к площади с большим памятником вождю революции. На площади пусто, один Ленин высится посередине, вскинув вперед могучую руку.

На безлюдной набережной вижу двух вызывающе одетых девушек. Когда они направляются ко мне, откуда-то возникает милиционер. Девушки разворачиваются и исчезают в ночи, я на всякий случай достаю документы, но милиционер тоже исчезает, и я остаюсь один на один с Неманом. От реки поднимается туман, он искажает силуэты домов, деревьев, и, когда сбоку возникает нечеткий силуэт, я не удивляюсь.

— Не прячься, Гюнтер, я тебя заметил. Так почему я должен попасть в тюрьму? Ты видел, как четко здесь работает милиция?

Раздается смешок.

— Подожди с выводами: ты не сталкивался по-настоящему с милицией.

— Надеюсь, и дальше не столкнусь. А насчет Гесса ты не прав. У него была истерика, он поддался абсурдному порыву...

— Некоторые считают, — перебивает Гюнтер, — что это был план! Причем очень плохо продуманный!

— Вот именно! Я же свой план продумал во всех деталях...

— Ну да, помчался вперед, оседлав мистического осла!

— Не понимаю: почему ты так настроен против мистики?! Когда над этим насмехаются бюргеры, они напоминают малолетних детей, которые хихикают над разговорами взрослых о сексе. Что-то есть такое, что бюргерам недоступно, значит, проявим цинизм...

— Я не бюргер! Просто я не понимаю смысла таких путешествий. Что ты хочешь найти? Ты сам видел: это абсолютно материальная цивилизация! Они никогда не

имели нормального быта и сейчас, когда появилась возможность, тратят на устройство жизни все свои силы.

— Но это не моя конечная цель. Белая страна — еще один тамбур, исключающий резкий переход из одного мира в другой...

Гюнтер ухмыляется:

— Это и есть твой продуманный план?

— Если угодно — да.

— То есть ты рассчитываешь по ту сторону белорусской границы найти что-то иное? Тогда счастливого пути!

На следующий день я окажусь на местном рынке, где увижу за прилавком Павла и Марину, продающих переправленную через границу обувь. Мне расскажут, что рынок тоже принадлежит ЕМУ, невидимому и всевластному императору, держащему в своих руках столько всего, что и удержать-то трудно. Власть давно уже держится не на политике, а на материи: на этих бесчисленных кроссовках, брюках, юбках, бюстгальтерах, компьютерах, мобильных телефонах, чье разнообразие и количество обретает на вещевых рынках поистине зловещий масштаб. Материальное захлестывает, как цунами, это бесстыдная стихия, заменившая собой все и вся, царящая в польском городке, недавно мной покинутом; и в Париже она царит, и в Гонконге, и в Гонолулу...

На этом вселенском рынке не было места Норману. Он — нечто исключительное, а это что-то предельно банальное, противоположное тому, о чем я напряженно размышляю. Поэтому я устремляюсь вон из города; я почти бегу, пока не оказываюсь в лесу, среди трав и деревьев.

Спустя время я пойму: в лесу действительно спокойно. А в городах — не очень. Эти населенные пункты даже нельзя было назвать городами, скорее, городками или большими деревнями, где чужак сразу заметен. Тем более — чужак в армейской форме и с акцентом. Как они узнавали про акцент? Заговаривали со мной, любопытствовали, иногда сами рассказывали о себе или каких-то новостях. Ночевал я либо в дешевых и грязных придорожных гостиницах, либо раскладывал на укромной поляне спальный мешок — лето было еще в разгаре. Досаждали разве что комары, да еще, пожалуй, чудовищная пища в здешних кафе. Моей основной едой был черный горький шоколад, продававшийся в некоторых магазинах, и несладкое печенье, которое называлось: «галеты». Мой костюм постепенно делался похожим на рюкзак: из него еще не лезли нитки, но дорожная пыль уже въелась в ткань, и та потускнела, делая меня неотличимым от зеленой пропыленной листвы деревьев, стеной стоящих вдоль трассы. «Лес, лес, ничего кроме леса? Нет, солдат, кроме леса тут еще памятники и надписи. Много надписей. И много памятников».

На площадях высился Ленин разных размеров: большой, маленький, с кепкой, без кепки (вариант: бюст Ленина, стоявший в одном из скверов). Вождь словно приветствовал меня в каждом населенном пункте, так что я его даже полюбил. Новое место сулило неожиданности, далеко не всегда приятные, только Ленин с поднятой каменной или бронзовой рукой был ожидаем, предсказуем, надежен, он словно говорил: Guten Tag, Kurt! Надписи вдоль дороги тоже постоянно говорили, диктаторски насилуя мое сознание. «Совхоз «Гигант». «Слава труду!». «Лес — это жизнь!». Или так: «Лес — наше богатство!».

И над всем этим незримо присутствовал всемогущий ОН, что я особенно отчетливо понимаю в городке со странным названием Желудок. В очередное кафе меня вначале не пускают, затем официантка, посмотрев на часы, спрашивает:

— Двадцать минут хватит, чтобы перекусить?

— Десять минут хватит, — говорю, сглатывая голодную слюну, — то есть пять минут хватит!

— Тогда заходи.

В зале я замечаю отдельный стол, уставленный разнообразными закусками, к которым добавляют бутылки, тщательно расставляя их среди множества тарелок. Когда без всякого заказа приносят какое-то блюдо, я внимательно смотрю на тарелку, потом на официантку.

— Селянка, — говорит она. — Ее можно съесть за пять минут.

— Точно можно? — спрашиваю с тревогой.

— Очень вкусная селянка. И стоит недорого, так что давай, не теряй времени!

Блюдо и впрямь съедобное, что я расцениваю как соответствие названию городка. «Желудок» должен заполняться нормальной пищей, а не приготовленными на прогорклом масле шницелями, где вместо свинины — хлеб и целлюлоза.

— А это для кого угощение? — спрашиваю, расплачиваясь. Официантка поднимает глаза вверх, мол, оттуда люди приедут. Из Минска!

— Неужели... — я вдруг перехожу на шепот, — неужели ОН?!

— Кого ты имеешь в виду? А-а, поняла... — она машет руками. — Ну, ты сказал! Разве он станет в такой забегаловке столоваться?! Охрана его будет проездом, вот нам и позвонили, мол, накормите ребят. В нашем Желудке больше приличных мест нету, ты сам убедишься. Надолго к нам? Ах, тоже проездом... Ну, забегай, если задержишься. А пока вставай и на выход! Нам сказали: когда ребята будут обедать, зал очистить, ясно?

В Желудке почему-то не было Ленина, а может, я его не нашел. То есть я его не искал — меня интересовала гостиница, которую я тоже не нашел. Зато нашел группу молодых людей, стоявших возле магазина и что-то пивших из бутылки.

Далее начинается театр абсурда. Спектакль можно назвать: «Депортация», это будет правильно. Режиссера зовут Михась, он же является исполнителем главной роли. Еще одна роль отведена мне, незваному гостю, остальные участники (безымянные) являются статистами.

Итак, я приближаюсь к компании молодых мужчин, надеясь что-то узнать насчет гостиницы. У них загорелые красноватые лица деревенских людей, которые много времени проводят под солнцем, а еще много пьют.

— Гостиница, говоришь? А сам-то откуда? Немец?! Интересно, немцы здесь давно не появлялись...

Они смотрят на меня с любопытством, как аборигены на Джеймса Кука. Один абориген предлагает «огненную воду»: выпей, но его бьет по руке исполнитель главной роли. Его лицо самое красное, что оттеняет белая рубашка, не заправленная в брюки.

— Меня зовут Михась, — говорит он медленно, — я здесь главный.

— Вы главный?

— Да. Я главный. Поэтому... Хальт! Аусвайс!

Я с испугом таращусь на него (не ожидал!).

— Вам нужны мои документы?!

— Нужны. Ты будешь показать мне документы. Если не показать — будет проблема, нах!

— Проблема нах... Но вы же не милиционер, правда?

Его лицо еще больше багровеет.

— Ты с кем меня ровняешь, падло?! С мусорами?! Да я этих мусоров... В рот имел, понял?!

Он упирает в меня палец, толкает, но я крепко стою на ногах. Отшатывается Михась, так что статистам приходится его удерживать. А я вдруг понимаю: он не просто пьян — смертельно пьян!

— Аусвайс, — протягивает он руку, и я, как загипнотизированный, отдаю паспорт. Михась пролистывает страницы, сверяет фото с моей физиономией и прячет паспорт в карман рубашки.

— Немец, ты знать, где находиться?

Он коверкает язык, наверное, так когда-то разговаривали оккупанты, учившие язык второпях, во время Drang nach Osten.

— Я находиться в Желудок, — пытаюсь подыграть местному «шерифу». Михась мрачно усмехается.

— Ты, немец, находиться в партизанский край! Здесь были партизанен, и они вас мочить со страшной силой! Знаешь, почему мочить? Я тебе скажу: потому что вы убивать наших. Целыми деревнями сжигать! У меня погибла почти вся семья, я не видел ни бабушек, ни дедушек, понимаешь, немец?!

Его лицо искажает гримаса, тут же из-под руки возникает бутылка водки, и Михась делает крупный глоток.

— Поэтому я не знаю, что с тобой делать. Может, тоже убить?

Я воспринимаю это как шутку. Но тут же понимаю: шутки смертельно пьяных людей — это своеобразный юмор! Михась размышляет, делает еще глоток и машет рукой.

— Ладно, ты отсюда уезжать, немец. У него есть машина. — Он тычет в кого-то из статистов. — Ты садиться в его машина и уезжать.

— Да как я его повезу, Михась?! — восклицает владелец машины. — Я же дамши!

Владельца хватают за ворот.

— А я сказал: повезешь!

Владелец бормочет, мол, как скажешь, Михась, лишь бы на гаишников не нарваться...

— Эта услуга стоит... — Михась задумывается. — Двадцать евро!

Я понимаю: спорить бессмысленно, главное, вернуть документы. Достав деньги, я тут же прячу их за спину.

— Евро в обмен на паспорт.

— Какой еще паспорт?! — недоумевает Михась.

— Он лежит у вас в кармане.

Тот лезет в карман, достает документ и удивленно его разглядывает.

— Да нах мне твой паспорт?! Бабки давай!

Меня депортируют на очень старом Volkswagen Jetta. Это полная противоположность ухоженному Audi пана Анджея: краска на кузове отслоилась, видны пятна ржавчины, и мотор рычит, как Михась, словно прогоняет меня. Машина тоже стала частью местного пейзажа, и вопрос: «Почему же вы ездите на немецких автомобилях, если так ненавидите немцев?» — замерзает на моих губах.

— Гитлер капут! — вскидывает руку Михась. Я покорно усаживаюсь в рычащий автомобиль, и водитель, толстый, потный и явно разозленный, резко срывается с места. Мы мчим по улицам Желудка, рыча и распугивая местных жителей. Водитель не смертельно пьян, но явно не трезв, и я молю высшие силы, чтобы депортация поскорей завершилась. Там, где заканчиваются дома, машина резко съезжает на обочину, и вместо дикого рычания — благостная тишина.

— Дальше на своих двоих. Или попутку поймаешь, а я, блин, по трассе не ездец.

Толстый молчит, усмехается.

— Вообще-то тебе повезло: Михась мог бы запросто свалить с твоим паспортом. Он, когда запивает, может выйти из дому в тапочках — и вернуться через неделю. А мог бы вообще... Пику в бок.

— Что значит: пику в бок?

— Зарезать мог бы. У него же — ну, когда в запое — совсем крышу сносит! Он так семь лет назад одного ножом пырнул... Только весной из тюряги вернулся. Так что, считай, легко отделался.

На меня вдруг накатывает слабость. Мы молчим, затем я нерешительно спрашиваю:

— А у него действительно во время войны погибли родственники?

— Действительно. И у меня погибли. Только хрена теперь об этом базарить? Дело прошлое...

Депортацию можно было счесть «несварением Желудка». Меня отправили в унитаз, в систему канализации, не забыв взять за это деньги! «Шайзе... — бормочу, двигаясь по лесной тропинке (вдоль шоссе идти не хочется). Останавливаюсь, утираю пот, и вновь: — Шайзе! Дерьмо! И ведь сам виноват, глупый мечтатель! Хотел узнать тайну рождения необычного? А столкнулся с обычной смертью, радуйся, что ее избежал!»

Смерть опять меня настигла, как и год назад. Да, смерть случилась далеко, в чужой стране, но убитый-то был не чужой! Кажется, его били по лицу, таскали за волосы, а потом уложили на лицо подушку и задушили. Или подушка — это из литературы? Я читал что-то подобное об одной русской помещице, которая таким способом

расправилась с крепостной девушкой, и воображение (за неимением фактов) угодливо воспроизвело именно эту версию. А что? Я допускаю повторение, они же не делают выводов из ошибок — в отличие от нас, покаявшихся и осудивших свое прошлое. Они еще многие десятилетия поклонялись своему языческому богу — Ленину, да и сейчас многие поклоняются!

Сделав остановку, я тяжело дышу, а вокруг дышит лес. Проходит минута, другая, и постепенно истерика улетучивается. Она странна среди гигантских вековых деревьев, что колышут своими кронами, напоминая о вечном круговороте материи. О чем я? О стихии, о природном начале, клокочущем внутри ничтожного человека, не понимающего самого себя? Человек — он же до сих пор несет в себе хаос природы, ее беспощадность, и наша цивилизация — это бумажная перегородка, отделяющая нас от хаоса...

Внезапно и остро хочется за «бумажную перегородку», то есть я хочу перелететь из дикого леса в уютное пространство, покинутое несколько дней назад. Путешествие абсурдно, оно ничего не прибавит к моему знанию, а тогда — наплевать на Ницше с его дурацкими афоризмами. Попробовал бы побродить по этим лесам, где когда-то прятались беспощадные к моим соотечественникам «партизанен»! Пообщался бы с их потомками, готовыми запросто зарезать человека! Так нет же, бесстрашный в мыслях Фридрих предпочитал путешествовать по теплой и ласковой Италии, где солнышко, вино и пицца!

Выбравшись из лесу, вижу впереди два покосившихся ветхих дома: серые от времени, деревянные строения представляются не творениями рук человеческих, а частью природы, они растут из-под земли, как грибы. В этих домах точно нет ни вина, ни пиццы, там есть разве что «самогон», который мне предложили однажды купить. Так что, Фридрих, ты напрочь проиграл. Ты грезил Сверхчеловеком, а на самом деле...

— Что на самом деле? — раздается голос очередного спутника. — Разве ты сам — не грезишь Сверхчеловеком?

— Я? Вообще-то, да...

— «Вообще-то, да!» — передразнивает спутник. — Это главная химера твоей жизни, твой главный сон!

Кто бы это мог быть? Может, сам Ницше?

— Сам, сам. «Also, sprah Zaratustra!» Ты ведь не раз задумывался: где бы найти Сверхчеловека? Того, кто выходил бы за рамки скучных бюргерских ритуалов: пробуждение, бритье, кофе, автомобиль, офис, ланч, офис, автомобиль, ужин, новости по телевизору, сон... Ужасные ритуалы, съедающие жизнь незаметно, как ржавчина съедает старые авто с неоцинкованным кузовом...

— Стоп, стоп! Ты, Фридрих, ни черта не знаешь про автомобильные технологии, так что, будь добр, выражайся в соответствии с породившей тебя эпохой!

— Хорошо, выражусь в соответствии. Вы — цивилизация робких рабов. Такие рабы уже не поднимут восстания, как Спартак, они с удовольствием носят свои оковы и клейма на теле. Ведь эти оковы такие красивые: ну, просто браслеты от Сваровски! А эти клейма такие забавные, они уже и не клейма — а тату, завлекательные и эротические...

— Опять лезешь не туда? Какие «тату» в девятнадцатом столетии?!

— Что делать, если я — порождение твоего сознания? Точнее: подсознания. Не цепляйся, в конце концов, к мелочам, ты прекрасно понимаешь, о чем речь! О том, что европейцы превратились в послушное стадо овец, которое ходит на выборы, стирает границы, порождает дурацкие законы и думает, что управляет миром! Иногда они еще устраивают забастовки, но это же пародия на сопротивление, дурной спектакль! Ну?! Ты же сам не раз говорил об этом со своим приятелем Гюнтером! Он тоже ненавидит это стадо, но выход видит в другом: он — антиглобалист. Он любит группу Ramstein. Он...

— Да знаю я все про Гюнтера! Но он тоже здесь не был и не понимает, что Сверхчеловеком может быть какой-нибудь пьяный Михась с ножом в кармане.

— Вот именно: Михась! Или всемогущий ОН, владеющий половиной этой страны. А ты ищешь здесь еще одного Нормана!

Пауза, я размышляю.

— Боюсь, еще одного я не найду. Я его потерял, Нормана. То есть мы его потеряли.

— А по-другому и быть не могло. Помнишь, что говорил старый солдат? Одна из пословиц здешних людей гласит: «Не в коня корм».

— Не в коня корм? Может быть, может быть...

Я прерываю диалог, иначе, как и Ницше, кончу сумасшедшим домом. А сумасшедшие дома в этой стране — далеко не швейцарские клиники, они гораздо хуже.

Приблизившись к строениям, размышляю: стучать в двери? Или не стоит? Не стоит, решаю я, огибаю дома и направляюсь к трассе.

Вечером раскладываю под кустом спальный мешок, мажу лицо и руки мазью от комаров, только сон не идет. А еще Луна в лицо светит! Я отворачиваюсь, но теперь мешает гул трейлеров на трассе. Я еще не привык к этому гулу, как и к цикадам, что без умолку стрекочут в ночи.

В конце концов звуковое (и световое) шоу заставляет выбраться из спального мешка. Взгляд вверх, на россыпь Млечного пути, порождает ощущение потерянности, неприкаянности, словно ты полностью оторван от мира людей. Наползающий ночной холод усиливает это чувство, и я начинаю судорожно рыться в рюкзаке. Вот он, теплый свитер! Я его натягиваю, роюсь дальше, ищу носки и вдруг натыкаюсь на что-то твердое. Что это? Ага, доска с изображением Девы Марии! Будь я местным жителем, я бы помолился ей о ниспослании спокойного сна, но, к сожалению, я не умею молиться доскам. Поэтому вытаскиваю ноутбук и, раскрыв его, вперяюсь в мерцающий экран.

Вот средство, восстанавливающее разорванную связь с миром. Спасибо тебе, неизвестный спутник связи GSM, плывущий среди звезд! Спасибо Францу, подарившему мне компьютер ко дню рождения! Вот настоящая икона — экран PC! Это альфа и омега нашей цивилизации, а разрисованные деревянные доски интересны лишь ортодоксам, живущим в лесных скитах...

Написать о моих приключениях редактору? Но он вряд ли поместит такой материал. Я лучше напишу другое послание, которое полетит не назад, а вперед, опережая меня, тихохода.

Я познакомился с Вальтером в одной из командировок, и основой для сближения, как ни странно, оказалось знание чужого языка. В остальном мы были разными: Вальтер длинный и нескладный астеник, мой же рост едва дотягивал до среднего. Я был погружен в немецкую жизнь, и если бы не брат, вряд ли заинтересовался бы востоком. Вальтер же занимался настоящими исследованиями русской истории, даже писал большую работу об осиротевших детях. Опять же я не чувствовал никакой вины перед этой страной, а у Вальтера был настоящий комплекс. Что-то в прошлом его семьи таилось такое, из-за чего лицо человека, родившегося спустя десятилетия после страшных военных событий, порой сводила судорога.

— Неужели ты ничего такого не чувствуешь?! — поражался он.

— Нет, — отвечал я, — не чувствую. Я вообще предпочитаю жить в настоящем, а не мучиться из-за прошлого.

Я рассказывал о счастливом браке Франца, хвастался, что тоже женюсь на русской, возможно — на сестре Любы, жены брата. Это был блеф, я эту сестру видел только на фотографиях, но нам ведь хочется хороших сценариев жизни, а плохих — не хочется...

8. Платок для Фриды

Их знакомство с Региной началось с визита в центр психологической помощи, куда Веру привело желание найти безобидную замену «Имовану». На снотворное ведь подсаживаются, как на иглу, поэтому пришлось кое-что рассказать. Слово за слово, вспомнили шумиху годичной давности, и глядь — Регина уже в курсе! Эта крашеная блондинка буквально вцепилась в их непростую ситуацию, мол, межнациональные браки — моя специализация, я диссертацию на эту тему пишу. И хотя со снотворного

Вера не слезла, на беседы ее приглашали каждую неделю, вот и сегодня звонит, приглашает в свой центр.

Вера в сомнениях, но желание хоть с кем-то поговорить о том, что ее сжигает, одерживает верх. В конце концов, Регина не входила в родственный или дружеский круг, чего бояться?

Беседуют в кабинете психолога, сидя рядом, как и положено при доверительном контакте.

— Бессонница в вашем случае — естественная вещь. Я не удивлюсь, если вы скажете: меня мучают кошмары. Вас мучают кошмары?

Вера, подумав, кивает.

— Воображение не контролируется, верно?

Она кивает еще раз.

— Такое подчас представишь, что самой страшно становится, верно? Кого-то обвинить хочется, кому-то отомстить... Извините за неделикатный вопрос, но... Вам никогда не хотелось отомстить вашей сестре?

Сглотнув комок, Вера отрицательно мотает головой. А ты, Регина, берешь быка за рога! Прозорливая, съевшая собаку на чужих горестях, ты сразу вычислила невротичку, каковая, по идее, должна расплакаться в любезно распахнутую жилетку. Потом ты аккуратно отожмешь жилетку, соберешь пролитые слезы в пробирку и подвергнешь их химическому анализу. Ну и составчик! Яд королевской кобры, смешанный с креозотом! А вонь-то какая! Но если требуется продвинуть «диссер», придется принюхаться — как иначе заработаешь уважение коллег? А они, конечно, будут демонстрировать респект: ура, новый Фрейд явился! Достоевский в юбке, заглянувший в бездны женской души!

Наверное, мысли отражаются на лице Веры, и Регина машет рукой.

— Ладно, оставим эту тему. Бессонницу мы лечим сеансами гипноза и настоями целебных трав; если хотите, можете записаться на несколько сеансов. Меня, если честно, больше интересуют дети, что рождаются в смешанных браках. Потомство представителей разных народов — а особенно разных рас — более жизнеспособное, это общеизвестно. Но мало кто знает, что среди них немало савантов...

— Немало кого?

— Савантов. Я разве не говорила о них? Если точно перевести, то савант означает «мудрец». Синдром саванта проявляется у детей, которые демонстрируют прекрасные способности в какой-то одной сфере, а в других сферах имеют проблемы. Вам же это знакомо, верно?

— Знакомо... — после паузы говорит Вера.

— Так вот, в смешанном браке шанс, что родится уникальная личность, гораздо выше. Такие дети-саванты могут проводить в уме сложные арифметические вычисления, календарные расчеты, запоминать огромное количество информации и даже музыкальные арии.

— Арии?! — удивляется Вера.

— Да, встречаются саванты, способные, выйдя из оперы, спеть все услышанные арии. А один такой ребенок начертил по памяти подробнейшую карту Лондона, пролетев над городом на самолете.

— Удивительно, — качает головой Вера. — Даже журнал «Хочу все знать» о таком не рассказывал.

— Есть такой журнал?

— Был. В моем детстве.

На лице психолога мелькает досада (сбивают сценарий!), которую она моментально гасит.

— Это к нашему разговору отношения не имеет. Посмотрите на экран.

Компьютер выдает лицо известного актера, только странное какое-то, будто звезду стукнули пыльным мешком.

— Дастин Хофман?!

— Скажем так: Рэймонд Бэббит. Это роль Хофмана; артист, как вы помните, сыграл аутичного гения в фильме «Человек дождя», даже получил за эту роль Оскара.

— Я за него рада. Но при чем тут...

— Бэббит тоже савант. Просто у них, к сожалению, имеются проблемы в областях, не относящихся к их дарованию. В общении со сверстниками, например. Саванты могут быть чрезмерно правдивы, что далеко не всем по душе. Кому приятно, если в глаза, что называется, режут правду-матку? Впрочем, что я вам азбучные истины рассказываю? Вы же сами можете привести немало примеров такого поведения, верно?

— Верно, — кивает Вера, но примеров не приводит. Она уже поняла эту «психологию» по принципу: баш на баш. Я тебе пару мыслей — ты мне тройку фактов. Я разговариваю в доверительном тоне — и ты, будь добра, доверься мне.

Да, Норман мог ляпнуть такое, что повергало взрослых в шок. Когда папаша притащился в кои-то веки «поглядеть внучка», мальчик заявил: этот человек хочет взять деньги в долг, но потом не отдаст. Пришлось алкашу выкручиваться, шутки шутить, хотя видно было — уел его «внучок». Та же участь постигла приятельницу сестры, втайне мечтавшую увести из семьи Франца, в общем, чужая душа для Нормана вовсе не была потемками. И со сверстниками из-за этого возникали проблемы: ему объявляли бойкоты, изгоняли из компаний, даже поколачивали за то, что видит их насквозь. Белая ворона, окруженная серенькими воробьями, — вот кто он был. О, как расчирикались воробьи, увидев проявившиеся на его теле надписи! Думали, странная кожная сыпь (поначалу считали это сыпью!) исчезнет, но она не исчезала, и однажды на уроке физкультуры ее заметил преподаватель. Он потребовал свести татуировку, когда же услышал про надписи, выгнал Нормана с занятий. После урока его зажали в угол в раздевалке, заставляя признаться: это «тату» и ничего больше! Когда же новая надпись проявилась прямо у них на глазах, это сочли фокусом.

— И вообще тут буквы не наши... — скривился лидер класса. — Верно, ребята? Это как на уроке английского: что-то написано, а что именно — хрен поймешь...

Странное дело: во время пребывания в России на руках, спине и прочих местах проявлялась сплошь латиница. Буквы складывалась в слова — вроде как цитаты из старинных текстов, хотя на самом деле никто ничего толком не понимал. Когда же Нормана увозили за рубеж, сыпь моментально переходила на «великий и могучий», который, опять же, по-настоящему не был прочитан.

Однако никаким аутистом он не был и, если представлялась возможность, отлично общался, снисходя к вопиющей неразвитости сверстников и разделяя их интересы. Хотел ли он быть одним из них? Хотел, Вера это замечала. Ему почему-то трудно давались очень простые вещи: например, езда на велосипеде или катание на коньках. Так он десять раз нос расквасит, а все-таки достигнет поставленной цели.

Вера может рассказать об этом, но благоразумно молчит. И вообще, как выясняется, Регину интересует другое, а эта болтовня — лишь прелюдия.

— Побеседовать с сестрой? Что значит — побеседовать? Вы знаете, где она находится?!

— Знаю, конечно.

— Тогда вы должны понимать...

— Я прекрасно понимаю, потому и прошу содействия. Вы же имеете возможность с ней общаться?

Лучше бы, думает Вера, я не имела этой возможности. Лучше бы передоверила ее тебе, дамочке с горящими глазами, готовыми шарить в потемках чужой души, как два прожектора. Но говорит она другое: мол, встречи разрешены только родственникам — мне и отцу.

— Но ведь отец ее не навещает...

— Откуда вы знаете?

— Ну, — смущается (делает вид?) Регина, — я просто этим интересовалась. Он, насколько знаю, ни разу к ней не приходил...

— Не приходил, — подтверждает Вера. — И если посмеет прийти в «мертвый дом»...

— В «мертвый дом»? — мгновенно реагирует Регина.

— Так я называю то самое учреждение. В общем, если он туда покажется, я его кастрирую.

— Хи-хи-хи... — смеется Регина, хотя в глазах мелькает испуг. А Вера вдруг

решает: пусть пообщается. Пусть залезет в психику сестрицы и похозяйничает там — это будет наказание Любушке-голубушке, коль скоро йогурт вылит на асфальт.

Она сама могла бы наказать сестру, притащив папашу, но очень уж не хотелось доставлять удовольствие этому хмырю, унижавшему семью при любой возможности. Чем глубже он опускался в жизни, теряя друзей, работу, остатки совести, тем выше его возносило воображение. Вечером он ругал правителей на чем свет стоит, а утром, в эйфории похмелья, рассказывал о каких-то связях и звонках «оттуда» (палец упирали в потолок), что означало: его настолько ценят, что скоро призовут в Кремль или Белый дом, где он будет курировать как минимум оборонный заказ. Одетый в трусы и майку, он чувствовал на плечах эполеты, на голове — треуголку Наполеона, короче, пуп земли! Кто из собутыльников посоветовал ему залезть в историю своего рода? Наверняка такой же лузер, которому жизнь заменили грезы о высокородном происхождении. Папаша имел кучу свободного времени (всех дел — на бирже отмечаться) и стал бегать по архивам, дыша на архивисток перегаром и выискивая «голубую кровь». И таки нашел! То есть он нашел высокородных однофамильцев, в свое время много сделавших для блага державы, и решил к ним присоседиться. Теперь диалоги с телевизором у него происходили в высокомерном тоне, мол, кто вы, мелкие выскочки, и кто — я?! Да я вас в упор не вижу! Членов семьи он также в упор не видел, материл сестру, «продавшуюся Западу», потом и вовсе стал намекать на то, что они обе — не его дочери. Не мой, дескать, корень — и все! От кого были зачаты? Откуда я знаю, может, от соседа!

К счастью сестрицы, та пересиживала папашино непотребство в Европах, а Вере было каково? Это ведь она отпаивала мать корвалолом, запиралась в комнате, когда предок буйствовал, а иногда и в милицию приходилось бежать. После суток в «обезьяннике» тот ненадолго успокаивался, но первый же срыв возвращал на его рожу маску обиженного жизнью аристократа, представителя «России, которую мы потеряли».

— А ты чего здесь сидишь?! — выпучив глаза, орал он на Веру. — Езжай вслед за Любкой! Уе..вай! Все уе..вайте, я один останусь в этой стране!

Страшное событие еще больше отдалило его от семьи, с которой он давно не жил. Чтобы в его древнем роду, верой и правдой служившем царю и Отечеству, и такой криминал?! Чертов корень, ругался он, заявившись подшофе, не моя кровь! Он обливался пьяными слезами, якобы жалея Нормана и напрочь забыв, что раньше называл того не иначе, как выблядком. А потом, наругавшись и нарыдавшись, потребовал денег. Не попросил, а именно потребовал, как и положено персоне высокого происхождения; и тут было легче дать, чем объяснить: ты — чмо, ноль без палки.

Последний визит был месяца три назад, когда нетрезвое чмо заявилось еще на старую квартиру с ультиматумом: откажись от фамилии! Мол, мы позорим его славную фамилию и соответственно бросаем тень на многих выдающихся людей. Вера с наслаждением вынула новенький паспорт и сунула в пьяную рожу.

— Читать умеешь? Тут фамилия матери, я уже несколько месяцев ее ношу. А свою высокородную засунь себе в одно место, понял?

— Вот как? — папаша был сбит с толку. — Но ведь... Но ведь твоя сестра не сменила! Точно, точно, потому что газеты упоминали мою фамилию!

— Ну, с этим сам разбирайся. Хочешь побеседовать с ней? Могу организовать встречу любящих родственников.

Так он в штаны наложил! Отнекиваться стал, мол, с какой стати ему встречаться с абсолютно чужим человеком?!

Вечером, после беседы с Регионой, Вера опять в «Марабу». Она слишком часто здесь сидит, впору беспокоиться на предмет алкогольной зависимости (папашины гены!), но надо же где-то проводить свободное время. Ее по-прежнему ждут в старых компаниях, в клубах, на квартирных тусовках, только идти туда нет желания, лучше вдыхать дым и наблюдать, как за соседним столиком беседа медленно, но верно катится к потасовке. Кажется, не поделили выпивку. Или не поделили женщину? Женщина сидит между двумя спорящими, пытается развести их, будто рефери, но здешний ринг правил не признает. Это бои без правил, это жизнь без правил, руля, ветрил (нужное подчеркните), и вот уже первый, высокий и худощавый, тянет за ворот

второго, коренастого. Тот выворачивает руку и утыкает противника мордой в стол. Морда сметает бокал, раздается звон битого стекла, и у столика появляется бармен.

Ага, значит, правила есть? Увы, их нет: бармен мирно общается с драчуном, и тот кивает, дескать, за битье посуды уплотим, не сумлевайтесь! Морда противника продолжает утюжить стол, только теперь фэйсом об тэйбл стучат аккуратнее, чтоб не увеличивать ущерб.

Закурив, женщина шарит глазами по залу. И вскоре пересаживается за угловой столик, где, указывая пальцем на ринг-тире-стол, делится впечатлениями. Ее собеседники идут разнимать бойцов, которые моментально находят общий язык и дают пришельцам совместный отпор: не х.., дескать, влезать в чужие разборки! Пришельцы переглядываются, и один веско говорит: за базар — ответите! А ему: ответим! Так ответим, что мало не покажется! Женщина уже забыта, она безуспешно пытается их утихомирить, но это ж стихия, тайфун, русский бунт, бессмысленный и беспощадный...

Бунт утишает представитель власти, вылезший откуда-то из подсобки. Лениво подойдя к столику, с которого слетело еще два бокала, он какое-то время наблюдает за хуками и апперкотами, затем поднимает над головой руки и скрещивает их, дескать, брэк! Блеск кокарды наконец замечен, бойцов разводят по углам, после чего начинается разбор полетов. Ребят не забирают, они просто попали на бабки. Мент уводит всех в подсобку, когда же они появляются снова, облегчив бумажники, то усаживаются все вместе за убранный и протертый столик (бармен на время выставил табличку «Занято») и тут же заказывают выпивку.

Вновь образовавшаяся компания братается и гогочет, а Вера думает о том, что перед ней — папуасы. Жизнь папуасов строится по непонятным законам, и нужен Миклухо-Маклай, чтобы их понять и дать ответ на вопрос: эти перцы — люди? Или просто человекоподобные существа, гоминиды? Вера, увы, не годится на роль Миклухо-Маклая, она тоже из джунглей Новой Гвинеи, плоть от плоти мира сего. И хочется оттолкнуть этот мир, и не получается, он засасывает, подчиняет, нахально утверждая: живи здесь, это твой прайд! «Мой ли?» — вопрошает умное «я». А неумное твердит: «Твой! Твой-твой-твой! А Миклухо-Маклаем пусть будет братец Франца, этот тевтонский калика перехожий. Надо же, чего удумал: пешком по стране папуасов! Тут ведь с пришельцами разговор короткий, потому что процветает каннибализм и вообще в части цивилизации немало лакун...»

Вера представляет человека в рубище, с посохом и котомкой, и ей становится смешно. Кажется, она даже улыбается, что один из папуасов трактует неправильно.

— А почему девушка в одиночестве? — интересуется он, пересаживаясь за ее столик.

Вера поднимает на него глаза. Папуас вальяжен, он пытается хохмить, но что-то в выражении ее глаз гасит его игривость.

— Может, к нам пересядете? — нерешительно предлагает он. — У нас, как вы видите, дефицит женского пола...

— И вы хотите ликвидировать дефицит за мой счет?

— За мой счет! Я плачу!

Он швыряет на стол бумажник, видно, не полностью опорожненный ментом. Вера надевает темные очки.

— Проститутки работают на Тверской, — говорит она. — Есть еще точка у метро «Царицыно», а здесь девушки не продаются.

Спустя два дня Коля-Николай приглашает погулять в Коломенское. У них перемирие, даже что-то типа приязни намечается, во всяком случае, Веру встречают на выходе из метро букетиком фиалок.

— Давненько не получала цветов... — неловко усмехается Вера. На самом деле ей приятно; и Коля, сияющий, как начищенный самовар, приятен, правда, причина сияния пока неясна. Ах, ты грант получил... Поздравляю, бабло астроному не помеха. И еще кое-что обещают? Что значит «кое-что»? Но Коля интригующе молчит, продолжая сиять, как Сириус на ночном небе.

— Погода хорошая... — говорит он. — Давай Коломенское насквозь пройдем? Потом на «Каширской» сядем в метро — и в центр, там сегодня гулянья какие-то...

— Насквозь — так насквозь.

В Коломенском толпы туристов, особенно много узкопленочных, то ли японцев, то ли разбогатевших китайцев, с неизменными фотокамерами. Щелк! — и оцифрована деревянная церквуха XVI, кажется, века. Щелк! — и туда же, в кладовую электронной памяти, укладывается крестьянский дом. Деревянная Русь — это мед, на который слетаются мухи-туристы, готовые бесконечно щелкать и глазеть, разинув рот, на эту бутафорию. Да, церкви, мельницы и старые дома воссозданы с соблюдением мельчайших деталей, но ощущение выстроенных на потребу декораций остается. Очередной японец (китаец?) взбирается на деревянное крыльцо, растягивает рот в улыбке и запечатлевается на фоне резных балясин. «Оцень харасо!» — будут качать головами родственники в Токио (в Шанхае?). А какой-нибудь продвинутый узкопленочный, глядишь, еще и сравнит здешний яблоневый сад — с приснопамятным вишневым. «Харасо, — скажет японец, — сто рубить не стали! Больсое вам за это аригато!»

Яблоками может угощаться любой желающий, сейчас, в августе, их особенно много. Вера выбирает два покрупнее и срывает с ветки.

— Держи.

Коля-Николай смотрит на зеленовато-красный плод, затем физиономия расплывается: я, мол, знаю этот сюжет! Какой сюжет? Ну, как же: Ева яблоком соблазнила Адама, помнишь?

— У Евы было одно яблоко, — говорит Вера, — а я предлагаю угоститься на брудершафт. Просекаешь разницу?

— Просекаю! — гогочет Коля.

— Хотя твоя эрудиция меня радует. Скажу честно: базар про «черные дыры» меня уже достал.

Болтая свободно и раскованно, они продвигаются дальше по саду, который и не думает кончаться. Они забираются туда, где не только туристов — вообще никого не видно. Зато практически отовсюду видна большая Москва, взявшая это бутафорское, но все-таки *иное* место в плен. И слева, и справа вдалеке виднеются высотные здания, там маячат трубы, тысячи машин летят по городским трассам, так что создается ощущение затянутой на горле заповедника петли. Бай-бай, Святая Русь, перемещайся в оцифрованное пространство, приноси доход в казну, корми яблочками заморских вояжеров, больше ты ни на что не годна. Мумифицированная Русь пытается спорить: а ты, мол, кто такая, бывшая белокаменная?! Разве ты — что-то истинное?! Ты город-имитация, настроивший бизнес-центров и небоскребов с пентхаузами, пытающийся натянуть на суконное рыло маску делового человека, только маска-то — не налезает! «Молчи, резервация! — отвечает Москва. — А то окончательно задушу! Да, я пародия на западный мегаполис, я сверкаю блеском реклам на Садовом кольце и воняю мочой в царицынских дворах, но что ты предлагаешь? Опять строить деревянные дворцы без единого гвоздя, как это делал тишайший самодержец? Так разучились строить без гвоздей! Сгоревший дворец восстановили, но гвоздей там, я знаю, немерено!»

— А где находится этот дворец? — интересуется Коля, когда Вера озвучивает свои мысли.

— В другой стороне, туда от «Каширской» ближе.

— Я бы не отказался его посмотреть.

— Да уж конечно! И япошки бы эти не отказались, и америкосы приезжие, и один немец...

— Почему немец — один?

— Потому что он идет пешком. По Белоруссии и России, через Минск, Смоленск, что там дальше?

— Вязьма, кажется... — бормочет Коля.

— Значит, и через Вязьму. Странно, да?

Повисает неловкое молчание, со стороны Коли — несколько ревнивое. Он ведь знает о Франце и теперь, наверное, размышляет в понятном русле.

— А ты что... — говорит он, запинаясь. — Знаешь его, что ли? Ну, немца этого?

— Я?! Никогда в глаза не видела. Надеюсь, и не увижу. И вообще: какая тебе

разница? Идет человек и идет, может, у него хобби такое. Может, его зовут Миклухо-Маклай!

— Миклухо-Маклай — не германская фамилия.

— Что ты говоришь?!

Вера берет собеседника за ворот рубашки и, наклонив к себе, внезапно целует. Коля смущенно озирается, но вокруг — натуральный эдемский сад, где всего два представителя рода человеческого.

— Почему ты оглядываешься? Считай, я тебя соблазнила. Или сейчас соблазняю — как тебе угодно…

Они целуются еще и еще, фиалки падает в траву, и Вере хочется упасть туда же, превратиться в прародительницу Еву, которой некого было стесняться, ну, разве что папы-Творца, так ведь тот сам сказал: плодитесь, дети мои! Она чувствует возбуждение Коли-Николая, его джинсы вздыблены; и у нее все вздыблено, грудь торчком, и вот уже Коля, изогнувшись буквой «зю» (дылда он все-таки!) целует ее сосок.

— Здесь все видно… — шепчет он, опять озираясь. — Пойдем дальше, ладно?

Они удаляются в глубь зарослей, продолжая сливаться в объятиях; и вот место найдено, рубашка сброшена, и Вера наполовину обнажена, и в ухо вливается шепот: поедешь со мной? Поедешь? Я очень хочу, чтобы ты со мной поехала! Куда поехала, Коля-Николай? Не надо никуда ездить, давай останемся здесь, в этом заповеднике, и будем плодиться и размножаться, как завещано папашей-Творцом! Спустя минуту, однако, смысл доходит: Колю куда-то приглашают работать. То есть не «куда-то», а в чистую и опрятную Швейцарию, в обсерваторию, где он будет лицезреть любимые звезды, а не менее любимая Вера будет готовить нашему Кеплеру борщи и котлеты.

О борщах она, впрочем, подумает позже. А в тот момент просто улетучилось возбуждение. Коля уже стаскивал джинсы, а ее грудь неумолимо обвисала, и вместо любовного огня внутри начинал разгораться какой-то багровый угль, порожденный то ли обидой, то ли еще чем-то. Оседлав партнера, Вера прижала его к земле, затем медленно проговорила:

— Тебе это… Зуб надо вставить.

— Зуб?! Да, я знаю, слева дырка, я потом вставлю…

— Надо быстрее. В Швейцарии эта услуга обойдется тебе очень дорого!

Дальнейшее плохо отложилось в памяти, кажется, она кричала, мол, убирайся, точнее, уе..вай, а я останусь! «Зачем оставаться? — лепетал Коля-Николай, натягивая джинсы на возбужденную плоть. — Можно со мной поехать!» Только Вера уже проехала, проскочила свою заграничную жизнь без остановки, и оттого угль разгорался еще сильнее. Самое обидное заключалось в том, что она *не могла* уехать! Да, не могла! Плевать ей, казалось бы, на сиделицу «мертвого дома», а как представишь, что к ней никто и никогда (НИКТО и НИКОГДА!) не придет, так внутри все переворачивается. Господи, за что ей это все?! Чем она, Вера, провинилась перед высшими силами, и этот астроном несчастный — чем провинился? Сидел под кустом, помнится, очки искал, шаря рукой по земле, и так жалко выглядел, так потерянно…

Они отправились на разные станции: Вера на «Каширскую», Коля обратно на «Коломенскую». До «Царицыно» по этой ветке, слава богу, рукой подать, но и там душой не отдохнешь: прямо во дворе ее останавливают какие-то люди и наперебой повествуют о том, как обокрали старенькую консьержку. Представляете?! Зашли в подъезд якобы к престарелой родственнице, поднялись наверх, а потом спускаются и говорят: на восьмом этаже дверь квартиры нараспашку! Не иначе — кража! Старуха, ясное дело, переполошилась, побежала наверх, а эта парочка (работали он и она) спокойно зашли в ее каптерку и вытащили телевизор, микроволновую печь, телефон и еще тысячу рублей из кошелька.

— Две тысячи, — уточняет кто-то из рассказчиков, а Вера не понимает: она-то здесь при чем? Ну, как же, вы ведь тоже живете в этом подъезде? Значит, будете свидетелем!

— Я живу в другом подъезде.

— Как это — в другом?! Вы ведь с пятого этажа, верно?

— Я с десятого этажа! — вырывается она из цепких лап. — И живу в подъезде без консьержки. У нас не воруют, только писают внизу!

Дома угль не гаснет, напротив, разгорается еще сильнее. Старая дура-консьержка, воры, те, кто мочится в подъезде (и кого она убить готова!), завсегдатаи «Марабу» (чтоб они сдохли!) — все это представало неким гадостным последом, что тянется за Верой, пуповиной, которую не разорвать. Кто там еще звонит?! Вера в раздражении снимает трубку, а там Регина, напоминает об их совместном визите к сестре.

— Да, помню о своем обещании. Встретимся завтра, у входа. Вы дорогу найдете?

— Не беспокойтесь, — говорит Регина, — найду.

«А я — найду? — думает Вера. — И есть ли она вообще — моя дорога?»

У входа в «мертвый дом» на удивление многолюдно: там собралась группа молодых людей, вроде как митингующих. «Нашли место...» — думает Вера недовольно. Она видит в руках молодежи транспаранты, и вдруг будто током пронизывает: Норман! Нет, он не в толпе, скорее, над толпой, его изображение реет на одном из плакатов, потом исчезает. Вера заходит сбоку и опять видит печальное лицо ребенка с недетским взглядом. Кажется, Вера знает эту фотографию, увеличенную и превращенную в плакат. Плакат колышется под легким ветерком, и лицо корчит гримасы, подмигивает, короче, оживает... А следом второй шок: сестра! Тоже плакат, и тоже вполне известное фото, Вера когда-то сама его сделала «Полароидом», подаренным Францем.

Вера озирает толпу, инстинктивно ища главного. Надо прекратить это безобразие, то есть свернуть плакаты и убраться отсюда! Только никто и не думает убираться, напротив, один из молодых, в черной кожанке, бросается к ней и, обернувшись, кричит срывающимся голосом:

— Ребята, это ее сестра!

Откуда они знают?! Веру берут в кольцо и наперебой говорят, с горящими глазами, брызгая слюной изо рта.

— Это неправда!

— Это ложь!

— Ее обвинили неправильно!

Вера беспомощно озирается.

— Что вы имеете в виду? Что — ложь?

— Все — ложь! А судебный процесс — фарс!!!

Вере вдруг делается страшно: она не робкого десятка, но оравы всегда побаивалась. Толпа — и в Африке толпа, растопчут и не заметят...

— А ну пустите! Дайте пройти, вам говорят, а то позову охрану!

Голос Регины звучит спасительным колоколом: ну, слава богу! Вскоре среди горящих глаз появляется ее лицо, и на этом лице — ни малейшей растерянности.

— Эй, ты! Еще раз тронешь меня — сядешь в такое же заведение, только для здоровых! Понял, щенок?!

Схватив Веру за руку, она тащит ее по ступеням.

— Ничего не бойтесь! — шепчет Регина на ухо. — Фанатики легко подчиняются силе!

— Мы сила? — сомневается Вера, и Регина уверенно кивает.

— Я вас понимаю, молодые люди. — Оборачивается она перед дверью. — И даже готова пообщаться с каждым в отдельности.

— Прямо здесь? — ухмыляется кожаный.

— Не здесь, на рабочем месте. Ну-ка, подойди сюда! Подойди, подойди!

Будто притянутый за веревку, тот приближается, а Вера вдруг вспоминает, где его видела. Он был одет иначе, но глаза горели так же, особенно когда раскрывал рот Руслан-не-помню-как-по-батюшке (иначе говоря — Учитель). Что характерно: тот обычно говорил тихо, а ощущение создавалось, будто громогласно вещают с трибуны — такая воцарялась тишина. Этот парень сидел в первом ряду, а по окончании месседжа, вскочив с места, громче всех зааплодировал.

Сейчас аплодисментов не слышно, однако пачку визиток Регины он все же берет.

— Раздай своим товарищам. И не смей их выбрасывать, понял?

Кожаный натужно усмехается, видимо, его желание угадано. Только побеждает желание Регины, она явно сильнее.

— Внушаемый мальчик... — шепчет она Вере. — Они тут все, как я вижу, невротики, может, и психопаты...

Это верно: психопаты, если требуют полного и безоговорочного оправдания сестрицы, о чем возвещает один из плакатов.

— Скрываемся за дверью... — тихо произносит Регина, и вскоре толпа остается снаружи.

Конфликт меняет расклад: Регина теперь в сильной позиции, Вера же, получается, ей обязана, значит, должна содействовать. Что она и делает, когда начальница изучает документы психолога, прихватившей с собой кучу каких-то удостоверений, дипломов и т.д. Начальница вертит в руках бумажки, поднимает глаза на Веру.

— Вы-то не возражаете?

— Не возражаю, — отвечает та.

— Точно не возражаете?

— Да точно, точно!

— А то тут одна привела на свидание родственника, так они прямо на КПП драку затеяли. Право на опеку не поделили, от этого ведь зависит — кто жильем распоряжаться будет. У вас с этим в порядке?

— С чем? — дергает плечом Вера.

— С жильем. Квартирой распоряжаетесь вы?

— Слушайте, это что — допрос? Какое вам дело до моей частной жизни?!

Она чувствует, как сжимают запястье. После чего, мило улыбаясь, Регина щебечет о незаинтересованности в материальных делах. Меня, растолковывает она, интересует только душа. Душа по-гречески — «психэ», отсюда и слово «психология», понимаете?

— А вы понимаете, куда пришли? Тут такие «психэ» сидят, что мама не горюй!

Когда охранник вводит сестру, Вера ловит реакцию Регины. Надо же, как интересна темнота! Как ей хочется проникнуть в искореженную психику! Если ты, допустим, имущество бедным раздаешь или заботишься о жертвах природных катаклизмов, ты не интересен, а вот эта, с волосами-паклями, подозрительно косящаяся на незнакомку, пробуждает жажду познания!

— Не бойтесь меня... — говорит Регина. — Я ваш друг.

— Вы мой друг? — не верит сестра.

— Да, я человек, который хочет поговорить с вами по душам.

Люба спрашивает взглядом, дескать, можно верить этой доброхотке? Вера кивает, хотя понятия не имеет: можно ли той верить. Можно ли применять записывающую технику — она тоже не знает, поэтому косится на охранника. Но тому, похоже, диктофон по барабану; не замечает его и сестра. Регина задает вопросы про два мира, которые в лице представителей разных культур сходятся. Или, наоборот, не сходятся, поскольку что-то мешает. Что же именно мешает?

— Кому мешает? — не въезжает сестра.

— Мирам. Точнее, их представителям.

— Представителям?!

— Ну да, ведь каждый из нас — типичный представитель определенной культуры. Так сказать, полпред...

— А-а, полпред! Это я знаю, в кино недавно видела полпреда!

— Вам здесь показывают кино?

Раздается скрипучий голос охранника:

— У них телевизор в комнате отдыха — с десяти утра до десяти вечера.

Регина благодарит за разъяснения и опять сыплет вопросами. Может, мешают культурные клише и стереотипы? Один привык стол накрывать так, замуж выходить так, а детей крестить — этак... Люба улыбается краешками губ, затем выдает:

— Неважно, крестить можно и так, и этак.

— Не поняла... Поясните, пожалуйста.

— Ну, как же: мой Норман, к примеру, был крещен дважды. Вначале Франц крестил его в католической кирхе. А потом, когда наши миры, как вы говорите,

перестали сходиться... То есть, когда они стали расходиться, я отвела его в православную церковь, и его окрестили по-нашему. Первый раз было неправильно, вот что я скажу. Норман ведь наш, он этот самый...

— Полпред? — уточняет Регина.

— Самый настоящий полпред!

Вера помнит: так и было, потом еще скандал случился, когда батюшка узнал, что Норман по первому обряду — католик. Но было поздно — мальчик сам становился объектом культа, новым кумиром, и вопли какого-то там священника можно было считать гласом вопиющего в пустыне.

— Да, это непростая тема... — прокашлявшись, говорит Регина.

— Что вы имеете в виду? — спрашивает сестра, кажется, обретшая уверенность.

— Я имею в виду вашего сына...

— Что же тут непростого? Норман постоянно присылает мне весточки, рассказывает про свою жизнь, так что мне все понятно. Я, можно сказать, живу под его руководством: что он скажет — то я и делаю. Вы спросите: где он живет? А я отвечу: это секрет. Я бы рассказала, мне не жалко, но он просил пока не раскрывать секрет.

Следует обмен взглядами, в котором участвует и охранник. Почему-то выдумки одной из местных «зэчек» пробуждают у этой братии нездоровый интерес, а может, просто их забавляют. Вере же внезапно и остро хочется, чтобы сказанное оказалось правдой. Чтобы Норман жил — пусть в беде и несчастье, где-нибудь на острове Святой Елены, в детской колонии, в туберкулезной больнице или в лепрозории, главное — чтобы жил! Тогда и остальное вернется в норму: сестра выйдет из тюремной психушки, мать восстанет из могилы, папаша прекратит хлестать водку, и все произошедшее с семьей окажется не более чем кинухой-ужастиком. Не самая худшая вообще-то была семья, в чем-то даже очень хорошая! Иногда Вера могла замечтаться о том, как все у всех хорошо складывается; вот и сейчас неожиданно пробуждается сочувствие, и хочется защитить падшее, но родное существо от попыток залезть ей в душу. А может, она правду говорит? Может, Норман и впрямь пребывает в некоем параллельном мире, в недоступном нашим чувствам пространстве и оттуда подает знаки. Кому, в конце концов, подавать, если не родной матери?

А сестра вдруг начинает нудить, мол, ей не принесли шаль из ангорки! Она ведь дважды об этом писала! Хрупкое сочувствие тут же исчезает, и опять одно желание: если не раздавить гадину, то хотя бы ее наказать.

— Я обязательно принесу шаль, — медленно говорит Вера, — но при одном условии.

— Какое условие? Говори, я все выполню!

— Условие такое: ты отвечаешь на вопросы, ничего не скрывая. Даже если ответы будут содержать государственную тайну. Ты все поняла?

— Хорошо, я буду отвечать.

Поощренная Регина вцепляется в сестру клещами, с явным сожалением слыша сакраментальное: мол, время свидания истекло.

— Ладно, — говорит она, смахивая диктофон в сумочку, — надеюсь, это не последняя беседа.

К моменту их выхода молодые люди разошлись, только визитки, небрежно раскиданные по ступеням, напоминают о прошедшем митинге. Вера злорадно думает: а вот здесь ты, родная, прокололась! Не все тебе, выходит, по зубам! Регина между тем спокойно собирает визитки, пересчитывает и удовлетворенно хмыкает:

— Трех карточек не хватает. Значит, кто-то все же клюнул!

— На что они вообще рассчитывают? — спрашивает Вера. — Тут ведь дело ясное, как ясный день...

— Не скажите. У них такая версия, что убила вообще не она, преступление на нее просто повесили. По их мнению, она вообще едва не святая, ну, типа мученица.

— Мученица?! Да это я, если хотите...

— Я вас очень хорошо понимаю! Но все равно не стоит подавать ей платок.

— Какой еще платок?!

Они движутся к остановке, вот и автобус, так что приходится ускорить шаг. Уже

в автобусе Регина объясняет: платок — это из Булгакова. Помните Фриду? Ей все время клали на стол платок, которым она удушила своего ребенка, но Маргарита сказала: пусть ей больше не подают платок.

— Я не подаю платок, — сухо заявляет Вера. — Я, как вы помните, собираюсь принести ангорскую шаль.

Регина смеется — оценила игру слов.

— Помню, помню... А хотите, я сама ей принесу?

Вера обещает подумать. Хотя на самом деле она думает о том, что будет подавать платок. Будет, будет, будет! До своей (или не своей) смерти будет подавать, потому что обдолбанная препаратами шлюха не страдает, как Фрида, не-ет! Страдает Вера, чья жизнь испорчена навсегда, на чьей биографии стоит штамп: бракованная деталь общечеловеческого механизма, подлежит утилизации. А кому хочется свою единственную и неповторимую жизнь списывать в утиль?

9. Путешествие в зону

Постепенно я делаюсь неотличимым от аборигенов, таких же запыленных, с красноватыми лицами, с рюкзаками или сумками. Некоторые из них сидят вдоль обочин, выставив ведра с грибами, картофелем, яблоками, банки меда, сметаны, копченую рыбу... Продукты покупают в основном пассажиры несущихся по трассе авто, но и я, пешеход, делаю это с большим удовольствием. «О, рыба! О, яблоки! О, сметана! Здешняя земля меня обманывала: не только лес — ваше богатство!» Здесь все баснословно дешево. И невероятно вкусно.

Когда я усаживаюсь на дорожное ограждение и с жадностью вгрызаюсь в купленную рыбу неизвестной породы, никто не обращает на это внимания. Голод — нормальное чувство, здесь к нему привыкли, удивляет сытость. В голоде я часть этой жизни, пребывая же в сытости, стараюсь выделиться, обозначить особость.

Как можно выделиться? Остался единственный способ: надеть на голову панаму. Мои ботинки покрыты сетью царапин, армейские штаны, не раз стиранные в попадавшихся по дороге речках, выцвели, а рюкзак основательно обтрепался. Лишь панама желтого цвета, которую я иногда водружаю на голову, выделяет меня из общей массы. Мужчины носят здесь кепки, женщины повязывают голову платками, и панама словно сигналит: я — другой! Не враг, не высокомерный или заносчивый человек, просто другой, понимаете? Ну и сытость располагает к размышлениям. *Что* эта земля способна родить, кроме вековых деревьев, грибов и рыбы? Способна ли она родить что-то невероятное, невиданное, или дары природы — ее предел? Мой несчастный брат считал, что родить-то она может, но справиться с тем, что родила, — нет...

— Они не могут справиться с тем, что сами же порождают, как ты не понимаешь? Поэтому им нельзя отдавать что-то ценное! Они сломают это, как ребенок ломает ценные часы или дорогостоящую игрушку!

— Твой сын — не игрушка! — возражал я. Франц отмахивался: ты все трактуешь буквально. Они сделают из Нормана предмет поклонения, это будет культ, мистика! А нам нужен новый человек, кто-то, способный сдвинуть покрытые зеленой плесенью камни Европы! Я спорил: посмотри, сколько вокруг желающих сдвигать камни, а также раскидывать их и собирать обратно! А брат саркастически усмехался: ты считаешь, наша евробюрократия способна что-то сделать? Да ты посмотри на них, это же ничтожества! Причем нечистые на руку, готовые запустить свои грязные лапы и в бюджет страны, и в кассу собственной политической партии! Нужен новый де Голль, новый Аденауэр, новый Черчилль, а кого предлагают? Воришку Гельмута Коля? Бездарного Хавьера Солану?!

Это был период, когда розовые очки свалились с переносицы Франца, и европейское одеяло сползло с ложа смешанной пары. Да и пары уже не было: невротичная мать требовала, чтобы сына отправили в Россию, а отец прятал его в колледже. Он говорил: в этом заведении собраны одаренные дети, можно сказать, будущая интеллектуальная и творческая элита, она и будет определять «коридор возможнос-

тей» нашего развития. И Норман будет определять, а пребывание с матерью для него опасно! Франц никогда не обладал даром предвидения, но тут попал в яблочко, как Вильгельм Телль. С другой стороны, он ведь не спрашивал Нормана, желает ли тот становиться новым Аденауэром. А я спрашивал и знаю, что мальчик тосковал в элитном колледже; и к матери просился, в общем, не так все просто.

Последние километры до Минска проскакиваю на попутной машине. Цифры на километровых столбах мелькают с невероятной быстротой, и я сам не замечаю, как старенький «фиат», именуемый здесь «копейкой», доставляет меня в центр. Есть ли где остановиться? — интересуется водитель. Есть, но пока я откладываю поездку в новый район с символическим названием «Восток», где живет человек по имени Сэм (что совсем не по-восточному). У меня в записной книжке так и написано: Сэм, а почему Сэм — никто не объяснил. Он тоже не объяснил во время нашего телефонного разговора (я звонил ему из Гродно). Сказал только, что днем обычно работает и чтобы я заходил вечером.

Здесь, в большом городе, я выделяюсь из толпы и в панаме, и без панамы. Город оглядывается на меня, посмеиваясь и тыкая пальцем: посмотрите на этого бродягу! Он что — партизан? Или боец вермахта, заблудившийся во времени и топающий сейчас по площади Якуба Коласа, чтобы сдаться властям? «Помолчи, Минск! — огрызаюсь я. — Лучше посмотри на себя! На эту площадь, где дома построены немецкими военнопленными, а сейчас по ним едут Porsche и BMW! Это же абсурд, Минск, ты согласен?» Город с тревогой внимает нахальному «месседжу», а я продолжаю: «Ты только оглянись, Минск, на эту имперскую безвкусицу, на советские фрески на фронтонах ложноклассических зданий! Посмотри на эти скульптурные композиции, где жницы соседствуют со сталеварами! А потом ужаснись красному баннеру, что растянут над центральным проспектом, призывая голосовать за вашего императора! Императоров не выбирают, ты сошел с ума, Минск!»

Придя в себя, город прокашливается от дыма выхлопных труб и говорит: ты очень категоричен, пришелец. Ты явился со своим уставом в чужой монастырь, а этого делать нельзя! У нас даже императоров выбирают, ясно тебе? «Ну, хорошо, — отвечаю, — а вот это — разве не абсурд?» Кого ты имеешь в виду, пришелец? «Вот этих молодых людей в красных футболках, на которых черной краской на фоне белого круга изображены серп с молотом. Знаешь ли ты, Минск, что это цвета нацистов?»

Минску нечего возразить, и тогда он использует запрещенный прием. Посмотри, говорит он вкрадчиво, какие девушки гуляют вокруг! Какие у них длинные стройные ножки, какие завлекательные талии, а про глаза я вообще молчу! И я сдаюсь. Девушки тоже на меня оглядываются, иногда хихикают, но я буквально поедаю их глазами — я, жертва походного целибата...

О девушках мы говорим с Сэмом, проживающим в «Востоке» на девятом этаже многоэтажного дома. Квартира Сэма запущенна, видно, там нечасто бывают девушки, а может, часто бывают, просто не обращают внимания на «бардак» (одно из новых выученных слов). Я тоже стараюсь не обращать внимания, о девушках же говорю исключительно комплиментами.

— На Якуба Коласа? — задумывается Сэм, который постоянно перемещается по захламленному пространству. — Ну, сказал! Хорошие телки у нас по Машеровке гуляют, а не по Якуба Коласа!

— Машеровка — это...

— Проспект Машерова. Хочешь, подгоню тебе телку? Или двух?

Он вынимает из хлама записную книжку и листает.

— Вот, куча телефонов, так что ноу проблем. Не хочешь? А чего тогда базар развел? Я ведь так, гостя порадовать, сам давно на них забил. На телок, в смысле. И тебе предлагаю: забей!

Я сразу отказываюсь от попыток дешифровать жаргон Сэма: слишком много загадочного, а переспрашивать ежеминутно — глупо. Высокий и худощавый, новый знакомый нервно копается в раскиданных повсюду кучах, иногда выуживая какую-то

вещь, чтобы упрятать ее в спортивную сумку. Он куда-то собирается, но пока не объясняет куда. Объясняюсь я: мол, иду пешком, от самой границы, через Гродно, Щучин, Желудок...

Сэм на секунду выныривает из забот.

— На фига пешком? У тебя что — тачки нет?

— Чего нет?

— Машины не имеешь?

— Я имею машину. Но ехать в машине бессмысленно: ты ничего не увидишь, ничего не поймешь...

— Ты и без машины ни хрена здесь не поймешь. Хотя — какое мне дело? Каждый сходит с ума по-своему.

Одна из выуженных вещей имеет вид помещенного в рамку то ли диплома, то ли поздравительного адреса. Различив под стеклом немецкий шрифт, задаю вопрос: was ist das?

— Это авторское свидетельство, в вашем Siemense получил. Козлы! Они мне десять таких свидетельств должны были выдать, только разве от них добьешься? Я вашим мужикам говорю: да плюньте вы, внедряйте без всяких документов! А они говорят: ты сумасшедший! А это они сумасшедшие, я ведь рацухи каждую неделю подавал, а пока каждое предложение, блин, задокументируешь, рак на горе засвистит!

Понятна лишь половина слов, хотя смысл я более-менее улавливаю. Про Сэма мне сказали, что он работал на предприятии Siemens, ему предлагали остаться, причем на высокооплачиваемой должности, но он вернулся в Минск, как выясняется, еще и обиженный на электротехнический концерн.

— Ну, вот, кажется, собрался... Ты надолго вообще-то в Хошиминск? Хошиминском мы родной город величаем, у нас ведь главный начальник — натуральный Хошимин. А может, Мао Цзэдун. Ты, кстати, заметил, что на фотографиях у нашего Хошимина — улыбка Джоконды? Загадочная какая-то улыбка, не поймешь: что он ею хочет сказать? Ладно, забей. Я интересуюсь сроками твоего пребывания, потому что хочу тебя в одно место свозить — если временем располагаешь.

— В какое место?

— Очень хорошее. Место the best! Но вначале нужно дела решить.

Сэм что-то бормочет, потом достает из бумажника деньги и, разделив их на три части, рассовывает по карманам.

— Скоро придут, — поясняет он смущенно.

— Понимаю, — киваю я, хотя ничего не понимаю.

— Они каждую неделю приходят, и я стараюсь назначать на одно время.

— На одно время — удобнее, — говорю я, уже заинтригованный.

Чтобы сократить тягучее ожидание, Сэм рассказывает о работе в концерне, мол, ваша аппаратура — семечки, я ее за два месяца освоил и даже усовершенствовал. Но сейчас я занимаюсь другим. Чем? Счетчики для воды делаю. Нет, это ж курам на смех — я, Сэм, клепаю счетчики для воды! Говорят, скоро для газа будем счетчики производить, но это разве работа?!

— Почему ты не остался в Германии? — спрашиваю. — Тебе же, я знаю, предлагали...

— Почему? — Лицо Сэма кривит очередная гримаса. — Потому что они приходят. Каждую неделю. И на могилы тоже надо... Памятники надо установить, врубаешься?

Объяснения прерывает звонок в дверь. Вскочив, Сэм направляется в прихожую, откуда доносится звонкий детский голос.

— Нет, покажи своего гостя! — упрямится дитя; и вот оно в комнате, поправляет бант, разглядывая меня голубыми глазами.

— Здравствуй. Ты гость?

— Я? Не знаю... Я путешественник.

— И куда ты путешествуешь?

— Туда... — машу я рукой неопределенно. — В Москву.

— В Москве платят много денег, — со знанием дела говорит девочка, а смущенный Сэм рекомендует ей вначале назвать свое имя.

— Меня зовут Олеся, — представляется та, плюхаясь на диван.

— А меня Курт, — говорю, после чего Олеся вопросительно смотрит на отца (сходство видно невооруженным глазом).

— Разве так зовут людей? — вопрошает дитя, на что получает ответ: так зовут людей в Германии.

— А-а, тогда понятно... В Германии тоже платят много денег. Но папа не хочет их зарабатывать, он здесь хочет работать. А дядя Ярослав вообще не хочет работать, потому что он этот... Бомж!

— Олеська, ну-ка прикуси язык! Сколько раз тебе говорил: не лезь во взрослые дела!

На строгость, однако, реагируют без малейшего испуга.

— Не кричи на меня. Ты не совсем мой папа, потому что ты с нами развелся. Дай денег!

Одна из трех денежных стопок переходит к девочке, и та ловко прячет купюры куда-то под платье.

— Ну, получила? Тогда бай-бай, у меня дела.

— Бай-бай говорят, когда спать укладывают маленьких. А я уже не маленькая, мне десять лет скоро!

Продолжая спор, они удаляются в прихожую, и тут — еще один звонок.

— Дядя Ярослав, ты бомж! — радостно кричит дитя. В ответ взрослый хриплый голос что-то выговаривает Олесе, а та продолжает заливаться хохотом. Обладатель голоса рвется внутрь, только его не пускают.

— Гости у меня! Гости, говорю, позже зайдешь помыться!

Голос выдавливают за дверь, щелкает замок, и на пороге возникает раскрасневшийся Сэм. Вслед за ним я выбираюсь на балкон, чтобы увидеть внизу седого мужчину в грязном костюме, пересчитывающего купюры.

— Видишь, какой у меня брателла? — указывает Сэм. — Всего на год старше, а выглядит... Он после смерти родичей опустился, так-то ничего был мужик, и семью имел, и детей... Теперь на х.. никому не нужен — кроме меня. Я ему говорю: хоть плиты на могилы помоги установить, тоже ведь сын! А он жалуется: суставы болят! Суставы, ептыть! Да у меня, блядь, тоже гастрит, а я все это таскаю!

На балконе под тряпкой сложено что-то массивное; когда покров откидывают, я вижу две лежащие друг на друге мраморные плиты. На верхней плите — фотопортрет немолодой женщины, выбиты даты, но я даже не успеваю высчитать возраст. И фамилию, и имя не могу прочесть, потому что — шок. Сэм продолжает что-то зло говорить, а я указываю на плиты.

— Ты со всем этим... живешь?!

— А куда я их дену? Земля еще не просела, врубись! Нельзя ставить плиты, пока не просела, иначе завалятся! Что там памятники — я тут с папашиной урной месяц жил в обнимку! Не разрешали подхоронить, уроды, пришлось на районном уровне вопрос решать! Ну, в общем, ты понял, почему мне отсюда не уехать? Полная жопа, привязан, как раб на галере к веслу. Но иногда отрываюсь, и уж если ты здесь, приглашаю и тебя за компанию.

— Куда приглашаешь?

— Оторваться.

— Оторваться за компанию... Надо думать.

Плиту так и оставляют открытой, и я наконец прочитываю фамилию, звучащую не совсем по-русски.

— Извини, а ты... белорус?

— Я белорус?! — взлетают брови Сэма. — Вообще-то, да, белорус. Хотя какой я

на фиг белорус! Я совок, осколок империи, потому что — рожденный в СССР! Я и язык-то белорусский плохо знаю, по-немецки лучше шпрехаю. Английский тоже знаю, ну, в рамках рок-н-ролла. Меня Сэмом прозвали, кстати, в честь одного рок-музыканта, говорили, я на него похож. В общем, такой вот компот — хрен в нем разберешься.

В отличие от опустившегося брата, чье посещение ванной перенесено на будущее, гостю разрешено помыться сейчас. У Сэма находится пена, заполняющая ванну до краев и падающая на кафельный пол, когда я погружаюсь в горячую субстанцию и замираю в блаженстве. Прохладные быстрые речки, заросшие тиной пруды, грязноватые гостиничные душевые — и это райское наслаждение горячей ванной! Зачем куда-то ехать? Зачем «отрываться»? Я не хочу никуда (даже в место the best), хочу остаться здесь, в этом греющем душу и тело раю!

Увы, Сэм имеет другие планы: я еще не обсох, а его походный рюкзак уже собран. Мой рюкзак стоит рядом, и это построение в шеренгу означает длительный совместный марш. Заканчивая сборы, Сэм ругает бывшую жену за то, что плохо воспитывает Олесю, делает из нее такую же, как она сама, жлобиху. Видя недоумение в моем взгляде, Сэм поясняет: жлобиха — это что-то предельно банальное, среднее, зацикленное на материальных вещах, типа — ваш бюргер, только женского пола. А ведь хотелось из дочки что-то достойное вырастить, чтобы отличалась от толпы, была чем-то особенным! Я осторожно возражаю: особенность — тоже опасна. Но Сэм машет рукой: опасна середина, тусклая и унылая. Вот там, куда мы поедем, все особенное! И дети там особенные — не то, что здесь...

— Очень особенные?

— Невероятно! Там вообще все другое, врубаешься? Я там такое видел, что в нашей жизни никогда не увидишь!

Желание выпросить ключи и остаться в квартире на время его поездки внезапно улетучивается. Я поеду, Сэм, я обязательно с тобой поеду! И пусть на твоей машине — правый руль, я все равно поеду: что ж, буду сидеть слева. Я смирюсь с тем, что ты из принципа не купил немецкую машину (месть руководству концерна Siemens), а купил японскую; ты вообще делаешь многое наоборот, не как большинство. Но ведь и я пошел против большинства, значит, мы с тобой, как говорил старый и мудрый солдат, два сапога — пара!

Когда «два сапога» (левый — я, правый — Сэм) выезжают на «тойоте» за пределы двора, водитель внезапно тормозит. Возле кирпичных гаражей виднеется ржавый остов автомобиля, смятый, как видно, страшным ударом. Можно сказать, это сгусток искореженных металлических частей, такие разбитые в лепешку авто надо бы выставлять на трассах для устрашения водителей, любящих превышать скорость.

— Первая моя японка... — говорит Сэм с ностальгией в голосе. — Лобовое столкновение с «КамАЗом», врубаешься? Меня изнутри автогеном вырезали! А в итоге — только перелом ноги! Я ей так благодарен был, японке моей, что даже восстановить хотел, поэтому сюда привез. Оказалось — металлолом, восстановлению не подлежит...

Еще одна остановка возле универсама с родным названием «Гродно». Отказавшись принять финансовую помощь, Сэм оставляет меня в машине в роли сторожа, чтобы вернуться через пять минут, прижимая к груди бутылки с водкой. Одна бутылка упрятывается в водительский бардачок, остальные запихиваются в сумку. Почему так много? Потому что там без водки нельзя.

И вот уже кварталы исчезают, вокруг возникают поля и леса, и мы летим куда-то на юго-восток, если судить по солнцу. Самое странное заключается в том, что картинки за окном сменяют друг друга очень быстро — я, пешеход, от такого отвык. Вон старуха с корзиной, возможно, грибов (не успеваю рассмотреть), вон коза пасется, а может — козел; далее мелькает танк на постаменте — так быстро, что невозможно прочесть слова из бетонных букв.

— Хорошие дороги построил Хошимин... — говорит Сэм. — Можно гонять от души, и если б не гаишники...

Спустя час меня клонит в сон, и я перебираюсь на заднее сиденье. Несмотря на включенный диск какой-то рок-группы, я засыпаю, просыпаюсь, потом опять засыпаю и т.д. Проснувшись, я понимаю, что пейзаж за окном изменился, но и внутри машины что-то меняется. Что именно? Ага, включен другой диск. А еще я замечаю, что меняются показания спидометра. Вначале стрелка дрожит возле отметки 110, затем доползает до 120, до 130, а после очередного пробуждения мы летим (теперь это не метафора) со скоростью 150 километров в час!

Постепенно я теряю ощущение времени, да и пространства тоже. За окном бесконечный лес, и кажется: я лечу на том же стареньком «Ю», на котором летел мой раненый учитель русского языка. А что? Наша скорость почти не уступает скорости того самолета, и точно так же сплошной массив деревьев за окном тянется и тянется, не собираясь кончаться...

Но самое удивительное ожидает дальше, когда Сэм открывает бардачок и, достав бутылку, зубами отвинчивает пробку. Он делает крупный глоток, потом еще один и протягивает бутылку мне.

— Хлебни, расслабься...

Я же наблюдаю за спидометром — стрелка уже переползла отметку 160 и медленно ползет дальше!

— Постой, Сэм... — панически бормочу я. — Не надо так быстро! И водку пить не надо, это же... Нет, я не понимаю!

— Забей! — Сэм прибавляет газ. — Гаишники сюда не суются, не ссы! И правый руль им по фигу, и мое превышение скорости... Здесь — свобода!!!

— Почему здесь свобода?!

— Потому что здесь — Зона!

Я ничего не понимаю. Я прошу показать на карте, куда мы едем (лес за окном уже превратился в стену из стволов), и Сэм тычет пальцем в треугольник на юге, между реками Припять и Днепр. Лишь тогда приходит понимание: чернобыльская территория! Во мне нарастает протест: как, почему, я сюда не хочу! Но японская машина на дикой скорости несет меня в радиоактивный заповедник, и нет сил противиться неумолимому полету в преисподнюю...

Переполненный мочевой пузырь заставляет Сэма ненадолго остановиться. Вернувшись из леса, он видит, что я не притрагиваюсь к бутылке.

— Ну, чего греешь? Хлебни. Или закуска нужна? Тогда пошарь в бардачке, там сушки есть.

Спустя полчаса я уже пьяный. Я жую сушку, глядя в лес и думая о медведях-мутантах, которые бродят среди этих сосен. Они размером с гризли или даже крупнее — величиной с реликтового медведя, запросто убивавшего саблезубого тигра. Что ему какая-то «тойота»? Медведь с легкостью оторвет правый руль; и колеса оторвет, и зеркала, а нас сожрет. Для начала, правда, он выпьет всю водку. Ему, мутанту, хорошо известно: здесь без водки нельзя, надо выводить радиацию из организма, а доза, что закупил Сэм, рассчитана как раз на медведя.

Вскоре путь преграждает шлагбаум, и машина в очередной раз останавливается. Сэм просит поднять полосатую перекладину, пока он проедет, и я, пошатываясь, направляюсь к противовесу. Шлагбаум старый, видно, установлен сразу после взрыва. Краска с прибитой к перекладине круглой железки облезла, но еще можно различить три черных лепестка на желтом фоне — знак радиоактивной опасности, отделяющей Зону от незараженной земли. И хотя я понимаю условность подобного разделения, хочется продекламировать: «Добро пожаловать в ад!»

Когда перекладина опускается на место, ощущение — будто за тобой захлопнулась массивная дверь в подземелье. Есть ли тут медведи-мутанты? Пока не вижу, зато коров-мутантов вижу! Это не коровы, это бизоны, нечто невероятно массивное, с красной шерстью и могучими кривыми рогами...

— Кто это?

— Лимузины.

— Лимузины?!

— Ага. Это порода коров такая, их местные выращивают — на мясо. Доить коров смысла нет, здешнее молоко закупать отказываются. А на мясо выращивать, особенно если корма привозные, — можно.

— Но почему они такие огромные?

— Да порода такая, я ж говорю: лимузины! Вот моя тачка — средних размеров, так? А «хаммер»? Монстр! Вот и коровы эти, считай, как «хаммер» среди остальных двурогих! Говорят, больше тонны весят, заразы такие! А мясо — пальчики оближешь: такое называют мраморной говядиной! Да ты еще его попробуешь, не переживай!

Мы медленно проезжаем мимо стада бизоно-лимузинов, с подозрением провожающих нас глазами. Наконец возникает человеческое жилище в виде нескольких деревенских домов. Может, и люди здесь (если они есть) тоже какие-нибудь «лимузины»? Точно, угадал! Первый, кто появляется из-за деревянной ограды третьего по счету строения, напоминает австралопитека или, если угодно, снежного человека своей огромностью и обилием растительности на всех частях тела. Всклокоченная шевелюра на голове, раскидистая борода и еще шерсть на груди, выбивающаяся из-под наполовину расстегнутой клетчатой рубашки.

Снежного человека зовут Гога, он сжимает мою ладонь с такой силой, что хрустят кости, затем долго мнет в объятиях Сэма. Он дружески выговаривает ему за то, что тот редко наведывается и в качестве извинения получает недопитую бутылку водки. Ее содержимое тут же исчезает в Гогином чреве, кажется, не производя на него никакого действия. Мы выгружаем остальные припасы и направляемся в дом.

Подруга снежного человека на удивление миниатюрная, можно сказать, хрупкая женщина по имени Рая. Заметив рассчитанные на медвежий аппетит запасы водки, она вздыхает, закатив в потолок глаза, и прячет бутылки в холодильник. Когда супруга отлучается из кухни, Гога достает одну из бутылок, ловко ее открывает и быстро разливает водку по маленьким граненым стаканчикам.

— Ну, за приезд!

В отсутствие Раи еще раз успеваем выпить, и я накрываю стаканчик ладонью. Жест разочаровывает компаньонов, зато его оценивает Рая, которая входит в кухню и сурово сдвигает брови. Нечего, прикрикивает она, человека спаивать! Человек не такой, как вы, он не привык столько спиртного жрать! Получается, я выступаю в роли сдерживающего фактора, что отдаляет мою персону от мужской половины и приближает к половине женской. Рая демонстративно общается именно со мной, обличая компаньонов.

— Знаете, что они в прошлый раз учудили? Реактор поехали смотреть! Сели на мотоцикл — и в Припять! Тут ведь до границы рукой подать, да и какая это граница? Линия на карте... Слава богу, по пьянке заправиться забыли и на полпути заглохли!

Гога широко улыбается.

— Я просто хотел другу показать место, где сражался со стихией.

Еще раз налив себе и Сэму, он поясняет:

— Я ведь ликвидатором был: сражался со стихией, видимой и невидимой. То есть с огнем и гамма-излучением. В первом случае победа осталась за мной, во втором, увы, стихия нанесла мне урон.

— Ты это называешь уроном? — саркастически усмехается Рая.

— Я называю это судьбой. — Гога поднимает стаканчик. — Ну, за судьбу!

Когда выпивают, Сэм говорит:

— В Припяти рыси живут прямо в домах. Прикинь: в двухкомнатной квартире — настоящая рысь! Это ж улет! А еще там лоси и зайцы по улицам бегают, можно сказать: город оккупирован дикими животными!

— Да? — не унимает сарказма хозяйка. — Откуда тебе это известно, если вы не доехали? Вас же на грузовике Васька-пастух обратно привез!

Сэм указывает на Гогу:

— Он мне рассказал. И так мне захотелось увидеть рысь... Погладить ее захотелось...

— Тьфу на тебя! Она бы тебе руку откусила и правильно бы сделала!

Рая придвигает стул ближе, чтобы начать обстоятельный рассказ о жизни. Почему нет? Приехал гость из заграницы, значит, он должен знать о том, что сами они из Сибири, завербовались сюда как ликвидаторы, да так и остались. Почему не уехали из Зоны? Уезжали, им и квартиру в Гомеле предоставили, но они ее продали и купили этот большой дом. Здесь многие так делают; к тому же деревня чистая: уже год назад было меньше 10 кюри, а сейчас и тех не наберется. К ним из Добруша каждый год наезжают специалисты, замеряют и говорят: почти норма, пора гробовые снимать! О кюри я имею представление, но что такое — «гробовые»? Ну, как же, нам всегда за проживание в Зоне доплачивали! А сейчас перестанут доплачивать; и помощи иностранной нет, а ведь раньше так замечательно было...

— Что было замечательно?

— Иностранная помощь. Тут какой-то итальянский фонд программу благотворительную придумал... Забыла: вы сами откуда? Не из Италии?

— Я из Германии.

— Германских программ не помню, врать не буду, но итальянцы нас крепко выручили. Детишкам нашим каждую неделю привозили и соки, и фрукты, а в школе специальный педагог с ними занятия проводил. Занимались на компьютерах, играли в теннис, рисовали, но потом — как отрезало. Свернули то есть программу, теперь эти охламоны по улицам бегают или коров дразнят. А наши коровы — они ж запросто могут на рога поднять! И прыгучие такие, любую изгородь могут в два счета перепрыгнуть! Хорошо, мой не бегает дразнить, зато теперь дома торчит безвылазно. Раньше хоть отвезешь его на занятия, он там с ребятами пообщается, а сейчас...

Младшее поколение обнаруживается в большой комнате, куда мы перемещаемся для настоящего застолья (кухня была лишь прелюдией). В углу я вижу худощавую спину подростка, что сидит за столом, уткнувшись в экран компьютера. А еще вижу картину на стене, изображающую сотканного из пламени демона, читающего Библию. Внизу, не превышая размером демоническую стопу, нарисованы многоэтажные дома, заводские трубы, и все это рушится, сгорает в пламени... «Если это китч, — думаю, присаживаясь за стол, — то довольно эффектный. Будь жив Отто Дикс или кто-то еще из наших экспрессионистов, они, не исключено, воплотили бы чернобыльскую тему в похожем...»

Додумать мешает очередной подсунутый стаканчик: мужчины берут реванш, пока Рая готовит мраморную говядину. А я вдруг вспоминаю одного русского, с которым когда-то говорил о Чернобыле. Тот с горящими глазами объяснял мне суть названия: мол, «чернобыль» — это «полынь», а звезда «полынь» упоминается в Апокалипсисе! Его почему-то страшно возбуждало то, что катастрофа предсказана в Библии; последствия катаклизма, похоже, занимали рассказчика меньше. Да и Франц не раз говорил о странном эсхатологическом экстазе, в каковой впадают русские, называя это состояние души: гори все огнем!

— Как называется эта живопись? — вежливо интересуюсь.

— Закат Европы, — отвечает Гога, и я вздрагиваю. Как, почему?! При чем здесь Европа?!

— Странное название... — говорю.

— И я считаю: странное. А вот он, — Гога тычет пальцем в спину подростка, — считает, что правильное. Ты где это раскопал, а? Про закат?

— В Интернете, — не оборачиваясь, отвечает подросток. — Там много про Шпенглера написано, и не только про него. В Интернете все есть.

— Ага, — кивает отец, — поэтому ты и не вылезаешь из своего Интернета... Нашел эту картинку, потом где-то напечатал, теперь любуйтесь! Вот, оказывается, для чего ему итальянский компьютер!

— Компьютер не итальянский, он сделан компанией Microsoft, это в Америке.

— Видишь? Ты ему слово, он в ответ — десять!

Я с интересом разглядываю беловолосую голову, где роятся столь нетипичные для юноши мысли. В моей голове мысли уже путаются, потому что голова пьяная. Мне постоянно подливают, невзирая на протесты, и в ушах не смолкает гул, будто шумит море. Сквозь шум моря слышу имя: Анатолий — так представляется подросток.

— О'кей, Анатолий, — говорю, — так почему все-таки закат? Ты разве был в Европе? Ты видел этот закат своими глазами?

— Чтобы знать, — солидно отвечает, — не обязательно видеть. Да ваши сами об этом пишут! Вот, например, Паоло Донатти, профессор из Болоньи...

— Кто-кто? — спрашивает Гога.

— Паоло Донатти. Он как раз итальянец, самый натуральный. Так вот он пишет, что народы Европы сейчас присутствуют на собственных похоронах! Их, говорит, погубило процветание, слишком беззаботно живут!

— Возможно, твой профессор в чем-то прав, — отвечаю, — но лучше все-таки видеть своими глазами, а потом выносить суждения.

Спина мальчика вдруг деревенеет.

— Увижу когда-нибудь... — бормочет он. Следует минутная заминка, и опять он стучит по клавиатуре. — Вообще-то меня ваша Европа не очень занимает, я больше сетевые игры люблю. Знаете игру под названием «Сталкер, или Зов Припяти»? Нет?! Зря, если бы попробовали, вам бы понравилось. Я, между прочим, чемпионом в ней стал!

— Это точно, — подтверждает Сэм, — стал. Он дольше всех там живет, в этой компьютерной Зоне. Тем, кто первыми в игру вошли, давно кирдык, а этот ни в одну ловушку не попал!

— И не попаду. У этой сетевой игры постоянно интерфейс меняется, но я все отслеживаю и заношу в память. Тут ведь главное: быть готовым к неожиданностям, в этой игре вообще нет повторов. Знаете, что такое «программа симуляции жизни»?

— Нет, — мотаю головой, — не знаю.

— Тогда объяснять бессмысленно. Если честно, то я... — Анатолий заливисто хохочет. — Я просто взломал программу!! Ха-ха-ха! Поэтому я ее всегда опережаю на ход, и она меня никогда не убьет!

Солидность с него слетает, как шелуха, он превращается в обычного мальчишку, любящего проказничать и нарушать данные взрослыми установления.

— Ах, ты... Молодец, все-таки — молодец!

Гога встает, пошатываясь, и целует сына в темечко.

— Ну, ты чего колешься своей бородой...

— Ладно, не буду, не буду... А? Каков бандит?! Взломал, говорит, вскрыл, как консервную банку!

Когда Рая подкатывает к столу инвалидную коляску, мальчик протестует: не хочу, говорит, к ней привыкать! Он спрыгивает на пол, сразу сделавшись карликом, потому что... У него отсутствуют ноги! Анатолий передвигается с помощью рук, быстро вскарабкивается на стул и, отдышавшись, сердито говорит:

— По нашим дорогам все равно на коляске не проедешь! Если надо, меня ребята на закорках куда хочешь донесут!

— Так хотя бы по дому, Толик...

— Не хочу!

Лицо Гоги кривит судорога, даже борода не может ее скрыть, а в глазу дрожит слеза.

— Да не трогай ты его... Он умница... Давай, сынок, за тебя!

Я вдруг вспоминаю, где слышал слово «сталкер». Это был фильм русского режиссера, который я смотрел много лет назад, и там тоже была Зона, и странные люди, которые отправлялись туда, ведомые еще более странным проводником... Кажется, у странного проводника была безногая дочь, двигавшая взглядом предме-

ты. «А ты умеешь двигать взглядом предметы? — хочу спросить я. — Я знал одного необычного мальчика, он умел делать то, на что никто из взрослых не способен. И тоже говорил иногда такое, что волосы шевелились на голове...».

Но я не спрашиваю. Здешняя реальность представляет собой чудовищный микст из выдумки и фактов, даже фантазия гениального режиссера меркнет на этом фоне. Закат Европы... Зов Припяти... Рысь в квартире... Пьяная голова с трудом расставляет все это в подобие порядка, но тщетно. Порядка нет. А если нет, надо подчиняться беспорядку, покорно поднимая стакан за стаканом и постепенно теряя человеческий облик.

Спустя час (два часа? три?) я его настолько теряю, что сам становлюсь рысью, а может, коровой-лимузином. Мы уже на улице, слышен стрекот мотора, но я не понимаю: откуда? В этот момент из покосившегося сарая на мотоцикле вылетает Гога: с развевающейся на ветру бородой, он напоминает Бога Саваофа, оседлавшего мотоколесницу. «Залезай!» — командует он, а поскольку Бога ослушаться нельзя, я лезу в коляску. Сэм усаживается на заднее сиденье, после чего Гога выруливает за ворота. Мы несемся по полям, не разбирая дороги. Куда несемся? Не дает ответа бородатый Бог; и пассажир не дает, зато они оба что-то орут, кажется, песню. Я тоже запеваю песню — другую, на немецком языке. Вот где вечно враждующие наречия могут спеть в унисон, вот где настоящее единение! Слова не играют роли, важен дух, Der Geist, которому не страшны ни Закат Европы, ни огромные рогатые животные, со всех ног удирающие от мотоколесницы.

— Ату, рыжие! — кричит Сэм. — Ату!

Животные жалобно мычат, человек в соломенной шляпе потрясает плеткой, похоже, ругается, но Бог не обращает на него внимания. Он направляет колесницу на лесную дорогу, и вот уже мелькают стволы, по лицу хлещет высоченная трава, и кажется: на дорогу сейчас выйдет реликтовый медведь. «Ну, что, — скажет он, — померяемся силами? Выясним, кто настоящий Бог этих мест?» Они сойдутся в схватке один на один, и наш Бог, без сомнения, победит! Затем сознание выключается, и дальнейшее откладывается в памяти рядом не связанных сцен. Вот мы в какой-то яме, колесница стоит вертикально, а Бог лежит в грязи. Следующая сцена: меня вынимают из коляски, и Рая кричит:

— Вы что с человеком сделали, алкаши проклятые?!

Потом опять Рая, она чистит картошку на крыльце, говоря:

— Васька-пастух сказал: в милицию заявление напишет.

— Почему в милицию? — не понимаю я.

— Лопнуло, говорит, терпение. Да и верно: сколько можно над животными измываться? И над людьми тоже...

Кажется, она еще что-то говорит про сына: что в городе ему будет трудно. Здесь он хоть под присмотром, а там кто ухаживать будет? У нас ведь только восьмилетка в соседней деревне, ее Толик в прошлом году окончил, а десятилетка — в райцентре, значит, живи в интернате! А в этом интернате, говорят, сплошные наркотики!

— Найн, — машу я рукой, — здесь не могут быть наркотики! Откуда они тут возьмутся?

— Откуда, откуда... Оттуда и взялись. Здесь ведь ни властей, ни границ, одни дикие леса. По лесным дорогам можно чего хочешь перевозить, вот и перевозят; а попутно еще и продают эту дрянь молодежи...

Последняя сцена: Сэм, сидящий там, где Рая чистила картошку. Он швыряет камешки в гигантский лопух, что вырос посреди двора, и при каждом попадании округлый лист покачивается.

— Мы в системе, вникаешь? Я в системе, но и ты — в системе. Она держит нас за яйца, система, причем по обе стороны границы. Что, будешь спорить?

Я мотаю головой.

— И не надо спорить, потому что я прав! Я вашей жизни тоже похавал, знаю кое-что! Ну да, ваша система держит за яйца не так крепко. И прежде, чем их оторвать,

предупреждает: извините, сейчас будем делать немножко больно! Also: eins, zwei, drei... И если ты заверещишь вовремя, поднимешь лапки, то тебя пощадят — на время. Наши, суки, никого не щадят и никого ни о чем не предупреждают. Но разве это большая разница? Главное: вырваться, например — сюда! Здесь нет системы, вникаешь?!

— Нет системы?

— Нет, она осталась там! — указывает куда-то за лес.

— А что здесь есть?

— Что есть? — Сэм останавливает руку с камешком. — Ничего нет. Но главное — нет системы.

Я мог бы рассказать про моего приятеля Гюнтера, который тоже терпеть не может систему и, напившись пива или шнапса, изрыгает по ее адресу жуткие ругательства. Иногда он называет систему «Матрицей», ты смотрел этот фильм, Сэм? «Матрица» настолько коварна, что проникает повсюду, тебе кажется: ее нет, а она есть. Как иначе объяснить наркотрафик, проходящий через эти страшные леса?

Потом Сэм исчезает, но лопух по-прежнему покачивается. Внезапно лист начинает расти — так быстро, что тень от него накрывает двор. Вскоре зеленоватый купол полностью закрывает небосвод, и откуда-то доносится знакомый голос: видишь это растение? Оно подобно системе, которая везде, так что никуда от нее не скроешься!

— Эй, кто говорит? — верчу головой.

— Я говорю.

Из покосившегося сарая, куда закатывали мотоцикл, выезжает инвалидная коляска, а в ней сидит... Норман! Дас ист фантастиш! Я ничего не понимаю, бормочу: как ты ожил?! А мне отвечают: это Зона, в ней и не такое случается! Это сейчас тут меньше десяти кюри; а вот когда счетчики показывали больше тридцати кюри, вообще были сплошные чудеса!

— Например? — спрашиваю недоверчиво.

— Например, реликтовые медведи встречались. Шагу ступить было нельзя, чтобы не наткнуться на очередное чудовище. Теперь они остались только в глухом лесу. Хочешь посмотреть на медведя?

— Я? Даже не знаю...

— Хочешь, хочешь! Давай за мной!

Развернув коляску, Норман сильными рывками раскручивает колеса и устремляется на улицу. Я следую за ним. Дорога пылит, вот и последний дом позади, и лес проглатывает нас, как две полевые букашки. Или букашка — один я? А Норман здесь свой, так сказать, органическая часть местной экосистемы? Я не могу об этом спросить, я еле успеваю за коляской, которая все больше разгоняется. Вначале иду быстрым шагом, потом перехожу на бег, но все равно не могу догнать инвалида.

— Норман, остановись! — пытаюсь крикнуть. — Это, в конце концов, не Параолимпийские игры! У тебя вообще другая задача! Ты же прекрасно знаешь, что наши европейские дела очень плохи! Закат Европы — это, пожалуй, сильно сказано, но проблемы с единой валютой налицо, как и с наплывом афро-азиатских народов. Париж скоро станет мусульманским городом, а Германия на треть будет состоять из турок. А климат?! Это же всегда было нашим преимуществом: мягкий ровный климат без настоящей зимы, позволявший нам развивать сельское хозяйство...

— Что ты несешь ерунду? — кричит спринтер-колясочник. — При чем тут климат или наплыв эмигрантов?! Мы медведя едем смотреть!

— Кто едет, — отвечаю, задыхаясь, — а кто бежит. А говорю я это к тому, что ты должен решить эти проблемы, ответить, так сказать, на вызовы нового времени. Короче, ты должен стать новым Аденауэром.

Коляска наконец останавливает свой безумный бег. Я догоняю Нормана и, опершись о колесо, тяжело дышу.

— Новым Аденауэром? — спрашивают меня с иронией. — Почему не Рузвель-

том? Он тоже был инвалидом-колясочником и тоже отвечал, как ты выражаешься, на вызовы времени.

— Рузвельт был американец, а нам Европу нужно спасать...

— Серьезная задача: спасти Европу. Даже не знаю, с чего начать... Может, для начала отказаться от *системы*? А? Как ты считаешь? Может, в ней все дело? В «Матрице», которую вы построили собственными руками, а теперь стонете: SOS, спасите нас!

— Возможно... — я никак не могу наладить дыхание. — Но совсем без системы трудно: произойдет то, что произошло. То есть мотоцикл обязательно свалится в яму...

— Ну, если без системы трудно, тогда ауфвидерзейн!

Колесо вырывается из-под руки, и опять я вынужден бежать, выбиваясь из последних сил.

— Норман! — кричу я. — Хорошо, откажемся от системы! А ты можешь быть Рузвельтом, даже Хошимином! И пусть в честь тебя назовут город Хошиминск, только, ради всего святого, остановись!

Остановка, я держусь за сердце, выскакивающее из грудной клетки, и вот — очередной сюрприз:

— Дай денег! — говорит тот, кто никогда не заводил речь о презренном металле.

— Денег?!

— Да, мне нужны деньги. В твоей системе всем нужны деньги, особенно детям, чьи родители развелись. Ты ведь не совсем мой папа, потому что ты с нами развелся. А еще ты прятал меня от мамы в этом дурацком колледже для одаренных детей. Где ты там видел одаренных? Это же посредственности, из них не то что Аденауэр — Хавьер Солана вряд ли получится!

Я окончательно сбит с толку.

— Ты меня с кем-то путаешь, — бормочу, — я не твой папа, твоего отца зовут Франц!

— Значит, папа Франц прятал меня от мамы!

Я пытаюсь объяснить, что в этом была необходимость, твоя мама слишком неистовая, фанатичная, истеричная, короче — слишком здешняя. Да что я тебе объясняю?! Ты же сам прекрасно знаешь, *что* твоя мать сделала с тобой то ли в припадке ревности, то ли пребывая во власти какой-то бредовой идеи. Это же натуральная Медея, ты согласен?

— Я категорически не согласен! Не смей говорить ничего плохого о моей матери! Слышишь, ты, немчура?! Не смей!

Коляска рвет с места так, будто приводится в движение мотоциклетным мотором. Она несется по лесной дороге с невероятной скоростью, чтобы через несколько секунд исчезнуть среди стволов вековых деревьев. И я остаюсь один. Деревья глухо шумят, вокруг царит полумрак, и кажется: где-то шуршат кусты и хрустит валежник. Такое ощущение, что приближается огромное животное, которое при всем желании не может скрыть своего присутствия. Да и зачем скрывать? Этому зверю некого бояться в лесной глуши, он запросто разорвет в клочья любого врага!

И вот он выходит, жуткий мутант, покрытый сероватой шерстью. Даже в холке медведь выше меня, когда же он встает на задние лапы, то делается ростом с небольшое дерево. Зверь задирает голову к небу (по-прежнему закрытому зеленым лопухом) и принимается кричать. Я ожидал рычания, воя, зубовного скрежета, но раздается именно крик — человеческий, наполненный болью, страданием...

Я вдруг оказываюсь в доме, укрытый одеялом. Напротив кровать, по ней мечется человек с бородой, громко крича, а тихий голос женщины, сидящей в изголовье, успокаивает:

— Тише, тише, перебудишь всех... Успокойся, все пройдет...

Рая кладет руку на лоб мужа, но тот продолжает метаться, исторгая звуки, от которых холодеет кровь. Как ужасен этот крик! И как он понятен! Это кричит наша

темная глубина, наше животное начало, получившее разум и узнавшее о своей смертности, жестокости, низости; а еще о своей полнейшей беспомощности и обреченности на жизнь по сценарию, которого не знаешь. Или это кричит агонизирующая империя? Один из ее осколков, с энным количеством кюри в огромном теле, бьется в истерике, потому что потерялся в пространстве и во времени, как астероид, выпавший из общей массы...

Утром сижу на крыльце, страдая от головной боли. А Толик, усевшись в коляску (мать уговорила), рассуждает о радиофобии.

— Есть такая психическая болезнь, когда люди боятся быть облученными. Приедут сюда и начинают гадать: здесь болит? Или здесь? У кого живот схватит, у кого голова начинает раскалываться... У вас вот голова болит?

— Очень болит!

— Так это обычный абстинентный синдром! Похмелье, говоря по-нашему. Но если б вы страдали радиофобией, наверняка сказали бы: караул, первая стадия лучевой болезни! Даже в городах от этой радиофобии страдают, ну, если наших продуктов поедят. Обнаружит такой, что съел масло или молоко из Зоны, и все, чуть не помирает!

— У нас тоже после Чернобыля у многих был страх перед дождем. Думали, дожди — радиоактивные.

— Ну, я же говорю: радиофобия!

Подняв взрослую тему, Толик делается солидным, он даже отказывается отправиться на речку.

— Не могу сегодня! — кричит он мальчишкам, что движутся вдоль ограды, разглядывая «японку» Сэма. — У меня гости! — Он с гордостью добавляет, обращаясь ко мне: — Они меня всегда с собой берут: в лес, на речку... На себе по очереди таскают; а я им истории разные рассказываю. Мы настоящие друзья. — Он запинается, затем продолжает: — Жаль, до вас на закорках не добраться. Ну, до Италии, до Испании...

Я усмехаюсь.

— Все-таки хочешь посмотреть закат своими глазами?

— Ага, хочу. Больше всего испанскую корриду хочу увидеть. Только инвалидов не берут в эти программы. Ребята из Добруша ездили в Испанию, но там все с ногами были, а меня, говорят, некому возить. Теперь вот смотрю, как папаша коров на мотоцикле шугает... Ой, не могу! Вы ж вчера все стадо разогнали, Васька-пастух до вечера лимузинов по лесу собирал!

И опять он заливисто хохочет, то ли взрослый, то ли совсем юный человек, выпущенный в этот яростный мир — для чего? Мои глаза застилают предательские слезы, я ведь сентиментальный немец, мне жалко детей. У меня нет детей, я боюсь выпустить в мир новое существо, потому что не очень верю в их счастье...

(Окончание следует)

Анаит Татевосян

Игра в города

* * *

В день шестой, когда солнце ласкает землю,
Ветер волны колеблет, природа внемлет,
И Господь говорит человечьему роду «да»,
Новый мир на миг становится слухом,
Прошивает четыре стихии Духом....
Так начинается игра в города.

Москва

Я живу здесь последнюю тысячу лет,
Провожаю гостей и встречаю рассвет,
Просыпаюсь от стука дождя по стеклу,
Выхожу в безвременье, в осеннюю мглу:
То ли сон, то ли явь, то ли ночь, то ли день.
Я сквозь стены и дни прохожу, словно тень.
С неба сыплется пепел и льется вода,
Все отпущено и прощено до Суда,
В вечный город сливаются все города,
В третий вечный подряд... Я была здесь всегда.

Петербург

Из безвоздушья, бездушья, беличьего
Бега без роздыха,
В Питер — к величью — столичью без мелочного —
За глотком воздуха.

Татевосян Анаит — поэт, переводчик, филолог. Родилась в 1979 г. в Ереване. В 2005 г. окончила факультет журналистики МГУ. Кандидат филологических наук. Преподает в Российско-Армянском (Славянском) университете. Печатается как поэт с 1987 г. Автор 4 книг стихов, в т.ч. «Игра в города» (2009). Переводит на русский современную армянскую поэзию. В журнале «Дружба народов» печатается впервые. Живет в Ереване.

* * *

Перламутровый свод осыпается белой крошкой.
В черно-белом городе гаснет мерцанье дня.
И по белому снегу, крадучись, черной кошкой
Я спешу навстречу сфинксам, ждущим меня.
В этот час мы выходим в город — странное трио —
И по снегу скользят три пары лап без следа.
Кто-то хочет увидеть Париж, кто-то рвется в Рио,
А мы отданы этому городу навсегда.
Вьюга нас, змеясь, заключает в тяжкие кольца,
Но, в глаза взглянув, в смятенье стремится прочь.
Только мы втроем в этом городе помним солнце,
И поэтому для прогулок выбрали ночь.

* * *

Здесь в ветре вместо воздуха вода,
Ласкают капли сомкнутые веки…
Здесь в реках не вода, а невода,
Дотронешься — останешься навеки.
Здесь в камне воплощается душа,
И только души признает уловом,
Водой и вдохновением дыша,
Венец творенья — детище Петрово.

* * *

Поезд уносит остов. Легкая грусть.
Пусть уезжает тело. Я остаюсь!
Город мой, Петербург мой, я не уйду!
Статуей черной встану в Летнем саду
Черному лебедю в пару. Словно в бреду,
Между бредущих сфинксов тенью пройду,
До смерти зацелую каменных львов
И на рассвете к дому, где Гумилев
Жил, прокрадусь на коврик лечь у дверей…
Питер, одной улыбкой сердце согрей!
Коленопреклоненно — глаза в глаза —
Мне без тебя ни жить, ни дышать нельзя,
Так затопи дороги, скрести пути,
Мертвою ли, живой ли — не дай уйти!

Ереван

Розовый, словно в сошедшей навек заре,
Рыжий медовой, полуденной рыжиной
Город, застывший в солнце, как в янтаре,
Точно таким, каким его видел Ной.

Ластящийся, как теплый огромный кот,
Льнущий, зовущий — довольно, вернись домой, —
Город, который так многих обратно ждет.
Мой.

Жмурки

Нынче тебе водить, а мне быть водицей,
И ускользать из пальцев, и задыхаться,
Смехом по правую руку твою струиться,
Страхом по левую руку беззвучно стлаться.

Нынче тебе водить, а мне поддаваться,
И замирать, и жмуриться, и ловиться,
И прогибаться, и тетивой взвиваться,
И приникать к тебе, и лозою виться.

Нынче тебе водить, а мне быть ведомой,
Там, где ты зряч, за тобою идти слепою,
И за тобою вслед уходить из дома,
И уходить из жизни вслед за тобою.

* * *

И на просторах всех мировых империй,
И там, где все не ладится до поры,
Помнит земная тварь, что живет под небом,
Жаждет знамений, ищет следы мистерий...
Мы же живем под сенью Святой Горы
И втихомолку делаем камень хлебом.

Константинополь

Во дворце басилевса стоят на часах пауки,
И военную песню заводит сова под сводами.
Все сбылось, здесь отныне гуляют одни сквозняки,
Эту трижды священную землю подмыло водами.

Так когда же обрушатся с неба огонь и вода —
Или кончились милость и пламя для здешних мест?
Только с башни Галаты бок о бок видны иногда
Молодая луна и над Айя-Софией крест...

Глеб Шульпяков

Случай в Стамбуле

надо бы встать, выйти из кафе, подняться в номер,
закрыть двери/окна/шторы, стащить рубашку
— упасть на постель, провалиться в сон —
но вместо этого я не могу не смотреть на улицу,
где, глядя перед собой как слепые, идут люди,
не могу отвести глаз от прохожих, между которыми общего —
только этот город и стены друг между другом —
только воздушные шары фантазий, скрипящие над головами,
— и я эти шары вижу

…несколько лет назад.
Невысокая, гладкие волосы
собраны на затылке (бедра
обтянуты светлой юбкой).
Турчанка, переводчица —
она повторяла слова, мои слова.
Чем еще подкупить мужчину?
Широкие брови; масличный разрез глаз.
Темные, полупрозрачные, они
излучали тревогу, как будто
она знала, *что* между нами будет…
А потом проходит — сколько? — четыре года.
Мой роман вышел, я возвращаюсь в город.
В книжном издатели, журналисты.
Английский, турецкий язык, музыка —
сливаются в ровный шум.
А я все смотрю поверх голов, ищу
ее взгляд. И не нахожу, не вижу.
Она не приходит.

«Найти и подарить книгу».
«Не может быть, чтобы она забыла».
Ведь это *нашу* историю
я рассказал в романе. Нашу ночь
подарил герою. Наши чувства
рассказал всему миру.
Утром спускаюсь по горячим камням.
Грохот города отступает, меркнет.
В древних кельях тишина и прохлада.
Вода звенит в фонтане — как в *тот* день.

Шульпяков Глеб Юрьевич — поэт, прозаик, драматург, главный редактор литературно-художественного журнала «Новая Юность». Автор книг стихов «Щелчок» (М., 2001) и «Желудь» (М., 2008), романов «Книга Синана» (М., 2005), «Цунами» (М., 2008) и «Фес» (М., 2010). Живет в Москве.

«Как представить господина?» —
На губах у привратника полуулыбка.
Смотрит — как будто все знает.
«Господину обычный или турецкий?»
Пальцы не слушаются, чашка
вот-вот выскочит из рук.
Сижу, уткнувшись в газету.
И вдруг слышу забытый голос.
«Это вы? Вы ко мне?»

Сухая ладонь, быстрое пожатие —
ни словом, ни жестом! только
из-под ресниц темный блеск.
«Объявлен культурной столицей Европы...
Рада поздравить с книгой...» —
Она говорит не своим, деловым тоном.
А я смотрю на нежную шею.
На влажные крупные зубы, которые
разжимал языком, чтобы ощутить
горячий клубничный вкус
(мы ели в кафе клубнику).
И снова: «Наш культурный центр...
Среди почетных гостей...»
Она говорит, чтобы заглушить наши мысли.
Но я вижу стыд и любопытство.
Такими были ее глаза, когда она,
полураздетая, прижималась ко мне,
чтобы я не видел ее наготы; и в дверях,
когда запретила провожать себя.

«Что-то еще?» — Мы встаем.
Я чувствую, как рубашка отлипает от кожи.
«Мне хотелось подарить тебе...» —
Оба смотрим на книгу,
как будто под обложкой приговор.
«Если можно, подпишите роман...» —
Она обводит рукой галерею.
«Для нас это важно, очень».
Я покорно вынимаю ручку.
Ладонь сухая, ни секунды дольше.
На лестнице оборачиваюсь —
нет, светлая юбка исчезла в келье.
Чернильные полосы кипарисов,
и на столе красное пятно книги.
По дороге обратно сажусь в кафе.
Вспоминаю *тот*, настоящий вечер.
Стул напротив, который остался пуст —
потому что она не пришла.
Нетронутую клубнику, и как
один поднялся в пустой номер.
«Надо бы встать, — говорю, очнувшись. —
Дойти до гостиницы, зашторить окна.
Заснуть, а завтра улететь из этого города».
Но другой голос перебивает:
«Надо бы все рассказать ей — ночью,
когда мы закончим». Ночью —
и будем лежать навзничь. Ночью,
и слушать тихий шелест.
Ночью — над нашими мокрыми
головами.

Слава Сергеев

Вечера на хуторе близ экватора

Повесть

Мені нудно в хаті жить.
Ой, вези ж мене із дому...
Старинная песня

А иные там все голые или в фатах, да на шее жемчугу много, да яхонтов, да на руках браслеты и перстни золотые...(Ей Богу!)
Афанасий Никитин

Что за невидаль: «Вечера на хуторе близ экватора»? И швырнул в свет какой-то пасичник, любитель меду, который дальше Крыма или Геленджика раньше не высовывал и носу! Дернула же кого-то охота тащиться вслед за другими на край света, за моря, в Индию, и мало того, оставлять об этом какие-то записки!..

Будто еще мало народу, всякого звания и сброду, вымарало пальцы в чернилах по этому поводу! И будто мало меду на любом московском или питерском рынке!..

Нет, захотелось этому пасичнику индийского, австралийского, даже малазийского меду, начитался кум классики, наслушался разных историй от бывалых людей, решил и он тоже на какой-нибудь московской вечернице с девками, встать с места, расставить ноги посреди комнаты и, засунув руку в карман своего цветного горохового кафтана, вытащить лаковую табакерку с диковинными птицами или цветами на крышке и, захвативши немалую порцию *табаку*, растертого с золой и листьями (люди вокруг все верные), поднести ее коромыслом к носу и вытянуть на лету всю кучку, не дотронувшись даже до большого пальца...[1]

В общем, захотелось мужчине свет посмотреть и себя показать. А теперь ведь что, теперь ведь не то, что раньше. Теперь справь себе в полиции заграничный паспорт, купи билетную квитанцию и... — э-эх, только тебя и видели!.. Залился колокольчик, завыли турбины самолета и быстро-быстро замелькали маленькие зеленые огни вдоль взлетной полосы...

1.

Индия, один из небольших юго-западных штатов, 10 часов вечера, жарко; воздух наполнен запахами горячей земли, незнакомых русскому человеку цветов, деревьев, готовящейся где-то острой еды и тихим гулом колышущегося внизу, под обрывом, океана.

Слава Сергеев — родился в Москве в 1965 году. По первому образованию геолог. Несколько курсов учился в Литературном институте им. А.М.Горького. Автор трех книг прозы: *«Места пребывания истинной интеллигенции», «Капо Юрий, море и фея Калипсо», «Москва нас больше не любит»* (Москва, Зебра Е, АСТ, 2006; 2008; 2011). Постоянный автор журнала «Дружба народов». Живет в Москве.

[1] ***Внимание!*** *В тексте во многих местах присутствуют явные и скрытые цитаты из Н.В.Гоголя, которые не выделены каким-либо образом лишь из-за небрежности наборщика —* ***здесь и далее примечания автора.***

На открытой террасе большого белого дома компания человек пять-шесть. Все русские, почти все москвичи. На широком каменном парапете террасы, заменяющем стол, большое блюдо с остатками вареной курицы, рядом несколько пластмассовых бутылок местного пива «Король-рыбак», бутылка скверной местной горилки «Фени», чашки, стаканы, пепельницы... Компания уже порядочно пьяна. Сидят давно, разговор то и дело прерывается. Низко и ритмично гудит большой индийский барабан. Это молодая русская пара из Кунцева, прикрыв глаза, в 4 руки отбивает ритм. Немного тянет травкой, только что по кругу пускали косячок[1].

Володя — молодой программист из известной российской компании, полуобняв за плечи свою спутницу, беленькую, коротко стриженную девушку неопределенного возраста, громко говорит, обращаясь к присутствующим:

— А не выпить ли нам, господа, чаю? Велите, Леша, распорядиться насчет чая! — церемонно обращается он к бледного вида молодому человеку в мятой рубахе и с мутным взглядом, который обычно возникает при систематическом употреблении алкоголя и легких наркотиков. Мутный молодой человек встает, пересекает по гравийной дорожке освещенный фонарем двор, у большой банановой пальмы с широкими листьями до земли поворачивает на хозяйскую половину и исчезает из виду. Слышен его голос, на плохом английском просящий чаю. Невидимый собеседник спрашивает на гораздо лучшем английском, сколько стаканов, и уточняет с чем чай: мятой, медом или имбирем.

— Сколько стаканов?! — по-русски через весь двор кричит Леша. Компания безмолвствует, потом девушка, играющая на барабане, по-русски же громко отвечает:

— Четыре! И меду попроси!.. С медом чай!..

— Виз хоней би, плиз[2], — обращается Леша к все к тому же невидимому собеседнику. — Сейчас принесут, — удовлетворенно говорит он, возвращаясь. — Спали уже, макаки...

— Леш, — недовольно морщится играющая на барабане девушка, длинные золотистые, вьющиеся до плеч локоны делают ее похожей на героиню сказки А. Толстого Мальвину, настоящее ее имя — Марина, но так ее в этих краях называют редко, — они ведь иногда понимают по-русски. Ты бы осторожнее, что ли. Мы же тут живем.

— Эти не понимают, — говорит Леша и, аристократично отставив мизинец, наливает себе местного пива. Видно, что он уже довольно сильно пьян.

Несмотря на поздний час, жарко. Пот блестит на лицах, шеях, открытых руках и ногах сидящих на веранде русских гостей. Жара висит в воздухе, листва больших манговых деревьев и пальм, окружающих двор, не шелохнется, темно-зеленые кусты с большими красными цветами на ветках тоже стоят неподвижно. Лишь изредка со страшным шумом на железную крышу соседнего дома падает созревший плод манго и снова наступает тишина.

— Жаркий выдался март в этом году, — говорит Леша. — Макаки говорят, что уже несколько лет такого не было.

— Леш, — недовольно повторяет Мальвина, — еще раз тебе говорю, прекрати насчет «макак»! Неудобно все же. Ты что, расист?

— Я расист? Сама ты «расист»... Говорю тебе, эти не понимают, — отвечает Леша и радушным жестом приглашает на террасу темнокожего мальчика лет четырнадцати с большим подносом, на котором стоят несколько стаканов дымящегося чая и большая глиняная плошка с медом. Мальчик весело улыбается. В темноте вечера блестят его глаза и белые зубы.

---

[1] ***Внимание!*** *Мы подчеркиваем опасность подобного времяпрепровождения и свое несогласие с ним.*

[2] *С медом, пожалуйста — здесь и во многих других случаях приводится перевод с «broken English», ломаного английского, на котором говорят в Индии почти все приезжие русские и граждане стран бывшего Союза ССР.*

— Please, — говорит он. — Yours tea, ladies and gentleman‘s, and honey![1] Будете ли что-нибудь еще? А то мы закроем кухню... Может, принести вам несколько лепешек-чапати?[2]

— Спасибо, Нан, — говорит одна из русских девушек и протягивает мальчику фиолетовую бумажку в 50 рупий с портретом Ганди на одной стороне и головами тигра льва и слона на другой. Стороны банкноты находятся в некотором противоречии между собой, и это сближает наши страны.

Мальчик отстраняет деньги:

— Не надо, мэм, потом. Запишем в счет.

— А потом они забудут, — тихо говорит Леша и удовлетворенно заключает: — Считай, бутылка «фенечки» за счет заведения.

— А мы им все отдаем, — говорит Мальвина, — нехорошо же. Нечестно вроде.

— Нормально, — говорит Леша. — Не обеднеют. Тут чай копейки стоит... А мне у них еще полтора месяца тусоваться да подарки всем в Москву покупать.

При упоминании о подарках и Москве вся компания оживляется, и до той поры молчавшая подруга программиста Володи, встрепенувшись, спрашивает у золотоволосой Мальвины, как они вчера съездили на вещевой рынок в соседний городок Анджуну.

— Классно, — говорит барабанщица. — Сначала я немного обалдела и растерялась от восточного рынка, все же я в первый раз здесь, но потом внутренне собралась и сделала неплохой шопинг. Купила пять больших покрывал — бабулечкам, себе, сестричечке и двум подружкам. Украшения суперные, браслеты медные, бусы стеклянные и шапочку разноцветную из Карнатаки-стэйт... То есть две шапочки — мне и Санечке. (Она кивает на мужа.) Сумку разноцветную, три майки с портретом Махатмы Ганди... — Мальвина переводит дух.

— Легко купила? — спрашивает подруга программиста, ее зовут Даша, Володя иногда называет ее коротко — *«Да».*

— За покрывала торговались как безумные. Картина «Взятие Измаила», я где-то видела такую. Они сначала хотели по 600 рупий за штуку, я прямо упала, говорю: да вы че?! Я за такую цену их в киоске в аэропорту видала!..

— Прямо по-русски говоришь? — удивляется Даша.

— Нет, мне сначала Санечка переводил, но потом перестал, мне кажется, она понимала меня без слов, телепатия. Сбросила сначала до 4 хангридов, потом до 3,5, потом отдала оптом за 2 хангрида 20. Говорит: телл ми гуд прайс! Телл ми!..

Я говорю:

— Гуд прайс? Хорошо. Двести. Саня переводит: ту хангрид. Она прямо за голову схватилась: ту хангрид?! Ноу! Май чилдрен!.. Ту литл бойз!.. Зей вилл маст ит!..[3] Договорились на 220 целковых, то есть рупий. Я там пряности еще хочу купить. На следующей неделе опять поедем.

— *Пряностей?..* А каких? — спрашивает подруга программиста. Несмотря на то, что ей явно больше тридцати и других Даш в компании нет, за глаза и в глаза ее называют Дашей-маленькой, за миниатюрность. В ней не больше 160 сантиметров. Она встает со своего места и берет два стакана чая. Чайные стаканы, которые берет Маленькая Даша — обычные, граненые, двухсотграммовые, такие стаканы и мы, и многие наши читатели видели много-много раз дома, в России, странно встретить их здесь, за тридевять земель от родных берегов. Первое время автор и его герои даже иногда украдкой заглядывали на донышко — не написано ли где мелко «Made in Russia», не мелькнет ли гордо двуглавый орел? Но нет, нигде ничего.

---

[1] *Пожалуйста, ваш чай, леди и джентльмены, и ваш мед (англ.) — большинство жителей береговых штатов свободно говорит по-английски, на котором, кстати, написаны многие индийские школьные учебники и который является одним из двух государственных языков Индии.*

[2] *мучные лепешки, похожие на лаваш.*

[3] — Скажи мне хорошую цену, скажи мне! — Хорошую цену? Две сотни. — Две сотни?! Нет!.. Мои дети! Два маленьких мальчика! Они должны есть!.. (1 доллар США — около 50 рупий.)

— Да всяких. — Мальвина смеется. — Имбирь, кориандр, перец, гвоздика, корица, все, что отсюда гордые португальцы и надменные англичане пять веков вывозили... И я повезу, парусным кораблем. Клипером.

— *Чем?* — снова спрашивает Маленькая Даша.

— Парусником, — говорит барабанщица. — Так быстроходный парусник называется. Как на пачке чая... Тебе что, в детстве книжек про путешествия родители не читали? Жюль Верн, капитан Кук, «Вокруг света за 80 дней»... Кстати, ты видела, какое покрывало купила подруга этого немца из соседнего гест-хауса, забыла, как его зовут? — спрашивает она через минуту Маленькую Дашу. — Белое, с павлинами и кораблями, расшитое золотой нитью. Только не говорит, зараза, у кого. Скрывает, потому что дешево, боится, что все наши набегут и цена поднимется, но я все равно узнаю, кто это.

Ее собеседница вздыхает и, показывая на своего молодого человека, в этот момент отошедшего покурить с мужем Мальвины и мутным Лешей во двор, тихо сообщает:

— Когда здесь в прошлый раз с Петей была, тоже всего накупила. А в этот раз Вова все пропил. Если что-то останется — тоже купим. Вот только барабан сыну успела взять за 400 рупий, а больше ничего. — Она нервно поправляет волосы.

— А я вообще не понимаю, чего ты его сюда привезла, — вполголоса говорит Мальвина. — Он же совсем пацан, ему бы только люльку забить и по девкам бегать. А твой Петро такой хороший, внимательный...

— Хороший, — соглашается Маленькая Даша, — только с ним... — она наклоняется к уху Мальвины. — Тем более на юге.

Обе громко хохочут.

Потом Мальвина тянет носом и недовольно ворчит:

— Какая, пардон, дрянь эти индийские сигареты. Еще «Голд» называются. *Голд...* Даже сюда пахнет... Я своему говорю: езжай в супермаркет, купи нормальных сигарет, «Мальборо», «Честер», в крайнем случае, а он отказывается. Говорит, экзотика, они напоминают ему молодость, как он в армии служил и курил там страшные советские папиросы «Казбек».

Мужчины в конце двора тем временем, будто вторя своим дамам, оживленно обсуждают сравнительные достоинства местного бренди «Пчелиный мед» и рома «Старый монах», ласково называя бренди «Ханей-бишечкой», а ром «Ромой» или «Старым монком».

— У макак 15 рупий за 200 грамм,— горячо говорит мутный Леша. — А у нас самая дешевая четвертинка — полтинник. Я здесь за месяц на напитках, считай, долларов 250 сэкономил, а то и больше. То есть месячная плата за комнату.

— А ты феню[1] пей, — меланхолично замечает молчаливый супруг Мальвины, высокий молодой мужчина в широких синих шароварах и с красиво взбитым панковским чубом. — Феня вообще, считай, ничего не стоит. Исчезающе малая величина.

— Нет, феня — фи, — презрительно кривится спутник Маленькой Даши. — Она какой-то химией отдает. Сивухи много. Мне Дашка не разрешает ее покупать. Говорит, вредно. Кроме того, ей кто-то из индусов сказал, что феню пьют низшие касты.

— Про касты не знаю, но, по-моему, индусы вообще водку не пьют, — говорит супруг Мальвины, — мы здесь уже две недели и ни одного местного пьяного не видели.

— А чего им пить, — вздыхает мутный Леша, — как говорит Миша-журналист: это не входит в их культуру. Им, если надо расслабиться, погулять, они торчать начинают.

— Ну, вот и неправда, — возражает Дашин Володя. — Мы когда в Чапоре позавчера вечером гуляли, я там видел двух индусов, пьяных буквально в жопу. Если бы не цвет лица, тетки в сари и пальмы вокруг, можно было бы подумать, что дело происходит где-то в нашей Миргородской губернии и два дядьки-тракториста отдыхают после рабочего дня.

Мужчины затягиваются короткими индийскими сигаретами, некоторое время проходит в задумчивом молчании.

— Может быть, это и были трактористы, — замечает мутный Леша, — мы тут,

---

[1] *Пчелиный мед по-английски — honey bee, см. чуть раньше игру слов; feni, феня — дешевая индийская водка.*

кстати, два раза «Беларусь» видели. Ехали-ехали как-то на рикше к знакомым девочкам в Арпору, дело было под вечер, на закате; смотрим — на рисовом поле знакомый синенький профиль с большими колесами стрекочет, а вокруг индусы суетятся... Батюшки, это же наш родной «Белорусец»!.. Прониклись гордостью. Российское производство все же.

— Белорусское, — меланхолично поправляет его супруг Мальвины.

— Какая разница? — искренне удивляется Леша. Потом он без перехода и не без зависти замечает Володе:

— Кум... А Дашка-то тебя блюдет, бормотуху покупать не разрешает... Хорошая женщина. Гарная.

Володя неопределенно кивает:

— Да, только ревнивая слишком. Я тут попытался позаигрывать с одной смазливой венгерочкой у тибетцев, совершенно невинно, поволочился чуть-чуть, так она мне такой скандал закатила, прямо в кафе, все ох...ели, хотя, наверное, видали всякое. Тибетцы попытались нас разнять: Мэм, — говорят, — донт ворри!.. Би квайт!..[1] Им религия скандалы не позволяет. Куда там... Мы потом два дня в этом кафе не завтракали. На третий пришли — блинцы у них все же самые лучшие... Она же меня старше намного, ты в курсе? — добавляет Володя.

— Ну и что, что старше — она выглядит молодо, — вздыхает Леша и повторяет, — хорошая женщина... А макаки не умеют готовить, — неожиданно добавляет он, — вот у меня друг в Таиланде был, там да, там хорошо готовят. Ном-ям, том-ям. Потом у тибетцев этих дорого — креветки с рисом в соусе у них 60 рупий, а в нашем гест-хаусе 50. И нудлс у них дорогая...

— Если бы ты не тратил столько денег на траву, — замечает супруг Мальвины, — ты смог бы лучше распробовать местную кухню. Сыр вот у них вкусный в шпинатном соусе — *панир* называется. Или *малай кофта* — мы сначала думали, какая такая «кофта», а потом оказалось, что попросту говоря это котлетки картофельные. Вкусно. В Москве это дорого стоит, мы видели.

— Да... я в рот всю эту кофту и кухню, — с жаром говорит мутный Леша, — я что, сюда жрать приехал?! Ты меня просто поражаешь. Как говорится, дывлюсь я на тебя! Тут *дурь* копейки стоит! *Дурь!..* А ты — про какую то «кофту». Я тут на дури уже целое состояние сэкономил.

— Ты бы не увлекался, Лех, — советует муж Мальвины. — Посмотри, на кого ты похож. Глаз не видно, опух...

— Мальчики, идите к нам! — зовет мужчин Мальвина, — что вы там уединились? Здесь это не принято, хозяева что-нибудь не то подумают.

Прекращайте курить эту гадость.

— Здесь это как раз принято, — хмыкает Леша. — Восток — дело тонкое... Потом, попробуй в здешней деревне местный парень к местной девушке пристать — сразу женят. Вот им и приходится как-то выходить из положения...

Все смеются.

— Гадость... А ты знешь, что первая редакция российского гимна была записана на пачке такой же «гадости», «Казбека»? — кричит муж Мальвины в ответ.

Мальвина не отвечает, зато громко удивляется Володя:

— Да ты что, не может быть?!

— Правда, я тоже читал где-то, — подтверждает мутный Леша. — Только гимна не российского, а советского. Где «созданный волей народов великий, могучий Советский Союз». Помните? Пишут, что его вообще по пьяни написали. Врут, наверное.

Курильщики улыбаются воспоминаниям о далекой родине, затаптывают окурки в красноватую землю и, обогнув пальму в центре двора, возвращаются на веранду.

— По пьяни — не по пьяни, а хозяева завтра будут энгри[2], — тихо говорит Саша. — Они уже два раза просили окурки наземь не бросать. А то жарко же... Файер...[3] Потом, зачем бросать, раз люди просили? Покури дурь и брось люльку в урну! — афористично заключает он и торопится на веранду.

---

[1] *Не волнуйтесь!.. Тише!..*

[2] *сердиться.*

[3] *огонь.*

2.

Утро, еще не очень жарко. Открытое кафе под огромным манговым деревом. Молодая пара из Москвы заказывает свой обычный завтрак. Блинчики с медом, два йогурта и стакан ярко-оранжевого сока папайи — обычный утренний набор туристов в южной Индии. Пока официант приносит заказ, она смотрит по сторонам и пишет смс подруге в Москву, он читает старый номер бомбейского еженедельника Indian Times. И, заметим, напрасно, потому что во всех политических еженедельниках мира пишут почти одно и то же, а посмотреть вокруг есть на что, даже если сидишь в этом кафе почти каждое утро уже месяц.

Манговое дерево, под которым располагаются столики, едва шевелит ветвями под утренним ветерком, молодая служанка в ярко-зеленом сари поливает из шланга какие-то большие кусты с пятнистыми листьями и маленькие египетские пальмы в кадках, большой синий попугай, прилетевший из джунглей, садится на один из раскрытых зонтиков над столами, дети хозяйки, мальчик и девочка лет 5—6, возятся в красно-коричневой пыли на земле. Тихий индийский говор доносится из бара, там же урчит телевизор, а метрах в 50 от столиков, в ветвях большого мангового дерева на краю двора появляется небольшая стая обезьян в шубах грязно-белого цвета. Обезьяны рассаживаются на верхних ветвях манго и застывают в неподвижности — под одним из столиков кафе дремлет хозяйская овчарка.

Впрочем, на всю эту экзотику никто не обращает внимания — ни хозяйка кафе, озабоченно говорящая по мобильному телефону, ни официант в тени барной стойки и своих разноцветных бутылок одним глазом смотрящий по ТВ какое-то шоу, ни другие редкие утренние посетители: пара светловолосых девушек, шведок или англичанок, даже во время завтрака продолжающих держаться за руки, и одинокий красивый юноша неопределенного подданства, грустно глядящий перед собой в ожидании заказа. Взор юноши несколько оживляется лишь тогда, когда падает на новый черный байк «Хонда» с блестящим изогнутым рулем и длинными зеркалами заднего вида по бокам, красиво припаркованный у входа в кафе.

Москвич громко зачитывает вслух своей симпатичной жене фразу из передовой статьи Indian Times о мусульманских экстремистах в Кашмире, сопровождая чтение ироническим комментарием:

— Здешние власти столь же беспомощны, как наши.

В этот момент официант приносит заказ.

— Зеа ра мэни проблемс виз Ислам экстремс ин Кашмир, арент ит? — старательно складывая английские слова, спрашивает москвич официанта.

— Yes, sir, — односложно отвечает официант, не проявляя большого желания вступать в разговор.

— Зеа ра мэни проблем виз Ислам эсктремс ин Кавказ ин Руссиа ту! Ду ю ноу эбаут ит? — не успокаивается москвич.[1]

— Что-то слышал, сэр, — также односложно отвечает официант.

— Откуда вы? — спрашивает москвич.

— Из Кашмира, — отвечает официант.

— Вы мусульманин?

— Да, сэр.

На мгновение за столиками воцаряется неловкое молчание. Держащиеся за руки блондинки испуганно оглядываются, красивый юноша неопределенного подданства все так же неподвижно продолжает смотреть на свой байк, но на губах его появляется буддийская улыбка.

Официант с легким полупоклоном отходит.

— Вечно ты пристаешь ко всем с политическими разговорами, — со вздохом говорит москвичу жена. — Смотри, что из этого получается.

---

[1] *— Здесь много проблем с исламскими экстремистами в Кашмире, не так ли? — Да, сэр. — В России, на Кавказе тоже много проблем с исламскими экстремистами. Вы знаете об этом?*

— Но кто же знал, что он мусульманин и именно из Кашмира? — оправдывается москвич. — На нем европейская одежда, он разносит спиртное... Вообще, он не похож на мусульманина!

В это время на манговом дереве, где появилось обезьянье семейство, происходит оживление. Самец, видимо, на что-то решившись, прыгает с верхушки дерева вниз и со страшным шумом опускается на одну из толстых нижних ветвей. На сухой земле под деревом валяется несколько сочных, треснувших от удара оранжевых и красных манговых плодов.

Хозяйская овчарка, до того без видимого участия наблюдавшая за детьми и гостями кафе, поднимает уши, вся настораживается, подбирается, но не двигается с места. Самец с видом уставшего после работы горожанина устраивается на ветке, свешивает вниз хвост подобно удочке, и с сонным недоброжелательством осматривает двор. После этого он поднимает голову и, видимо, посчитав притаившуюся под столом овчарку спящей, делает своей семье знак. С верхних ветвей дерева тихо спускаются самка с прицепившимся к ее брюху детенышем и еще две обезьяны — в человеческом семействе их, скорее всего, назвали бы «дядюшкой» и «тетушкой». Судя по всему, «дядюшка» ипохондрик и нарцисс, такой же, как красивый юноша с буддийской улыбкой. Он усаживается в сторонке от всей компании и, как настоящий нарцисс, не обращая внимания на сородичей, начинает заниматься собой, выискивая не то блох, не то кристаллики соли в густом меху своей шубы.

Тем временем официант приносит заказ московской паре, и на лицах москвичей показывается оживление, которое всегда показывается на лицах европейцев, когда в кафе и ресторанах им подают еду. Йогурт и фруктовый сок отправляется к симпатичной мадам, блинчики и чай — к месье, Indian Times откладывается в сторону, в руки берутся нож и вилка, проходящая мимо хозяйка-индуска весело улыбается гостям, — судя по всему, это завсегдатаи.

— How are you? — говорит она, приостановившись у столика.

— Файн, — отвечает жена москвича.

— Гуд, — говорит москвич. — Энд ю? — спрашивает он, слегка скользнув взглядом по хозяйкиному бедру в тесной европейской юбке.

— Fine too, — белозубо улыбается хозяйка, — thank you,[1] — и идет дальше. Возможно, мы ошибаемся, но у автора, незримо наблюдающего эту сцену, возникает ощущение, что хозяйкины дела действительно «fine».

— Почему я всегда должен отвечать на этот вопрос «хорошо» или «прекрасно»? — бормочет москвич, принимаясь за еду. — Что за идиотским обычаям научили их англичане? Я сегодня не очень хорошо спал, жарко, почему обязательно отвечать «fine» или «good»?

— Это знак вежливости, дорогой, не более того, впрочем, ты можешь сказать ей то, что ты думаешь, даже интересно, что она ответит? — говорит жена.

Тем временем не то шведские, не то английские дивчины заканчивают свой breakfast, они интенсивно пользуются салфетками и расплачиваются, затем поднимаются и, сверкнув длинными загорелыми ногами, все так же, не разнимая рук, идут к своему мотоциклу.

— By, see you... — поют они хозяйке и еще раз немного испуганно смотрят на русскую пару.

Судя по всему, шведки сочли вопрос о вероисповедании официанта вопиюще неполиткорректным. Когда они садятся на мотоцикл, высоко закидывая колени, особенно та, что садится сзади, она худее, женственнее и выше, немногочисленные мужчины в кафе обмениваются улыбками, а кашмирец-официант одобрительно цокает языком. Даже красивый юноша на мгновение отрывается от созерцания своей «Хонды», и буддийская улыбка на его устах приобретает человеческие черты.

Некоторое время проходит в молчании.

Воспользовавшись возникшей с отъездом шведок-англичанок паузой, сидящий на нижней ветке обезьяний отец семейства спрыгивает на землю и протягивает лапу за манговым плодом. В этот же момент, казалось бы, дремлющая под столом хозяй-

---

[1] *— Как вы? <...> — Прекрасно, хорошо. — А вы? — Тоже прекрасно. Спасибо.*

ская овчарка с оглушительным лаем, заставляя всех оставшихся посетителей подпрыгнуть на своих стульях, срывается с места и молниеносно преодолевает расстояние до мангового дерева. Обезьяний мужчина, так и не схватив желаемый плод, и вся его семья в полном составе в ужасе взлетают на верхние ветки. На морде «дядюшки» вместе со страхом прочитывается некоторое злорадство, он замыкает отступление. Поднявшись на безопасное от земли расстояние, отец обезьяньего семейства свешивается вниз, скалится и, судя по всему, что-то говорит хозяйской овчарке, с визгливым лаем кругами носящейся вокруг дерева.

Хозяйка хохочет. Посетители, оправившись от первого испуга, тоже улыбаются.

— Don't worry, — заметив испуг гостей, говорит хозяйка, — It's a play...

Она зовет собаку:

— Jessy, come here, Jessy![1]

Собака не слушается, и за ней отправляется официант.

Закончив завтрак, московская супружеская пара удовлетворенно откидывается на спинки пластмассовых кресел. Муж снова берется за Indian Times.

— Попросим счет? Или ты будешь еще что-нибудь? — спрашивает жена.

— Давай еще посидим, — отвечает муж.

Становится жарче. Ветерок в верхних ветвях мангового дерева стихает.

— Ты пойдешь в Интернет сейчас? — спрашивает жена. Смс в Москву написаны, завтрак закончен и ей, похоже, немного скучно.

— Нет, наверное, — отвечает москвич. — Жарко. Потом.

— Потом они уйдут на сиесту.

— Не хочу торопиться, вечером зайду. Возьми другой номер Indian Times, почитай. Там где-то было интервью с Кейт Бланшет или с кем-то еще в этом роде...

— Вечером мы будем на пляже, — не отреагировав на Кейт Бланшет, жена знаком подзывает официанта:

— Счет, пожалуйста.

— Да, мэм, — говорит официант.

— До сих пор не могу привыкнуть к этому их «мэм» и «сэр». Жаль, что в России не было колониализма, — вздыхает москвичка.

— Здесь не было коммунизма, — отвечает муж.

— В этом все дело. Как говорил Ленин, главный вопрос любой революции — это вопрос о собственности. Они уважают твои деньги — в этом все дело.

— О господи, Ленин... Нашел, кого здесь вспоминать.

— Ты удивишься, но в соседнем штате коммунисты правят уже 30 лет и портреты Ленина там можно встретить довольно часто.

— Правда?

— Да. Я тебе уже говорил. Но это какие-то странные коммунисты. Они побеждают на свободных выборах и ввели бесплатное всеобщее образование в школах... В остальной Индии этого нет.

— Если выборы действительно свободные, то это не коммунисты, — говорит жена.

— Флаги, во всяком случае, красные... — москвич заглядывает под стол и что-то там ищет.

— Ты что-то потерял?

— По-моему, этот мусульманский экстремист стащил мое кольцо со слоном, которое мы купили недавно в Анджуне. Я его снял перед завтраком и положил на стол, а теперь его нет.

— Посмотри в карманах, — говорит жена. — А зачем ты его снял?

— Оно мне немного жмет.

Официант приносит счет.

— Простите, вы не видели кольца на этом столе? — спрашивает москвич, проницательно глядя на официанта.

— Нет, сэр, — официант растерянно осматривает землю вокруг. — The ring? Вы потеряли кольцо? — Он заглядывает под стол.

---

[1] *Не волнуйтесь, это игра... Джесси, иди сюда, Джесси!*

— Да, куда-то делось.

Подходит хозяйка.

— Господа, что-то случилось?

— Ничего, — говорит москвич, — куда-то затерялось кольцо. Сейчас найдем.

— Золотое? Gold? — хозяйка пугается.

— Нет, серебряное, силвер.

— А-а, — она вздыхает с облегчением. — Исмаил сейчас поможет вам его найти, — она делает знак официанту.

Красивый юноша встает из-за своего стола и, подойдя к нашим героям, осведомляется по-русски:

— Вы что-то потеряли?

Пара удивляется:

— Вы русский?!

Молодой человек доволен:

— А что, не похож?

— Не очень.

— Меня многие принимают за испанца, — красивый молодой человек улыбается, — или за француза.

Он тоже заглядывает под стол. Огорченно выпрямляется:

— Там ничего нет.

Официант также вылезает из-под своей половины:

— Nothing.[1]

— Откуда вы? — спрашивает москвич у молодого человека.

— Из Москвы.

— О, мы тоже из Москвы... Давно здесь?

— Чуть больше месяца. Раньше я жил неподалеку, в Чапоре. Теперь переехал сюда. Там слишком шумно и нет моря. Зато здесь у меня, вы удивитесь... скверная кровать. Слишком короткая... Я говорил хозяйке, она кивает, но ничего не делает. А вы давно?

— Примерно столько же, — отвечают москвичи.

— Собираетесь назад?

Муж удивляется:

— Конечно... Говорят, в мае будет очень жарко. А потом начнется сезон дождей.

— Если будет жарко, можно перебраться на север страны, в Гималаи, Решикеш... Я недавно уничтожил свой обратный билет, то есть сжег, — томно поясняет юноша.

Жена москвича недоверчиво смеется:

— Сожгли билет?

— Да, сжег, на крыше своего дома, еще в Чапоре. Ритуально, под распевание гимнов, и развеял пепел по ветру.

— Но почему не сдали?! Ведь это немаленькие деньги. — Москвичка удивлена.

— Я пытался, — говорит молодой человек. Он явно доволен произведенным эффектом. — Но это такая морока. По-моему, здесь еще хуже, чем в России. За все надо давать взятку, причем не очень понятно кому. К тому же я плохо говорю по-английски.

— А мы просто не брали обратный билет, — говорит жена москвича. — Решили сделать это здесь, когда надоест... Странно... я не слышала, чтобы у кого-то здесь были проблемы с билетами.

— Тут такое расслабление, — неопределенно говорит красивый юноша, — на все становится наплевать. Все улыбаются, тепло, нет этой российской повсеместной агрессии... Я вообще, наверное, не поеду назад.

— А деньги?

— Меня содержит бывшая жена, — молодой человек снова томно улыбается, — ежемесячно я получаю пособие по Western Union на жилье, еду, немного drugs... И даже на женщину.

---

[1] *Ничего нет.*

Супружеская пара снова удивлена и одновременно они смотрят на красивого юношу с недоверием.

— Мадам? — вежливо спрашивает официант. Оказывается, он все это время стоял неподалеку. — Вы нашли ваше кольцо со слоном?

— Ах, да, кольцо... Ринг виз элефант...[1] Нет, не нашли. Не беспокойтесь. Оно недорогое, — говорит москвич.

— Как это не беспокойтесь? — удивляется жена. — Ты что? Это же память! Мы купили его в тот день, когда в Москве вышло твое интервью с Фолькером Шлендорфом!..[2]

На этот раз удивляется красивый молодой человек:

— Со Шлендорфом?.. Вы имеете отношение к кино?

— Мой муж — журналист, — говорит москвичка с гордостью. — Он работает для нескольких московских и петербургских изданий.

— Вот как? — красивый юноша едва заметно удивляется. — Вы не похожи на журналиста... Когда-то я хотел поступать во ВГИК... — Он снова буддийски улыбается. — В той, *другой* жизни... Впрочем, все это теперь не важно. Шлёндорф, кино, ВГИК... — теперь это все кажется таким далеким. Скоро я уеду в Гималаи.

Обезьянье семейство на краю поляны снова проявляет активность. Сделав несколько ложных движений и убедившись, что Джесси привязана, обезьяний атаман спрыгивает на землю и наконец-то хватает вожделенный манго. Чуть позже то же самое делают и другие члены его семьи. Джесси скулит, визгливо лает и натягивает поводок. Русские гости улыбаются.

— Какая пародия на человека... — красивый юноша вздыхает.

— Обезьяны? Что вы, они очень хорошие, — говорит жена журналиста. — Да, правда, они немного похожи на людей. Но все равно это же звери, сразу видно. Я не сторонница Дарвина, человек не мог произойти от мартышки.

— От мартышки не мог, от шимпанзе мог, — тихо замечает ее муж.

Красивый молодой человек снова улыбается:

— Все это не важно. Человек произошел от Богов. Среди здешней природы это очевидно... Кстати, в индийском пантеоне Богов обезьяна занимает почетное место.

— Sorry, madam, — кашмирец в сопровождении хозяйки снова появляется у стола. Он опускается на корточки и внимательно осматривает землю. — Ваше кольцо... Может быть, вы его куда-нибудь положили? Кошелек, дамская сумочка? Your purse, your handbag?[3]

Видно, что хозяйка расстроена:

— Это была память о каком-то приятном событии? — огорченно спрашивает она.

— Нот вери биг ивент, — отвечает москвич. — Бат найс фор ас...[4]

В свете рассказа красивого юноши о сожжении авиабилета и его намерении остаться в Индии, эпизод с потерей кольца выглядит немного по-другому. Какая ерунда. Даже со слоном. Мелочи... Можно купить еще... Супружеской паре неудобно.

Однако хозяйка, услышав про «nice for us», огорчается еще больше.

— Как жаль, — говорит она. — Но, может быть, вы действительно забыли его у себя? Так бывает, посмотрите.

Жена москвича открывает кошелек, потом роется в сумочке:

— Нет, его здесь нет.

Она вздыхает:

— Посмотри еще раз в карманах, — обращается она к мужу, который в этот момент обсуждает с красивым молодым человеком плавание на корабле «Бигль» и возможную случайность выводов г-на Дарвина.

Москвич рассеянно сует руку в карман и через мгновение на его лице отражается удивление, потом неловкость. Он достает из кармана кольцо.

---

[1] *кольцо со слоном.*

[2] *известный немецкий кинорежиссер.*

[3] *Извините, мадам... Ваш кошелек, ваша дамская сумочка?*

[4] *Не очень большое событие... Но приятное для нас.*

— Вот...

Следует небольшая пауза. Супружеской паре неловко, хозяйка и официант искренне рады, молодой человек, сжегший свой авиабилет, сохраняет восточное спокойствие, хотя в первый момент он таки бросает на москвича удивленный взгляд.

— Sorry, — говорит москвич, — мне казалось, что я внимательно посмотрел.

— Ничего страшного, — хозяйка белозубо улыбается, — это бывает довольно часто. — Во всем виновата жара.

Официант тоже улыбается:

— Very good, очень хорошо, — говорит он, — It's happend...[1] — и они с хозяйкой уходят.

— Вот видишь, — говорит жена. — А ты на него грешил. Нехорошо.

— Я видел, что он злился, когда я спросил про мусульманский терроризм, — смущенно замечает муж.

— И поэтому он должен был стащить твое кольцо?

Все смеются.

— Мне показалось, — говорит муж, — они не очень удивились, когда мы его нашли.

— Да, так оно и есть. Они здесь вообще мало чему удивляются, — с легкой завистью говорит красивый юноша, — я этому у них учусь. — Он со вздохом поднимает голову и смотрит вверх, где сквозь густую листву манго просвечивает высокое, выцветшее от солнца небо. — У них вообще есть чему поучиться...

— Где вы сказали, вы остановились? — после небольшой паузы спрашивает молодого человека девушка. — Вы говорили о каких-то неудобствах.

— В гест-хаусе «Файв стар» у шоссе. Недорого, но я же говорю, мне не повезло с кроватью. В «Файв стар» слишком шорт бед.[2] Я сплю, подогнув ноги. О том, чтобы кого-то привести, не может быть и речи.

— Боже, — говорит жена москвича, — так мы дадим вам адрес наших бывших хозяев! Они чудесные люди!.. Для нас там просто было слишком шумно, поэтому мы ушли, но вы же один...

Она роется в сумочке, потом протягивает молодому человеку визитку с аляповатым, почти детским рисунком: желтое солнышко и зеленые пальмы. На визитке что-то написано по-английски.

— Позвоните туда. Мы там чудесно прожили первые дней десять.

Хозяева нас оберегали, как родственников... Давайте заодно познакомимся.

Красивый молодой человек томным жестом берет карточку. Москвич еле заметно морщится (ему не нравится подчеркнутая расслабленность юноши), но его жена, мягко улыбаясь, называет себя и представляет супруга:

— Тамара, Михаил.

— Максим, — красивый молодой человек наклоняет голову.

Мужчины пожимают друг другу руки, после чего Максим начинает собираться. Он просит счет.

— Я сейчас же туда позвоню, — говорит он, указывая на визитку. — Спасибо.

Счет принесен, русские гости обмениваются дежурными мнениями по поводу низких индийских цен.

— Симпатичный парень, — говорит жена москвича, когда мотоцикл Максима скрывается за поворотом. — Даже красивый, — она улыбается.

— И очень расслабленный. Я бы ни за что не подумал, что он русский, — соглашается ее муж. — Хотя... Иногда мне начинало казаться, что его *европейскость* — это форма снобизма.

— Да, — соглашается Тамара, — немножко сноб, но, во-первых, он очень молодой, а во-вторых, действительно, не похож на наших. Не суди никого, учись этому у индусов... Надо будет у него спросить, как ему удается быть таким расслабленным?

---

[1] *Очень хорошо... Это случается.*

[2] *Короткая кровать.*

— Может быть, это какие-то техники или йога? Сейчас многие этим занимаются, — говорит муж.

— Да, может быть, это йога, — соглашается жена.

3.

Маленькая главная улица индийского поселка Чапора, одного из центров движения хиппи 1970-х годов, — говорят, сюда приезжали даже «Битлз», — почти вся состоит из кафе, шинков и шатров — индийских и европейских.[1] Впрочем, разделение это условное — опрятных столиков и светлых помещений с большими окнами, прозрачными витринами и кондиционерами нет нигде. На открытых верандах за столиками сидят европейцы, причем в отличие от других мест штата здесь много немолодых людей, возраста за 60 и даже за 70 лет.

Если бы жизнь в нашей стране была другой, то, возможно, так выглядели бы знаменитые хипари с улицы Горького 70—80-х годов прошлого уже века, — немного печально думает автор. — Впрочем, кто знает, вдруг среди обладателей седых хаэров и подвязанных цветными тесемочками «хвостов» есть и русские. Кто знает, может быть, если позвать здесь громко: эй, есть кто со Стрита или Трубы? — встанет вон тот седовласый высокий господин в майке с Игги Попом или вон та немолодая загорелая блондинка с живыми глазами в индийском сари. Может быть... Но вряд ли.

Хозяин одного из «европейских» заведений, атлетического сложения американец, сложив руки на груди, стоит на пороге своего кафе, выходящего прямо на главную улицу, как капитан на капитанском мостике. Его друг-итальянец, судя по всему, совмещающий обязанности бухгалтера и бармена, управляется за стойкой. Народу совсем немного: одинокая дивчина из Восточной Европы доедает фруктовый салат и волосатый немец лет около 50 завис у стойки со стаканом индийского рома с колой. Внутри заведения темно и даже прохладно. Под потолком медленно крутится вездесущий в этих краях большой вентилятор...

Капитан корабля еще раз оглядывает улицу, в конце которой появляется стадо худых священных коров, вздыхает, заходит внутрь, подойдя к стойке, делает себе колу со льдом и прибавляет музыку. Кажется, это Боб Дилан, «Political world». Некоторое время проходит в молчании, только Дилан поет о том, что мы живем в политическом мире, но его слова почему-то не кажутся здесь безусловной правдой. Вдруг звук заглушенного у входа в кафе автомобильного мотора и стук хлопнувшей дверцы выводят хозяина из состояния анабиоза. Коротко стриженный молодой человек спортивного телосложения и его подруга — ясноокая девушка в короткой теннисной юбке и майке, под которой покачивается внушительного размера грудь, — взбегают по ступеням и быстро входят внутрь.

— Хеллоу! — громко здоровается коротко стриженный молодой человек и его жесткие «h» и «l» сразу выдают в нем русского.

Хозяин оживляется. Полувоенная-полуспортивная внешность гостя отнюдь его не пугает, наоборот, он делает приглашающий жест за столик под вентилятором:

— Welcome, please! Wood you like to have a dinner?

— Да, — говорит молодой человек. Видно, что он подбирает слова. — Диннер... Ви лайк... Желательно, чтоб не очень... Спайси, да?[2] — он вопросительно оглядывается на подругу... — И скажи им, чтобы сделали что-нибудь мясное, — тихо просит он.

— Do you have meat, beef? May be ham?[3] — спрашивает русская девушка, улыбаясь. Она говорит по-английски легко и почти без акцента.

---

[1] *Автор не может поручиться за подлинность этой информации. По сведениям почтенного путеводителя «Lonely planet» «Битлз» были лишь на самом севере штата, у деревни Аррамболь, т.е. километрах в 30—40 от места событий. Но в Чапоре один достойный человек, бросив люльку и шапку наземь, утверждал, что «нет, фигня, здесь они тоже были!..»*

[2] *— Добро пожаловать. Вы хотели бы поужинать? — Ужин... Да... Поменьше специй.*

[3] *— У вас есть мясо? Может быть, ветчина?*

Хозяин тоже улыбается, но разводит руками:

— No, no meat.[1] У нас есть рыба, — говорит он, — и очень хорошие свежие крабы, выловленные сегодня утром. Мы можем их для вас приготовить с индийским соусом. Вам понравится... — он улыбается. — Вы русские? From Moscow? Все русские хотят мяса. Но здесь очень жарко для мяса и потом, мы не можем использовать sacral cow, beef...[2] у нас будут неприятности.

Русская девушка хочет что-то ответить, но молодой человек опережает ее:

— Ви а ноу рашенз, нот фром Москоу, — говорит он немного напряженно, и они с подругой переходят на broken english.

Хозяин удивляется, но не подает виду.

— Хорошо, пусть будут крабы, — говорит молодой человек через минуту. Его накачанные мышцы переливаются под тонкой майкой. — И белое вино, но только не местное. Местным вином можно фенсы красить.[3]

Немец у стойки коротко оглядывается, но молчит.

— У нас есть австралийское, есть французское, есть южноафриканское, — не спеша говорит капитан. Видно, что ему не очень понравилось сравнение гостя.

— Давайте австралийское, — заказывает молодой человек. Он обращается к подруге по-русски:

— Здесь можно брать вино?

Она кивает.

Хозяин передает заказ итальянцу, итальянец передает его на кухню. Вокруг русской пары возникает небольшая суета. Индус-официант приносит свежую скатерть. Капитан ставит на стол высокие бокалы, предварительно протерев их чистой салфеткой. Австралийское вино сорт «Шираз 2005 года» он наливает на дно бокала молодого человека, возникает пауза.

— Он хочет, чтобы ты попробовал, — тихо говорит девушка.

— А!..

Молодой человек пробует вино, кивает и говорит капитану:

— Гуд, наливай. А хлеба нет? — Он смеется. — Черного.

Хозяин снова разводит руками:

— Извините, все русские спрашивают черный хлеб, black bread, но нам негде его хранить, он быстро черствеет, может, приготовить вам лепешки, питу?[4] У нас собственный пекарь, будет вкусно.

— Мы не русские, — снова уточняет молодой человек. — Ноу рашенз. Можно и лепешки.

Девушка из Восточной Европы, наблюдая всю эту суету вокруг новоприбывшей московской пары, иронически улыбается за своим столиком, впрочем, ее улыбка почти не видна. Она просит счет.

Русская пара по-английски обсуждает каких-то Диму и Мишу, которые, как выражается молодой человек, «v nature oborzeli». Как ни странно, хозяева реагируют на русский жаргонизм. Итальянец-бармен бросает на гостей мимолетный обеспокоенный взгляд и вопросительно смотрит на капитана. Капитан также мельком смотрит на гостей, впрочем, спокойное выражение их лиц и милая улыбка красивой, почти не накрашенной русской дивчины его успокаивают. А когда гости встречают появление большого блюда с красными дымящимися крабами, обложенными листьями зеленого китайского салата, выражениями детского восторга, он успокаивается окончательно. Благодушное настроение в кафе не может омрачить даже девушка из Восточной Европы, с шумом вскидывающая свой рюкзачок на плечи и резко отодвигающая бамбуковую занавеску на входе. (Из-за суеты вокруг русских гостей ей слишком долго пришлось ждать свой bill.)

---

[1] *— Нет, мяса нет.*

[2] *Сакральные животные, говядина.*

[3] *Fence — забор (англ.).*

[4] *Большая круглая лепешка из теста.*

Впрочем, красивая подруга широкоплечего молодого человека замечает это и спрашивает, из какой страны приехала ушедшая гостья, веа а ши фром?[1]

Хозяин пожимает плечами:

— Я забыл... Bulgary, Hungary... Ты не помнишь? — обращается он к итальянцу.

Тот не помнит.

Хозяин еще раз пожимает плечами и смеется:

— Very small country...[2]

— Latvia, — тихо говорит немец у стойки.

Некоторое время русские гости проводят в кафе одни. (Немец у стойки расплачивается и тихо уходит вскоре после девушки из Bulgaria-Latvia.) Капитан показывает, как правильно открывать индийских крабов, чтобы не уколоться о панцирь, плечистый молодой человек говорит, что знает, как открывать крабов, показывать не надо. Он ел камчатских!.. Чатка!..[3] Ю ноу? Хозяин все же показывает. Пахучий теплый сок течет по пальцам гостей.

— Сколько это будет стоить на наши деньги? — спрашивает по-русски широкоплечий молодой человек у своей спутницы.

— Двести рублей, может, чуть больше, — отвечает она.

Русский гость довольно улыбается: хорошая страна Индия! Очень дешево, вери чип!

Минут через 15—20 в заведении капитана появляется новый посетитель. По законам двойственности, открытым психиатром Карлом Густавом Юнгом, это тоже русский. Впрочем, возможно, дело не только в Юнге — приезжих из нашей страны в последние годы в этом южноиндийском штате очень много. Впрочем, вошедший молод, ему около 20 лет, на голове его обычная бейсболка «Nike», движения его свободны, пожалуй, даже слишком свободны, лицо расслабленно, очки в легкой желтой оправе могли быть куплены где угодно в Европе или Азии, а одежда — так теперь почти все носят одинаковую одежду. И поэтому его nationality[4] на первый взгляд почти не видна. Nationality многих молодых парней и дивчин теперь трудно определить — мир объединяется, globalization... Похоже, он не первый раз здесь, и капитан приветствует его улыбкой и поднятой ладонью:

— Hi!..

Новый посетитель отвечает капитану «hi!..» и садится за стол. Он тоже заказывает фруктовый салат, причем сетует на отсутствие в заведении яблок, достает из рюкзака русскую книгу модной в Москве и Петербурге «умной» серии (вот теперь не остается никаких сомнений, что перед нами русский), мимоходом скользит взглядом по ужинающей паре соотечественников, улыбается им и углубляется в книгу. Однако соотечественники не отвечают на улыбку, более того, увидев кириллицу на обложке, они проявляют странное беспокойство!.. Яснoокая дивчина нервно поправляет волосы, а в лице мужчины мелькает даже что-то агрессивное. Он снова переходит на свой брокен инглиш, совершенно не заботясь о том, что для мало-мальски привыкшего к английской речи уха русское или, минимум, азиатское происхождение говорящего будет очевидно. Услышав английскую речь, новоприбывший молодой человек слегка приподнимает брови и негромко обращается к землякам по-русски:

— Добрый вечер. Простите, вы из Москвы?

Пара слышит вопрос, переглядывается, напрягается, и яснoокая довольно неприветливо переспрашивает по-английски:

— Sorry?[5]

Молодой человек немного удивляется, но глупо повторяет свой вопрос по-английски.

— No, — неприветливо отвечает яснoокая.

Читатель умной серии удивленно благодарит и углубляется в свою книгу.

---

[1] *Откуда она?*

[2] *Очень маленькое государство...*

[3] *«Chatka» — советская марка камчатских крабовых консервов. Во времена СССР относилась к разряду «дефицита». В настоящий момент легально не выпускается.*

[4] *Гражданство.*

[5] *— Извините?*

Некоторое время проходит в молчании, русская пара, не торопясь, но и не разговаривая, заканчивает свой ужин, отказывается от десерта, оставляет щедрые чаевые и удаляется. Капитан корабля провожает их до выхода, где пожимает мужчине руку, говорит «welcome» ясноокой дивчине и смотрит, как они садятся в открытый белый джип с туристическими номерами.

Мотор фыркает, джип отъезжает, резко взяв с места (пол-улицы оглядывается), капитан возвращается в свое кафе. Русский молодой человек, глядя в книгу, задумчиво поглощает свой фруктовый салат. Боб Дилан поет о том, какие мы все разные. Через некоторое время молодой человек отрывается от книги и негромко спрашивает у капитана:

— Рашенз?

Капитан кивает, поправляет висящую на стене большую ковбойскую шляпу, садится у стойки и пожимает плечами. Бармен-итальянец в уменьшенном варианте повторяет его движение. Есть много странного на свете, друг Горацио, — кажется, хочет сказать бармен, но... ничего не говорит.

4.

Ему 36 или 37 лет, он, как и почти все старожилы здесь, заплетает волосы в хвост и, как многие, очень неплохо говорит по-английски. Раньше, в прошлой жизни, он был редактором известного московского модного журнала. Но потом он съездил сюда с друзьями на две недели на Новый год, на следующий год съездил еще раз, на месяц, потом оставил работу в модном журнале, перешел на фриланс и приехал сюда на 6 месяцев — с поздней осени до поздней весны, почти до лета.

Сначала все было хорошо, он работал, на банковскую карточку регулярно падали гонорары, но месяца через два он первый раз выслал материал не вовремя, потом задержал еще раз, потом вообще не прислал — и сотрудничество с журналом прервалось; и вот уже пятый год подряд он живет здесь с конца октября по май, снимая большой дом из нескольких комнат в районе маленького прибрежного южноиндийского городка Мандрем. Однажды он пробовал остаться здесь на весь год, включая сезон дождей, но ему не понравилось — часто отрубают свет, особенно ночью, а он «сова» и не Максим Горький, чтобы много читать и вообще жить при свечах. (А что еще делать, когда дождь, не переставая, идет неделю? Читать, писать что-нибудь, да смотреть телевизор.) Сейчас он зарабатывает трансфером и размещением российских туристов, покуривает, читает книжки, которые коробками привозит из Москвы, изредка пишет статьи об отдыхе и жизни в Индии в российские журналы и, в общем, знаете... живет хорошо. Гораздо веселее и легче, чем жил в Москве, так, во всяком случае, он говорит знакомым. Тем более что жизнь здесь очень дешевая, в отличие от столицы нашей родины.

В доме проведен Интернет, все время толкутся какие-то гости из Москвы (для них в доме отведена отдельная большая комната), и постоянно находятся две молодые женщины — москвичка-помощница, совсем молодая, брюнетка лет 24, невысокая и улыбчивая; другая блондинка, постарше, — бельгийка из маленького франкоязычного городка под Брюсселем. Ей, если приглядеться, лет около 35—36, она почти ровесница хозяина.

Блондинку зовут Маргарет, в прошлой жизни она была врачом в Брюгге, лет 5 назад работала по контракту в европейском госпитале в городке Арпоре, недалеко отсюда, а после окончания контракта решила не уезжать в Европу, хотя из госпиталя ушла. С бывшим редактором она познакомилась в местном баре, и вот уже два года они живут вместе. Против присутствия в доме еще одной женщины Маргарет не возражает. Она, похоже, вообще мало против чего возражает.

Москвичку зовут Ира, она бывшая студентка Московского иняза. История ее знакомства с нашим героем тянется из России и не очень ясна, впрочем, это и не важно. Она выполняет роль секретаря и частично ассистента в дни аншлага и высокого сезона под Новый год: встречает гостей в аэропорту, развозит их по гостиницам и гест-хаусам, ведет часть электронной переписки с Россией, немного готовит...

Будь она постарше, ее бы назвали экономкой, но с экономками вроде бы не спят в одной комнате, даже иногда.

Основная работа происходит по субботам, в день прилета регулярного авиарейса из Москвы, но в другие дни тоже скучать не приходится. Русские туристы прилетают в этот штат через Мумбаи, бывший Бомбей, Дели и даже Калькутту, так что 1—2 звонка в день всегда есть, особенно в сезон, то есть поздней осенью, зимой и ранней весной.

Впрочем, в основном редактор обслуживает знакомых, знакомых знакомых и их знакомых и небольшое количество посетителей своего сайта в Интернете — денег на серьезную рекламу и раскрутку у него нет. Впрочем, нет и желания. Какая разница, в общем, где организовывать серьезный бизнес — в Москве или в Индии? В Индии, конечно, легче, но он приехал сюда не за этим.

— А зачем? — спросите вы.

Он буддийски улыбнется и почти ничего не ответит, а московская коллега из Иняза улыбнется весело и скажет:

— Подождите пару недель, а лучше месяц, сами увидите.

Сегодня как раз такой горячий день — суббота. У редактора находятся обычные клиенты — друзья его московских знакомых, молодая пара, только что прилетевшая из холодной мартовской Москвы и, естественно, пребывающая в состоянии географического, культурного и климатического шока.

Девушка возбуждена, она восторгается всем без разбора: жарой, пальмами, буйной и незнакомой растительностью, ярко-синим небом, рыжеватой и красной землей, разноцветной одеждой местных жителей... Мужчина, наоборот, заторможен и испуган. Он уже дважды за последний час ходил мыть руки и несколько раз повторил, что все это, в общем, ему лично немного напоминает Крым. (Хотя это неправда, не напоминает совершенно.)

Впрочем, лепет о Крыме — обычная защитная реакция психики российских туристов. Только что у редактора побывал энергичный полный мужчина, менеджер крупного московского магазина электроники; стараясь сохранить спокойствие, он тоже показывал на пальмы, взбирающиеся на ближайший холм, и говорил, что лично ему все это немного напоминает район Фороса, не правда ли? Только там вместо пальм — взбираются сосны, но это же не важно, ха-ха...

Редактор вежливо кивал и звонил по мини-отелям.

— Хеллоу, дарлинг, ю хэв фри флэтс тудэй? Дабл пёрсон?[1]

Московские знакомые прислали редактору гостинцы из Москвы, индийские «деликатесы»: буханку бородинского хлеба и палку копченой колбасы. Москвичка-помощница бросает на подарки плотоядные взгляды, однако редактор сухо прячет колбасу и хлеб в целлофановый пакет, а пакет в холодильник. Помощница вздыхает и улыбается гостям:

— Жадина, — тихо говорит она.

— Тут что, нет колбасы? — удивляются гости.

— В замороженном виде, французская, в супермаркете, — сухо отвечает редактор. — Вы что, не читали Афанасия Никитина? Индусы говорят, что бык им отец, а корова — мать... Какая *колбаса*?

Впрочем, на столе все же появляются чай и индийские сладости — засахаренные в меду фрукты. Маргарет моет виноград и крошечные карликовые бананы. Завязывается беседа, гости и хозяева обмениваются новостями. Следуют вопросы о культурных московских новинках (о чем же еще говорить), о книгах, о кино... Редактор и его коллеги в курсе многих новостей — спасибо Интернету, и у знакомых русских, так же, как и он, подолгу живущих здесь, на крыше «тарелка», которая берет российские каналы.

(Он телевизор в доме не держит).

Узнав, что приезжий работает в известном политическом ежемесячнике, редактор немного напрягается, зачем-то включает стоящий на столе ноутбук и мимоходом замечает, что у него не так уж и много времени — ему нужно писать статью об Индии

[1] *Привет, дорогая. У тебя есть сегодня свободные комнаты? На две персоны?*

в московский «Вокруг света». Бельгийка и москвичка-помощница удивленно улыбаются, они слышат об этом впервые. Когда разговор заходит о новом романе Сорокина и приехавший москвич неосторожно говорит, что об этой книге их журнал уже писал, причем писал как раз он, редактор встает со своего стула, ненадолго выходит и через некоторое время возвращается, держа в руках две самокрутки:

— Будете?

Гости испуганно отказываются, а бельгийка сдержанно спрашивает:

— Дарлинг, а стоит ли с утра?

Однако редактор не слушает ее, он закуривает и втягивает пахучий дым ноздрями. Через минуту лицо его разглаживается. Он откидывается на спинку стула и с неожиданным интересом разглядывает гостей.

— Сорокин, говорите? Я слышал про его «День опричника»... А какие политические новости в Москве? — спрашивает он. — Что там Путин?

Гости, как и положено гостям из Москвы, при разговоре на эту тему немного напрягаются, но, тем не менее, весело отвечают, что Путин все так же и вроде бы решил заменить себя Медведевым.

— Не верю, — говорит редактор и делает еще одну глубокую затяжку, — не верю, это какой-то хитрый политический ход.

При второй затяжке помощница Ира и бельгийка Маргарет, по-русски тяжело вздохнув и улыбнувшись гостям, вместе выходят.

— Как вам понравился наш поселок? — спрашивает редактор, видно, что он поддерживает «светскую беседу», — милый, правда?

Гости оживляются:

— Да, милый. Очень тихо, — говорит москвич, — местами даже чем-то похоже на Европу.

— Это кажущееся спокойствие, — радостно говорит редактор и еще раз затягивается. — Вы видели большой розовый дом, когда проезжали магазин?

Девушка видела, москвич не может вспомнить.

— В этом доме живет резидент ЦРУ в этом штате, — спокойно глядя прямо в глаза своих гостей, негромко говорит редактор.

Гости неуверенно улыбаются, а вернувшаяся помощница смеется.

— Перестань курить, он такой же резидент, как и ты, просто американец, кажется, из Бостона. Не слушайте его.

Но редактора трудно остановить.

— Здесь много израильтян, — говорит он, — в соседнем поселке находится резидентура израильской МОССАД. Среди русских туристов есть агенты ФСБ. Некоторых я знаю по именам.

Гости, сначала замершие в испуге, слишком не вяжется то, что говорит редактор, с мирной сельской картинкой, виденной ими только что, начинают улыбаться.

Помощница Ира, встав так, чтоб хозяин ее не видел, крутит пальцем у виска и показывает гостям на дымящуюся самокрутку.

— Да... — говорит гостья из Москвы немного раздраженно, — конечно, ФСБ, ЦРУ, и далее со всеми остановками. Роман не пробовали писать? А-ля Акунин или даже Ле Карре? Не читали? Советую...

Разговор замирает, в комнате душно, несмотря на крутящийся под потолком вентилятор. Московский гость опять идет мыть руки.

— Неделю назад мы в ванной видели змею, так что осторожней там! — кричит ему вслед редактор.

Москвич на минуту приостанавливается, потом ловит веселый взгляд Иры и исчезает за дверью. Когда он выходит, помощница вопросительно смотрит на редактора и говорит:

— Показать им комнаты в Сан-райз? Мы с Маргарет отвезем.

— Не надо Сан-райз, лучше Сан-сет,[1] — говорит редактор — В Сан-райз одни торчки... Им это не надо. А в Сан-сет интеллигентная публика. И я сам отвезу, у Маргарет болит голова.

---

[1] *от sunrise — восход, sunset — закат.*

— По-моему, это у тебя болит голова, — тихо говорит Ира, — сиди дома, ты же курил, давай мы с Марго съездим.

— Я могу проехать по этим дорогам с закрытыми глазами! — отрезает редактор.

Красивая помощница только вздыхает в ответ и говорит гостям:

— Не бойтесь, он действительно знает здешние места наизусть.

Гости с сомнением улыбаются.

Через полчаса мотоциклы редактора и Маргарет с москвичами на задних сиденьях уже мчатся по местному шоссе. По сторонам мелькают белые и розовые дома за каменными заборами, бедняцкие хижины, какие-то кусты с розовыми листьями, огромные баньяновые деревья с висящими в воздухе корнями, темнокожие местные жители, большая реклама Coca-Cola, роющиеся в пыли маленькие черные свиньи, уличные кафе под навесами, банановые и кокосовые пальмы, фруктовые и хлебные лавки, зеленые горы кокосовых орехов, выставленных на продажу, вывески мини-отелей и гест-хаусов, снова дома...

— Из какой суммы вы исходите? — кричит поверх стрекота мотора редактор, немного поворачивая голову к своему гостю, в испуге вцепившемуся ему в пояс.

— Хотели бы не больше 10—15 долларов в день! — кричит в ответ гость и добавляет: — Умоляю, сбросьте газ! Я уже лет десять не ездил на мотоцикле.

— Я и так еду медленно, — отвечает редактор и, почти не тормозя, совершает поворот.

Гость на заднем сиденье в изнеможении закрывает глаза.

— А ничего, что он под кайфом? — спрашивает москвичка у Маргарет (их мотоцикл едет метрах в 50 от мотоцикла редактора), — я беспокоюсь за мужа.

Бельгийка смеется и качает головой:

— Don't worry, ничего, не беспокойся, он совсем немного покурил, потом у него такой опыт — за эти шесть лет в штате он, правда, выучил местные дороги наизусть. У него не было ни одной аварии даже вечером, а по вечерам мы бываем совсем crazy[1], не то, что сейчас.

И мимо опять проносятся ветхие и богатые дома, вывески, магазинчики, пальмы, ярко-зеленые рисовые поля с шагающими по ним белыми аистами, величаво лежащими у обочины худыми священными коровами, лотки с фруктами, какие то мастерские... А за рисовыми полями видны поросшие густой темно-зеленой растительностью невысокие горы.

— Там настоящий лес? — спрашивает Маргарет москвичка.

— Да, — бельгийка почти кричит, ее слова относит ветер, — там jungles... — Она смеется. — Tigers, elephants, snakes...[2]

Следует испуганная пауза.

— Я шучу, — кричит бельгийка, — не бойся, звери сюда не приходят, слишком шумно. Мой друг и первый учитель здесь, один немец, он ездит сюда уже лет 15, говорит, что проблема не в том, чтобы *не встретить* зверей, а в том, чтобы их *встретить*, увидеть хотя бы издали. Понимаешь?..

Москвичка неуверенно кивает.

— Осторожно, — предупреждает бельгийка через минуту, — сейчас будет поворот, и мы наклонимся вправо...

Посмотрев два или три места, наши гости устраиваются на ночлег в небольшой чистенькой комнате с покрашенными в светло-лиловый цвет стенами, открытой верандой, большой двуспальной кроватью, столом, а также окном с решеткой и без стекла.

— Тут не бывает холодно!.. — хором поясняют бельгийка и хозяин.

Под невысоким потолком быстро крутится вездесущий вентилятор, в окно заглядывает какое-то вьющееся растение. Сильно пахнет цветами и мылом, из соседнего номера доносятся звуки гитары.

— Это соседи, — поясняет улыбчивый индус-хозяин. — Кажется from Ireland. —

---

[1] *сумасшедшие.*

[2] *Там джунгли... Тигры, слоны, змеи...*

Он задумывается. — Или from Island? Там много снега, как у вас, в России. Забыл, откуда они...

Когда хозяин, редактор и ободряюще улыбающаяся Маргарет уходят, москвич помогает жене раскладывать вещи, устанавливает на столе ноутбук, ставит в воду веточку местных, похожих на львиный зев оранжевых цветов, вешает на стену фотографию родителей и отпивает немного из горлышка купленного в московском Duty free виски. Потом он садится на ярко расшитое цветами и птицами покрывало, смотрит в окно на растущую во дворе большую кокосовую пальму, поднимает голову к вертящемуся под потолком вентилятору, глубоко вздыхает, неуверенно улыбается, оглядывается на жену — и на лице его отражается ужас...

5.

Как упоительны, как роскошны февраль и начало марта в юго-западной Индии!.. Как томительно жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное и бледно-голубой неизмеримый океан, сладострастным куполом загнувшийся над красной от железа и темно-коричневой от вечнозеленой растительности землей, кажется, заснул, весь потонувши в неге.

В небе ни облака, в коричневых безлесных холмах вокруг курортного поселка Малый V. ни речи. Все как будто умерло, вверху только, в небесной глубине, изредка мелькнет чайка, да хрустнет веткой осторожный павлин в кустах над океаном. Нагнувшиеся от тяжести плодов широкие ветви манго, стройные кокосовые пальмы и мелкие деревца орехов кешью, похожая на виноградную лоза маракуйя, древнее дерево личи, наливающиеся соком и растущие прямо на стволах огромные зеленые «огурцы» хлебного дерева — все замерло в неподвижности... Как полна сладострастий и неги катящаяся к закату индийская зима!

Такой роскошью блистал один из дней жаркого начала марта 200..., 200..., да уж года три-четыре назад тому будет — а как свежо воспоминание!.. Двенадцать пополудни, час, два... Мало-помалу и этот день клонится к вечеру. В пять уже можно сидеть на пляже не под навесом, не боясь ожога. Еще пара часов и роскошное, огромное, розово-красное солнце медленно садится в океан, освещая полнеба удивительным розовым и фиолетовым светом, следуют короткие сумерки, когда краски таковы, что путнику хочется ущипнуть себя — правда ли то, что видит вокруг, не сон ли? И убедившись, что все правда, воскликнуть: не может быть, дорогой!..

И вот на земле наступает ночь. Южные созвездия и странный, перевернутый тонкий месяц появляются в небе. Вдали гремит музыка на дискотеке «Bar ten». Почему «ten», а не «nine» или, скажем, «eight»?[1] Никто не знает. Да и какая разница!.. Пора ехать на ночную ярмарку в Арпору.

— Где все? Веар из олл пиплз?[2] — спрашивал у молодого официанта пляжного кафе на ломаном английском наречии москвич, гость редактора из предыдущей главы. Прошло уже недели две с их приезда, он немного привык, и в его глазах нет прежнего страха.

— Все поехали на ярмарку. In night market, sir[3], — отвечал улыбчивый официант-непалец в почти пустом кафе. — А почему вы не поехали? Это очень интересное зрелище, very interesting spectacle...

— Наверное, она скоро закроется? — сомневается москвич.

— Что вы, сэр, там будет открыто до двух или трех ночи, а некоторые торговцы остаются до утра.

— Хорошо-хорошо, — недоверчиво говорит москвич и обращается к жене, — мы поедем?

Жена, сомневаясь, пожимает плечами и спрашивает у официанта:

— А это далеко?

---

[1] *Бар «десять»... «девять»... «восемь»...*

[2] *— Где все люди?*

[3] *— На ночном рынке, сэр.*

— Нет, mam, полчаса на рикше, вы знаете, что это такое, рикша? Заказать вам его? У нашего кафе есть свои рикши.

— Надо подумать, сначала мы поужинаем... Тебе банана-панкейк, как всегда? — спрашивает она у мужа.

Тот кивает.

— Ван банана-панкейк, энд ван малай-кофта[1], — говорит москвичка официанту.

— И минт ти — два, — добавляет муж.

— Да, сэр, — официант улыбается и зажигает перед ними на столе небольшую ароматическую свечку. Свечка горит и освещает стол, блюда на нем, плетеные кресла и пару метров светлого морского песка впереди. Где-то дальше, по тихому шороху волн угадывается океан.

— А сколько будет стоить рикша на ярмарку? Хау мач тук-тук?[2] — спрашивает русский турист.

— Двест рупи, — на ломаном русском языке отвечает официант.

— Вы говорите по-русски? — московский турист удивляется.

— Моя сестра вышла замуж за русского, — по-английски отвечает официант, — и живет теперь в Москве.

Москвич еще больше удивляется:

— Откуда вы сами?!

— Из Катманду, сэр, — улыбается официант. — И сестра, она тоже оттуда. Это старшая сестра. Она работала в этом кафе, как и я, официанткой. Русский приехал на зиму. Они полюбили друг друга, и она уехала в Москву. Русский очень уговаривал ее ехать. Я был у них в Москве, один раз. У меня две niece, две маленькие племянницы.

Москвичи удивлены.

— Что вы удивляетесь, мадам, мсье, у нас такие случаи бывают часто. Бывает, но реже, что русские и вообще белые девушки выходят замуж за индусов. Потому что наши мужчины очень сильные. Но белым женщинам сложно привыкнуть к индийской семье. У нас главный — мужчина, не так, как в Европе, и очень много родственников.

Официант усмехается, потом спрашивает:

— У вас в Москве есть такое метро... Кажется, «Западная»?

— Юго-Западная, — поправляет москвич. Видно, что он немного растерян.

— Точно, — говорит официант. — Юго-Западная. South-West station. Там они и живут.

— И как она сейчас? — спрашивает жена москвича после небольшой паузы.

Официант бросает на посетителей быстрый взгляд, но потом снова улыбается:

— Хорошо, мадам, очень хорошо. Муж ее любит. Они почти не расстаются. Хороший дом... Соседи ее тоже любят. Ее зовут Шанталь — это просто произнести по-русски. Старшая niece посещает хорошую школу. Но мне в Москве не понравилось, очень холодно... Я думаю, от этого многие люди у вас... немного злые, — после микроскопической паузы добавляет официант. — Наверное, ваш ужин уже готов. Сейчас я его принесу.

Тарахтящий желто-черный муравей рикши поворачивает за угол и вместо темных силуэтов тропических деревьев и сонной индийской улочки глазам московских путешественников открывается огромная поляна, вся сплошь уставленная разноцветными, блестящими под лучами фонарей своими металлическими частями мотоциклами и мотороллерами. За поляной высокие, украшенные оранжевыми флагами, цветами и изображениями Богов деревянные ворота, а за воротами...

Вам, верно, случалось слышать где-то валящийся отдаленный водопад, когда встревоженная окрестность полна гула и хаос чудных, неясных звуков вихрем несется перед вами? Не те ли самые чувства мгновенно обхватят вас в вихре сельской

---

[1] *— Одни банановые блинчики, одни картофельные котлеты... и мятный чай (англ., хинди).*

[2] *Тук-тук — в Индии и Индокитае обозначение рикши. Возможно, из-за тарахтящего мотора.*

ярмарки, когда весь народ срастается в одно огромное чудовище и шевелится всем своим туловищем на площади и кричит, гогочет, гремит? Шум, брань, смех, крики — все сливается в один нестройный говор, все ярко, пестро, нестройно... Горы расшитых золотыми узорами покрывал и наволочек на подушки, индийская и европейская одежда, сумки разных цветов и материалов, сережки, бусы, браслеты, кольца — они обязательно вызовут завистливый взгляд у какой-нибудь модницы или модника в Амстердаме, Варшаве, Лондоне или Москве; глиняные горшки, посуда, индийские и европейские бабы и девки, сладости, разноцветные тюбетейки и шали, снова лавки европейского платья, лавки с обувью, черевичками из чистой кожи, за пару которых любая красотка согласится если не сразу выйти за вас замуж, то точно разделит на некоторое время ваш кров и стол; обязательные ряды слонов разного размера — от нескольких сантиметров до полуметра высотой, из камня, красного, черного и эбенового дерева, щекочущие нос своим запахом горы разноцветных spices — как вспоминала Мальвина — то, зачем приплыли сюда 400 лет назад корабли жестокого и чванливого португальца Васко да Гамы; лавки с ароматическими палочками и портретами местных святых, лавки с расписанной медной посудой и с посудой не расписанной — просто желтая, тускло блестящая медь, лавки с тибетскими флажками и украшениями, и будто сонными, сидящими рядом тибетцами с темными, нефритовыми четками в руках; сверкающие под светом фонарей стеклянные и каменные украшения и бусы всех цветов, и лица, лица, лица... Черные, белые, желтые, коричневые, улыбающиеся, испуганные, довольные, растерянные, беззаботные, алчные и веселые... — всё мечется кучами и снуется перед глазами. Разноязыкие и разноголосые речи потопляют друг друга, и ни одно слово не выхватится из этого потопа, и закружившаяся голова недоумевает, куда обратиться!..

Здесь вы, кстати, можете встретить кума, которого не видели на родине много лет:

— Ба, это ты ли, кум Панас (Paul, Jean-Paul, Сергей, Jack, etc.)?

— Это я, кум Солопий (Rudyard, Arthur, Константин, Allen, etc.)...

Здесь вы можете постоять под знаменитым деревом с табличкой «No drugs here!»[1] — согласно преданию под ним курили «травку» еще отцы-основатели, приехавшие сюда в 1960—1970-х годах, и даже местная полиция, согласно тому же преданию, не может вас здесь побеспокоить...

Что уже неправда.

Откуда-то доносится громкая музыка, где-то разливают местное скверное вино и часто попадающиеся навстречу раскрасневшиеся, пьяные люди покажут вам где. А вот и наш старый знакомый, бывший редактор модного журнала — сегодня он весел, расслаблен, глаза его затуманены, с лица не сходит улыбка, о борьбе разведок всего мира он уже не вспоминает, он радуется, жмет всем руки и говорит:

— Привет, ребята! Ну что, привыкли немного? Как вам здесь?

Его недавние гости улыбаются, кивают и показывают ему покупки — расшитую золотыми павлинами красную шелковую наволочку, батики с бабочками и цветами, большого слона из красного дерева сантиметров 40 росту, бусы из мелких денег времен англичан — на монетках король Георг VI...

Редактор снисходительно улыбается:

— Слонов здесь покупают все, лучше съездите в старый индуистский храм по дороге в райцентр Панджим, посмотрите настоящих.

Ему кто-то машет, и, пожав москвичам руки, покачиваясь и туманно улыбаясь, он медленно удаляется, а они глядят ему вслед и прогоняют мелькнувшую было мысль:

Ну почему он не может быть таким расслабленным и счастливым в родной Москве?..

Прогоняют и двигаются дальше мимо торговых рядов и улыбающихся лиц, москвич то и дело щелкает фотоаппаратом, его жена ныряет в бесконечные лавочки. По лицу ее заметно, что ей не слишком было приятно тереться возле возов с мукою и фруктами, бывших московских редакторов и лавок оружейников-пенджабцев. Вот

---

[1] *Здесь не употребляют наркотиков!*

расшитая зеркалами красно-желто-голубая одежда из центральных штатов Карнатака и Махараштра, разноцветные кашмирские платки — это другое дело!

— Эти зеркала, мадам, пришиты здесь не просто так, — поясняют русской мадам продавцы, — раньше солнце, попадая на них и отражаясь, отпугивало хищников — тигров, леопардов... «Tigers, do you know what is it?»[1] — улыбаясь, спрашивает молодая красивая индуска в разноцветном сари, открывающем загорелые живот и спину, помогая москвичке примерить расшитую зеркальными кусочками куртку. Ее усатый муж менее оживлен и радушен, однако он, тоже улыбаясь, кивает:

— Good, покупайте.

— Какие сандалии! — восклицает москвичка несколько минут спустя — настоящая кожа, лезер![2] В Москве такие бы стоили не меньше ста пятидесяти долларов! Купи мне эти черевички! Я видела похожие на нашей соседке по гест-хаусу из Киева! Такая чернобровая, с круглым личиком. Зовут, кажется, Оксана... Хорошо ей, у нее есть такой человек в Киеве, Вакула, который ей все покупает, шлет сюда деньги по Western Union... — москвичка вздыхает.

Муж ее тоже вздыхает — в нерешительности, 500 рупий — если перевести в рубли — это мало, но 500 рупий, если их не переводить, — большие деньги для Индии, да и сшито на вид очень непрочно. Даже 400, если поторговаться, — за эти черевички тоже много.

— Может быть, посмотрим где-нибудь еще? — неуверенно спрашивает он. — Или в следующий раз?

Темнокожий продавец, кажется, понимает по-русски или наметанный его глаз видит знакомую мимику... Сколько раз он и его предки слышали такие диалоги! Наверное, со времен Махабхараты, если не раньше!..

«...И сказал Нарада: Служат ли твои богатства поставленным целям? Находит ли твой разум удовольствие в законе? Пользуешься ли ты радостями жизни?.. Не слабеет ли дух твой?..»[3]

— Last time is now, sir, — горячо говорит торговец, — я здесь последний раз, сезон заканчивается, я уезжаю домой, I will go home tomorrow, маленький город по дороге в Дели, очень далеко, буду только в следующем году, next year...[4]

Русские туристы застывают в нерешительности. В этот момент у лавочки появляется высокий беловолосый европеец с большой телекамерой Sony на плече, темненькая индийская девушка-журналист с микрофоном, еще какие-то люди высоко поднимают старый софит, и все заливается белым, ослепительным светом. Тут же становится жарко. Голоса, свет, разговоры, воспоминания о Махабхарате оглушили москвича. Он уже с досадою смотрит на лавочника, на жену, на вошедших телевизионщиков... К тому же красный глазок камеры загорается, девушка что-то бойко говорит в микрофон на хинди, идет съемка — наши герои неожиданно становятся героями передачи бомбейского ТВ. Может быть, кто-то из вас, читатели, видел эту телепередачу? Имейте в виду, это были наши герои.

Появление телевидения решает дело, вокруг собирается народ, муж соглашается на покупку, но просит скидку сто рупий. Продавец-индус живописно трясет головой, воздевает руки вверх, предлагает sale 60 и консенсус достигается, москвич и индус живописно бьют друг друга по рукам... Жена москвича довольно меряет черевички, ей подбирают нужный размер, телевизионщики лихорадочно снимают, индус заворачивает покупку в цветную бумагу, камера берет лица крупным планом, собравшиеся тут же зрители переговариваются, все довольны, лица блестят от пота, вечер удался, софит выключают — стоп, снято.

— Не подпадаешь ли ты под власть сна? Пробуждаешься ли в установленное время? Размышляешь ли в последнюю часть ночи о мирской пользе?[5] — говорит кто-то вполголоса москвичу.

---

[1] *— Тигры, вы знаете, что это?*

[2] *От leather — кожа (англ.).*

[3] *Махабхарата. «Книга о собрании».*

[4] *— Сейчас — последний раз, сэр... Завтра я уеду домой...*

[5] *Махабхарата. Там же.*

Москвич оборачивается, вокруг улыбающиеся лица. Кто говорил, да и говорил ли вообще, понять невозможно.

— Веа а ю фром? — обращаются русские к телевизионщикам, когда те заканчивают.

— From Mumbai, — отвечают те, — and you?

— Из России, Москва.

— Здесь много русских, — говорит индийская тележурналистка, — в последние годы особенно.

Она в европейской одежде — белые шорты, темная майка, иссиня-черные волосы собраны сзади в хвостик.

(— Очень хорошенькая, — тихо вздыхает автор, набирая эти строки...)

— Я не была в Москве, но хотела бы, — говорит девушка.

Наши путешественники задают обычный вопрос:

— А вы откуда? Хинду?

Тележурналистка смеется:

— Хинду из Лондона. Папа — индус, мама — англичанка. Окончила в Лондоне школу журналистики, сейчас вот работаю на TV-Мумбаи... В Лондоне работу не нашла. Это мой бойфренд, он швед, когда-то жил в Турку, — она показывает на гиганта-телеоператора.

Оператор доброжелательно всем улыбается, затем отходит на несколько шагов и еще раз снимает всю компанию — может быть, на память, может быть, общий план пригодится при монтаже.

— Когда будет передача? — спрашивают москвичи. — У нас, правда, нет телевизора, но у наших хозяев есть, мы посмотрим.

— Не знаю, когда покажут точно, но в конце следующей недели ждите. Хотите, я могу позвонить? — спрашивает индийская девушка.

Компания обменивается номерами телефонов, долго улыбается и машет друг другу: пока-пока, nice to meet you...[1]

Через некоторое время наши герои уже пробираются к выходу.

По дороге их внимание привлекает немолодой европеец в сиреневой майке и круглой сиреневой шапочке, делающей его похожим на католического священника или даже епископа, так благородны его черты — продающий украшения из камней и серебра. Лавочка «епископа» совсем маленькая, собственно говоря, это просто прилавок между двух больших лавок сувениров и одежды.

«Епископ» меланхолично читает какую-то книгу, изредка поднимая глаза на проходящих покупателей, и своей меланхолией выделяется на фоне окружающего буйного веселья. Русская пара останавливается возле него, жена перебирает украшения, разноцветные камни — дымчатый опал, розовый и красноватый сердолик, синий, зеленый и желтый кошачий глаз, зеленая яшма, голубая бирюза.

— Откуда это? — спрашивает москвич, указывая на камни.

— Опалы и кошачий глаз индийские. Сердолик, кажется, тоже. А бирюза из Пакистана. Северного Пакистана, — уточняет продавец. — Иногда ее привозят из Чили, оттуда она лучше, цвет интенсивнее, но зато эта дешевле.

— А серебро? — спрашивает женщина.

— Серебро, конечно, местное. Вы что, недавно здесь? — «епископ» улыбается.

— Откуда вы знаете?

— Все местные знают, что в Индии много серебра. Раз вы не знаете, значит, приехали недавно.

Проходящая мимо белая девушка в короткой юбке машет «епископу» и здоровается с ним:

— Hello, Roberto!.. Buona sera, caro!..[2]

— Привет, дорогая, buondi![3] — отвечает сиреневый продавец камней и улыбает-

---

[1] *Приятно было познакомиться.*

[2] *— Привет Роберто! Добрый вечер, дорогой (итал.).*

[3] *— Привет, здравствуй! (итал.).*

ся. На вид ему лет около 50 с хвостиком, может, немного больше. Коротко остриженные волосы тронуты сединой.

— Как жизнь, Роберто? — спрашивает его девушка. — Как ты?

— Fine, — отвечает Роберто, — спасибо...

— Вы итальянец? — спрашивает москвич после небольшой паузы.

— Si, padrone, — продавец камней даже не удивляется вопросу.

— Из Рима?

— Нет, из Милана.

— Постоянно здесь живете?

Продавец камней снова меланхолично улыбается, видно, что он слышит этот вопрос не впервые:

— Да, живу.

— Давно?

Взгляд итальянца становится чуть более напряженным, но совсем чуть-чуть. Русские всегда задают сложные вопросы. Ведь у них был Достоевский. Это очень сложный писатель.

— Я здесь уже 12 лет, — говорит он. — Приехал отдыхать раз-другой и остался. Как все... — Миланец смеется.

Русский искренне удивляется:

— Но почему?

Потом он чуть отступает и извиняется:

— Простите, я задаю слишком частные вопросы.

— Ничего, — говорит итальянец. — Я привык... Понимаете, — говорит он после паузы, — мне здесь *спокойно*. Гораздо спокойнее, чем дома. Вы меня понимаете? Там у меня большая квартира, бывшая жена, дети, но я — здесь... Потому что здесь ничего не нужно, ни мне, ни — от меня. Вы меня понимаете? Nothing means here...[1]

Его отвлекают: две высокие австралийские девушки интересуются ожерельем из бирюзы.

— Извините, — говорит «епископ», — покупатели. Еще увидимся. Приходите, я часто сижу здесь. Поговорим. Посмотрите камни...

Наши герои, нагруженные покупками, усталые выбираются с территории ярмарки на поляну с мотоциклами. Жена москвича у выхода второпях пытается купить расшитую яркими цветами летнюю полотняную блузку, но муж ее останавливает:

— Не надо спешить, достаточно черевичек, это купим в следующий раз. Где-то здесь должен быть наш рикша... — москвич оглядывается.

Вышедшая вслед за нашими героями белая молодая пара садится на мотоцикл. Девушка в очень коротких шортах, по виду тоже русская или украинка, высоко закидывает длинную ногу и мельком, но довольно откровенно скользит взглядом по фигуре москвича. Он не без усилия отворачивается. Лихорадочное возбуждение, владевшее русскими гостями на ярмарке, медленно спадает. Рядом с ними трое китайцев торгуются с таксистом. Неподалеку вывеска ночного ларька — вода, пиво, сигареты, печенье... Народу мало, улица почти пуста.

— Месье, мадам!.. — окликает их неожиданно появившийся из-за угла рикша. — Я здесь, я просто отъехал, чтобы не платить за стоянку! Как ваш шопинг, удачно? — индус радушен, но видно, что он тоже устал.

Наши герои забираются в кабину, мотор с треском заводится, и вот уже плывут мимо заснувшие улицы поселка, идущие куда-то громко разговаривающие европейцы, страстно обнимающаяся у забора парочка, сонный полицейский пост... Люди попадаются все реже, звуки становятся все тише, потом дорога идет через пальмовую аллею и среди залитых светом неполной луны рисовых полей. Скоро все становится пусто и глухо, и лишь прерывается тишина стрекотом цикад да далеким криком ночной обезьяны.

---

[1] *дословно: никаких намерений (желаний) здесь; вариант: здесь ничто не важно (англ.).*

Не так ли и радость, прекрасная непостоянная гостья, улетает от нас и напрасно одинокий звук думает выразить веселье?.. Но в то далекое время, когда сочинялись эти чудные строки, человек не знал радостей консюмеризма и мощных психологических опор общества потребления. Да и что за причина грустить? Нет положительного героя? Так его уже 300 лет нет... И потом, как же нет?! А мы с вами? Вон куда забрались, как раньше говорили — за три моря. Позади, и правда, моря, реки, высокие горы, непроходимые леса — и ничего, едем на рикше, будто на такси у себя в Миргороде или по Ленинградскому проспекту.

В маленькой кабинке тук-тук под потолком зажжена лампочка, жена москвича достала из сумки новые черевички и, развернув красивую бумажную обертку, разглядывает их, осторожно щупая блестящую кожу, ее муж держит в руках расшитую золотыми павлинами шелковую салфетку, он представляет себе павлинов у связки карандашей и монитора своего компьютера в далекой заснеженной Москве, смотрит то на рисунок, то в открытое окно — и прохладный ночной воздух, врывающийся в кабину, бодрит и успокаивает наших усталых путешественников.

А резвые други бурной и вольной молодости — что ж, потерялись они по свету, скучно оставленному, и грустно делается сердцу, но есть чем помочь: можно написать e-mail или набрать их по скайпу или даже мобильному телефону, не нужно месяцами ждать письма и почтовой кареты; недорогая связь в Индии, не то, что в России; бедная страна, а операторов много: 11—12 цифр на мобильном, и уже звучит в трубке знакомый голос с другого конца света и становится теплее на душе...

6.

— Пьянь! — говорит она, — алкаш!.. Все нервы мне измотал, разведусь с ним, три недели каждый день пьет! Покупает этот е...нный «Ханей би» и к вечеру уже совершенно пьян, а долбанный терч Леша — его собутыльник, только поддакивает, когда я его прошу не пить с ним. Да-да, мол, что ты, больше не будем, а к вечеру приходят оба в жопу пьяные... Я так больше не могу!

Разговор происходит не по московскому телефону, как кто-то, может быть, подумал, и не на автостоянке у супермаркета где-нибудь на Пресне, где случайно встретились две подруги, а на открытой веранде индийского кафе «Сансет». На девушке, ругающей своего мужа, открывающий руки и спину откровенный оранжевый топ и длинная полупрозрачная цветная юбка, на ее собеседнице, чуть полноватой брюнетке, синяя майка с портретом Махатмы Ганди и длинные белые шорты... Мы уже знаем обеих девушек — это золотоволосая Мальвина и ее подруга — жена журналиста Миши, Тамара.

Девушки полулежат на расшитых диванных подушках, на низком столике перед ними высокие стаканы с цветными фруктовыми коктейлями. Жарко, дело идет к вечеру, но до заката еще далеко.

— У него отец пил, — говорит Мальвина, — его из-за этого на берег списали. Во Владивостоке. Он же родом оттуда... У него наследственность плохая по части пьянки, а он все равно прикладывается каждый день. Вчера мы ругались из-за этого, два дня назад тоже. Я за...балась, финиш.

Ее собеседница сочувственно кивает головой и предлагает решение в современном духе:

— Ты его к психологу отведи, в Москве. Здесь, наверное, нет психологов на русском языке, здесь отведи его на йогу. Это общая гармониза ция, вырабатывается серотонин в больших количествах, я на пляже видела объявление: англичанка-преподаватель, два раза в неделю, пять долларов за раз. Дешево. Может, ему серотонина не хватает, радости то есть?

— Да ты смеешься, наверное? Он не пойдет ни на какую йогу! Он же алкаш со стажем, какая йога?! Какой серотонин?! Я его к участковому отведу, в местный полицейский участок! Или в российское консульство пожалуюсь, пусть его забирают от меня на х...й и везут домой, как позорящего моральный облик российского гражданина. Над ним даже хозяева смеются!

— Тебе кажется, что они смеются, — успокаивает подругу Тамара, — они и не такое видали. Тут англичане и немцы пьют не меньше наших. Я вчера недалеко от интернет-кафе «Луна» такого парубка видела, что твой Сашко ему и в подметки не годится!.. Стоит посреди дороги, волосы длинные, немытые, портки приспущены, ти-шорт[1] рваный, все байки от него шарахаются, сигналят... Причем немолодой уже мальчик, лет под 50 ему будет.

— Да что мне англичане, если я каждый день ссорюсь из-за этой «Ханей би», будто мы не в Индии, а у себя в Кунцеве!.. Мы переехали за 5000 километров или нет?

— А что он-то говорит? — без особого интереса спрашивает Тамара, потягивая через трубочку свою клубнику с тремя каплями виски. — Ты пыталась с ним разговаривать?

— Он говорит, ты бросай траву курить, я тогда брошу пить, а иначе никак. Но это все отмазки. Еще, у него, мол, стресс. Он, мол, в душе всего боится — моря, индусов, змей, солнца, заразы какой-нибудь, а выпьет — все ему по х...ю и Аравийское море по колено... Ну, а как я брошу курить, когда он каждый вечер пьяный? Мне же надо как-то его догонять. Как я трезвая буду разговаривать с пьяным? К тому же сексом мы сейчас почти не занимаемся... Это я так решила: или мое тело, или эта проклятая горилка — май боди ор ё дринк!

Листья большой банановой пальмы покачиваются неподалеку от подруг, воздушные корни свисают с ветвей баньяна у дороги, разноцветная бабочка садится на желтые цветы кактуса-опунции у входа в кафе, индус-официант несет двум молодым не то немцам, не то австрийцам за соседний столик большой ананас на блюде и бутылку дурного местного вина.

Когда Мальвина упоминает о своем *боди*, один из немцев бросает в ее сторону мимолетный взгляд, что обнаруживает его естественное знакомство с английским языком.

— А может, тебе правда курить бросить? — нерешительно спрашивает Тамара. — Сделаешь жест доброй воли?

— Да ты что, ты знаешь, сколько раз я в Москве делала такие жесты? Как диктор для глухонемых — руки устали. Нет уж, пусть он теперь делает. А он только хреном своим машет!.. — Мальвина смеется.

Немец-сосед снова оглядывается и более внимательно смотрит на Мальвину — по-видимому, он знает и русский язык тоже. Полиглот...

— Слушай, — предлагает Тамара после небольшой паузы, — я сейчас на рынок собираюсь. Может, пошлешь своего Сашко со мной? Давай отвлечем его хозяйственными делами. Он ведь у тебя хороший. Может, у него и правда стресс? Тут это бывает, с непривычки.

— Какой он хороший? — повторяет Мальвина. — Он только пить и трахаться умеет! По-моему, он здесь уже с официанткой из китайского кафе путается. Я видела, как она строила ему глазки!.. Пусть идет к ней, я не против. Останется здесь, она родит ему 3 китайчат. А я найду себе иностранца, наконец-то заживу нормально, перееду в Европу... Вот вы — молодцы, на рынок ходите, какое-никакое хозяйство ведете, всюду вместе, пьете мало, почти не курите... Прямо завидую белой завистью, — после небольшой паузы добавляет Мальвина. — Надо было мне за мужика постарше выходить, как ты. Твой-то уже перебесился, двум бывшим женам жизнь испортил и теперь только видами любуется, да индийские книжки читает. Этого, на «К», забыла... Даже на меня внимания почти не обратил, это ж надо!..

— Калидасу[2], — несколько удивленно говорит подруга.

Через полчаса по дороге среди пальм, разноцветных домов из известняка и поросших сухим кустарником пустырей, мирно беседуя, шагают три человека: Тамара, муж Мальвины Саша, действительно пьяный, но совсем несильно (а вовсе не «в жопу», как утверждала Мальвина!), и уже упоминавшийся выше «терч и собутыльник» Леша. Леша моложе «алкоголика»: ему еще нет и 30, он худощав и его синий ти-щорт

[1] *майка, футболка.*

[2] *индийский средневековый драматург и поэт.*

со слоном не лишен элегантности, но его сонный вид и заплывшие глаза указывают на нездоровый образ жизни. И действительно, он активно интересуется любыми искусственными способами получения удовольствия: регулярно *курит*, пьет, *жует* и даже что-то *капает* себе на язык. По словам Леши, в противном случае не ясно, зачем сюда приезжать...[1] (Он неплохой человек, этот Леша, но дурные привычки, как это часто бывает, увы, сделали его своим рабом.)

— ...И вот, представьте, господа: еду я в минувшем ноябре на своем байке недалеко от русского местечка Морджим[2], — продолжает начатый разговор Леша, — вроде бы почти не курили и скорость такая, не сильно большая, и не жарко, градусов 26—27 всего, ноябрь же, осень... И вдруг я вижу, что мой корешок из Москвы, едущий от меня метрах в ста впереди, неожиданно резко выворачивает руль вправо и — мгновенно улетает с дороги в кусты. Шум, треск, гром, потом все затихло... Я опомниться не успел и испугался — не передать.

Подъезжаю, слезаю с мотоцикла, заглядываю в эти заросли, про себя уже пытаюсь вспомнить, как звонить в местную «скорую», знакомому лекарю, вдруг вижу — *ползет...* Жив, цел, только поцарапался. Ой, как я обрадовался тогда! Чуть не плакал. Жив, курилка!.. Правда, за ремонт байка индусы взяли 600 рупий, и врач местный взял 500 плюс в аптеке уже не помню сколько взяли, но это все ерунда.

Мы потом спрашивали у него: а ты че вдруг свернул-то, на дороге ведь никого не было, дурачок? А он говорит: ребята, представляете, я еду-еду и вдруг вижу, прямо на меня вдоль шоссе какая-то х...ня черная летит, я думал — зверь какой-то, раз — руль вправо! И улетаю в кусты.

— Но почему же он так сделал?! — удивляется Тамара.

— Да мы ж покурили перед этим!.. — в свою очередь, удивляется Леша, — ты не поняла, что ли? Все дурь, это она такие глюки дает. Хорошо, что он жив остался. Кусты какие-то спружинили, слава богу. Кактусы — не кактусы, с колючками. Там весь склон ими зарос...

— Подобный случай я однажды наблюдал в городе-герое Санкт-Петербурге, — после небольшой паузы вздыхает муж Мальвины, — еще в 90-х годах прошлого века. Тогда я был совсем юн, одинок и жил на Мойке, как раз недалеко от музея-квартиры Александра Сергеевича Пушкина. Помню, *покурил* я как-то хорошим зимним вечером, сижу у камелька, смотрю телевизор и вдруг вижу — оба-на, на диване вместе со мной еще один человек сидит!.. Мужчина такой обычный, средних лет, но почему-то в пальто. И еще что-то мне говорит, негромко так, а я типа расслышать не могу... Я сначала тоже, как и твой знакомый, испугался. Хотел бежать за кухонным ножом, но потом вспомнил, что говорили бывалые люди. Что, мол, если вдруг в одном помещении с тобой после дури появляется посторонний, надо ткнуть в него пальцем — *протестировать*... Ежели это видение, фантом, так сказать, палец легко проходит насквозь и нож тут совершенно ни к чему, только мебель испортишь... Что интересно, сижу-то я вроде под кайфом, люлька была приличных размеров, но сознание работает четко, как навигационный прибор, будто бы существует отдельно. Про *тест-то* ведь сам вспомнил. Ну что, преодолел я смущение и ткнул в мужика пальцем, как советовали старшие товарищи. Указательным пальцем правой руки прямо в грудь. И что вы думаете? Уперся им в диванную стенку, естественно, а он говорить продолжает, будто ничего и не случилось: бу-бу-бу, бу-бу-бу... Будто бы и не его проткнули. Но я слушать уже не стал, включил телевизор погромче и принялся смотреть какую то передачу, чуть ли не Шарлю Бодлеру посвященную... Мужик посидел-посидел возле меня, поговорил еще немного и пропал внезапно... Вот так. Это я еще дешево отделался, — вздыхает муж Мальвины. — Сколько людей через это пострадало. Того же Сергея Александровича Есенина взять. Не важно, что его «Черный человек» алкоголем навеян, тут без разницы.

---

[1] ***Внимание!*** *Считаем своим долгом снова подчеркнуть очевидную опасность подобного времяпрепровождения!*

[2] *поселок в штате Гоа, где почему-то особенно часто любят останавливаться туристы из России. Цены здесь в среднем на 30—50% выше, чем в остальном Гоа, зато многие вывески и меню в кафе на русском языке.*

— Есенин кокаинистом был, — говорит «терч» Леша, неожиданно обнаруживая начитанность. — Видели их известное фото с поэтом Мариенгофом? А Мариенгоф был известным кокаинистом своего времени. Еще неизвестно, что и как ему навеяло знаменитую поэму. Может, дурь...

Муж Мальвины кивает:

— Да, по большому счету это и не важно, на чем человек «сидит», на водке или на дури. На водке еще и хуже, ее на каждом углу купить можно, а подсаживаешься на нее покруче травы.

Некоторое время друзья идут в молчании. Какая-то птица громко кричит в кустах у дороги.

— Павлин? — полувопросительно спрашивает Леша.

Муж Мальвины кивает:

— Похоже на павлина, но, может, и что-то вроде дрофы. Я видел тут такую однажды. Небольшая такая, серенькая. Очень быстро бегает.

— Так это и есть павлин, — говорит Леша, — Сань, это их женщины! У них, как у уток, селезень цветной, а девушки все неприметные, чтобы, простите меня, не блядовали слишком.

Компания смеется.

— А я, — говорит Тамара, — считай, почти ни разу в жизни и не курила. Только здесь мне дали раз, но мне дико не понравилось, фигня какая-то. Минут на 15—20 мне стало очень весело, а потом депрессняк разом накатил и еще сушь во рту такая, что просто ужас. Я воды, наверное, после этого бутылки две выдула, спала хреново... Нескладно получается, больше не буду. Красота такая вокруг, зачем еще чем-то догоняться? И Майкл мой этого не любит. Он свое уже откурил, еще при советской власти, сейчас, говорит, вредно — восприятие не обостряется, как почему-то считается у общественности, а, наоборот, притупляется...

Так, степенно беседуя, троица идет мимо рощи кокосовых пальм, огромного священного баньяна у перекрестка, придорожной лавочки с *Coca-Cola*, питьевой водой и сигаретами, нескольких домов — во дворе одного из них в кресле-качалке индийский мужчина читает газету, — развалин португальского форта на ближайшем холме, католического креста на большом камне и минут через 15—20 входит в большой южноиндийский поселок Чапора, который уже несколько раз упоминался в нашем повествовании.

Еще двести метров мимо хозяйственного магазина, разваливающейся почты со ржавым, но действующим почтовым ящиком на дверях, интернет-кафе с подобием стеклянной витрины, уже знакомой читателю исторической главной улицы со всевозможными кафе, стоянки рикш и такси, джуис-центра, где, по преданию, сидели сам Рави Шанкар и ансамбль Rolling stones в первом составе, и — изумленным глазам русских путешественников открывается изобильная и многоцветная картина индийского зимнего фруктового рынка.

Мы не можем удержаться, чтобы хотя бы бегло не описать ее, ведь даже сам Марко Поло в своей книге «О разнообразии мира» упоминал об индийских базарах, где, по его словам, финиками кормили коней — а уж его-то трудно было чем-то удивить.

Ну как кормят *финиками коней* — мы не видели, но представьте себе, читатель, горы ананасов, клубники, инжира, винограда и бананов (именно *горы*); похожие на маленьких зверей сладкие мохнатые плоды индийского дерева личи, которыми, как говорят, питался сам Будда, перец красный острый, сладкий и черный, арбузы, оранжевая папайя, желто-красное, источающее смолистый аромат манго, студенистая маракуйя в твердой, как скорлупа кожуре, привычные нам помидоры и огурцы, но непривычного маленького размера (из-за недостатка воды); знакомые листья салата, картофель и фасоль... — и все это по смешным для европейца, а тем более для москвича ценам. Трудно не заметить — пластиковая упаковка с клубникой, за которую мы зимой платим не менее 250—300 рублей, то есть около 10 американских долларов, продается здесь по 50—60 центов, виноград — по доллару, бананы по 20 центов, ананасы по 40 центов за штуку, огромный «кабачок» папайи тоже по 40... Ты,

мой читатель, житель северных, снежных, суровых, печальных, цивилизованных стран, можешь себе это представить?

Тамара здесь уже была, но Саша, прибывший в штат три недели назад, и даже Леша, живущий здесь уже во второй раз, похоже, видят все это великолепие впервые. «Ханей би» плюс пляжный отдых, плюс smoke, плюс пиво «Король-рыбак» по вечерам, а у Леши еще и dance-club по ночам не оставляют времени даже на небольшие этнографические исследования.

Они поражены. С Саши слетает хмель, заторможенный Леша тоже немного оживает. Тамара буднично приступает к покупкам, а наши два добрых молодца еще стоят некоторое время, растерянно озираясь, и смущенные улыбки бродят по их лицам. Кажется, они говорят себе и окружающим европейцам: дивитесь, паны, дивитесь, как великолепна, как щедра и грозно-изобильна индийская природа!.. Как мал, как ничтожен человек рядом с ней!.. Потом, немного опомнившись и что-то прикинув в уме, Леша покупает несколько плодов личи и маракуйя, при этом, как ни странно, нещадно торгуясь с продавцом-индусом.

— Ты завесь, завесь еще раз!.. — раздается над индийским рынком чистая и громкая русская речь.

Леша совсем не говорит по-английски, но, как ни странно, темнокожий продавец его понимает и невозмутимо показывает пальцем сначала на фрукты, потом на весы.

— А, блядь — говорит Леша, — теперь я понял, маракуйи-то четыре, а я думал, три. — Он смеется.

Индус тоже вежливо улыбается.

Речь идет о сумме примерно в 4—5 российских рублей, но никто не отдает себе в этом отчета, хотя интеллигентный муж Мальвины слегка смущен, по-видимому, ему неудобно. Он тихо просит Тамару ему помочь и покупает виноград, клубнику и несколько плодов маракуйи.

— Мальвишку развлечь, — поясняет он. — Чтоб не ругалась.

Тамара деловито покупает фрукты. Сумку за ней уже несет специально нанятый для этого местный мальчик.

— Все деньги не тратьте, на фиш-маркет оставьте, — говорит она мужчинам.

В полукилометре от fruit-marketa, у моря, находится fish-market, импровизированный рыбный рынок, о котором говорит Тамара.

Сумки наполнены, и вскоре наши путешественники в сопровождении мальчика медленно идут опять по главной улице, мимо кафе, джуис-центра под священным баньяном, где сейчас, вместо Мика Джаггера и Кита Ричардса, поворачиваясь под восхищенными взглядами публики сидит необыкновенной стройности и быстроты во всем теле блондинка в греческих высоких сандалиях и в чем-то вроде короткой белой туники.

— Присядем? — неуверенно предлагает Леша, но его торопят, — некогда рассиживаться, может быть, на обратном пути. Это не ночная ярмарка, когда стемнеет, фиш-маркет закроется!

— Когда стемнеет, эта нимфа уйдет, — грустно бормочет Леша, но добродетельный Сашко ему возражает:

— Как раз наоборот, а если эта уйдет, придут две другие!..

Снова проплывают мимо хозяйственный магазин, стоянка такси и каменный католический крест, оставшийся от португальцев, дальше поворот на незнакомую улицу и возникают несколько богатых двухэтажных домов за заборами, неплохое итальянское кафе-пиццерия под названием «Синема» (под навесом стоит большой плазменный телевизор), индуистский храм — в помещении зажжен свет и в забранные решетками окна видны мраморный зал с медными светильниками, алтарь и золоченая статуя местного святого.

— Ом!.. — говорит вся компания хором.

После храма идет школа, одно индийское кафе, другое, постепенно пейзаж становится беднее, во дворах появляются сушащиеся на веревках рыболовные сети, сами дома становятся меньше и пригибаются к земле; еще несколько минут и,

миновав рощицу цветущих розовым колючих кустов и огромную непросыхающую лужу не хуже Миргородской, наши герои оказываются в порту.

Собственно, это не совсем порт, а скорее небольшая гавань с деревянной пристанью, у которой пришвартованы полтора десятка неказистых корабликов не больше 20—30 метров длиной каждый; но качающиеся мачты, йодистый запах рыбы и водорослей, голоса рыбаков, открытое водное пространство, силуэты зеленых холмов вдали — все это вместе способно заставить забиться сильнее любое, даже самое хладнокровное сердце.

Не меньший, а может быть, даже больший восторг, чем полчаса назад, на фруит-маркете, испытывают здесь наши герои.

Свежая тропическая рыба самых причудливых форм и размеров: от ладони до метровых тунцы; креветки, мелкие и знакомые нам по замороженным пакетам в московских супермаркетах, гигантские «тигровые» и еще большие, антарктические, серо-зеленые, полосатые чудища с усами в полметра; шевелящиеся живые лобстеры, крабы, кальмары, осьминоги, каракатицы, гребешки и неизвестные автору прочие морские гады разложены прямо на земле или на простых деревянных ящиках у воды. Тут же, в двух шагах, покачиваются старые и некрашеные рыболовные суденышки. Вечереет, краски роскошного тропического заката разливаются по небу, в воздухе веет прохладой, на мачтах некоторых судов зажгли разноцветные огни — зеленые, синие, красные... Все это вместе, со звуками незнакомой речи, смуглыми лицами продавцов, силуэтами пальм вдалеке и поросших лесом холмов, трогает наших героев, и они умолкают. Может быть, им кажется, что эта картина — рыба, лежащая на земле, темнокожие индусы, силуэты пальм, тихий плеск воды, видавшие виды потрепанные корабли — что она очень старая и повторяется изо дня в день уже не один век на этих берегах.

Муж Мальвины со словами «Да, п...дец, красота какая!» лезет в сумку, достает оттуда флакончик «Ханей би», прикладывается, передает Леше. Тот тоже пьет. Протягивают Тамаре, та отрицательно качает головой.

— Ну и зря, — назидательно замечает Леша, — при таком пейзаже грех не выпить. Это ведь просто Рерих какой-то, Николай Константинович, я имею в виду...

— Давайте устроим общий ужин, — предлагает Тамара, видимо, вспомнив свое обещание Мальвине отвлечь ее мужа от пагубной наклонности, — что вы все время едите в кафе да в кафе? Купим креветок, сварим со специями, на десерт фрукты — будет здорово, а?

Мужчины нерешительно переглядываются, потом соглашаются.

— Может, позвоним, спросим у Мальвинки? — нерешительно переспрашивает Саша.

— Она будет довольна, я тебе гарантирую, — говорит Тамара, и этот аргумент оказывается решающим.

— Prawns? — спрашивает молодой продавец-индус, перехватив взгляды наших героев.

— Праунс, праунс[1], — ворчливо говорит Леша и переходит на русский. — Подешевле давай.

Индус вопросительно смотрит на подругу Мальвины.

— Мужчина сказал, что он хочет подешевле, мо чип, — переводит она.

— Подешевле будут мелкие, mam, very small, — говорит индус, — возьмите вот этих. И он показывает на роскошных королевских креветок с километровыми усами.

— Сколько?! — спрашивает Леша, не давая никому открыть рта и снова понимая английский без переводчика.

— Всего 300 рупий за килограмм, сэр. Only 300. It is very chip, sir.[2]

— С ума сошел! — говорит Леша. — Три хангрида!.. Чтоб я отдал такие деньги за жратву? Никогда! Это ж как трава стоит!.. В Морджиме живет один армян, банкир из Москвы, я у него как-то был... (Леша делает едва заметную паузу)... был по делу, вот он эти креветки каждый день горстями ест.

---

[1] *креветки.*

[2] *только 300. Это очень дешево, сэр.*

— Ok, я могу сбросить до 250 рупий, сэр, для вас, — говорит индус.

— В Москве это стоит 20 долларов, или 800 рупий, — тихо говорит Тамара. — Он отдаст за 200, если поторговаться.

Но мужчины ее уже не слушают.

— Ноу! — решительно говорит Саша. — Зис ван, — он показывает на самые мелкие праундс. — Ту, ноу, тсри килоу.[1]

Брови индуса удивленно лезут вверх. Три килограмма — это много, но он начинает взвешивать.

— Может быть, тунца возьмем? — безнадежно спрашивает Тамара, — тунец сегодня неплохой... И недорого.

— Не надо тунца, — говорит Леша, — в следующий раз тунца, сейчас еще пива надо взять. У них тут точки до скольких работают?

— Не волнуйся, Леш, — отвечает Тамара, — как в Малом V, часов до 10 вечера точно, а есть еще и круглосуточные. Не волнуйся, пиво от нас не уйдет.

— А, — успокаивается Леша. — Ну, ты возьми тунца себе домой, — оборачивается он к Тамаре. — Чего на нас-то ориентироваться? Поедите завтра. Завтра же тоже надо будет что-то есть... Ты следи, кстати, чтобы индусы тебя не обвесили, — добавляет он через минуту.

Тамара машет на него рукой:

— Я не первый раз беру здесь. Зачем ему меня обманывать?

Но Леша недоверчиво качает головой и внимательно следит за показаниями весов.

Вскоре вся троица, обвешанная пакетами с едой (мальчик-носильщик давно отпущен экономными мужчинами) и двухлитровыми бутылями пива «Король-рыбак», ожесточенно поторговавшись из-за двух с половиной долларов (колоритные русский язык и голос Леши разносятся далеко по улице), нанимает очень подержанную Toyota, и не спеша едет по вечерней дороге меж зелеными холмами и пальмами домой.

В наступающих сумерках следуют в обратном порядке кокосовая роща, священный баньян, лавочка с кока-колой... Солнце садится за старую португальскую крепость на холме. На стенах ее видны фигуры туристов, чье гражданство издали трудно определить.

7.

Три часа дня, сиеста, солнце палит немилосердно.

Желтый песок пляжа нагрелся так, что босыми ногами на него наступать невозможно. Впрочем, под плетеными навесами пляжных кафе довольно много народу, впереди — сверкающий под солнцем Индийский океан, вода без края, никакой земли до самой Антарктиды! Если мысленно представить себе карту (вы находитесь на берегу Индостанского полуострова, спиной к Азии, лицом к океану), то справа от вас — Африка, Мальдивские острова, остров Мадагаскар, слева — Цейлон и Индонезия, а впереди — сплошное синее пространство, тысячи километров до самых льдов. Можно себе представить, как *с того берега* на вас задумчиво смотрят королевские пингвины.

Эта мысль наполняет странным восторгом и робостью душу жителя Северного полушария и тем более холодной России — *Антарктида*, место, где жаркий экваториальный Юг неожиданно переходит в свою противоположность, в покрытый снегом и льдами безлюдный материк, так похожий на их далекую родину. Место это издавна манит русских, не случайно они же его и открыли... Ни один из великих европейских мореплавателей прошлого — Магеллан, Кук, Лаперуз не смогли пробиться через льды, как ни старались, а перед двумя небольшими русскими кораблями айсберги будто расступились сами собой...[2] Впрочем, все это теория, а древо жизни зеленеет —

---

[1] *Например, эти... Два, нет, три килограмма.*

[2] *Русские капитаны Ф.Белинсгаузен и М.Лазарев на шлюпах «Мирный» и «Восток» в 1820 году причалили к берегу Антарктиды в районе ее тихоокеанского побережья.*

об истории мореплавания сейчас мало кто думает, у ног наших героев теплое, 24 градуса по Цельсию, соленое море...

Впрочем, купающихся немного, да и те полощутся недалеко от берега — это вам не Крым и не Анталия... Только два дня назад на песке после шторма с утра нашли небольшую мурену, и индусы никогда не заходят в воду дальше, чем по грудь... Впрочем, под навесами оживленно — мальчики то и дело разносят воду и прохладительные напитки, очень популярен свежевыжатый сок, выбирай любой из 6—7сортов, всего за 1 доллар. Плюс морские купания, плюс sunburn, все это очень полезно для health.[1] А что полезно для health — священно для белого человека...

Европейцы постарше читают парами, удобно расположившись в плетеных креслах, европейцы помоложе играют в настольный теннис и индийскую игру, напоминающую нарды, молодые женщины в разноцветных бикини, почти не скрываясь, разглядывают мужчин, мужчины, не скрываясь совершенно, разглядывают женщин, несколько худощавых священных коров, сопровождаемые аистами, бродят неподалеку, меланхолично разглядывая, что можно стянуть у туристов, живущие вблизи кафе бродячие собаки периодически бросаются на них с лаем, правда, несколько демонстративным; все это аранжируется плеском небольшой волны и тихой трансовой музыкой.

Хорошо!.. Картина, согласитесь, почти идиллическая.

Русская компания расположилась в первых рядах плетеных кресел — поближе к морю. На столах холодный «Король-рыбак» у мальчиков, красный арбузный, зеленый киви и желто-белый ананасовый фреш у девочек. Лежат также и две книги — немецкий переводной роман и Борис Акунин в мягкой черной обложке. Акунин принадлежит Мальвине, немец — мужу Тамары. Сама Тамара тоже начала было перелистывать книжку знаменитой феминистки Дорис Лессинг, но вскоре отложила, а потом и вовсе убрала ее в сумку. Гении здешнего места не располагают к феминизму... Сейчас она просто тянет через трубочку ананасовый фреш и слушает, как ее муж разговаривает с соседом-англичанином, небольшого роста мужчиной лет сорока в колониальных бриджах и больших зеленых сандалиях «Crocs», на столике которого лежит толстенный том Иена Бенкса.[2]

— Вы понимаете, — говорит англичанин, — в Лондоне все немного сумасшедшие, все куда-то бегут, в автомобильной пробке люди смотрят на меня вот так, — англичанин скалит зубы, выпучивает глаза и показывает, как именно смотрят на него люди в автомобильной пробке.

Тамара и ее муж смеются.

— Я детский психолог, специалист по трудным детям, — говорит англичанин. — Но трудными обычно оказываются как раз не дети, а их родители. Четвертый год подряд я 8 месяцев работаю, с апреля по ноябрь, потом уезжаю сюда. Здесь так спокойно... Никто никуда не спешит. Все дешево. В Лондоне я все время думаю о деньгах. Это надо купить, сколько стоит? А это? А здесь нечего покупать, кроме деревянных слонов и ароматических палочек, — он смеется. — Потом море, дешевые фрукты... В моем гест-хаусе даже арабы и израильтяне здороваются между собой. Дома я почти не читаю, здесь только и делаю, что читаю. Здесь никто не удивится, если вы в будний день 2 или 3 часа просидите в кафе с книжкой. Трудно себе представить что-то подобное в Европе и, главное, как вы себя будете чувствовать при этом?

Москвич смеется:

— Да уж, пожалуй...

— Что это у вас, что-то русское? — англичанин показывает на книжку. — Akunin?.. О, я слышал о нем! В Голливуде собираются делать фильм по его роману, я читал об этом и в Англии и где-то здесь... Наверное, в Indian Times. Здесь все читают Indian Times. Берут в кафе по дороге в Чапору. Если с собой, то 10—15 рупий. Можно сказать, даром. Я люблю журналы, газеты, это то, чего здесь не хватает... Хотя иногда

---

[1] *sunburn — солнечная ванна; health — здоровье (англ.).*

[2] *Современный английский писатель, пишущий как реалистические романы, так и фантастику про другие планеты и прочее.*

я смотрю у соседей BBC, чтобы что-нибудь не пропустить, или мельком новости в Интернете, — он смеется. — Сам не знаю, что я ищу там... Вы знаете это кафе с журналами? Вы там завтракаете? Правда?.. Я ужинаю. Кстати, как вы относитесь к Путину? Я читал, у него огромная популярность в России?

Москвич пожимает плечами:

— Не знаю...

— Да? — англичанин искренне удивляется. — Опрос был сделан «Gellap»... Видимо, вы попадаете в те 25—30 процентов, у которых он не популярен. Вы в меньшинстве! — англичанин снова смеется. — Впрочем, здесь европейская политика не очень звучит, вы заметили? Какой Путин, какой Браун?.. Вот отношения с Пакистаном, волнения в Индонезии — это да... Скоро ко мне приедут бывшая жена с дочерью, мне надо снять им дом в тихом месте. Когда я безвылазно жил в Лондоне, мы почти не общались. Дочери скоро 10 лет. Мы будем праздновать ее день рождения здесь. Может быть, с женой приедет ее постоянный бойфренд, я не знаю, я их звал, но он стесняется, strain[1]. Когда я жил в Лондоне, я тоже был strain, ревновал, стеснялся... Сейчас я всех люблю, как Будда или Христос. При этом я почти не курю, заметьте. — Он снова смеется. — Правда, у меня сейчас нет постоянной герлфренд, я одинок, если они приедут вдвоем, это будет немного удар по моему самолюбию, но зато будет хорошо для дочери. Она должна видеть, что между родителями, находящимися в разводе, нет напряжения, и потом, потом... Если они приедут втроем, во время их приезда я смогу посещать любые party, которые мне нравятся... — он тянет свой фреш и смотрит на проходящую мимо девушку.

— Вам нравятся ваши «crocs», вам удобно? — вдруг спрашивает Мальвина, оказывается, она тоже прислушивалась к разговору.

— Что? Да, я доволен, ноги не устают, не жарко... — англичанин удивленно поднимает ногу в воздух, болтает ею. Он окидывает Мальвину взглядом, задерживается на мгновение на ее груди, судя по всему, остается доволен. (Мы забыли сообщить читателю, что муж Мальвины Саша в момент беседы почему-то отсутствует.)

— Их носит Джордж Буш-младший, — говорит Мальвина на очень брокен инглиш. — И еще Джек Николсон.

— Откуда вы знаете? — удивляется англичанин.

— Я видела рекламный проспект в Москве. Но там было очень дорого. Я хочу купить такие же, когда мы поедем в столицу штата, вы, конечно, были там?

— Надо будет подумать над тем, что вы сказали, — говорит специалист по трудным детям. — Николсон — звезда. Туфли — удобные.

В Панджиме я был много раз... Позвольте предложить вам фреш?

Мальвина позволяет.

— Здесь очень расслабленно, — замечает москвич, дождавшись, когда англичанин немного отвлечется от Мальвины, — я с вами согласен... Но от этого всеобщего расслабления ничего не хочется делать! Я с трудом заставил себя написать обещанную еще в Москве статью. Это как-то тревожно. *Нельзя же не делать вообще ничего!*..

— Почему?! — англичанин смеется. — Здесь многие так живут. Правда, хорошо к этому иметь еще и небольшую ренту... Вы журналист? Как называется ваше издание? Это газета?

Москвич называет свой журнал, и к беседующим подходит наш старый знакомый, красивый юноша Максим. Как ему удалось подойти так незаметно?. Максим одет в ярко-оранжевый ти-шорт с трафаретом «What is cannabis?» и полосатые шорты, похожие на пижаму. Он слегка покачивается, по лицу его блуждает улыбка.

Он здоровается с англичанином:

— Хай!..

— Hi! — говорит англичанин.

— Веа а ю фром? — спрашивает Максим.

— England, — говорит англичанин. — London. And you? Вы тоже из России? Москва?

— Я... Я — с планеты Земля!.. — говорит Максим громко. Он показывает запяс-

---

[1] *strain — напряжение (англ.).*

тье с разноцветными индийскими браслетами из раскрашенных камней. — Это флаг моей страны!..

— Я понял, — говорит англичанин. — Понял... You are cosmopolite.

— Ай эм... Ай эм космос-мен... — говорит Максим. — Ай эм фром Спэйс!.. Ай эм фром Спейс-кантри!..[1]

Англичанин улыбается, кивает:

— Ok, ok, я понял...

— Простите, но я слышал финал вашего разговора, — говорит Максим по-русски, обращаясь к мужу Тамары. — А почему вы считаете, что вы, что все, *должны что-то делать*? Почему? Расслабьтесь!.. Посмотрите на это море, на это небо... Разве эти пальмы, — он машет рукой назад, в сторону холмов и пальмовой рощи, — разве они что-то делают?

— Они растут, — отвечает журналист тоже по-русски. — Тень дают. Орехи...

— Максим, — говорит Мальвина негромко. — Ты что, уже под кайфом или «Ханей би» принял? Не кидайся на людей. Видишь, мы разговариваем?

— Все понял, — говорит Максим обиженно. — Особенно ты, *разговариваешь*... Сашка-то где?..

Он кладет сумку на свободный шезлонг, просит мальчика-индуса принести воды и, размахивая руками, идет к морю.

— Он что, что-то принимает? — после паузы удивленно спрашивает журналист. — *Курит?*

— Конечно, — Мальвина пожимает плечами. — Ты что, не знал? Все знают.

— Нет... — говорит журналист. — Не знал. А я смотрю, он такой расслабленный... Даже завидовал.

— Я же тебе говорила, что тут что-то не так, — смеется Тамара.

— Он какой-то странный.

— Caif? — переспрашивает англичанин, прислушиваясь к их разговору, — ...drugs?.. Это очень плохо. Он молодой, может привыкнуть. Dependence...[2] В Лондоне много подростков с dependence. Как правило, из неблагополучных семей.

— Ничего, — говорит Мальвина. — Он из благополучной, его маман какое-то большое начальство в Москве. Вылечат... Переведи, — обращается она к журналисту.

Тот переводит.

Англичанин кивает:

— Это тоже бывает. Вы, конечно, читали. В королевской семье... Наследник...

— А он говорил, ему бывшая жена высылает ежемесячно деньги, — смеется Тамара. — Я еще тогда не поверила.

— Да он книжек начитался, — раздраженно говорит Мальвина. — *Бывшая жена*... Сейчас не те времена, чтобы бывшие мужья или, тем более, жены кого-то романтически содержали. XX век кончился. Такие, как твой Миша, пишут, а он повторяет... Говорю тебе, у него мамаша не то в мэрии, не то в Белом доме работает... И мой тоже, пролетарий, с ними шляется. Вот где он сейчас? — задает она риторический вопрос.

Журналист, Тамара и даже англичанин, не понимающий русского языка, грустно вздыхают. Потом специалист по трудным детям галантно предлагает повторить напитки, добавив немного белого вина. Дамы соглашаются...

8.

Сцена представляет собой уже известную нам ярко освещенную поляну перед домом Мальвины. Во дворе происходит русская вечеринка. Нет ни одного европейца, все наши... Англичанина, поколебавшись, не пригласили. Напрягать будет, — как сказал торчок Леша.

---

[1] — *Вы космополит.*

[2] — Я космический человек... Я из космоса!.. Из космического государства!.. *зависимость (англ.).*

Время одиннадцать вечера. Общая картина отчасти напоминает собой первую главу, но только с большим количеством действующих лиц и снеди на столах. На широком каменном парапете в металлических индийских тарелках — остатки маленьких индийских помидоров и огурцов, приправленных луком. Большая медная миска с купленными в позапрошлой главе креветками съедена почти до половины. Несколько вареных креветок валяются на земле, к ним крадется худая и грязная индийская кошка. В там и сям оставленных стаканах остывший минт-ти, большие пустые и полупустые баллоны из-под пива «Король-рыбак» выглядят прямо как «Балтика» или «Жигулевское» на далекой родине. Только маленькие бутылочки бренди «Ханей би» и рома «Старый монах» не похожи на своих российских собратьев — формой и цветным стеклом они скорее напоминают пузырьки духов.

Хозяева дома уже изрядно пьяны и в четыре руки исполняют на больших индийских барабанах песню «Стрекоза» неизвестного современного композитора, словами, впрочем, весьма напоминающую Ивана Андреевича Крылова.

— Попрыгунья, стрекоза!.. — разносится в жарком и влажном тропическом воздухе под барабанный бой. — Лето красное пропела, оглянуться не успела, уж зима катит в глаза!..

Кто-то из дам добавляет:

— Пора покупать купальник и билеты в Индию!.. — и вся компания дружно хохочет.

Звуки барабана гулко разносятся над двором, вылетают на улицу, несутся над пустынной вечерней дорогой, окрестными гест-хаусами, кафе и домами и глохнут где-то в высоких и темных деревьях, начинающихся за поселком.

Общего разговора не существует, он разбит на несколько маленьких ручейков, но основная тема более-менее одна: кто когда приехал в штат, как брал авиабилеты, за сколько, где успел побывать и что видел. Кто-то вспоминает ночную ярмарку в Арпоре, кто-то средневековый храмовый комплекс у границ штата (XIII век, 5 этажей, и все прекрасно сохранилось, только людей нет, вы представляете?), а кто-то вчерашнюю вечеринку в ближайшем ночном баре.

Впрочем, присутствует и другое: дети, жены и мужья, любовники и любовницы, сплетни, московские и петербургские дела... Хозяин-индус, чьи двери выходят в тот же двор, проходя мимо, с вымученной улыбкой смотрит на играющих на барабанах Мальвину и ее супруга, но ничего не говорит.

Если бы не темнокожий хозяин, не горячий влажный воздух, не незнакомые резкие запахи, не банановая пальма с большими, в полтора метра длиной зелеными листьями, растущая прямо во дворе, не кусты пятнистой аукубы у забора и не большой, с ярким и странным рисунком абажур у люстры на террасе, — открывающаяся картина, в общем, ничем бы не отличалась от мирной картины какой-нибудь подмосковной дачи по Белорусской или Казанской дорогам...

Маленькая Даша, находящаяся в штате во второй раз и уже не испытывающая шока и восторга от местных красот, жалуется соседке — жене журналиста Тамаре — на своего бойфренда. (Такая, видно, у этой Тамары судьба — всех выслушивать.)

— Мало того, что я привезла его сюда на свои деньги и, в общем, почти содержу, он еще и за девками бегает!.. Нашел себе какую-то 18-летнюю Катю в Анджуне, ездит туда через день, а возвращается за полночь, и пьяный... Я ему говорю: если ты хочешь молодую девочку, то зачем приехал сюда со мной? Приезжай сюда один и гуляй, сколько влезет!

Тамара чувствует себя неловко и ерзает на месте.

Герой Дашиных рассказов, толстый, коротко стриженный молодой человек со странным, то ли детским, то ли обиженным лицом сидит в нескольких шагах от них и, несмотря на звуки барабана, похоже, слышит большую часть разговора. Он зло косится на Маленькую Дашу и цедит пиво сквозь стиснутые зубы.

— А что вы купили на найт-маркете? — пытается перевести беседу дипломатичная Тамара.

Но Маленькую Дашу не так легко сбить. Она рассказывает о том, что еще в Москве этот Володя трепал ей нервы бесконечными походами налево, что она несколько раз его выгоняла, но он каждый раз возвращался весь в соплях, и она

принимала его назад. У него было какое-то сложное детство, и она давно бы его выгнала совсем, но ей его жалко... Последнее высказывание, видимо, особенно раздражает Володю, и он, наклонившись к своему соседу, журналисту Мише, неожиданно доверительно ему сообщает:

— А она ведь сильно меня старше. Это она выглядит так молодо, а на самом деле ей под сорок.

Миша сначала не понимает:

— Кто старше?

— Дашка, кто... — медленно и довольно громко говорит Володя.

Журналист понимает, пугается, косится на Маленькую Дашу и, видя, что она, похоже, слышала реплику своего друга, миролюбиво замечает:

— Сорок лет — это немного.

Потом неожиданно сердито добавляет:

— А вам самому, простите, сколько?

— Двадцать девять, — печально сообщает Володя. — Точнее, двадцать восемь с половиной.

— Никогда бы не дал 40 лет вашей подруге, — громко заявляет журналист, получает от Маленькой Даши заинтересованно-благодарный взгляд, конфузится и, пробормотав какие-то извинения, переходит на другой край террасы.

Недавно прилетевшая в штат полная дама — кинодокументалист из Санкт-Петербурга с не частым сегодня именем Арина тем временем рассказывает Мальвине, как делала ремонт в своей квартире на Васильевском острове.

Мальвина слушает, но не очень внимательно.

— В прошлый раз я привезла отсюда обалденные обои, — говорит дама-кинодокументалист, — золотое тиснение, узоры на рисовой бумаге, зеленый фон, хэнд мейд... В Питере они стоят целое состояние, здесь — наверное, раз в 10 меньше, я оклеила ими столовую, бросила индийские подушки на диван, устроила приглушенный свет — получился полный абзац, настоящая экзотика, сказка 1001 ночи, все гости обалдевали... — Кинодокументалистка слышит реплику Володи о 40 годах, кидает быстрый взгляд на Маленькую Дашу, делает большие глаза Мальвине и продолжает:

— А в этот раз я хочу купить обои для детской комнаты, да только вот никак не соберусь в здешний райцентр, магазин-то там... Впрочем, здесь еще дорого, говорят, все это делают в западной Индии, у границы с Пакистаном, где живут мусульмане — штат Раджастан. Если съездить туда, то там все это стоит вообще совершеннейшие копейки. Только в Раджастане сейчас очень жарко и опасно — террористы... Я видела статью в Indian Times, там описаны всякие ужасы. Этот журнал есть в кафе у дороги, вы там бываете?

— Как мне надоели эти его девчонки, — тем временем говорит Маленькая Даша очередным собеседникам — высокой стройной блондинке средних лет и ее другу — строительному бизнесмену из Москвы, больших размеров мужчине с веселыми глазами и бритой наголо головой, как у римлянина, — хоть бы находил каких-то умненьких, а то дуры-дурами, одни тряпки и травка на уме.

— А почему вы вообще так серьезно относитесь к этим девочкам? — спрашивает ее строительная блондинка и изящно берет пластиковый стаканчик своей красивой рукой, — что такое 18 лет для взрослой женщины? Они же вам не ровня...

Бритая голова хохочет:

— Вот именно! Начните собственную личную жизнь!.. — и он окидывает Маленькую Дашу довольно откровенным взглядом.

— Да?.. — от взгляда римлянина Маленькая Даша приободряется и делает большой глоток пива «Король-рыбак». Похоже, мысль о независимой личной жизни ей нравится. Она смотрит на своего надутого и красного Володю, покачиваясь, встает, подходит к нему со стаканом пива в руках и садится на его колени, нежно обняв за шею. При этом она не забывает посмотреть на бизнесмена.

— Правда, милый, — говорит она, — что я обращаю внимание на всякую чепуху?

Однако толстый Володя не принимает протянутую ему пальмовую ветвь и сердито отворачивается.

Даша ласково целует его:

— Ну ладно, милый, я была не права, если тебе так хочется, езди к этой Кате в Анджуну хоть каждый день. Тебе же нужно общаться со сверстницами... А я пока, — она бросает еще один веселый взгляд на бизнесмена и его подругу, — минт ти с нашим Родригесом выпью... Сводный брат нашего хаус-кипера наполовину португалец, наполовину индус, — поясняет она, — ему года 24, и, как многие метисы, он очень красив.

При ее последних словах Володя встает так резко, что Даша едва не падает. Пиво проливается на землю. Нетвердыми шагами Володя пересекает двор, огибает большую, недавно выкопанную яму у банановой пальмы (хозяин, кажется, собирается строить там фонтан и устраивать цветочную клумбу) и, хлопнув дверью, скрывается в их номере.

— Идиот, — обиженно говорит Даша. — Сам шляется целыми днями, а я даже пошутить не могу.

— А я хотела вас сфотографировать вместе, такая фотка была бы хорошая... Куда Володя-то пошел? — подвыпившая Мальвина, похоже пропустившая последние события, с фотоаппаратом в руке стоит на пороге своего дома.

Ее муж продолжает тихонько настукивать на барабане какую-то мелодию.

— Да пошел он... — тихо повторяет Маленькая Даша.

— Не расстраивайтесь, милая, — говорит дама-кинодокументалист, — у вас просто итальянская семья. Мы с моим вторым мужем тоже каждые пять минут ругались. А потом часто занимались сексом... Очень способствует сближению, вы не пробовали? Потом, правда, все равно развелись, увы... — она смеется и добавляет: — Вообще, о чем мы говорим, посмотрите вокруг!.. Как можно здесь ссориться?!

— У меня назрел тост, — оторвавшись от барабана, неожиданно говорит муж Мальвины. — Давайте выпьем за нас в этой далекой стране. За нас в тропиках, за нас в Индии. *Подумать только — в Индии!* Спасибо этому месту.

— Тебе бы только тосты предлагать, — недовольно говорит Мальвина.

Однако все сдвигают пластмассовые стаканчики с пивом «Король-рыбак» и «Ханей би»:

— Ур-ра!!! — разносится по двору и летит в темное небо, за манговые деревья, к висящему над горизонтом созвездию Южный Крест.

В соседнем дворе раздаются голоса:

— Please, be quaite! It's very noisy, сэйшас ноч![1] — говорит кто-то громко и отчетливо, мешая английские и русские слова.

Компания на минуту затихает.

— Правда, ребята, поздно уже, а мы орем... — неуверенно говорит журналист Миша, но его тут же перебивают:

— Ничего, не хер, в понедельник немцы после футбола в найн-баре до 6 утра так колбасились, что даже индусы ох...ли, — говорит торчок Леша. — Мне вчера их официант жаловался. Говорит, белые господа посуды перебили немерено... А мы уже русское «Ура!» крикнуть не моги.

— Давайте выпьем за наших хозяев, — неожиданно предлагает кинодокументалистка. — И вообще, за местных людей. За их улыбки, доброжелательность. Они замечательные, у них есть чему поучится.

— За кого выпьем? За индусов?.. — удивляется Маленькая Даша. — А вообще давайте. Но за наших я пить не буду. Они у нас какие-то неприветливые, хоть ничего прямо и не говорят. Вот по соседству Ману и его брат, они просто чудесные. Время двенадцать ночи, час, сидишь на чилл-ауте, галдишь, как на базаре, а они хоть бы слово сказали. Всегда улыбаются... А помните, как Ману придумал, чтобы Мальвинин муж по телефону изобразил советника российского посольства, когда Леша попал в аварию? Я прямо влюбилась в него.

Леша вздыхает, за дверью Дашиного номера что-то с шумом падает.

— Да, — повторяет кинодокументалистка, — хозяева здесь замечательные... В нашем гест-хаусе хозяйка — израильтянка. Приехала, как многие, 10 лет назад

[1] — *Пожалуйста, тише! Очень громко!.. (англ.).*

туристкой и — осталась... Здесь ведь потише, чем у них. Не стреляют. Так у меня иногда появляется ощущение, что это моя дальняя родственница, которую я когда-то потеряла, а теперь нашла. Причем первые дни я боялась ее предупредительности, думала, что она потом все включит в счет. Ничего подобного... Хотя пару раз мне тут было стыдно.

— За что? — удивленно спрашивает Маленькая Даша.

— За нашу страну, за что, — недовольно говорит кинодокументалистка. — Несколько дней назад, ночью, меня подвозил один индус — хозяин мини-маркета в Анджуне. Я засиделась в кафе, потом забрела в ночную сувенирную лавочку, а у него спросила, как найти такси. Он сказал, что сам может меня подвезти. Назвал приемлемую цену, и мы поехали. В дороге выяснилось, что я русская, а у него дочь учится в России, в Ставрополе, на врача. У них же давняя традиция ездить к нам учиться... Он сказал, что в СССР в 1970-х годах учился его старший брат, и они на семейном совете решили продолжить традицию. Причем, я вижу, он говорит, а на меня при этом не смотрит. Вроде как за дорогой следит.

Спрашиваю:

— И как она там, в Ставрополе? Симпатичный был раньше город, зеленый такой... (Я когда-то давно бывала там).

Индус мне и говорит:

— С учебой нормально, но она не выходит за территорию университетского городка. Опасно.

Спокойно сказал, без эмоций. Просто факт констатировал, по-восточному. Мне стало так неудобно... Я сначала сказала, что националистов у нас меньшинство, что все нормальные люди их осуждают и гостям очень рады, что наш новый президент очень против таких вещей, потом извинилась от себя лично, но индус реагировал на все это довольно вяло, промямлил, что, мол, да-да, конечно, а потом вообще сменил тему.

За столом возникает неловкая пауза. Жена журналиста вполголоса говорит что-то вроде «свинство», но отчетливо слова не слышны.

— Хорошо, что вообще довез, — наконец вздыхает Мальвина.

— Ну что вы, эксцессы здесь исключены, они по природе дружелюбны и потом — очень боятся своей полиции, — возражает ей кинодокументалистка.

— Да-да, — энергично поддерживает ее стройная подруга бритой головы, — полиции они боятся. Прямо как мы. Вот мой Коля в молодости служил в милиции. Его многие до сих пор боятся, — и она, улыбаясь, оглядывает всех, будто приглашая присоединиться к ее радости.

9.

— Что такое? Что с месяцем, кум?! — встревоженно кричал молодой торчок Леша мужу Мальвины Саше.

— Да что ж ему сделается? — добродушно ворчал ему в ответ Саша, нахлобучивая крепче свою раджастанскую тюбетейку и сжимая в руке суковатую палку, страх и грозу докучливых индийских собак. Оба друга выходили из ночного павильона напитков с новой порцией «Ханей би» и «Король-рыбак» для русского пати. (Хозяин проводил русских покупателей радушным «welcome!».)

— Ты, видно, перекурил или перепил, кум... Где тебя носило вчера до вечера?

— Нет! — кричал куму Леша. — Нет!.. Смотри, месяц перевернулся!..

— Где? — проговорил муж Мальвины недоверчиво. — Ах да, вот.

— То-то что «вот». Тебе, небось, и нужды нет, — вздыхает Леша.

— А что же мне делать? — не без обиды возразил Саша. — Ты вон сегодня уже и «Ханей бишечки» порядочно выпил и который раз куришь, неужели мне обращать внимание на все, что тебе мерещится?.. Ну да, немного не так висит.

— Надо же было, — продолжал Леша, утирая усы рукавом, — какому-то х... с горы, чтоб ему не довелось с утра пива выпить, вмешаться! Я еще когда во дворе

сидел, заметил это, но подумал, что почудилось спьяну. Ан нет, *шалит* кто-то... Я сразу понял: тут все не так просто. Макаки, они только на вид простые.

Леша долго еще ворчит и бранится.

— Так то же астрономический эффект!.. — вдруг прерывает его Саша и облегченно смеется. — Тьфу, кум, мне кто-то уже говорил за этот месяц!.. Экватор же близко, что-то с чем-то преломляется... свет... вот месяц и виден по-другому. А я уж думал — и правда, то ли напились так, то ли *шалит* кто-то здесь, прости, Господи. Смотрим-то почти с экватора, старичок!.. Вот оно и получается не так, как у нас.

И друзья, переговариваясь, идут в сторону дома по пустынной индийской улице с резкими ночными тенями. Где-то встревоженно вскрикивает курица, взлаивает и сонно замолкает собака, одиноко стрекочет далекий мотоциклист. Уж не полицейский патруль ли это? Скорей домой, до хаты, чтоб не пристали (пиво и «Ханей би» их не интересуют, это не Россия, но могут спросить: are you smok*e* today?..[1]) — и наши герои ускоряют шаг.

— Они тут тоже разные бывают, — тем временем продолжает начатый разговор журналист Миша. — Мы в Панжиме, в местном райцентре, провели с женой ночь в мини-гостинице, где были очень милые хозяева. Особенно хозяйка, прямо картинка с какой-то древней миниатюры. Миндалевидные глаза, лукавая улыбка, длинная черная коса... — но чек-аут[2] они устроили в... 8 утра! Хочешь поспать — плати еще за полсуток. Мы так рассердились, что хотели тут же писать письмо в министерство по туризму в Дели, и только посещение городского кафедрального собора немного примирило нас с действительностью.

— Вы были в Панжиме?.. — переспрашивает кинодокументалистка. — Боже, как интересно!.. Послушайте, 250 рупий, или сколько там они хотели — это же около 5—6 долларов. Ну, подарите вы им эти доллары. Вы понимаете, что такое 6 долларов в Москве или в Питере?.. А я ни разу толком в Панджиме не побывала. Все проездом — то из аэропорта, то в аэропорт. Скажите, на что это похоже?

— Вы правы, 250 рупий — это копейки, но за эти деньги можно было снять отель чуть почище — раз, и вообще, что за нелепый обман? — возражает ей журналист. — Так же нельзя! А похоже... Знаете, похоже на обыкновенный южный город. Вообще, я был очень удивлен. Конечно, экзотика, конечно, жарко. Рикши, машины, высокие, страшно обшарпанные дома (кстати, зарешечены все окна, даже верхние этажи), люди, очень много людей, иногда ослы, священные коровы, все это движется, разговаривает, мычит, гудит... От индуистского храма со слоновьими головами на площади я вообще на время потерял дар речи... Но в целом, особенно если прожить там несколько дней или съездить туда не раз, а два или три, приходишь к банальному выводу — жизнь человека везде более или менее похожа. Вот утром они спешат на работу и завтракают в кафе, на ходу листая газету или просто, еще не проснувшись, едят, глядя перед собой, вот вечером, когда спадает жара, не спеша, идут домой, сидят после работы в том же кафе с чашкой кофе, газетой или стаканом пива, вот женщина идет с рынка с корзинкой овощей, правда, поставив ее себе на голову, но фасоль и салат те же, что и у нас, а вот учительница повела младший класс на экскурсию — детки галдят, прямо как в Москве. И то, что вокруг пальмы и манговые деревья, а не тополя или, например, елки, а учительница в сари и children[3] коричневого цвета — сути происходящего не меняет.

— А как называлась гостиница, в которой вы останавливались? — спрашивает кинодокументалистка. — Недорого, а я люблю рано вставать, я жаворонок. Мы с моим нынешним мужем любим ходить по утреннему Парижу, это так интересно, это совершенно другой город...

— У нее *и сейчас муж есть?* — тихо спрашивает Маленькая Даша у Мальвины.

Та кивает и пожимает плечами.

— То есть третий, если я правильно посчитала. Молодец... — тянет Даша с

---

[1] — *Вы курили сегодня?*

[2] *Расчетный час.*

[3] *дети.*

завистью. — Мой муж тоже жаворонок, — громко заявляет она, — в этом мы с вами совпадаем!..

Кинодокументалистка с почти незаметной иронией соглашается:

— В этом да.

После упоминания Дашиного мужа на поляне незаметно возникает толстый Володя. Он, покачиваясь, подходит к веранде и снова усаживается за общий стол рядом с журналистом Мишей. Журналист испуганно отодвигается. Володя наливает себе пива и, заговорщицки наклоняясь к журналисту, тихо спрашивает:

— Косяк хочешь?..

— Спасибо, нет. Я вообще *не курю*, — отвечает журналист.

— На халяву курят даже некурящие!.. — смеется Володя. — Помнишь фильм «Бриллиантовая рука»?

Он смотрит вокруг туманными, ничего не выражающими глазами, а потом неожиданно говорит:

— К нам в фирму пришел заказ из «Газпрома», а компьютеры зависли. Кого позвали? — он смотрит на журналиста.

Тот испуганно пожимает плечами.

— Меня! — громко говорит Володя и со стуком пытается поставить пластмассовый стаканчик на стол. Естественно, это не получается, он ушибает руку, стаканчик падает, стоящая на столе посуда подскакивает. Общий разговор прерывается и на минуту во дворе воцаряется неловкое молчание.

— Милый, тебе уже хватит, — громко говорит маленькая Даша, — и курить тебе сегодня не надо, тебя опять будет тошнить, у тебя слабый желудок.

— А пошла ты на х..! — отчетливо говорит Володя и красивым, театральным жестом закуривает. Однако закуривает не «косяк», а обычную, дешевую местную сигарету «Голд». Видимо, он все-таки немного прислушивается к Дашиным словам.

— Эх, ребята, — миролюбиво говорит муж Мальвины, — нашли из-за чего ссориться. Смотрите, какая красота... — он поднимает голову и смотрит на небо.

Из-за фонаря во дворе звезд почти не видно, муж Мальвины встает, гасит свет на веранде, показывает пальцем вверх и говорит:

— Обратите внимание, Большую Медведицу здесь почти не видно, она сползла к самому горизонту, зато, по-моему, я вижу Южный Крест.

— Где?! Где?! — спрашивает кинодокументалистка.

Ей показывают, и она восторженно вздыхает:

— Ой, Боже мой... Знаете, мне до сих пор не верится, что я здесь.

— А месяц-то *того... перевернут.* Заметили? — спрашивает ее торчок Леша.

Но оказывается, что про перевернутый месяц и про астрономический эффект почти все присутствующие уже знают. Это одна из первых местных достопримечательностей, на которую обращают внимание туристов.

— Вот видишь, кум, — говорит муж Мальвины. — Я же тебе говорил, дон'т ворри. А ты — «кто-то балует»...

Муж Мальвины берет барабан, начинает отстукивать на нем ритм и тихо поет:

— Когда переехал, не помню...

— Наверное, был я бухой, — подхватывает его жена.

— Мой адрес не дом и не улица, мой адрес сегодня такой!.. — поют они хором. — В-в-вэ Ин-дия, в-в-вэ Гоа-ру!..

Вся компания подхватывает:

— Когда тормозит меня мусор, прописки, мол, нет никакой — то я отвечаю спокойно: «Мой адрес сегодня такой: В-в-в Ин-дия, в-в-вэ Гоа-ру!!!..» Песня грянула так громко и так отчетливо, что жена хозяина на минуту выглядывает из своего домика и тут же скрывается восвояси. Соседний двор по-английски молчит.

— А-а, убояша нехристи гласа народного... Хорошая песня, хорошо спели, — говорит торчок Леша, когда все заканчивают. — Давайте еще что-нибудь споем. «По долинам и по взгорьям», например? — неожиданно предлагает он.

— Фамилия автора песни может вам не понравиться, — насмешливо говорит кинодокументалистка, — я где-то читала, что он еврей.[1]

Присутствующие удивляются и качают головами: «надо же!..», а торчок Леша обижается:

— Вот это вы зря, — говорит он. — Я интер... Интер-на-цио...-налист. (Он не может сразу выговорить длинное слово и повторяет его дважды). У меня в Москве, кстати, есть друг-еврей. И еще одна знакомая девочка-еврейка, она бармен в гей-клубе. И потом, когда в найн-баре недавно южные корейцы и израильтяне с индусами подрались, кто их разнимал? Я разнимал. Ничью сторону не взял, хотя мог бы — лично мне корейцы симпатичнее, у меня дома компьютер «Асус», про московского друга я уже сказал... И один индус, не разобравшись, что к чему, что я их разнимаю, а не дерусь, меня даже укусил, за руку. Пришлось йодом мазать потом. След до сих пор остался, — и Леша показывает всем след. Хорошо парнишка был приличный с виду, нормально одетый, а то бы еще и на уколы пришлось тратиться.

— Господа, — прерывает Лешу Мальвина, — давайте лучше споем. Все люди братья, произошли от обезьяны и Бог любит всех, что тут рассуждать!.. А ты, — обращается она к Леше, — следил бы лучше за базаром. Я тебе уже говорила. Видишь, что люди думают.

И компания дружно поет «По долинам и по взгорьям».

Поет бывший секретарь в известной девелоперской фирме Мальвина, поет ее муж-художник, поет бородатый журналист Миша, поет его жена — социолог Тамара, поет врач из недешевой московской клиники Даша, поет ее непутевый спутник Володя, поют бизнесмен-строитель, в прошлом милиционер, и его загорелая подруга, поет бывший совладелец цветочного ларька на Черемушкинском рынке интернационалист Леша, поет киношница из Питера, поют — все.

— По долинам и по взгорьям, шла дивизия вперед, чтобы с боем взять Приморье — белой армии оплот!.. — далеко разносится в ночном воздухе над притихшим индийским поселком, над обрывистым, поросшим кокосовыми пальмами и какими-то колючими кустами берегом океана, над начинающимся у шоссе за поселком тропическим лесом. В ветвях мангового дерева неподалеку тяжело ворочается и шумно взлетает какая-то большая птица.

Компания затихает на минуту, все смотрят вверх, а затем продолжают:

— Наливаются знамена кумачом последних ран, шли лихие эскадроны приамурских партиза-а-ан!..

И на мгновение, правда, кажется, что в этом тихом дворе за белым каменным забором действительно сидят усталые бойцы Дальневосточной армии, бывшего подпоручика лейб-гвардии Семеновского полка, красного маршала Тухачевского, что воплотились, наконец, самые смелые мечты первых русских коммунистов и последних русских империалистов и дошедшие до берегов самого Индийского океана бойцы разгромили наконец высокомерных англичан, закончили поход, распрягли усталых коней, сняли пыльные шлемы с красными звездами, сели в круг у костра, склонились друг к другу и теперь поют эту песню.

— А когда меня позвали, когда система-то полетела из «Газпрома», — неожиданно говорит Дашин Володя, — было времени восемь тридцать пять вечера. Больше полдевятого времени было, то есть рабочий день уже закончился. Давно закончился. Я начальнику сказал: сверхурочные будут? Он мне говорит: нет. Я говорю: а тогда пошел на х...!

Кинодокументалистка страдальчески воздевает глаза к небу, и Маленькая Даша ласково говорит Володе:

— Дорогой, что ты вышел? Тебе уже спать пора.

— И останутся, как в сказке, как манящие огни, штурмовые ночи Спасска, Волочаевские дни!.. — допевают Мальвина, ее муж и журналист Миша под звуки индийского там-тама.

Ненадолго наступает тишина. Все как будто немного задумываются. Кто о

---

[1] *Интернет на эту тему предлагает разные версии песни. Есть «красный» вариант, а есть «белый».*

манящих огнях, кто о штурмовых ночах, а кто о будущей поездке в Панджим за чудесными обоями.

— Это тебе спать пора, — говорит вдруг Володя Даше неприязненно и после небольшой паузы добавляет вполголоса, — п...да.

Присутствующие делают вид, что ничего не слышали, но кинодокументалистка, а за ней журналист и его жена начинают собираться:

— Ну что ж, пора. Мы, пожалуй, пойдем.

— Не обращайте на него внимания, — любезно говорит им Маленькая Даша, — он, когда выпьет, всегда становится агрессивным... Как ребенок, — добавляет она. — Вы удивитесь, но я даже почти не обижаюсь на него. Правда, иногда хочется его стукнуть чем-нибудь тяжелым, но я сдерживаюсь... Я же за старшую, — и она смеется.

Маленькие Володины глазки превращаются совсем в щелочки, но он ничего не говорит в ответ.

— А вы в Панджиме только в католическом соборе были? В индуистских храмах не были? — громко спрашивает кинодокументалистка, ни к кому конкретно не обращаясь. — Говорят, что, если отъехать от побережья километров хотя бы на 30, начинается настоящая Индия с индийскими темплами[1], рабочими слонами, рисовыми полями в воде, настоящими джунглями и так далее...

— Мы с Тамарой только собираемся туда, — говорит журналист, — но наши знакомые ездили уже в глубь штата и прислали нам по е-мейлу совершенно обалденные фотографии. Как в сказках Киплинга: монастыри среди джунглей, белые каменные ступы, священные пруды, золоченые статуи Богов...

— Вообще-то, — говорит кинодокументалистка, — я в Москве вела переговоры с руководством одной из дочерних компаний РТР, чтобы снять небольшой фильм об индийской глубинке. На манер советских киножурналов, чтобы немного с разоблачением «их нравов», и вместе с тем познавательно, и с современной экзотикой. Фильм минут на 20—30. Сейчас пишу сценарий, выбираю натуру... Может быть, вы мне дадите мейл ваших друзей?

— Эр-тэ-эр, — ворчит Володя, — бэ-тэ-эр...

Но на него никто не обращает внимания.

Через минут пятнадцать, кинодокументалистка Тамара и ее муж тепло прощаются с хозяевами и уходят. За ними уходит и строительная пара. Их голоса какое-то время доносятся с улицы, где-то начинает лаять собака. Оставшаяся компания — Мальвина с мужем, Даша с Володей и торчок Леша некоторое время молчат. Лишь Мальвина задумчиво постукивает по барабану, но потом и она зевает и говорит:

— Пора спать, что ли? Завтра не хочется поздно вставать. После 12 слишком жарко. Лучше не спать на жаре. Только креветки надо убрать, а то кошки растащат или обезьяны.

Она берет блюдо с креветками и уносит в дом с таким же выражением лица, с каким какая-нибудь московская хозяйка уносит использованную посуду из большой комнаты в кухню после посещения гостей. Маленькая Даша помогает ей убирать, потом они с Володей идут через двор к себе, по пути тихонько переругиваясь.

— Зачем ты все время подчеркиваешь, что я молодой? Пизда.

— Я подчеркиваю? Это ты сам всем говоришь, что мне скоро сорок. Я ведь все слышу. И не смей матом на меня ругаться...

10.

На следующее утро кинодокументалистка, журналист Миша и Мальвина с мужем встречаются в тибетском кафе. Время завтрака. В кафе пока малолюдно, лишь еще одна не то английская, не то канадская молодая пара доедает свой йогурт, сосредоточенно изучая карту штата.

Пока наши герои сидят под большим портретом далай-ламы XIV и ждут, когда

[1] *храмами.*

маленький тибетский официант принесет омлет и вечный свежевыжатый сок, Мальвина рассказывает друзьям о событиях минувшей ночи.

Кинодокументалистка и Мальвина заказали клубнику, журналист — папайю, а алкоголик Саша вообще отказался от фреша, тихо попросил:

— Мне бы пива...

Но был сурово одернут:

— С утра только сок! Забыл, что ты мне обещал?

— Что было-то, что было... — рассказывает Мальвина, делая большие глаза. — Когда вы ушли, мы все почти сразу легли спать. Довольно быстро заснули. На меня здешнее пиво вообще почему-то действует как снотворное. Да еще «Ханей би»... Дашка со своим Вовой тоже вроде бы пошли спать. И вдруг Саня будит меня среди ночи и говорит, что слышал во дворе сильный шум, будто бы кто-то кричал и сверху упало что-то тяжелое. Мы слегка струхнули, вспомнили все ужасы про энималз[1], что читали в Москве в Интернете, встали с кровати, подошли к окну, выглядываем. Время часа 4, ни фига не видно, солнце еще не встало, но свет во дворе уже не горит, — индусы экономят, жмоты, — только слышно, будто кто-то не то скулит, не то поскрипывает и что-то большое в яме возится, которую наш хаус-кипер Фредди выкопал во дворе.

Сашуня говорит: по-моему, я узнаю Дашкин голос, надо пойти посмотреть. Я ему говорю: какой Дашкин, это зверь какой-то, может, корова в яму упала, а может, даже обезьяна. Нам Леша-терч говорил, они по ночам приходят в деревню из лесу, в помойках копаться.

— Леша ваш — наркоман, и его слушать вообще не надо, — раздраженно замечает кинодокументалистка.

— Да, — соглашается Мальвина, — не стоит, но хозяин информацию про обезьян подтвердил. Я говорю: Сашка, тебе выходить нельзя. Вдруг там зверь? Причем большой... Вдруг там тигр... А он: я тебе говорю, это Дашка, может, у них что-то случилось, надо помочь, давай посмотрим. Я прилипла к окну, то есть к решетке, и через нее тихонечко спрашиваю:

— Дашка, это ты?..

Молчание.

Сашуля говорит:

— Я же слышал ее голос, пойду выйду, нехорошо.

В общем, взяла я Сашкину палку, любимый — кухонный нож и, пригнувшись, мы вылезаем из домика. А повторяю — не видно ни фига и, главное, только мы вылезли, за нашим домом какая-то птица ночная закричала, да так неожиданно и громко, п...дец, я думала — свалюсь сейчас от страха. Сашка мне потом говорит: это не птица, а зверек такой маленький, типа мыши, нас же хозяева предупреждали, чтобы мы не пугались, ты что забыла? Он так громко кричит, потому что маленький и сам всех боится... Но пока мы это вспомнили, обнаружили себя опять за закрытой дверью нашего домика.

Тут стало нам немножко стыдно. Вылезли мы, включили фонарь, шарим им по двору, и вдруг слышим Дашкин голос:

— Ребята, это вы? Мы здесь, идите сюда...

Тихо так, еле слышно. Направили мы на голос фонарь и видим картину художника Васнецова «Сестрица Аленушка оплакивает своего братца Иванушку». Если бы классик увидел то, что увидели мы, — он стопроцентно бы вдохновился снова.

Под банановой пальмой, у ямы, выкопанной Фредди для фонтана, сидит Аленушка, то есть тьфу!.. Дашка в белой ночной рубашке, похожая на привидение, и тихо рыдает, а в яме что-то ворочается, издали не видно что. Саня не понял сначала, что случилось, решил — она обкурилась и у нее глюки, и мне шепчет: осторожно, если она обкурилась и сейчас сидит, «мультики» смотрит, она нас может испугаться.

Я тихонько говорю:

— Дашка, не бойся, это мы.

Она плакать перестала и отвечает:

---

[1] *животных.*

— Я вижу, что это вы, идите сюда, я не курила. Вова в яму упал.

В этот момент официант-тибетец приносит завтрак. Он, улыбаясь всем, ставит тарелки на стол, но, увидев, встревоженные глаза русских гостей, полувопросительно, полутревожно спрашивает:

—What's happened? Are you ok?[1]

— Ха-ха-ха, — смеются русские гости, — не волнуйтесь, донт ворри, все о'кей. Просто наши русские знакомые ласт найт были немного пьяные, дринкинг и, как это по-английски, сумасшедшие?

— Э литтл крейзи, — подсказывает журналист.

— Вот как, — улыбается официант. — Я понимаю, вчера вы имели маленький праздник, russian holiday.

— Да, — говорит муж Мальвины, — праздник, именно русский праздник. Э литтл крейзи ивнинг.[2]

— Боже, — говорит кинодокументалистка, когда официант удаляется, — что местные жители подумают о русских.

— При чем тут русские?.. — удивляется муж Мальвины. — Се человек!.. Мы пару дней назад у кафе «Лунный свет» видели англичанина без штанов, вот вам и «русские». Реально визаут трузерс...[3] То есть штаны были да упали, как театральный занавес, но парень не заметил этого небольшого происшествия и дальше пошел. А дело, между прочим, было средь бела дня, часа в четыре, мы в Интернет-кафе ходили... Народ от него ох...евал совершенно. Какая-то французская пара чуть с байка не упала. Индусы смеялись, а их женщины прикрывали ладошками лица. Вы только представьте, по дороге идет мужик под полтинник, а то и больше, и его шорты на одной ноге волочатся за ним по асфальту, все причиндалы практически наружу, а ему хоть бы хны. Трава, гм... да, не расти. Так что если индусы что-то думают, то вообще о бледнолицых. И думают правду. А русские люди — правды не боятся!.. Не то, что европейцы, — неуверенно добавляет Саша.

— Кажется, я знаю, о ком вы говорите, — смущенно говорит кинодокументалистка. — Мы видели одного английского мужчину около того же кафе «Лунный свет» пару дней назад, одежда его была в полном беспорядке... Похоже, мы говорим с вами об одном и том же человеке. Колоритный тип. Но, продолжайте о наших знакомых... Видите вы, значит, рыдающую Дашу у пруда и...

И Мальвина продолжает:

— Так вот. Подходим мы с Санечкой ближе и смотрим туда, куда нам молча показывает Дашка. И видим — в яме кто-то шевелится. Сашка фонариком посветил — батюшки мои, да это же Вова!.. Весь ободранный, грязный... Наш хозяин в эту яму, может, в виде удобрений для будущей клумбы, а может, как мусор, пару дней назад свалил колючий кактус-опунцию, который рос с той стороны изгороди. Видели, наверное, он везде тут растет, как у нас лопухи, — с такими желтыми цветами и плоскими толстыми листьями с колючками. Их еще игуаны едят... Срубил, наверное, чтобы он вида не портил или чтоб игуан не приваживал — они цыплят воруют. И Дашкин Вова в этой яме возится, карабкается, а вылезти не может, высоко же, хрипит:

— Ребята, дайте мне руку...

Саня было протянул ему палку, с которой мы вышли, а то яма-то глубокая, руки не хватит, так Дашка вдруг и говорит:

— Знаете, не давайте ему руку, он вылезет, меня убьет. Пусть сидит там до утра.

Вот так.

Я говорю:

— Ты что, мать, перепила или перекурила? Это же не славный город Москва, чтобы на земле ночь проводить! А вдруг снэйк[4] приползет или еще кто? И вообще, как он сюда попал?!..

---

[1] *— Что случилось? Вы в порядке?*

[2] *Немного сумасшедший вечер.*

[3] *без штанов.*

[4] *змея.*

И Даша, плача и раскаиваясь, рассказала нам печальную повесть финала этой 1001 ночи.

В общем, выяснилось, что, когда все отправились спать, они с Вовой тоже пошли в свой номер, но там спать не легли, а стали тихо ругаться. Пьяные же... И все на прежнюю тему — Дашка его попрекала этой Катей из Анджуны и называла инфантилом, а он ей сказал тогда, что она *старая* и поэтому, мол, он за девочками бегает. Слово за слово — и Дашка его выгнала. То есть, по ее словам, он сам ушел. Она сказала «пошел вон!..», он и пошел.

Когда Володя ушел, Дашка посидела, по ее словам, дома минут 10, и постепенно стали ее мучить ревность и обида. Она вышла якобы подышать свежим воздухом и, о радость, — обнаружила своего Володю спящим на ступеньках их домика! То есть далеко он не ушел. В руке Вовы был телефон, впрочем, по словам Дашки, отключенный. Она его включила (что напрасно — меньше знаешь, крепче спишь) и обнаружила два неизвестных неотвеченных входящих звонка. Датированных этой ночью. Тогда она разбудила Володю, спросила: ху из ит?![1], и они продолжили ругаться уже во дворе. Володя во второй раз был послан куда подальше, причем, по его словам, Дашка его даже пнула в сердцах, и произошло это как раз тогда, когда они поравнялись с ямой. Надо же было так случиться, что конфликт перешел в горячую фазу именно там!.. А по словам Дашки, после того, как она его пнула, он ее схватил за руку и больно дернул, и тогда она его, причем только в виде самозащиты, *толкнула*. И так неудачно, понимаете, что он потерял равновесие и свалился. И прямо в эту проклятую яму с кактусами.

Тут она испугалась и на некоторое время заперлась у себя в номере, но, видя, что Володя не появляется, осмелела, вышла, села, расстроенная, у ямы и стала плакать. Ну, а на плач появились мы и дальнейшее вам известно.

— Но, — добавляет Мальвина, понизив голос, — я посмотрела потом с утра, так просто в эту яму свалиться нельзя, она находится в стороне от основных судоходных путей во дворе, к ней надо — подойти! И Володя потом тоже сказал Сашке, что Дашка его к яме *тащила*, хотя лично я в это не верю, вы же видели, в каких они весовых категориях. По словам Володи, все вышло из-за того, что он сказал, что раз она его упорно прогоняет, хорошо! Он пойдет к стоянке такси, чтобы уехать к этой юной Кате в Анджуну, ибо она — небесное, чистое создание и его любит и ждет даже в полчетвертого утра. А Дашка — старая ведьма и всю жизнь ему испортила. И он даже уже якобы стал набирать Катин мобильный и уже произнес «алло!», но когда Дашка услышала, что он с ней разговаривает, то буквально сорвалась с цепи, помчалась за ним, вцепилась, как фурия, и буквально силой затолкала в яму с кактусами!..

Все это Володя рассказывал Сашке, когда мы его вытащили, чуть не плача и одновременно в жопу пьяный... Так что, что там на самом деле было, кто кого и как обзывал, пинал и заталкивал — никто не знает. Я в Володины разговоры об учиненном над ним насилии не очень верю, так как Дашка, к своему наилегчайшему весу, на минутку еще и кандидат медицинских наук. Кандидат наук, я считаю, не станет просто так размахивать руками и заталкивать молодого возлюбленного в яму с кактусами.

— Наша Даша — *кандидат наук?!* — переспрашивает кинодокументалистка удивленно, не обращая внимания на замечание Мальвины о молодом возлюбленном и яме с кактусами.

— Да, *наша Даша*, — довольная произведенным эффектом отвечает Мальвина. — Я уже говорила, а вы не услышали. Я не помню, говорила ли я вам, но кому-то точно говорила — она, между прочим, врач в неплохой московской клинике и у нее в Москве даже есть гражданский муж. Я с ним пару раз разговаривала по мобильному телефону — интеллигентный такой голос.

За столом повисает небольшая пауза.

— Она вчера что-то говорила, — после паузы тихо говорит кинодокументалистка, но я подумала, что это так, для красного словца.

— Вот так, — неожиданно раздраженно говорит журналист. — Все наше интел-

[1] *Кто это?!*

лигентское высокомерие — «для красного словца»... Мы почитаем всех нулями, — как сказал поэт.

— В общем, вытащили мы Володю из ямы, — заканчивает свой рассказ Мальвина, — и насилу успокоили Дашку. Увидев, что Вова весь в ссадинах, она его пожалела, простила, они помирились, поплакали вместе, попили у нас на веранде минт ти с «Ханей би» и ушли спать.

И мы с Саней тоже пошли спать, точнее, досыпать, так как уже светало, вовсю запели птицы, и заорал павлин. Видели ли всю эту баталию хозяева или соседи, я не знаю, во всяком случае, ночью никто не показывался, хотя шум был изрядный. А с утра они ничего не говорят, Восток.

— Да что им говорить, я думаю, они и не такое видели, — задумчиво замечает Саша.

— И где же ребята сейчас? — не то восхищенно, не то растерянно спрашивает кинодокументалистка после небольшой паузы.

— Кто, Вова с Дашкой? Откуда я знаю, — говорит Мальвина, — ушли куда-то. С похмелья ведь рано встаешь. Куда они могли уйти, на пляж, наверное, морем раны залечивать. Здесь далеко не уйдешь... Кстати, Миша, а где твоя жена, вы же всегда вместе?

— Она тоже сегодня рано пошла на пляж, — говорит журналист. — Решила вести здоровый образ жизни после вчерашнего.

Наши герои в задумчивом молчании заканчивают завтрак. Кафе постепенно заполняется народом — поляки, итальянцы, украинцы, компания толстых финок... Официант-тибетец снует туда сюда, под портретом четырнадцатого далай-ламы становится все шумнее... Солнце поднимается выше и жара усиливается. Листья больших кокосовых пальм, чуть шевелясь и характерно потрескивая своими длинными пальчиками под ветером, будто повторяют сверху: «Жарко. Очень жарко. Но — хорошо...»

— Хот дэй, — жалуются гости официанту, рассаживаясь по столикам.

— Very hot, — соглашается тибетец. — Very hot march in this year... Pineapple juice for ladies, strawberry juice for men, and omlette, as always?..[1]

Эпилог

Вечер. Роскошное солнце садится, рассыпая по небу, морю и земле длинные розовые, оранжевые и фиолетовые тени. Автор ужинает в пляжном кафе с видом на океан. Он частью с облегчением, а частью с грустью отпустил своих героев и проводит вечер в одиночестве. Деревянная статуя Будды с ожерельем из больших белых и оранжевых цветов стоит у входа в кафе. Глаза Будды полуприкрыты. Лицо Его, кажется, говорит: ерунда все, все ерунда. Человеческие игры... Мелкие и длинные океанские волны, видевшие, возможно, сомалийский и даже мозамбикский берег, тихо накатываются на желтый песок.

Официант записывает заказ:

— Banana-pancake with honey? Да, сэр. Слушаюсь.

— Откуда вы? — интересуется автор. Официант слишком маленького роста для индуса. — Tibet?

— Bhutan, sir.

— О, Гималаи!.. Там жарко сейчас? Из зеа вери хот нау, о нот?

— No, sir, not hot, там сейчас не жарко. Это же горы. Очень высокие горы. Во многих местах всегда лежит снег. Как в России... — бутанец улыбается.

— Надо будет поехать туда.

— Вы хотите поехать? Русские обычно ездят в Решикеш и Кулу[2], но если вы

---

[1] *— Очень жарко. Очень жаркий март в этом году... Ананасовый сок для дам, клубничный сок для мужчин и омлет, как всегда?*

[2] *небольшие города в предгорьях индийских Гималаев. В Кулу много лет жил Николай Рерих.*

хотите к нам, я могу позвонить брату, он вас встретит. Только сделайте сначала visa[1], иностранцев к нам не очень пускают.

Автор смущен быстротой и конкретностью официанта:

— Да? Знаете, я подумаю. Твердого желания пока нет. Если что, я вам скажу... Кулу — это все-таки тоже интересно.

Через несколько минут официант приносит панкейк и большую бутылку из-под виски «Белая лошадь». В бутылке густая темная жидкость.

— Вот из ит? — спрашивает автор удивленно. — Ай дон т аск виски...

— It is honey, sir.

— Ханей би?

— Yes sir.

— Соу мач... Веа дид ит мэйд?

— In India, sir. Maharashtra-state, in jungles, sir. It is forest honey, sir.

— Джанглз? — романтично вздыхает автор. — Форест? Трииз, биг флауэрз, энималз...[2] Скажите, а как будет на хинди пасечник, би-кипер... би-мастер?

— Bee-keeper?[3] На хинди это будет shahad vasash, sir. Shahad на хинди — это мед, vasash — мастер.

После небольшой паузы автор интересуется:

— Скажите, а у вас есть пасечники — издатели? Бикиперс-паблишерс?

— Простите?

— Ну, пасечники, издающие книги. Хотя бы маленькие. Мэйк, паблишинг букс. Э-э... э литтл.[4]

— Books, пасечники?.. — официант растерянно улыбается. — Простите, сэр, я не понимаю, сейчас я позову моего коллегу, он лучше меня знает русский. Он несколько лет проработал в русском посольстве в Дели, поваром. Он даже немного читает по-русски, и у него есть русские книги. Pushkin, Gogol... Он рассказывал мне о них. Говорил, что Pushkin был родом из Африки. Это правда?

Но вы, наверное, шутите?..

---

[1] *визу.*

[2] *Что это? Я не просил виски. — Это мед, сэр. — Мед? — Да, сэр. — Так много... Где это сделано? — В Индии, сэр. Штат Махараштра. В джунглях, сэр. Это лесной мед. — Джунгли?.. Деревья, большие цветы, животные...*

[3] *Пасечник?*

[4] *Делающие, издающие книги. Немного, слегка.*

Наталья Полякова

Сортировочная Москва

* * *

этот город в развязках дорог
словно узел на память
но какой в этой памяти прок
если может поранить

желто-красный ложится внахлест
на прудах патриарших
мир как был беспощаден и прост
это мы стали старше

помолчим даже воры не врут
если взяты с поличным
поменяем привычный маршрут
на еще непривычный

дни сквозь ветви текут наугад
нитка ливня прядется
клеил Мебиус жизнь невпопад
ничего не вернется

* * *

Распоротой от горла до брюшины,
провяленной висит на проводах —
Москва — к зиме уже меняет шины
заклеивает окна в детсадах.

Кладет асфальт — зализывает раны,
флудит, гудит, толпится у витрин...
А если на день отменились планы,
идет за пивом в ближний магазин.

Ты шел ко мне сквозь задымленный город,
предчувствуя движение стиха.
Расстегнутый. А мне казалось — вспорот
и твой живот, и видно потроха.

Пешком иди без отдыха, без смысла.
Дорог вечерних — заворот кишок.
Глотаешь воровато воздух кислый,
и улица уходит из-под ног.

Полякова Наталья Владимировна — поэт. Родилась в 1983 г. в г. Капустин Яр-1 Астраханской области. Окончила в 2007 г. Литинститут им. А.М.Горького. Лауреат премии имени Риммы Казаковой (2009). Живет в Москве.

* * *

Ты спешишь на поезд, а тот никуда не спешит,
он едет размеренно, приходит по расписанию.
Это ты, затравленный жизнью, как Вечный жид,
с городами знакомишься в два касания.

На вокзале суетно. Грузчики. Белый пар.
Проводник вытирает поручень рукавицей.
Челноки уже тащат в баулах проклятый товар.
Всюду мелькают, гудят незнакомые лица.

Вот перрон, а вот башня, на ней часы.
Переводишь время — стрелочник поневоле.
Встречающим зябко — прячут в шарфах носы.
И сверкает снег, как стекло на сколе.

Покупаешь в киоске карту, берешь такси.
А не хочешь — скользишь сквозь январскую стужу.
Но сколько ни путешествуй, сколько ни колеси...
Не пригодишься там. Но и здесь ты уже не нужен.

Жизнь тебя любит — если мучит и бьет под дых.
Быть добычей карманников и гостиничных проституток —
меньшее, в сущности, зло из возможных иных
в поисках времени, выпавшего из суток.

* * *

поздней осени кислая ржа
и кефирное рыхлое небо
время сыплется не спеша
отсыревшими крошками хлеба

их смахнут с лобового стекла
равнодушно две ловкие щетки
как земля безысходно мала
как дороги земные коротки

то ли красного солнца ожог
то ли свет запрещает движенье
на рассвете шагнув за порог
будет будет тебе продолженье

и пока открывается даль
и дорога сквозь морок и морось
выжимая тугую педаль
нахожу свою скорость

* * *

перевалочный пункт перевязочный стол
сортировочная Москва
ночь катает по нёбу сырой валидол
первый зазимок под Покрова

это время бинтует от бунта устав
и ложится на землю впритык
тянут спайки и тянет дитя за рукав
полуночник в анамнезе СДВиГ

провожающий выйди встречающий жди
и полжизни длиной в перегон
перестук перекат перечто впереди
остановка холодный вагон

если память отжать остаются жмыхи
эту кашу колеса жуют
отнимаешь любовь прорастают стихи
там и тут — там и тут — там и тут

* * *

горизонт натянутый до предела
синева изменчива и пустотела
обступает со всех сторон
как стая ворон

темнота доски и тоска по мелу
это небо сузилось одеревенело
лес растет беспорядочно так и сяк
как стая собак

если Бог себе собирает стаю
почему не лаю тогда не летаю?
в мартовских оттепелях зима
иду по себе сама

Иван Наумов

Сан Конг

Повесть

> И нечего лить слезы! Насмотрелись на французов да португальцев! Проще всего выпустить боль и обиду в мир, чтобы они расползлись повсюду. А попробуй запереть их в себе! То-то!
>
> *Так говорит Дедушка*

— Просыпайся, Листочек! — столько любви и заботы таилось в этом голосе, что Саоан начинал улыбаться, еще не открыв глаз. Мягко выныривая из сна, он понемногу собирал вокруг себя мир. Вот зашумел прибой, заскрипела старая пальма, треснувшая во время последнего урагана, далеко на заливе прорезался гул мотора. С новым утром, Саоан!

— А почему «Листочек»? — спросил он когда-то давно.

— У человека две стороны, — ответила Мама. — Наружу — блестящая и твердая, внутрь — мягкая и нежная...

Мотор — это хорошо. Мотор — это Эухенио с новым товаром для своей лавки — и новыми книгами. Саоан посмотрел в потолок. Пучки сохнущих трав покачивались от прикосновений бриза. Пологий солнечный луч щекотно лизнул в нос.

— Хватит валяться, лежебока! — не выдержал Дедушка, всегда сварливый и строгий по утрам. — Если кьонг не встречает солнце, оно начинает лениться, и приходят дожди. А тебя уже ждут.

Действительно, перед дверью в пыли сидела пепельщица с грудным ребенком на руках, а чуть поодаль топтался старик из клана ловцов жемчуга. При виде Саоана оба прикрыли ладонью глаза, выказывая смирение и уважение.

— Что тебе, почтенный? — Саоан обратился сначала к старику, видя, что тот здоров, пришел с пустыми руками, а значит, поведет к себе.

— Меня прислали сыновья, молодой кьонг! Просят заговорить плот, чтобы до того, как Анъяр проснется, успеть дважды выйти в проливы по спокойной воде.

— Один раз, — строго ответил Саоан, посмотрев на вулкан, возвышающийся над макушками пальм. Мирный белесый дымок, почти невидимый глазу, не мог обмануть ни колдуна, ни любого взрослого анъяра — осталось ждать недолго. — Один раз. Я приду к вам завтра до рассвета. Не мочите плот в воде, не кладите на него сетей и весел, не распускайте парус. Сделаю вам хорошее море. Иди.

Когда старик ушел, Саоан взял у женщины тяжелый мешок вулканической сажи — подношение всего ее клана, — и жестом показал, что можно войти. Увидев в полутьме хижины Дедушку, Бабушку и Маму, пепельщица упала перед ними на коле-

---

Наумов Иван Сергеевич — прозаик. Родился в 1971 г. в Москве. Инженер-оптик. Работает в области перевозок опасных грузов. Окончил Высшие литературные курсы (2006 год, семинар Е.Сидорова). Неоднократный победитель литературных конкурсов. Повесть «Мальчик с саблей» (опубликована в «ДН», № 3, 2010) получила главный приз на 14-м литературном конкурсе «Мини-проза» и стала финалистом Премии Белкина (2011 г.)

ни, прошептав благодарственную молитву — не всякому посчастливится увидеть воочию всю семью великого кьонга.

С ребенком было плохо. Темные пятна на груди и ключицах, закатившиеся глаза, белый налет в уголках рта, прерывистое дыхание — Саоан знал демона, приходящего в этом обличье. И не думал, что он вернется так скоро.

— Отдай сына кьонгу, — сказал Дедушка пепельщице. — Уходи в деревню и молчи, пока солнце не опустится к нашей хижине. Не притрагивайся к еде, не подходи к воде. Потом вернешься и заберешь своего ребенка.

Та покорно закивала, протянула малыша Саоану и выбежала прочь.

— Третий раз за эту луну, — печально сказала Мама. — Ты совсем растеряешь силы.

Бабушка сочувственно молчала. Она всегда молчала.

Саоан положил младенца на темную циновку, сплетенную любимой сестрой Махат, вышел во двор, привязал к длинному бамбуковому копью черную тряпицу и воткнул его перед воротами так, чтобы было видно из деревни. Теперь никто не осмелится потревожить кьонга за работой.

Он вернулся в дом, зачерпнул горсть сажи из большой корзины в углу и подошел к ребенку. В этот момент с другой стороны лагуны приплыл нежный и продолжительный звон церковного колокола. Кьонг нахмурился. Он не любил пропускать воскресный молебен, дон Паулу опять обидится... Ребенок заворочался и захрипел.

Саоан... Если над воротами кьонга трепещет на ветру черная лента, не стоит заглядывать даже во двор.

Солнце клонилось к закату, когда осчастливленная пепельщица смогла припасть к ногам колдуна, прижаться щекой к его руке и торопливо засеменить в деревню, унося спящего малыша.

Саоану хотелось опуститься на землю прямо там, где стоял. Но он смыл с рук пепел и кровь, оделся в чистое, достал из плетеного ларя томик Сервантеса и предупредил Маму, что вернется поздно.

Хижина колдуна стояла над деревней, на высокой гряде, уходящей дальше длинной косой в открытое море. Незаметная, но все-таки уже настоящая тропинка шла от дома кьонга по непроходимой чащобе, петляла по склонам Анъяра, и приводила на другую гряду, так же воткнутую в море с противоположной стороны лагуны.

Дон Паулу заканчивал пропалывать неумело окученную грядку на задворках храма, когда из леса легким шагом вышел Саоан, примирительно поднимая руки. Священник против воли улыбнулся, и уже через несколько минут они сидели в удобных плетеных креслах, пили душистый травяной отвар и беседовали о земном и божественном.

— Сеньор Кихот мог быть анъяром, — убежденно говорил Саоан. — Он не боится испытания и не ждет награды. Но я не хотел бы оказаться на его месте. Это очень грустная история.

Колдун подставлял лицо закатным лучам, а дон Паулу украдкой разглядывал своего собеседника. Не толстый, но скорее рыхлый, с покатыми плечами и почти женской грудью, гипертрофированным подбородком, одутловатыми надбровными дугами, анъяр все же не производил отталкивающего впечатления. Глубоко посаженные черные глаза смотрели пытливо и хитро, вопросы, тревожащие Саоана в проблемах веры, сделали бы честь иезуитским богословам, а авторитет молодого колдуна был на острове столь непоколебим, что без его поддержки паства дона Паулу не насчитала бы и одного человека.

Колдун говорил на неплохом испанском и вполне сносном португальском, уже несколько раз перечитал все книги из скромной библиотеки священника и с нетерпением ждал новых, которые время от времени привозил торговец Эухенио, сбежавший из Испании после падения республики. Когда японцы и американцы, наконец, покинули местные воды, баркас испанца стал появляться на Анъяре все чаще. И даже Эухенио, исповедовавшись и причастившись, перед отплытием к Таити или Тонге спешил к колдуну за спокойным морем.

Сейчас дон Паулу входил в возраст Христа, а Саоану едва исполнилось двадцать. За шесть лет, проведенных на Анъяре, священник настолько привык к постоян-

ному присутствию колдуна в своем доме, что совсем запутался в себе. Ты ведь, по существу, мой главный враг на этом острове, размышлял дон Паулу. Почему же я так остро чувствую в тебе единственного друга? Почему я боюсь войти в твою хижину, а ты в моей весел и расслаблен? Что творится в твоей душе, молодой колдун, целующий распятие в воскресенье и режущий кур по субботам?

В этот раз дон Паулу обрадовал Саоана письмом, привезенным Эухенио с крупного соседнего острова, из обители францисканцев. Колдун уже давно просил узнать, как можно связаться с бывшим начальником французского гарнизона на Анъяре капитаном Апату. Гарнизон был расформирован в сорок седьмом, просуществовав всего год, задолго до появления на острове дона Паулу. Священник задействовал свои связи по линии церкви, и вот через несколько месяцев полковник Апату обнаружился в Бразилии, в должности начальника пехотной школы в окрестностях Сан-Паулу.

— Спасибо, падре, — сказал Саоан, аккуратно складывая и пряча листочек с почтовым адресом. — Город зовут как вас.

— Я не святой, — возразил дон Паулу.

А колдун непонятно добавил:

— Анъяры будут вам благодарны до последнего дня.

Дон Паулу пропустил это высказывание мимо ушей. В последнее время его интересовал не имеющий ничего общего с диалектами Французской Полинезии анъярский язык. На острове его понимали все, но употребляли редко, только в праздничных церемониях, в быту разговаривая на том же диалекте, что и все аборигены архипелага. Священник пришел к выводу, что анъярский играет роль латыни, и теперь добивался от колдуна подробностей, на что тот шел не всегда охотно.

— Саоан, а что такое «Анъяр»?

— Падре, вы спрашиваете о человеке, острове или вулкане? Или о чем-то еще?

Дон Паулу насупился. Не было вопроса, ответ на который не вносил бы еще большей неясности.

— Я — о слове. О слове «Анъяр».

Саоан посмотрел на священника с искренним удивлением.

— Падре, но просто слов — нет!

— А если я выйду вон на ту скалу над деревней и крикну, что есть мочи: «Анъяр!!!» — что ты подумаешь?

Саоан улыбнулся.

— Зачем предполагать — нужно спросить. Нам же снизу не видно, с кем вы разговариваете.

Дон Паулу разочарованно вздохнул.

— Тогда что такое Анъяр — человек, остров и вулкан?

Саоан сосредоточился. Нахмурился, зашевелил губами, что-то проговаривая и повторяя.

— «А» — это живой человек, — неуверенно начал он. — «Аы» — это остров, «аа» — душа. «Нъяр» — дым, который тает в вечернем небе...

— Именно тает, и в вечернем? — перебил дон Паулу, думая, что колдуна начало немного заносить.

— Да, вот такой! — Саоан посмотрел куда-то за спину священнику.

Дон Паулу обернулся и замер, боясь неосторожным движением развеять пойманную картину. Из темного косого жерла Анъяра, уже неразличимого в подступающей темноте, поднимался сказочным джинном тускло-сизый пар. Много выше солнце зацепляло расползающийся столб последними лучами, окрашивая тяжелые клубы в розовые и малиновые тона, а еще выше, там, где небо из лазурного вдруг оборачивалось темно-синим, дымная пелена истончалась и растворялась среди зарождающихся звезд невесомой фатой. Вулкан просыпался.

— Для дыма есть еще много слов, — как ни в чем не бывало, продолжил Саоан. — «Нъяр» — такой, как сейчас. Дальше? «Нъяр» — это тело человека, уже покинутое душой...

Дон Паулу разжег масляный фонарь над крыльцом и в неровном золотом свете

стал, как всегда, записывать крошечными корявыми буковками в потрепанный блокнот слова молодого колдуна.

Когда ударило, люди спали. Весь Анъяр, как животное, испуганное неумелой лаской, шарахнулся в сторону. С музыкальным треском лопнули бамбуковые стрехи. Погас огонь в лампаде. Священник, схватив сутану в охапку, выбежал под открытое небо. Половины неба не было — черный пепел, нависший над склонами вулкана, озарялся огненными выплесками — будто в нефть примешивали кровь.

Жерло Анъяра всегда было перекошено в сторону бухты. Сейчас за хлипкими базальтовыми стенками закипало каменное варево. Тяжелое, знойное, оранжевое, птенцом из гнезда, червем из яблока, ростком из земли рвалось наружу.

Дон Паулу побежал к храму. С каждым вздохом Анъяра раскаленные булыжники шрапнелью пробивали податливую шкуру джунглей, оставляя за собой курящиеся дымки входных отверстий.

Собственно, храм не был храмом в полном смысле слова. Настоящие деревянные стены окружали лишь алтарь, а дальше только бамбуковые опоры поддерживали соломенную двускатную крышу. Уже трижды дон Паулу запрашивал епархию о возможности возведения каменной базилики — благо материала по склонам вулкана хватало, а таким приходом не мог похвастаться ни один остров архипелага. Но кардинал все медлил с решением.

Священник преклонил колени перед резной фигуркой Девы Марии. И все внешнее отступило — стихла дрожь Анъяра, умолк грозовой грохот, сник ветер. Дон Паулу просил о снисхождении к беззащитным, о спасении их душ, раскрывающихся навстречу истине, как почки под весенним лучом, о мире и спокойствии для острова.

Но даже в те мгновения, когда он ощущал себя натянутой струной между землей и небом, дон Паулу не мог выкинуть из головы, что за лагуной, на другом отроге скалы, в черной хижине, крытой черными листьями, молодой колдун Саоан просит небо о том же самом.

Извержения так и не произошло. Кое-где в горах сошли обвалы, остров трясло еще несколько раз, а потом дым Анъяра из серо-черного стал превращаться в белый, и вдруг повсюду заговорили успокоившиеся птицы, и стало так покойно на душе, что хотелось петь.

Молодая несимпатичная женщина, вымокшая под грозовым ливнем, поскреблась в дом священника однажды после обеда. Дон Паулу почему-то сразу вспомнил ее имя — Махат из клана Льена. Колдуну Саоану она приходилась троюродной сестрой.

— Падре... Саоан... — повторяла и повторяла она, истерично кланяясь и суя ему в руки большой потемневший кокос. Сразу три многоруких молнии проткнули дымное покрывало над вулканом, и женщина сначала пробормотала что-то на анъяре, а потом медленно и торжественно перекрестилась. Поклонилась в последний раз и исчезла в джунглях.

«Штучки в стиле Кьонга», — подумал священник, когда расколол огромный орех. Внутри тяжелого кокоса, зревшего не менее полугода, вместо прозрачного сока оказался плотный предмет, завернутый в банановый лист. Сложенный пополам блокнотик.

«...если бы не расхождение в ключевом вопросе. Речь не о трактовке сущности жизни и смерти, все примитивнее и сложнее одновременно...»

Дон Паулу быстро пролистал три десятка страниц. Вне всякого сомнения, четкие ровные строки принадлежали руке дона Гомеша, погибшего на Анъяре в сорок седьмом.

А на последней странице круглились большие неуклюжие буквы, составляющие короткое послание ему, дону Паулу.

«Учитель!

Огонь в горе уснул ненадолго, и я спешу выполнить кэнхэ, как это делал сеньор Кихот, если верить сеньору Сервантесу.

Только Вам могу доверить Анъяр. Какая неудобная вещь — письмо, ведь вы не можете спросить, о каком Анъяре я думаю. Надеюсь, что поймете и так.

Помолитесь за мой кэнхэ Пресвятой Деве. Я иду сотворить грех, но грех праведный. Я надеюсь вернуться, чтобы и далее постигать чудеса, угодные нашему милостивому Богу.

Увидимся здесь или когда-нибудь!

Ваш верный ученик Саоан».

От часовни дон Паулу быстро спустился к бухте, то и дело поскальзываясь на мокрой траве.

Пока он читал записку Саоана, гроза двинулась на запад, и далеко в океане сквозь облачные прорехи в воду воткнулись невесомые столбы солнечного света. Ловцы жемчуга впервые после извержения спустили на воду узкий и длинный плот и в шесть весел уверенно отгребали от берега. Увидев священника, они торопливо закивали, сначала закрывая ладонью глаза, а потом по нескольку раз крестясь. Дон Паулу прошел берегом к деревне.

Дети первыми увидели его приближение, порхнули по хижинам, и когда он подошел к частоколу, Махат уже ждала у ворот. Ее рябое лицо казалось маской в грозовом свете, только черные бусины глаз блестели настороженно и недоверчиво, отражая далекие зарницы.

— Мы ваши дети, падре, — сказала женщина и склонила голову, не дожидаясь, когда священник подойдет вплотную. — Вы спустились к нам, и Дева Мария радуется выбору Саоана.

— Где он, Махат? — теперь дон Паулу видел, что через щели в частоколе на него смотрят десятки пар глаз, дети и взрослые, от мала до велика.

— Саоан дождался великого кэнхэ, — гордо сказала женщина. — Теперь кэнхэ Анъяра закончится и снова будет хорошо.

Священник пожалел, что, прежде чем спускаться в деревню, не прочел записей дона Гомеша — возможно, хоть что-то стало бы понятнее.

— Что такое «кэнхэ»? — спросил он, после многочисленных бесед с Саоаном не рассчитывая на четкий ответ.

Но объяснение Махат было ясным и недвусмысленным.

— Это когда боги... Бог, — тут же поправилась она, — хочет... смотреть, где ломается, а где нет. Человеку кэнхэ — это как вплавь через Акулий пролив. Камню — попасть в лаву и не растаять. Дереву — сгореть и пустить новые ветви. Может, да, может, нет. Кэнхэ.

Дон Паулу стремительно поднялся по тропе на другой склон. Дом колдуна молчал той особой пустотой, что возникает в отсутствие хозяев, но священник долго собирался с силами, чтобы войти внутрь.

Въевшийся дух трав, кореньев, снадобий. Красивые темные циновки. В углу — вырезанные из довоенных журналов и газет изображения Девы Марии и Христа, чуть ниже — задернутая сатиновой занавеской полочка. Подойти чуть ближе, протянуть руку... Почему так дрожат пальцы? Взяться за край и отдернуть — что проще? Сердце заколотилось в горле, лоб покрылся испариной. Может, зажмуриться? Ну же!

Рывок — и готовый ко всему дон Паулу открыл глаза. На полочке ничего не было.

Дыша открытым ртом, как выброшенная на берег рыба, священник вышел на крыльцо — и встретился взглядом с дряхлым-дряхлым анъяром, замершим у ворот.

— Дон Паулу Кьонг! — почтительно сказал старик. — Одна из моих непослушных коз повредила копыто на скале Гомеша. Сделайте ее ногу целой и призовите ее к послушанию именем вашей Девы Марии, которая одна сильнее всех богов Анъяра, собравшихся вместе!

Торопливо приблизился и, рухнув на колени, припал губами к руке священника. Дон Паулу содрогнулся. Но нашел в себе мужество ответить:

— Веди меня, сын мой!

Затем перекрестился сам, перекрестил старика и последовал за ним.

Полковник Апату, изящно-седой, по-военному уверенный в жестах и изречениях, нарочито медленно провел пальцем по левому, а потом правому усу и непринужденно рассмеялся.

— Прелюбопытнейший островок, друзья мои! Представьте себе заглавную букву «А». Ножки — две длинные каменные косы, между ними прекрасная бухта. Мелковата для крупных судов, но миноносцам и тральщикам лучшего не надо. Верхняя часть буквы — черная скала. Крутая и неприветливая. Потому что в середине, в треугольнике, — настоящая дорога в ад, жерло действующего вулкана. Коптит без остановки последние сто лет, раз пять пугал и лавой. Что интересно, течь этой лаве вроде бы некуда, только в бухту, а деревня, куда меня высадили с моей ротой, ни разу в пекло не попадала — как заколдованная. Дома мхом обросли, лианами, с двадцати шагов и не заметишь.

В дальнем конце зала появился диксиленд в белых смокингах, заблестела расчехляемая медь. Апату откинулся в кресле, пригубил шабли, торопливо соображая, что рассказывать, а что опустить. Полковник мог себе позволить этот клуб лишь раз в неделю, но связи и контакты, возникающие за сигарой или партией в бридж, стоили вложенных денег.

— И что же, — Де Ривейра, владелец обширных латифундий к востоку от Сан-Паулу и нескольких этаноловых заводиков, иронично прищурился, — удалось вашим молодцам воткнуть в кратер нетленный французский флаг? Зачистили остров от японских шпионов?

Полковник развел руками:

— Еще одно чудо. Почему японцы не окопались на этом острове, ума не приложу. Вокруг еще недавно шла форменная бойня. Американским металлоломом усеяны все проливы. Щепки от японских десантных ботов до сих пор носит по волнам. Самураи знали толк в войне — и не использовали такую бухту...

— Может быть, не наладили контакт с местными жителями? — спросил Риттерберг, дантист, швейцарский подданный, похожий на зубного врача ничуть не более, чем на швейцарца, таких ребят в черном Апату насмотрелся еще в Лиссабоне до начала войны.

— Любите мистификации, Рихард? Что могут противопоставить регулярной армии дикие пещерные люди? Вы представить себе не можете, какой разрыв между человечьими племенами создан техническим прогрессом. Мы входим туда, куда считаем нужным. Жапонезы тоже могли бы использовать остров по своему разумению. Хотя там, на Анъяре, мы почувствовали себя экипажем Кука. Туземцы — натуральные людоеды, безо всяких преувеличений!

Метрдотель невольно прервал их беседу, подойдя, чтобы принять заказ. А Апату на секунду выпал из реальности, и снова замер у дверей казармы, вглядываясь в сплошную стену леса. Из ниоткуда пришла стрела, стоявший рядом капрал осел на землю, царапая пробитое горло, а с вышек заговорили пулеметы.

А ведь если прийти на Анъяр сейчас, то и от нас — ни следа, подумал полковник. Тишь да гладь, божья благодать. И бамбуковые колья. Который раз Апату пытался выдавить страх через смех, и весело становилось всем вокруг, только не ему.

Тут подали закуски.

> Глупо надеяться, что можно вернуть все к началу начал. Чужеземцы хотят жить с нами. Так что, иди к своему падре. Учи его колдовство.
>
> *Так говорит Дедушка*

Многое ли мы знаем и можем прочесть в родственных душах? Всегда ли помыслы и поступки тех, кто рядом, совпадают с нашими ожиданиями? А если и в близких скрыты великие тайны, что же говорить о чужих людях, чья жизнь идет другой дорогой и по неизвестным правилам...

Какие картины открываются цыганке перед раскиданными картами? О чем думает африканский бушмен, глядя на звездочку спутника, внезапно замерцавшую на небосклоне? К кому обращается шаман, с пеной на губах воющий над бубном?

Много ли разглядишь бескрайней ночью в неверном свете цветных сполохов над ледовитыми берегами?

Было ли кому-то дело до смешного круглолицего папуаса — мы же вряд ли отличим анъяра от самоа или тунгару, правда? — за четыре месяца проделавшего путь почти в десять тысяч километров к сокровенной цели? Чужеродная песчинка в людской пустыне, он прокатился из края в край мира, почти не оставив за собой следа.

Капитан сухогруза, болтающегося между Сингапуром и Панамским каналом, обрадовался лишней паре рук. В этих краях пассажиры — редкость. Увалень-туземец хорошо говорил по-испански и португальски, умел готовить и выбирать сети, и капитан взял его на борт без оплаты — в обмен за работу. До первого южноамериканского порта.

«Саоан-кьонг», — назвал себя абориген. «Сан Конг», — как услышал, записал капитан в подчищенный французский паспорт моряка, купленный в Макао за гроши вместе с целой стопкой английских, американских и японских удостоверений.

Из вещей матрос Сан имел лишь австралийский полевой ранец да тяжелый грязный мешок, в который заглядывать никому не захотелось.

Судно неспешно шло на восток. Штиль, не свойственный Океании в это время года, капитан счел за добрый знак. Однажды на корме он застал матроса Сана склонившимся над горсткой черных перьев. «Ты что делаешь?» — спросил капитан. В ответ матрос протянул ему ощипанную курицу и ощерился в придурковатой улыбке.

Когда они пришли на остров Пасхи, матрос словно обезумел. Сел на четвереньки и, прикрывая глаза рукой, осторожно выглядывал из-за борта. При виде исполинских голов начинал нечленораздельно балаболить на своем языке и снова прятался, и снова выглядывал — обезьяна, ей-богу.

А мешок открыл таможенный офицер в порту Эсмеральдас. Зачерпнул полную горсть черного вулканического пепла и вопросительно посмотрел на неуклюжего месье Конга, пожелавшего сойти на берег и добраться до Кито.

— Сажа жирная, хорошее мыло получится, — объяснил круглолицый моряк. — Еще до войны собирались выпускать, а теперь говорят: вези образцы.

Тем временем в потную ладонь офицера перекочевала розовая жемчужина, достаточно крупная, чтобы навсегда забыть и про француза Конга и про его экзотический груз.

Неделей позже сухопарый индеец, приплывший из сельвы на воскресный рынок в Напо, задумчиво смотрел то на смешные разноцветные бумажки, столь ценимые в городах, то на странного круглобокого мужчину невиданного племени, объясняющего на языке белых, что хочет купить каноэ. Индеец не верил бумажкам, но верил предчувствиям. С легкой душой он расстался с долбленой из цельного дерева лодкой, лишь бы толстощекий путешественник никогда больше не встречался на его пути.

Там, где воды Амазонки замедляют свой бег, разливаясь сложнейшим лабиринтом проток и рукавов, далеко за условной перуанско-бразильской границей, тихо плыло легкое одноместное каноэ. Грузный гребец лишь изредка касался воды коротким веслом, иногда казалось, что он уснул.

Дозорный проводил замершую в каноэ фигуру — и взглядом, и трубкой, таящей в себе ядовитую начинку. Но не выстрелил, потому что вдруг онемели губы. Ему едва хватило сил издать птичий крик малой тревоги.

Вождь и старейшина племени недаром носил имя Змеиная Голова. Он был холоден в решениях и быстр в исполнении. Семеро воинов замерли за его спиной, ожидая малейшего знака. Одно попадание — и у племени появится новое красивое каноэ, туша сочного жирного мяса, мешок и ранец, в которых наверняка найдется что-нибудь полезное и ценное.

Но Змеиная Голова медлил, замерев в тростнике, пока непонятная одинокая лодка скользила по речной глади в его сторону. Большое смелое сердце вождя, вспоенное кровью десятков врагов, вдруг затрепыхалось как колибри над разоренным цветком. Словно Безликая подкралась со спины и улыбнулась черными деснами. Змеиная Голова призвал на помощь всех богов, обещая новые жертвы.

И поэтому в тот день все воины племени заснули в здравии и спокойствии рядом со своими женщинами. Лишь старый вождь до рассвета разговаривал со звездами, шепча заклинания и провожая уже прошедшую мимо беду.

— И что, Жоакин, правда, кого-то из ваших съели? — допытывался Риттерберг.

Апату помотал головой.

— Семерых убили — в ночь перед эвакуацией. Это была славная битва. Торжество огнестрельного оружия на Диком Востоке.

— Вы говорили, полковник, — уточнил Де Ривейра, — что пробыли там полтора года. Значит, сначала был мир? Или все это время вы провели в окопах и блиндажах? Что послужило спусковым крючком?

— Ну, честно говоря, нам пришлось подстрелить главного колдуна. Самооборона. И то ведь ранили только — к утру тела не нашли, видно, уполз.

С пятнадцатью крупнокалиберными пулями в груди, вспомнил Апату.

— Жоакин, вы нас водите за нос, — Риттерберг выглядел заинтригованным. — Вы начинаете с конца, а начало приберегаете на сладкое. О чем вы забыли рассказать?

Полковник жизнерадостно хохотнул:

— О маленькой проделке. На острове еще с довоенных времен жил проповедник. Милый старичок, мягкий и несгибаемый, знаете такой типаж? Истовый католик, застрявший на всю жизнь на этом чертовом острове. Против местного колдуна у нашего падре, прямо скажем, шансов не было. И мы однажды решили ему немножко помочь.

Пока жив кьонг, жив Анъяр. Тебе нужен сын.

Так говорит Дедушка

Тихая музыка из новенькой радиолы, пара бутылок чилийского тинто на железном столе для инструментов, и нет еще изнуряющей январской жары, и жизнь прекрасна.

Когда в госпитале для неимущих на окраине Сан-Паулу заканчивалась дневная смена, персонал — большей частью студенты и иностранные волонтеры — собирался в ординаторской. Вскипали диспуты по политике и философии, блистали умы и таланты, еще не покрытые ржавчиной и не спрятавшиеся в раковину цинизма.

Магдалена, белокурая немка из Аргентины, вчистую проигрывала «по очкам» дежурному врачу Эрнесто. Речь шла об избирательных правах индейцев. Оттолкнувшись от наивных доводов девушки о всеобщем равенстве, врач перевел разговор на отсутствие письменности у этой сомнительной части электората.

— Примитивные языки как раз отличаются отсутствием абстрактных понятий, — подытожил Эрнесто, мечтающий о карьере психиатра и умеющий оставлять за собой последнее слово в любом споре. — Неудивительно: где нет письменной культуры и философии, нельзя достичь накопления знаний. За что будет голосовать голый дикарь? Не смеши меня, Мэгги.

Новенький санитар, толстенький и добродушный Сан, обычно не молчаливый, но немногословный, вдруг встрял в разговор, не отрываясь от мытья пробирок:

— Напомни, амиго, то португальское слово — все время забываю! — которое означает «ожидание низкого прилива, когда вода отступает и вместе с песком и водорослями обнажает прошлое мира». Или что-нибудь попроще. Например, «воспоминание о несбывшейся надежде».

«Динь!» — тихо зазвенел серебряный колокольчик в душе Магдалены.

Эрнесто замер на полуслове. Самодовольная ухмылка слегка увяла.

— Ты хочешь сказать, что в языках дикарей могут быть подобные выверты?

— Не могут, а есть.

— И что же за народ говорит на таком извращенном языке?

Санитар Сан посмотрел прямо и резко.

— Мой.

Магдалена влюбилась, а потом полюбила — яростно и слепо. Случайные встречи в коридорах госпиталя, словесные дуэли, где мнение Сана прикрывало ее невидимым щитом, его странное лицо и удивительные глаза — все это сводило девушку с ума, потому что между ними лежала пропасть общественного положения, воспитания, происхождения. Магдалена просто не знала, как подступиться к таинственному санитару.

— Он хотя бы красивый? — участливо спрашивала ближайшая подруга.

— Красивы во всем только боги, — цитировала Сана Магдалена. — А простой человек — в том, что умеет делать. Рыбак — когда забрасывает сеть, охотник — когда крадется за дичью…

— И что же умеет твой туземец?

Магдалена улыбалась задумчиво и как-то беззащитно.

— Грустить.

А когда он нашел вечернюю подработку официантом в каком-то дорогом ресторане, то для нее пропал смысл посиделок в ординаторской. Сан, мысленно звала Магдалена, ты где? Услышь меня!

— Странный, — говорила старшая медсестра, пожилая и отрешенная монашка, — посмотри, как к нему тянутся больные. Он проходит по палатам даже не как главный врач — как царь. И еще: в его смену ни один больной не умер.

И когда однажды Магдалена обнаружила его стоящим рядом, лицом к лицу, то не смогла бы сказать, прошла неделя или год, потому что Сан смотрел ласково и пристально, словно надеясь и ища что-то в ее глазах.

— Меня зовут Саоан, — сказал он. — Я хочу, чтобы ты звала меня настоящим именем.

— А меня Магдалена, — она шутливо шаркнула ножкой и снова замерла, ни жива ни мертва.

Он грустно задавал ей какие-то вопросы, будто пытаясь сразу выстроить схему отношений на века. Это могло бы напомнить свадебное «согласна ли ты, Магдалена», потому что она все время отвечала «да», только здесь они застыли вдвоем в удушливой полутьме коридора инфекционного этажа, и некому было рассыпать конфетти и пшикать магнием.

И тем же вечером тряский открытый автобус карабкался по склонам западных окраин Сан-Паулу, Саоан не обнимал, а скорее придерживал ее за плечо на поворотах, прижимая к своему мягкому боку, и что-то рассказывал о себе, семье и далеком сказочном острове Анъяр. Полчаса поездки запомнились Магдалене как лучшее время всей жизни.

Наверху было холодно, пригород уже спал, и молодая луна, качая задорными рожками, бросала им под ноги фиолетовые тени.

Саоан достал из смешного ранца, с которым всегда приходил в госпиталь, маленький металлический термос и налил девушке стаканчик чего-то душистого.

— Мате?

— Лучше.

Она отпила глоток, приятное тепло внутри вдруг превратилось в жар, она отпила снова, и тихая округа ожила сотнями звуков. Магдалена обняла Саоана за плечи и поцеловала в ухо.

— Решил меня опоить? — с любопытством спросила она.

Анъяр мягко взял ее за руку и повел к дому. Отпер дверь, щелкнул выключателем, раз и еще раз, но света не было.

— Схожу за свечами в чулан, — сказал Саоан. — Проходи пока в комнату.

Магдалена сняла туфли в прихожей и почти на ощупь, различая только темные пятна мебели, пробралась дальше.

— Вот так всегда, — раздался справа старческий голос. — Лучший вечер моей жизни — внук привел познакомиться свою возлюбленную! — а я не могу даже рассмотреть ее из-за этого новомодного электричества, которое кончается, когда его не просят!

— Здравствуйте! — сказала в темноту Магдалена. — Вы — дедушка Сана?

— Садись, красавица! — ответил Дедушка. — Пока внук не вернулся, нам тоже достанется капелька твоего внимания.

— А здесь еще кто-то? — хихикнула Магдалена, едва не упав мимо стула. — Здравствуйте!

— Здравствуйте! — так же вежливо сказала Мама единственное, что знала по-испански.

— Еще с нами Бабушка, но она немая, — добавил Дедушка.

— Здравствуйте! — еще раз сказала Магдалена, радуясь тому, как приветливо звучат голоса этих людей, ее будущей семьи.

Саоан зашаркал на пороге.

— Ты здесь? — спросил он, входя в комнату, и наткнулся на Магдаленин стул. Она счастливо засмеялась и поймала его руку.

— А где же свечи?

— Выбило пробки, — не ответил он. — Магдалена, ты помнишь, о чем мы говорили по дороге?

Она не помнила, но поддакнула.

— От того, как ты сейчас поступишь, — сказал Саоан, — зависит вся наша жизнь.

И включил свет.

— И напрасно вы, Рихард, иронизируете по поводу каннибализма. Весь Анъяр утыкан бамбуковыми шестами. В деревне — вдоль берегов, в джунглях — везде. И каждый шест увенчивался головой.

— Поверженные враги? — предположил Риттенберг.

— Увенчивался? — переспросил Де Ривейра.

— Мы сначала думали так же. А потом посчитали: на каждого жителя — больше десятка голов. Многовато врагов для изолированного острова. Самих анъяров — от силы две тысячи. Но оскаленные мумии — на каждом шагу. Здорово нервировало.

Апату благодушно помотал головой и раскурил сигару.

— Неподалеку на рифах сидел старый японский танкер. Машина разбита, один борт распорот, надстройка раскурочена, в цистернах — тонн десять мазута. Такую рухлядь легче затопить, чем буксировать. Ко дню взятия Бастилии я и решил провести генеральную уборку — вывести головешки на танкер, да спалить. А то просто сил уже не было смотреть.

— Тут туземцы и осерчали, — полуутвердительно кивнул швейцарец.

— А вот и нет, — Апату вновь развеселился. — Приволокли мы им в деревню полный чан рома, замешали с кокосовым молоком. Анъяры же вообще алкоголя не знали, так что пили все, не исключая детей. Как дон Гомеш ругался — надо было видеть! А поскольку наш повар в этот коктейль еще кое-чего добавил, то уснули голубчики — и часу не прошло.

Де Ривейра что-то глубокомысленно разглядывал в своем бокале. Риттенберг осклабился, ожидая развязки.

— Вот тогда и начался марафон. Из моих шестидесяти солдат ни один в ту ночь спать не лег. Чтоб веселее работалось, открыли прием ставок, кто больше головешек притащит. А победителю от себя лично назначил приз...

— Неужели вы думали, что потом отвертитесь? — руки Де Ривейры дрожали.

— А кто что докажет? — вдруг почти рявкнул Апату. Из-под холеной благообразной маски выглянуло лицо солдафона. — Не видели, не слышали, не знаем. Божий промысел. Вы хоть представляете, на что похожи эти анъяры?!

Апату затряс в воздухе рукой, пытаясь найти верное сравнение. Внезапно его взгляд застыл. И дантист, и латифундист посмотрели в ту же сторону.

К их столику через зал шел толстый неуклюжий официант. Полотенце через левую руку, в ней же — широкая ваза для омывания рук. В правой — маленькое блюдечко.

— Мы ничего не заказывали, — сварливо крикнул Де Ривейра.

Официант ответил, но за шумом оркестра слов не было слышно. Он поставил

вазу на стол, чуть заметно кивнул, кивнул лично полковнику Жоакину Апату и что-то сказал — опять духовые заглушили речь.

— Что? — Апату пытался отодвинуться от стола, но ножка кресла зацепилась за ковер. — Какого черта?

— Теперь вы мертвы, — повторил официант. — Анъяры довольны.

Прежде чем Де Ривейра и Риттенберг с двух сторон схватили увальня за руки, он поднял к губам блюдечко и со всей силы дунул в него. Бледно-серая невесомая пыль взметнулась вихрем, облепляя лицо, волосы, мундир полковника. Официант бросил блюдце в вазу с душистой водой и безропотно позволил скрутить себя.

— Отравили! — визжал Апату, размазывая по щекам бледную грязь.

Вокруг них собиралась толпа, у входа показались белые полицейские шлемы.

Официант, лежа на полу, смотрел на потерявшего лицо полковника, и устало улыбался.

> Их беды — от того, что они не знают, где живет душа.
>
> *Так говорит Дедушка*

Магдалена не знала, почему не закричала во всю силу легких, когда вспыхнул свет, и она увидела головы. Черная потрескавшаяся кожа, космы пыльных перепутанных волос, остекленевшие выпученные глаза. Девушка лишь зажмурилась и вцепилась ногтями в мягкую руку Саоана, будто у него следовало искать защиты.

— Не бойся, — тихо сказал Дедушка. — Ты же слышишь меня, милая Мэгги?

Саоан гладил ее по голове, шептал в ухо что-то ласковое и успокаивающее, и она снова посмотрела на Дедушку, и Бабушку, и Маму, и Саоана, и...

Потом анъяр учил ее, как ухаживать за головами, пока его не будет.

— Я уйду, а потом вернусь, — сказал Саоан. — А потом мы поедем ко мне домой.

Так и случилось. Но две недели, что она провела в этом маленьком пригородном домике, перевернули представления Магдалены о мире. Ей больше не требовался дурманящий напиток, чтобы услышать Дедушку и Маму. Даже от молчащей Бабушки исходила симпатия, пусть и не подтвержденная словами.

— Ты говорила, как важны книги, — звучал в ее голове голос Дедушки, пока она кончиками пальцев растирала по его лицу щепотку вулканической сажи. — Что нельзя сохранить мудрость без письма, потому что люди умирают, унося свои мысли с собой. Только зачем умирать? Мы живем и всегда ответим на любой вопрос.

Предоставленный анъяру общественный адвокат доказал в два счета, что не было никакого покушения — лишь глупая шутка. Экспертиза подтвердила, что «отрава» для сеньора Апату состояла из сажи и сахарной пудры. Максимум, что могло грозить полковнику, это пара прыщей.

Магдалена имела возможность следить за событиями по газетным заголовкам.

— Зачем он это сделал? — спросила она у Дедушки.

— Убил Апату? — уточнил тот. — Человека, уничтожившего наш народ, надо было убить, пока он не умер сам. Иначе где бы потом мы искали его червивую душу?

— Как — убить? — сердце девушки замирало, потому что она вспоминала лучистый взгляд Саоана, его теплые руки, загадочный голос.

— Душа Апату мертва. Когда испортится его тело, она сгниет, как банан, и никогда не вернется в мир. Снадобье Саоан смешал под моим присмотром. Это очень плохой порошок, но таково кэнхэ моего внука. И я горжусь им.

А потом Саоан возник на пороге, и Магдалена снова не знала, как к нему подступиться. Она уже положила свою жизнь в руки колдуна. С непонятным спокойствием и предчувствием радости поверила в то, что ей предначертано покинуть континент и стать матерью будущего великого кьонга. Но Саоан по-прежнему оставался для нее закрытой книгой, и приходилось полагаться лишь на интуицию, подсказывающую, что все правильно. Все хорошо.

— У нас только три года, — сказал он. — Если за это время не вернуться, Анъяр проснется без меня. Этого нельзя допустить.

— Разве твой остров так далеко? Мы доберемся до Перу за неделю и будем ждать тот корабль...

Саоан грустно погладил ее по щеке.

— На нашем пути — пограничные посты. Миновать их по реке против течения мы не сможем. А моя сила тает вдали от Анъяра. Если кого-то из семьи найдут в багаже, я не знаю, что будет.

А Дедушка молчал, потому что видел грядущее чуть дальше, чем молодой кьонг...

— Проснись, Саоан! — и вместе с голосом Дедушки в сознание входит боль. Не разодрать глаз — под запекшейся коркой крови. Не вдохнуть — что-то жесткое колом шевелится в груди. Не пошевелить ногами — они зажаты и скручены судорогой. И журчит родник — только воздух наполнен резким запахом горючего. — Проснись, а то будет поздно!

Саоан засопел от боли, выдергивая из плеча осколок руля. Память возвращалась лоскутами. Вот они с Магдаленой осторожно заворачивают головы предков в тонкие тряпки и убирают на дно открытого фруктового ящика. Вот сине-желтый шлагбаум на выезде из Боливии, вторая и последняя сухопутная граница. Длинный таможенный стол, к которому выстроились в очередь пассажиры автобуса. Развязанные тюки и распахнутые фанерные чемоданы.

Саоан и Магдалена выходили последними. И ему не хватило решимости. Таможенников было трое, офицер с двумя помощниками, и кьонг понял, что не сможет отвести взгляд всем сразу. Вместо того чтобы приготовить для старшего сложенную купюру и заветное анъярское слово, Саоан переполз за руль. Водитель под широким навесом таможни дремал, надвинув на нос драную шляпу. Заскрипел ржавым железом высвобождаемый ручной тормоз. Пыхнув дымом, взревел мотор. Застывшие на солнцепеке попутчики один за другим начали оборачиваться, беззвучно распахнулся рот офицера, кто-то метнулся наперерез, полосатый брус расщепился надвое, открывая дорогу...

— Мэгги, — позвал Саоан одними губами.

Теперь они наконец-то в Перу — на дне заросшего кустарником ущелья, в дымящейся клетке перекошенного автобуса с пулевыми пробоинами на приборной доске.

— Мэгги, — повторил он, уже вспоминая, что обращаться не к кому.

Вот она, рядом, белокурая и неподвижная. Сломанное, смятое тело. Остановившееся сердце. Гьяньяриту — женщина судьбы, уже почти потерявшая душу. И нет ничего, совсем ничего, что подошло бы... Не теряй себя, кьонг!

Отмахиваясь от плавающих перед глазами пятен, Саоан прополз по вставшему на дыбы салону. Ящик не лопнул, лишь верхний кокос треснул, залив липким пол. Саоан нашел окно, через которое проще вылезти.

Полчаса спустя он устал идти, опустил на траву тяжеленный ящик, из которого не догадался выкинуть никому не нужные кокосы, а потом снял с плеча тело девушки.

— Только смерть порождает жизнь, — повторял он ей, как однажды в госпитале.

— Смерть порождает только смерть, — отвечала она тогда, и он чувствовал, что в этом споре ему не выиграть.

— Ты совсем как наш священник, — смеялся санитар Сан, — тебя с толку не сбить!

Он не пил вина и лишь смотрел, как бордовая гладь вздрагивает от прикосновения ее губ. Я хочу быть с тобой всегда, хотел сказать он, но не сказал. А теперь уже поздно.

Нет ни ножа, ни топора, ни костяного скребка. Саоан трясущимися руками вытряхнул в траву сумочку Магдалены. В маленькой косметичке, расшитой цветами, смешными и непохожими на настоящие, нашелся лист пластыря — липкой ткани, которой заклеивают мозоль или порез. Маникюрные ножницы. Пилочка для ногтей. Остальное — склянки, пудреница, тюбики — пригодиться не могло. За холмом весело ухнуло — огонь разобрался, как залезть автобусу в бензобак.

Саоан извлек из-под бурых кокосов завернутого в темную тряпку Дедушку. Распеленал осторожно и аккуратно поставил в двух шагах от себя на высокий пока-

тый валун. Достал из-за пазухи тяжелый сверток с остатками анъярского пепла, взял крошечную щепотку и втер в середину Дедушкиного лба.

— У нас беда, великий кьонг! Ты подскажешь, если я буду что-то делать не так? Поможешь собрать нужные травы?

Дедушка не отвечал. В его молчании Саоан почувствовал и горечь, и сомнение, и...

— Ты точно хочешь оставить ее с нами? — спросил Дедушка.

— Она тебе не нравится? Вы не сможете жить вместе?

— Я одобряю твой выбор, Саоан! Она хороший человек и очень верит тебе. Мне было бы приятно расспросить ее подробнее о чудесной земле, где мы жили так недолго.

— Тогда что же? — Саоан метался между умирающей Магдаленой и Дедушкой. Время уходило, но и такой разговор нельзя было оборвать на середине.

— Я чувствую, что нам не уйти впятером.

Саоан осмотрелся. Прошептал несколько фраз на анъяре. Корявые деревья и могучие лианы, бездомные камни и спящая трава — все внимали языку колдовства.

— Не понимаю! Я скрою вас от любого взгляда, любой куст и любой зверь встанут на нашу сторону...

— Я сказал только то, что чувствую, внук! И помогу всем, чем смогу.

Саоан прикрыл ладонью глаза, выражая покорность и благодарность.

И склонился над телом возлюбленной, ставшим клеткой для ее заблудившейся души.

...Вместо липкой глины, намертво схватывающей ресницы, Саоан использовал четыре лоскутка желтоватого пластыря. Теперь Магдалена могла видеть небо, и встревоженных птиц, и облако в форме сгорбленного человека в сутане.

Какая красивая, совсем по-европейски подумал колдун, и, нащупав на ее горле самое уязвимое место, погрузил в него пилку для ногтей. Кровь уже не лилась, но сочилась лениво и медленно. Расковыривая непослушной тупой железкой одну жилу за другой, Саоан вспоминал давний спор с доном Паулу.

— Душа человека должна упокоиться, — настаивал священник. — Вознестись на небо освобожденной и просветленной, в ожидании Божьей милости. Душа расстается с телом — и с бременем земного существования. Пытаться удержать ее — тяжкий грех, это как идти против воли Господней.

— А зачем тогда жить? — спрашивал Саоан. — Чтобы потом уйти, не думая о тех, кто остается? Унести с собой знания, умения, мудрость? Перестать заботиться о беззащитных детях? Оставить свой народ, так и не дав ему ничего?

Споры всегда выходили непростыми — Дедушка настрого запретил обсуждать хоть с одним чужеземцем, каким был мир анъяров до прихода Апату. Саоану приходилось говорить притчами, следить за каждым своим словом — а у священника были и свои сказания, бесконечно правильные и бездонно глубокие, как Акулий пролив. Где ты сейчас, добрый падре, мой учитель?

Кровь уже почти вытекла. Голова Магдалены откинулась назад. Ее неподвижному взгляду открывался вид на пальмовую рощу, растопырившую кроны по другую сторону маисового поля. Тут-то и сломалась пилка.

Саоан сменил инструмент, но хлипкие и ненадежные ножницы намертво застревали в волокнах и выскальзывали из мокрых пальцев. И минуты не прошло, как они распались надвое, а вскоре и каждая половинка погнулась и потеряла острие. Саоан в отчаянии смотрел на Магдалену. Ее взгляд начал мутнеть. Чтобы спасти глаза, срочно требовались травы — а их предстояло найти, собрать, измельчить, смешать... Но если вовремя не отделить голову от тела, яд смерти разрушит обиталище души. Она вырвется на свободу, бездомная и безмолвная, не способная ни позвать на помощь, ни удержаться рядом с теми, кому могла бы служить советом и добрым словом еще сотни и сотни лет. Вспорхнет невидимой птицей в великое Ничто, где, оказывается, живет добрый Господь и белокрылые ангелы, и превратится в одного из них.

Тогда, десять лет назад, Бабушка вытащила Дедушку из самого страшного места на острове — с площади перед железными домами чужеземцев. Потом Маме

пришлось прыгать в горящую хижину, а солдаты Апату стреляли ей вслед, но целились плохо, потому что скорчившаяся за частоколом Бабушка бормотала подряд все заклинания, какие помнила. Мама вынесла в обожженных руках пять дымящихся мешочков с травами и кореньями.

И была бесконечная ночь в глубине всползающего к вершине Анъяра леса, высоко над растерзанной деревней, над криками и воплями, над клубами черного дыма и оглушительной пулеметной дробью. Маленький Саоан, напуганный и от этого послушный, замер рядом с телом Дедушки, маленькие дыры в груди которого отчетливо чернели даже при свете луны.

— Смотри внимательно, новый кьонг, — сказала мальчику Бабушка. — Белые люди украли у нас предков, больше некому будет тебе рассказать, как это делается.

С большим ритуальным ножом, предназначенным для жертвенных животных, она склонилась над Дедушкой и сделала чуть выше его кадыка первый надрез.

Много ли умела жена колдуна? Дочь колдуна? Но если бы Бабушка и Мама не рискнули самостоятельно отделить душу Дедушки от тела, Саоан никогда не стал бы кьонгом, не выучил истории мира, не постиг Законов. Прервалась бы связь времен…

И теперь он, последний кьонг анъяров, пойманный в путы кэнхэ в далекой чужой стране, должен спасти душу своей женщины. Помоги мне, Пресвятая Дева!

— Там, под большой корягой, бледные цветки, — сказал Дедушка. — В трех шагах левее — трава с широкими листьями. У тебя за спиной — красные ягоды. Подо мной соберешь немного лишайника. Тут все не как на Анъяре, но должно подойти. Когда разжуешь, не глотай слюну — сгоришь изнутри. Кашицу вмазывай под веки, как можно глубже. Зрачки залепляй в последнюю очередь.

Саоан опустил на землю тело Магдалены, стараясь не ударить ее голову, и бросился собирать составляющие зелья. Спустя несколько минут бурая смесь закрыла глаза Магдалены, защищая их от воздуха. Кьонг непослушным немеющим языком едва выговорил темные и тягучие слова — третий раз в своей жизни. И только потом позволил себе отползти к ящику с кокосами, расковырять один обломком пилки и выполоскать душистым соком рот, сплевывая и сплевывая тошнотворную горечь.

— Возвращайся к ней, — сказал Дедушка. — Сложнее всего будет с позвонками.

— Но как?..

— Ты знаешь.

Саоан приподнял Магдалену за спину, подставил колено ей под лопатки. На мгновение прижался лбом к ее бледной щеке. И вонзил зубы в остывающую кровоточащую плоть.

А на краю поля, с наполовину обглоданным початком кукурузы в грязной руке, неслышно возник индейский мальчик. Лет семи, не старше. Что он мог понять и увидеть? Понять — ничего. А увидеть — страшного окровавленного человека с тяжелыми бровями, широким сплюснутым носом и глазами как горящие угли. Человека, впившегося зубами в разодранное горло жертвы.

В другой обстановке Саоан успел бы захватить взгляд ребенка, успокоить и усыпить его на несколько часов, но сейчас кьонг просто посмотрел ему в глаза и прочел в них свою судьбу.

А мальчик уже бежал по полю, размахивая руками и крича, сколько хватало дыхания.

— Людоед! Людоед!

Саоан преодолел последние жилы, на зубах захрустели кости. Голова Магдалены отделилась от тела, и кьонг начал проговаривать длинное заклинание, каким ему приходилось пользоваться до этого лишь дважды. Когда Саоан произносил его над Бабушкой, то запнулся в одном слове. Она больше не смогла разговаривать.

Поэтому сейчас молодой кьонг больше всего боялся ошибиться. Дедушка еле слышным шепотом вторил внуку.

Когда стих последний звук, далеко в поле показались фигурки бегущих людей.

Торопись, кьонг! Магдалене нужен пепел Анъяра.

Того, что оставалось в тряпице, к счастью, хватило для завершения таинства. Жирный черный пепел закрыл раны черной коркой. Завтра он впитается и надо будет

нанести новый слой — и так пока кожа Магдалены не потемнеет, не станет тверже дерева, а ее душа не почувствует себя в безопасности и не вспомнит, как говорить.

Когда крестьяне, перепуганные лупоглазые крестьяне с мотыгами и серпами, наконец, выбежали на залитую кровью поляну, то нашли только рассыпанные в траве блестящие штучки, деревянный фруктовый ящик с несколькими кокосами и обезглавленное тело белой женщины.

Человек по прозвищу Непоседа, лучший репортер Лимы, пишущий для «Карэтаса», брезгливо толкнул костяшками пальцев облезлую дверь. Без пяти минут народный герой распростерся на голой панцирной сетке армейской койки в полубессознательном состоянии. Несмотря на открытые настежь окна, комната пахла мокрым пеплом и перегаром.

— Сеньор журнали-ист? — протянул, даже не пытаясь встать, лейтенант Марселья. — Будете кашасу?

— Буду ром, лейтенант, — Непоседа выставил на загаженный стол темную бутыль с красивой этикеткой. — Вместе с вами. Но только после того, как услышу одну историю.

Пять минут спустя умывшийся и лихорадочно бодрый Марселья распинался вовсю:

— ...неделю, понимаете, неделю гнали его по горам. Отрезали от сельвы, вокруг поля — спрятаться негде, а найти его все не можем. Как тень — мелькнет то на дороге, то на холме... Так и в сарай этот мой капрал минутой раньше заглядывал — никого не было! Шли цепочкой, я чуть позади, вдруг слышу — плач. Женский плач и голоса невнятные. Говорят вроде по-испански. Я тихо-тихо под самую стенку подобрался — и слышу:

«Как же жить теперь, Сан?» — жалобно так! А ей, будто, старик отвечает...

Я солдат подозвал знаками, сарай окружили, на мушку взяли. Выбили дверь, внутрь — втроем.

Конечно, никого, кроме этого зверя, там не было. Сам и скулил, как собака. На разные голоса разговаривал. Французский матросик, откуда-то из колоний. Видно, из интернированных — у таких, говорят, после лагерей частенько ум за разум заходит.

Сам он на коленях стоял, а перед ним на полке — четыре башки человеческих. Три — как мумии, сухие и черные. А четвертая — той бабы несчастной, которую он на границе в заложницы взял. Жуткая картина: мышцы и кожа снизу лохмотьями в разные стороны, а глаза как живые.

Марселья резко придвинулся к журналисту, дыхнул ему в лицо кислым.

— Я ж ее каждую ночь во сне вижу! Насаживаю голову на кол и несу над собой, как штандарт. А вокруг море...

Непоседа непроизвольно перекрестился. Что-то с пьяным лейтенантом было не так, глядишь, и сам умом тронется.

— А этот злодей-то, — продолжал Марселья, — и не сопротивлялся даже! Поднялся с пола, дал руки связать. Поздоровался, подлец, доброго утра пожелал! Говорит, все объясню, только доставьте меня и головы в город. Одной машиной. Ну, слушать-то его кто будет? Принесли мешок головы складывать, а этот плачет. Говорит, вы их убьете. Им, говорит, без ухода нельзя.

Ну, капрал, стало быть, только голову старика за волосы поднял, а у этого — Конг его фамилия, мы потом узнали, — вдруг оказались руки свободны. Страшный, огромный, вылитая обезьяна! Прыгнул он на капрала, к горлу, значит, целится.

Пять пуль мы в него всадили, как есть. Только не иначе, с нечистой силой связались. Потому что не живут люди, когда пуля через сердце навылет. Упал без сознания, а не мрет. И крови мало.

Марселья неожиданно протянул руку, схватил бутылку и выдернул пробку. После долгого и жадного глотка помолчал, а потом сказал:

— Шли бы вы, сеньор журналист. Не нашего с вами ума это дело. Отвезли мы Конга в тюремный госпиталь, что в Кальяо. Там уже помер. Только странно помер, не хочу я об этом ни говорить, ни думать. Шли бы вы.

И Непоседа, въедливый как дуст, цепкий как клещ, циничный и бессердечный писака, умеющий засунуть нос даже в замочную скважину, вдруг встал послушно, невнятно попрощался и бочком, бочком — вышел на улицу. По немощеному переулку бежала хромая шелудивая собака с куском гнилого мяса в зубах.

Заслуживают жалости и снисхождения те несчастные, что, пытаясь разобраться в сущности, снова и снова забывают суть.

Так говорил Дедушка

«Монсеньор!

Помните ли Вы, как в марте пятидесятого на пороге Вашей резиденции в Маниле давали напутствие мне и еще четырем выпускникам академии? Мы отправлялись нести Слово Божье на восток от Фиджи, в пределы, где от начала веков царили язычество и каннибализм. Свое назначение на Анъяр я воспринял всем жаром сердца, смиренно и благодарно, считая высокой честью столь сложную и ответственную миссию.

«Перед вами — чистые сердца и детские умы, — говорили Вы. — То страшное и злое, к чему туземцы имеют несомненную привычку — лишь дань укладу предков. Дайте каждому Слово по силам его, не противопоставляйте Учение тому ущербному представлению о мироздании, которое сложилось в их замкнутых общинах за тысячелетия дикого существования. Познав Истину, они постепенно сами избавятся от предрассудков, сковывающих их умы и сердца».

Сегодня я дерзну переспросить, Монсеньор, имели ли Вы тогда в виду, хотя бы и подсознательно, печальный опыт капитана Иностранного легиона Жоакина Апату, своими варварскими и бесчеловечными действиями спровоцировавшего в том числе и трагическую гибель моего предшественника дона Гомеша? Гибель — ибо иным словом я не могу назвать самоубийство, совершенное от стыда за содеянное другим человеком.

И чем объяснить тот покров тайны, что скрывал долгие годы обстоятельства произошедшего на Анъяре? Понятно желание перевернуть печальную страницу истории нашей епархии, но сегодня, после всего случившегося с моим прихожанином и, не побоюсь этого слова, учеником — Саоаном Кьонгом, погибшим в Перу около полугода назад, некоторые почти забытые вопросы вновь требуют прямого и развернутого ответа».

Дон Паулу отложил перо, не в силах перейти к пересказу обстоятельств смерти Саоана. Поэтому решил просто приложить к своему письму другое, полученное неделей раньше от капеллана тюремного храма в небольшом городке в пригородах Лимы.

Малообразованный, но скромный и работящий капеллан подробно описал последние дни заключенного Конга, умиравшего почти две недели. Никто не мог помочь ему, потому что не было врача, способного оперировать пробитое сердце. Простое, но несущее большие осложнения слово «чудо» пожаром разлетелось по тюрьме.

Когда Конг приходил в себя, что случалось четырежды, он заговаривал с больными, лежавшими на соседних койках. Капеллан всячески старался избегать термина «проповедовал», но выглядело это именно так. Слова умирающего туземца передавались из камеры в камеру, обрастая толкованиями, звуча светлым эхом в затхлых коридорах тюрьмы.

«Я чувствую, что в этих обрывистых и спонтанных, но все-таки правильных изречениях, — писал капеллан, — никак не противоречащих догматам нашей веры, кроется, тем не менее, какой-то иной смысл. Будто немой силится что-то объяснить. Это послание исходит от дикого существа, рожденного в язычестве, но принявшего крещение и всеми силами наставляющего на путь истинный окружающих его людей. Тем страшнее ощущать, сколь древнее и изощренное знание проглядывает не вопреки, но сквозь незыблемые основы истинной веры».

Конг попросил исповеди. Именно тогда капеллан узнал о пастве Анъяра. Заклю-

ченный назвал дона Паулу своим духовным наставником и просил сообщить ему, дословно, что «кэнхэ Анъяра завершается не так, как хотелось бы».

Далее капеллан писал:

«Он умер у меня на руках, спокойно и с благодарностью Господу на устах. Будто остановились часы, замерло сломанное сердце Сана. И на тюрьму опустилась тишина. Днями позже я исповедовал многих заключенных, и все как один обращались ко мне с единственным вопросом: правда ли, что нас покинул Святой Конг».

Дон Паулу снова взял перо, макнул в чернильницу и продолжил:

«Моя вера пошатнулась, дон Филипе. Случившемуся на Анъяре сыщется подобие лишь в анналах Конкисты. В одну ночь мы, пусть и чужими руками, стерли с лица Земли целую цивилизацию.

Я по-прежнему здесь, на Анъяре и с анъярами, но в расколотой скорлупе не осталось ядра. Эти люди послушно крестятся и восхваляют деяния Господни, но при этом уверены, что обречены. Еще они считают меня колдуном. Просят у меня не лекарств, а лечения, не прогнозов погоды, а спокойного моря, не советов по земледелию, а хорошего урожая.

Мой погибший ученик был их последней соломинкой — и она истлела в далекой перуанской тюрьме. Мне нечего дать этим людям, и я прошу Вас...»

Еще несколько лет прокрутились пестрой кинолентой.

Узкоглазые парни на русских танках гнали к Сеулу остатки американской армии, бородатый вояка перекрасил буржуазную Гавану в красный цвет, арабы и евреи перешли от слов к делу не без помощи старших братьев с обеих сторон. В этой чехарде даже самое сильное землетрясение в истории человечества промелькнуло почти незамеченным — слишком уж далеко от Центра Мира. Большей части европейцев не было дела ни до Чили, ни, тем более, до коралловых рифов где-то в Океании. А пропавший остров — атоллом больше, атоллом меньше...

За десять тысяч километров от мели, раньше называвшейся островом Анъяр, в престижной психиатрической клинике молодой врач по имени Эрнесто размышлял над историей болезни своего самого сложного пациента.

Жоакин Апату, бывший военный, прошедший несколько войн и заварушек, в один прекрасный день решил, что он мертв. Это событие так опечалило пожилого полковника, что он попытался отрезать себе голову кухонным ножом.

Родственники щедро платили клинике за целость и сохранность полковничьей головы. Эрнесто пытался разговорить пациента, вывести на откровенность, найти в его прошлом отправную точку, послужившую началом помешательства, но старик озлоблялся, вопил с пеной у рта про какие-то двадцать тысяч душ, и лечение снова сводилось к уколам успокоительного и смирительной рубашке.

На столе в палате Апату стояла выцветшая фотография, датированная сорок шестым годом. На ней молодой Жоакин в форме французского легионера жизнерадостно щерился в объектив. Слева от него застыл жилистый и невысокий пожилой священник, справа — рослый круглоплечий старик-абориген.

Паулу Мориньу, сухопарый загорелый мужчина средних лет, с залитого солнцем двора шагнул в полутьму хижины. За его спиной простирался бесконечный сияющий океан. В отлив можно бродить по упругим ребристым рисункам из черного и бронзового песка, каждый раз новым, и вспоминать.

С тех пор как три года назад Паулу навсегда снял сутану и вернулся во Французскую Полинезию, он так и не нашел себе достойного занятия, которое отвлекло бы от бесконечных и губительных размышлений.

Португалия включилась во всемирную туристическую гонку. Бесплодный клочок земли в Фару, доставшийся еще деду от его прадеда, внезапно стал источником дохода и гарантией безбедного существования — при более чем скромных запросах аскетичного падре Анъяра. Бывшего священника исчезнувшего острова.

...В ту ночь, когда зарево, полыхавшее в пепельном небе Анъяра, вдруг погасло за несколько минут, дон Паулу сидел на корме своего неуклюжего катерка. Махат Льена, сломавшая ключицу и почти три дня пытавшаяся лечить себя травами, пока не

упала в беспамятстве прямо на мессе, лежала в куче брезента, уже мокрого насквозь, и то стонала, закрыв глаза, то молча вглядывалась в огненные сполохи за спиной священника.

В вибрацию мотора вплеталась судорожная дрожь океана. Короткие, косые, пьяные волны накатывали то справа, то слева. Никто из туземцев не согласился выйти на воду во время извержения, как ни упрашивал, ни грозил, ни уговаривал их мечущийся по дворам священник. Они прятались от океана, но чуть позже океан сам пришел за ними, когда расколовшийся вулкан ломтями опустился в пучину.

Утром, уже приплыв в обитель францисканцев, где, по крайней мере, жил врач и было некое подобие клиники, ни Паулу, ни Махат еще не подозревали, что, кроме них двоих, больше некому вспомнить о погибшем Анъяре — вулкане? острове? человеке?..

А сейчас Махат Льена склонилась над колыбелью-гамаком, где потягивался еще не совсем проснувшийся маленький Игнасиу, унаследовавший имя далекого португальского дедушки.

Как я мог когда-то не замечать ее красоты, удивился Паулу, разглядывая смеющуюся жену. Неужели был столь слеп и надменен, что за тяжелым подбородком, бесформенной переносицей, вывернутыми ноздрями и битыми оспой щеками не видел сути — человека?

— Просыпайся, Листочек! — Махат говорила с сыном на диалекте архипелага — анъяр она забывала стремительно, словно прогоняя страшное воспоминание.

Паулу улыбнулся. Каких только имен не придумывают детям любящие матери...

Елена Крюкова

Краденая помада

Рассказ

Памяти жертв 11 сентября в Нью-Йорке

Они сначала жили у нас в Ленинграде, тьфу ты, у нас в Петербурге, все никак не привыкну к этой перемене. У нас в Питере, вот как лучше сказать.

Смешное семейство такое! Фамилия их была Белосельские. Я любила у них бывать. Не часто, но забегала. Мамка семейства, такая огромная, толстая, как толстая серая кукушка, все переваливалась с боку на бок, неуклюже по комнатам бегала — да, да, не ходила, а бегала, это по квартире-то! — пухлыми уютными боками сбивала на пол старинные, уже сплошь подклеенные вазы и клетки с волнистыми попугайчиками и все куковала: «Ах, чайку!.. Ах, что это за чаек!.. Ах, да это ж не чаек, а просто какие-то писи тети Хаси!..» Носик крючком, седые букольки, а мамку звали не тетя Хася, а еще хлеще: тетя Двойра. Двойра — это в Ветхом Завете Дебора, это я в Библии нашла такое имя. Дебора — это я понимаю! Это красиво. Это звучит гордо. А Двойра? Дворничиха какая-то. Ох и добрая тетка была! К чаю все кнедлики с маком, облитые медом, подавала... Сама стряпала...

И даже в самые тяжелые времена, во все путчи-говнутчи, во все дефолты и голодухи к празднику тетя Двойра кровь из носу, а фаршировала щуку. Щучка фаршированная — о, это была песня! Я так классно никогда готовить не научусь.

Старая питерская квартира, соты коммунальные. И люди, как пчелы, жужжат. Стены обшарпанные, как не до конца облупленное вареное яйцо. Пахнет с кухни газом; горелки почти всегда включены. Зимой они включены для того, чтобы с кухни шло тепло. В комнатах, особенно в лютые морозы, в декабре-январе, ох какая холодрыга стояла! Я приходила, и на меня сразу напяливали шерстяные носки. Ух и носочки! Голландия отдыхает. Толстенные, полосатые, домашней вязки! Сама тетя Двойра вязала. А иногда и ее мамушка спицами двигала, бабка это, значит, самая тут старая в семье. Бабка тихо, послушно сидела в старом, глубоком как дупло кресле, оттуда высовывалась, ну точно как из дупла, ее высохшая птичья головенка на тощей сухой птичьей шее. Она напоминала мне больного, общипанного птенца. Над безволосой головой бабки стояли на полке три клетки с попугайчиками, один был желтый, другой зеленый, третий синий, и все чирикали бойко, а слова никакие не говорили. Все тихо, молча и покорно ждали бабкиной смерти. Я это понимала. Ждали, но никогда не говорили про смерть. От кресла тихо тянуло соленой старческой мочой

Елена Крюкова родилась в Самаре. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт им. Горького (семинар А.Жигулина, поэзия). Публикуется в толстых литературно-художественных журналах («Новый мир», «Дружба народов», «Знамя», «Москва», «Нева», «День и Ночь», «Сибирские огни», «Юность», «Волга» и др.). Автор книг стихов и прозы. Финалист премий «Ясная Поляна»-2004 (роман «Юродивая») и «Карамзинский крест»-2009 (роман «Тень стрелы»). Лауреат премии «Согласование культур»-2009, Германия, в номинации «Поэзия». Арт-критик, куратор и автор ряда художественных проектов в России и за рубежом (вместе с художником Владимиром Фуфачевым). Публикуемый рассказ был удостоен специального приза Волошинского конкурса-2010. Живет в Нижнем Новгороде.

вперемешку со старыми, сладкими, типа «Красной Москвы», духами. Если я пила за столом со всеми чай, я старалась отвернуть лицо и дышать в другую сторону.

Мне Юлька сказала, грозно и настороженно подвывая: ты че это отворачиваешься, Галька, а? Че-то там в углу заметила? Мышь? Мне стало стыдно, и я буркнула: да, мышь, пробежала уже, — и Господи! А Юлька уже на стуле ногами стоит и орет благим матом!

Со стула сняли; еле успокоили.

Юлька, Двойрина дочка, дочушка, дочурочка, поленце-чурочка. Отличная девка, ну своя в доску! Отпадная. Веселая, лягва, ниче ее не берет! Однажды ее в больницу запичужили, она жаловаться стала на слабость. Идет-идет по улице и на лавочку присядет, как старая бабулька. Ну, врачи, они конечно... Их медом не корми, дай человечка полечить. И с него — денежку содрать! Говорят Юльке: у вас то, се! Куча проблем, в общем! Неизлечимых! Но мы полечим, за хороший куш. Все для вас! Юлька из больницы сбежала. Я помню, я пришла к ним, а Юлька перед зеркалом сидит, губы красит. И стрижка у нее уродливая, просто тифозная. Все волосы с башки сняты! Как у скинхеда! Может, думаю, она скинхедкой заделалась? Все, кричит мне, меня увидя в зеркале, я излечилась! От рака, мать, излечилась, прикинь! Пошли все доктора на хер! Я задрожала, колени подкосились, и я прямо на пол села, на грязный пол, и платье в попугайских какашках испачкала, это бабка клетку уронила, и все рассыпалось — и зерна, и крошки, и говнецо. И никто не убрал. А я не увидела. А синий попугай мне вдруг крикнул по-человечески: «Р-р-рак! Р-р-рыба! Р-р-рак! Р-р-рыба!» На полу сижу. Как излечилась, кричу, как?! А Юлька мне: да пошла в Никольский собор, в морской, да хорошенько помолилась! А я кричу: а почему ж не в синагогу?! А Юлька все мажет губы перед зеркалом. А потом повернулась и орет, будто бы я глухая: а потому что Бог один! Один Бог! Нас много гадов, а Он — один!

Ей шло накрасить губы. Губы у нее были такие пухлые, полные. Инъекции силикона делать не надо. Анджелина Джоли просто отдыхает, отдыхает! Или уже, сволочь голливудская, не отдыхает, а завидует!

Да нет, забавная семейка, конечно. Немало я там развлекалась. К примеру, прихожу однажды — а отец, Самуил Моисеич, лысый такой, добрый такой, сам на клювастого попугая похожий, в гробу посреди гостиной лежит! Ну, натурально, в гробу! Я прямо вслух говорю: еж твою мать! Самуил Моисеич, что это с вами! А он мне: «Свами, — говорит, — Вивекананда!» И хохочет, громко рыгочет, прямо рычит от смеха, булькает весь! В гробу-то! Я ниче не понимаю. Первая мысль: спятил дедулька. Ведь живой еще. Глаза перевожу — и в полутьме, в дыме табачном фигуру примечаю! Фигура стоит, дым изо рта, белый квадрат под локтями, и скипидаром воняет! Черт, да ведь это старикана — с натуры рисуют! А он-то, в гробу, весь трясется от смеха, как холодец: «Галичка, Галичка, ты ж не пугайся, деточка!.. это ж мене для вечности... для ве-э-э-э-эчности!..» Блеет, как баран. И я заблеяла вместе с ним, как веселая овца! А он кричит: «Возьми-ка вынь из шкапчика штофик!.. Там красненькое еще осталось!.. Щас из гроба встану — и сядем, вмажем с тобой, детулечка...»

Художник тот смолил аж до одуренья. Кистями барахтал по холсту. Картина вышла исключительная. Дядя Сэм в гробу смирно лежит, до полу красные складки бархатные льются, а в борт деревянной лодки гробовой белый голубь красными лапками вцепился. Голубя тот малеванец сам, из головы, сочинил. Но к месту. Все по делу. Все не по-детски. Я парня по плечу хлопнула и говорю: да, чувак, это непадецки! А Моисеича спрашиваю: дядя Сэм, это вы художнику должны денежку в лапку, вы заказали себе такую мощную картину? Так это ж дико дорого стоит, а? Он ржет заливисто! «Это я ему по его просьбе позировал! Это он мене должен! Щас заплатит, удод, и мы его... в лавку пошлем!..»

Коммуналка у Белосельских была на Литейном проспекте, и в лавку художничка послали на Невский, потому что тетя Двойра поручила парню купить еще хорошенький тортик в кондитерской «Север», а Двойра называла ее по старинке: «Норд». Парнишка принес из «Норда» шоколадный тортик, и мы навернули его под отличный кагорчик. А потом, когда все быстро съели, и выпили и облизнулись тоскливо, дядя Сэм с хитрой рожей, похожей на веселый сморчок, вытащил из-под дивана еще бутыль, и это тоже было красненькое, он красное вино любил и торжественно гово-

рил: от него в крови рождаются красные кровяные тельца! — а Двойра поджимала губы и презрительно поправляла дядю Сэма: «Не тельца, а тельцы». И Сэм вскричал победно: «Эх, гулять так гулять, стрелять так стрелять, как поет великий Разъебаум! Юличка, свари-ка ты нам глинтвейн!»

И Юлька подпоясалась старым, прозрачным от жира, нестираным фартуком — и пошла на кухню, где от мороза полыхали все конфорки чудовищными синими зимними цветами, и вылила бутылку красного в обгорелую кастрюлю, и запустила туда цедру, и гвоздику, и корицу, и кардамон, и пес знает что, — все, что дома нашлось по сусекам, — а потом еще влила ложку меда и для верности сыпанула полсахарницы сахарку. У-м-м-м-м! Это был глинтвейнчик, я вам скажу!

А за окном бесился питерский январь, ветер дул как сумасшедший с Финского залива. При таком ветре щеки можно было как делать нечего обморозить. И Юлька сказала, прихлебывая горячий глинтвейн и грея ладони о чашку:

— Папа, хочешь новость? Я беременна.

И дядя Сэм сначала дернул бровями, раз, другой, а потом они задергались мелко, задрожали, а потом поехали вверх, все вверх и вверх, и я испугалась, что они сейчас соскочут со лба.

— Ишь? — только и смог выдавить он из себя, как масляную краску из тюбика.

И за столом повисло такое молчание... такое...

Ну, думаю, щас Сэм как запустит в стенку чашкой, такое у него стало лицо...

А тетя Двойра шумно, как насос, вздохнула и припечатала:

— Рожай. Воспитаем!

И все за столом сразу загудели, заблажили, загремели и зазвенели! Вроде как все превратились в рюмки, тарелки, ложки и вилки, такой стукотон поднялся! Обрадовались все этому будущему ребеночку, что ли? Я под шумок плеснула сама себе еще глинтвейна из кастрюли, зачерпнула половником старинным.

И тут вообще началось. Юлька отодвинула от себя чашку с дымящимся глинтвейном. И рожа у нее сделалась такая, такая! Ух! Решительная.

И опять все затихли. Фокуса ждут!

А Юлька лепит всем в рог:

— Я не буду, — говорит, — здесь, в этом долбаном государстве, ребенка рожать! Я, — говорит как режет, — хочу, чтобы он родился в свободной стране! Я не хочу, чтоб он загнулся от нищеты! От недоеда! Оттого, что у мамашки его от голода — молока в грудях мало! И я рожу его...

Тишина вообще стояла капитальная. Небесная. Как за облаками.

— В Америке! И он!

У Двойры глаза были круглые, как по циркулю.

— Будет! Гражданином! Америки!

— Матерь вашу, Юлечка, за ногу, — радостно нарушил гробовое молчание дядя Сэм, — а как же вы туда-то, в тую Америку, будете, блин, переселяться, хобот мне в рот?

Очень вежливый старикан был дядя Сэм.

Парнишка-художник онемел от восторга. Облизал испачканные шоколадом пальцы. Бабка слегка пошевелилась в кресле, и я услышала слабый котячий писк, и аммиачный запах поплыл, и прямо на меня. И я отвернула лицо, задержала дыхание и уже не видела Юльку, а только слышала ее голос:

— Очень просто! Я с Мишенькой списалась! Мишенька с Радочкой в Нью-Йорке щас живут! Делов-то! Как два пальца об асфальт! Он на нас на всех вызовы в посольство уже послал!

— А вдруг не выпустят? — трусливо спросила Двойра.

И тут парнишка-живописчик бодро так крикнул, на весь стол, аж рюмки забрякали:

— Выпустят! Всех теперь выпускают! Мы ж тоже в свободу играем!

Я погладила Юлькину толстую коленку под лохматой скатеркой и тихо спросила:

— Эй, Юль, а как ты его назовешь? Или ее?

— Вот рожу и назову, — сердито сказала Юлька и подняла красную рубиновую рюмку. — За Америку!

И все мы выпили за Америку.

Чудеса бывают всякие на свете, но все мое чудо-семейство действительно выпустили. Всем разрешили лететь; и даже старой безумной, уже безъязыкой бабке, что спала в кресле с открытыми глазами, чуть двигая в воздухе чуткой тощей шейкой. «Галька, — возбужденно кричала мне Юлька, пакуя чемоданы, — Галька, ведь это правда! Ведь это все правда, что мы уезжаем!» У нее шел шестой месяц, и живот уже начал хорошо, заметно выпирать. Ты там осторожнее, беспокоилась я, ты тяжести-то не поднимай, ты зачем полчемодана книжек нагрузила, что, в Америке книжек нет, что ли? «Там английские!» — бешено блестя синими выпуклыми белками, кричала Юлька. Ее потные волосы вились круче пружин. Я беспокоилась за все. Беспокоилась, как они устроятся в Нью-Йорке; на что будут жить; как и где Юлька будет рожать, в приюте для бомжей, что ли, ведь у семейства не будет ни доллара на хорошую клинику; попросту, что они будут жрать и где спать. На все на это беспокойство Юлька отвечала лишь одно: «Прорвемся!»

И я представляла, как Юлькин самолет прорывает стальным носом плотные серые тучи над городом Нью-Йорком — и ныряет вниз, еще вниз, кружит над аэропортом Джей Эф Кей, то бишь имени Джона Кеннеди, и торчат скелетные каменные пальцы небоскребов, и самолеты взлетают и садятся, как божии коровки, так их много тут, садятся чуть ли не друг на друга, и вот она, посадочная полоса, и вот он, паспортный контроль, и вот носовая английская речь вокруг, и вот она, новая жизнь. И пузатая моя Юлька идет уже по сверкающему залу аэропорта, прижимая к груди загранпаспорт с визой, а за ней тащится тетя Двойра, катит на колесиках чемодан, а за ней плюхает дядя Сэм и тоже тянет колесную сумку величиной с кабана, а другой рукой везет кресло на серебряных колесиках, и в кресле сидит старая бабка, жамкает впалым ртом, глядит птичьими застылыми глазами на блеск и вспышки, на гладкие и радостные лица. Страна радости, твою мать! А у нас что, страна печали?!

Они улетели, и я потеряла их из своей жизни, ну, так идут по лесу и из корзинки теряют гриб. Ну, нескольких грибов недосчиталась, ну и что? Новые вырастут, и новые соберу. Да и в корзинке моей другие, крепкие грибы были. И я для кого-то тоже была грибом. Меня тоже кто-то срезал и в корзинку к себе положил.

Плевать. Все мы друг для друга грибы. Все мы друг другу — еда.

У меня дома интернета не было, матери было это дорого подключать, и я иногда ходила в интернет-кафе одно, к знакомой девчонке одной, она тут барменшей работала. Она меня бесплатно за компьютер сажала и шептала: давай, наяривай, пока хозяин не увидел. А часто и хозяина в кафешке не было. Я и рада стараться. Вот сижу однажды и вижу у себя в ящике письмо. Адрес незнакомый. Ух ты! Юлька! Из Нью-Йорка!

Письмо довольнешенькое. Огромное! Прямо Библия, а не письмо! Я жутко обрадовалась, сверх меры! А подружка моя видит, что я разулыбалась, такая вся счастливая сижу, и на радостях мне раз! — и бесплатно чашку кофе несет! Я сижу, кофиек халявный попиваю, от Юлькиного письма балдею. Везет же людям! Счастья полные штаны!

Ну хоть кому-то пусть повезет, думаю.

Вот так приблизительно Юлька писала, я щас по памяти не все точно воскрешу:

«Приветик, старушка! Как ты там? Как Питер? А у нас в Нью-Йорке все зашибись! Приземлились мы, правда, еле-еле, такой полет был крейзи, через Атлантику-то нормально перепрыгнули, а только самолетик наш вшивый зашел на посадку, как поднялся такой ветер, мать, у-у! Дикий просто ветер. Самолет зашвыряло! Ну, я сижу, в подлокотники впилась как клещ и думаю: все, пипец. Но так остобрыдла вся эта нищая жизнешка в питерских наших трущобах, что вот она, Америка, рядом, под брюхом самолета, под шасси уже, и в ней и помереть не жалко! А про ребеночка думаю: эх, блядь, да ведь его одного только жалко, пацаненка, разобьется, еще нерожденный, мальчик это, по УЗИ уже сказали! Представь себе, подруга, я второй раз в жизни помолилась! Примерно так: святой Господь Бог, прости мне все мои при...здоны и за...бушки! Оставь Ты мне жизнь, моему первенцу и моим шнуркам кислым, гляди, они сейчас от страха обосрутся! Милый Господи, все, все для Тебя

сделаю, дай только хоть чуток пожить в Америке! И Он, представь, услышал! Блин, мать, я уверовала в натуре! Самолет как взмоет чуть ли не с полосы, опять в небо, шасси, как гусь лапки, подобрал, и еще часа два над Нью-Йорком кружил, топливо, собака, вырабатывал! Чтобы мы при посадке, если она жесткая будет, не взорвались к этакой матери! Ну и вот! Если я тебе пишу это письмо, значит, мы сели, ха-ха!

Баба Маня, как ни странно, была о'кей, я за нее больше всего волновалась. Она все к себе клетку с попугаем прижимала. Она ему туда святой мацы накрошила! Одного только паразита в Нью-Йорк взяли, остальных, ты ж помнишь, в Питере по друзьям раздали.

Мишенька встретил нас — ну, хрен ему в рот. Стол был — блин, как на приеме в Белом доме! Чего там только не было! Я уж и забыла про такую едьбу. Жрала как крольчиха, ну, нас же двое, он же тоже есть же хочет! А Мишенька мне все подкладывает, все горкой накладывает: ешь, Юлечка, ешь, солнышко! Ешь, ты уже в Америке! Статую Свободы только не съешь, она не шоколадная! Ели-ели, пили-пили, смеялись-смеялись! Устали. Спать легли. Матрацы у Мишеньки — мягче облаков! А простынки розами пахнут! Вообще хата — ошизеть! Не в центре Нью-Йорка, нет; в Квинсе, но это все один хрен, это все равно Нью-Йорк, а себе думаю: хорошо, братец, что не в Гарлеме! А он мне: а что вы все Гарлема боитесь, обычный райончик, только черножопых погуще! Ах, бандиты?! А у нас в Питере как будто бандитов, как клопов, повывели! Да что вы говорите! И все шутит в таком роде.

Обжились мы чуть-чуть. Я живот таскаю уже тяжелый, как гирю без ушей. Вот, думаю, парень-то мой богатырь! Как назвать, думаю? Ведь он родится — и уже гражданин Америки! Блин! Как? Джон? Ричард? Джошуа? Джереми? Джереми, отличное имечко. Это в честь пророка Иеремии! Папульке понравилось. А насчет себя он вообще дико ржал: я, говорит, в России был американский дядя Сэм, а в Нью-Йорке-то я кто?! Может быть, вообще Семен?! Сеня, может?! А я ему: по Сеньке шапка, по его матери колпак! В общем, ржем без перерыва. В режиме нон-стоп.

А тут Мишенька наш хлебосольный вдруг нам и задвигает: я, мол, вас приютил, кормил-поил, да у меня ж своя семья, и вы тут у меня уже два месяца кантуетесь, и никто из вас жопу не почешет хату себе найти, так я ж за вас ее вам уже нашел, хорошее место, не Нью-Йорк, правда, зато Нью-Йорк из окна через Гудзон видно, Джерси-сити называется, в кирпичном доме, мимо окошка пожарная лестница, так что если пожар, ржет, по лестнице на землю удобно стрекотать! Нам всем очень стыдно стало. Мамулька Мишеньке говорит: спасибо, Мишенька, вообще за все. Будем устраиваться, да только вот Юльке прямо завтра ведь уже рожать, может, еще поживем у тебя? А он такой злобный сделался. Будто бы и не Мишенька вовсе, а какой-то дракон. Орет, слюной брызгает. Ну, мы собрали чемоданчики. Он нас, спасибо ему, говну, на своей тачке до этого Джерси-сити довез, и я все на Нью-Йорк в окно любовалась, все еще не верила, что я тут, что все мы тут.

Красиво тут, мать! Все это страшные сказки, что в Нью-Йорке черный смог, до фигища машин и до фигища грязных проституток на Бродвее. Воздух чистый! Все врут про смог! Ветер, блин, морской, океанский! Соленый! Кайф! В Сентрал-парке — белочки хлебец из рук берут! На улицах все веселые, жизни радуются! Постной рожи не увидишь, даже у негров! Пусть америкосу говенно, пусть у него кошки скребут на душе — но он тебе кажет тридцать два голливудских зуба и поет: о'кей, о'кей! У меня все о'кей! Я, когда гуляла однажды вечером по Бродвею, голову задирала, ею вертела как веретеном, все разглядывала жадно, остановилась около отеля «Хилтон», ну это, знаешь, знаменитый такой тут отель, очень крутой, тут номер до трех тыщ баков стоит, и думаю себе: а че, в честь этой дуры Пэрис Хилтон, что ли, отель назвали? Светская блядь. Как наша питерская говнючка Ксения Стручок. Деньги есть, ума не надо! Этот «Хилтон» — весь в огнях. Вашу ж мать, думаю, все горит и пылает! Все рекламы — веером, как хвост павлиний! Башка закружилась. Чуть не свалилась под фонарь и коньки не отбросила. Потом мне сказали: это, darling, у тебя был культурный шок.

Шок-шок, порошок! Наплевать. Мне главное было — ребеночка здоровенького родить! А мы в новой хате, обживаться надо, да хата-то, Галька, если честно, паршивая. У нас в Питере коммуналка наша засранная в сто раз лучше была. Хорошо, что

мы ее не продали: папулька ключи дружку оставил, чтобы мы могли в любое время вернуться. Это он умно придумал, да? Старый мой попугайчик!

Хата тесная. Понятно, дешевая. По нью-йоркским меркам. Тыща баксов. Однако ж надо где-то ее каждый месяц взять, эту долбаную тыщу! Мать на пособие подала, папулька тоже, я тоже. Отписали: удовлетворим вашу просьбу, если у вас будет хороший адвокат. А где он, тот адвокат? Он ведь тоже бабок стоит! Нашли адвоката. Он нам: десять штук, и вы встанете в очередь на грин-карту! Я сам похлопочу! О, думаю, десять штук, ни хера! Думаю: питерскую квартирку придется на хрен продавать. Мамулька ревет! Бабка в кресле сидит и молчит. Приехали в Америку, забодай ее комар!

Адвокат выхлопотал нам пособие какое-то все-таки, мы ему денег нашли. Подтянули пояса потуже и нашли. Мишенька помог, и еще один родственничек, отыскали мы, он на Брайтоне живет, Левушка. Левушка-блин-коровушка, но при бабках чувак. С нас расписку взял, что мы, мол, в течение года... Я ору: года мало! Мы не заработаем! Он ручку погрыз и написал другую: в течение двух лет...

А я тут одно дело сообразила. Ты только не ржи, подруга, не смейся, а то живот заболит. Я по супермаркетам начала шататься. Ну, кошелек с собой возьму, понятное дело, но продуктов-то не расшикуешься купить на эти гроши. С железной сеткой в руке хожу меж рядов. Шастаю: туда-сюда, туда-сюда. Вроде как выбираю. У меня живот большой, ко мне все — уважительно. Лопочут по-английски, я ни хрена не понимаю, но киваю и улыбаюсь. И так иду медленно, медленно... заслоняю своей широкой жопой прилавок... и хвать — из-под живота своего сугробного — кусок сырой рыбы — или курицы — или там печенку, и жжик! — в карман. У меня, знаешь, такое платье было, специальное, для пузатых, мамулька пошила. Широкое, как балахон, и с кучей карманов. Карманы как мешки. Озираюсь: никто не увидал?! Да нет, никто вроде. Хотя там везде камеры слежения! Так и наберу в карманы эти необъятные кое-чего. Слюнки уже текут. Мой младенец просит жрать! Сейчас, сейчас, говорю ему, сейчас мы с тобой затаримся, радость моя! А в корзинку, для отвода глаз, медленно и важно кладу так, кое-чего. Хрень всякую дешевую. Ну, чтобы хоть что-то купить и на кассе пробить.

Так я и приловчилась красть, мать! И мне не стыдно! Я нашему семейству денежную участь облегчала! И мальчонку кормила хорошо, то есть себя! И хохотала над собой: ни фига, Юлька-рогулька, че ты в Нью-Йорке-то творишь! Уголовщина какая-то!

Но остановиться уже не могла, да и весело это мне было, чертов адреналин, встрясочка такая! Ребенок мой, Джереми, в животе от радости кувыркается! Футболит меня! А я на кассу железную сетку несу. Плиз, улыбаюсь широко, во весь рот, как все они, пли-и-и-и-из! И кассир мне тоже: пли-и-и-и-из! И я ему на прощанье: сенкью вери мач!

А потом отойду в сторону и по-русски скажу тихо: Сенька, бери мяч! И опять хохочу.

А на улицу выйду — в карманы руку запущу, всю краденую снедь вытащу и в сумку набросаю. И, мать, героем по этому Джерси, еп, сити иду! А домой приду — мамулька хнычет: откуда это все, ведь у нас же денег нет, ты что, Юлька, ты ж пузатая, наглости в тебе хоть отбавляй, ты нам честно с отцом скажи, ты что, блядью заделалась?! Кому ты даешь?! За сколько?! Неграм?! Так ты ж, дура, заразу подцепишь, если без резинок!

Ну, Галька, я тебе скажу, я хохотала так, что у меня аж скулы болели. До коликов хохотала! А мамулька плакала. А потом мы вместе жарили свежую печенку на американской шикарной сковородке, и она уже тоже хохотала и с аппетитом ела.

И вот однажды, мой уже вылезет со дня на день, я зашла не в продуктовый отдел, а, знаешь, в наш, в женский, в бабий. В косметику, короче. Восторг! Умопомраченье! Каких тут только бабьих бирюлечек нет! И все фирма, и все дорогое, дорогущее. Тут тебе и «Ланком», и «Ив Роше», и «Клиник», и «Эйвон», и «Живанши», и «Кензо», и «Мэри Кэй»! И черт знает что и кто! И пудры, и тени, и тушь, и блеск, и румяна в шариках таких мягких, как темные вишенки или смородинки... и духи, духи! И вижу, таким военным строем, обоймой такой, патронташем убийственным выстроились

помады! Сто помад! Тыща! Глаза у меня как примерзли к ним. Я сто лет не красилась уже. Только о жратве и думала. Да и не на что было бы все это покупать. А тут — вот оно все! Рядом.

Ну я и сказала себе: Юлька, ты ж смелая девица! Вперед и с песней! Не робей, воробей! Давай, давай, похить! Глупую такую, старую песенку ни к селу ни к городу вспомнила: похить меня, похить, похить, не похищалась я ни разу... Руку жадно так протянула. Мне наплевать было, откровенно говоря, какой у нее будет цвет. Розовый? Темно-коричневый? Сливовый? Земляничный? Ярко-алый? Кровавый? Малиновый? Или вообще цвета не будет никакого, так, блеск бесцветный, прозрачный? Начхать, шептала я себе, начхать, хватай скорей!

И схватила. И не заметила: камера-то — прямо над моей головой.

Ну, дура и дура, что с дуры взять. Оглянуться надо было! Головку задрать хотя бы!

Иду к кассе, натянуто улыбаюсь. Вот уже подошла. Кассирше все тридцать два зуба показываю. А их у меня по правде уже не тридцать два, а зубов двадцать осталось всего, еще в Питере все полетели, кальция, что ли, мало в костях. А кассирша мне странно не улыбается. На какую-то кнопочку под кассой пальцем давит, еж ее мать. И вижу — полицейский идет, плывет, толстяк, коп по-ихнему. Ко мне плывет! Я замерла. Помаду в кулаке, в кармане, крепко сжала. Так сжала, что она мне, гадина, в руку впилась! Коп мне что-то лепечет, сердитое. Кассирша на экране ему кадр остановленный показывает, в экран пальцем тычет. Маму вашу за ногу, догадалась я! Это они меня засняли! Все, улика налицо! И сяду я, блин, вместо роддома для нью-йорских бомжей и скамеечки, а рядом колясочка, в Сентрал-парке, и белочка ест из руки, в красивую и чистую американскую тюрьму! А сколько у них за кражу дают-то, соображаю, сколько, сколько?! Да ведь не знаю! Не знаю, но чувствую: много дают!

Везде, во всех странах мира за дерьмовый проступочек — тыщу лет дают. А за отмывку сотен миллионов баксов — ни шиша не дают!

И меня пронзила вдруг мыслишка: эх, да везде несправедливость, а что толку, что мы сюда из Питера убежали! Одно утешает: ну мелкая кража-то, мелкая, маленькая такая! Помадочка жалкая... туда ее в качель... соблазнилась, блин...

Коп меня за локоть — цоп! Я даже не вырываюсь. Он на меня так пристально глядит, огромный такой, горой надо мной навис! Я чуть присела от такой его величины. Не человек, а горилла какая-то! Орангутан. Боюсь. Двумя руками живот свой непомерный поддерживаю. А коп мне по-английски: плиз, кам виз ми! Ну я поняла: идемте со мной... И в сторонку отводит. К окну. И садится передо мной на подоконник. Одышка у него, грузный, толстый. В Нью-Йорке вообще много толстых людей. Гляжу я, мать, на него — глаза в глаза гляжу. И он же прекрасно видит, что я брюхатая и иностранка!

Господи, Господи, Господи, опять, как в самолете, молюсь, в третий раз в жизни, ну что ж он на меня так смотрит! И вообще молчит! Заткнулся!

Молчит — и вдруг меня за руку берет. Ну, все, думаю, подлизушки начались! Ко мне-то, к пузатой рыбе фугу! Я усмехнулась так нехорошо. Надменно так. Он понял. Руку убрал. Я ему говорю гордо: ай эм рашен, энд ит из май бэби, — и на живот пальцем показываю. И думаю: блядь, я ж не могу ему сказать, не надо нас в тюрьму, пощади нас, кореш, отпусти нас!

Клянусь тебе, Галька, он все понял! Он все понял без слов!

И, ты знаешь, у него были такие глаза... ну, такие... такие...

Короче, я ни у кого никогда в России не видела таких глаз. Ни в Питере. Ни на Волге. Ни в Крыму, где мы с мамулькой когда-то отдыхали, в Симеизе. Ни вообще нигде.

И коп этот нежно так меня по руке голой гладит. И лепечет без перерыва, и я приблизительно понимаю, что он буровит: вот телефон, вот, позвоните, пусть позвонит по этому номеру тот, кто знает английский, ваши друзья, йес, йо френдз пусть позвонят, итс май фоун, май фоун, и пишет на бумажке, и тычет в бумажку толстым пальцем, и опять вдалбливает мне, внятно, громко, медленно: ворк! Ворк фор ю! Хэлп фор ю! Скрабвумен! Бат э гуд пэй! Гуууууд! Пээээй!

И я, дурында, понимаю: работа, работа для вас, помощь для вас...

И тут меня осеняет. Он в тюрьму меня не тащит! Он помощь предлагает мне! Он тыкает мне в кулак свой телефон! Велит позвонить! Блин! Что это?!

И будто с небес, знаешь, подруга, слышу перезвон: «Это Нью-Йорк, Нью-Йорк это, а завтра, завтра твой сын родится!»

Короче, рождественская сказка. Санта-Клаус пляшет в супермаркете на первом этаже под елкой, и ручки-ножки у Клауса вихляются, как пластилиновые! А на елке чего только нет! И шарики, и рогалики, и хлопушечки, и игрушечки! И я реву как последняя дура, а полисмен этот толстый со щек мне слезки пальцами-сардельками вытирает, и улыбается толстыми губищами, и платочек, блин, вынимает из кармана широких штанин! Ну все, сладкие сопли и сладкие слюни...

И че, мать, ты думаешь? Я ж ведь уже пацана-то родила! Джереми!

И ни в каком не в роддоме для бомжей! А — ты только в обморок не падай, подруга! — у себя дома, на хате этой джерсевой, в ванне! Ну да, в ванне! Я в воду родила! В журнальчике одном прочитала! И мамульке сказала: не дрейфь, старуха, я тебе твоего внука в воду выпущу, как рыбку! Ништяк! Не бэ, все будет хэ! Что в переводе означает: не бойся, все будет хорошо! Двойрочка поахала, поохала, но я ее убедила! И мы с ней эту процедуру вместе отследили!

Знаешь, я сидела в ванне и тужилась, в теплой воде, да нет, не очень больно было, хуже зуб рвать, а потом Джереми из меня вышел головкой вперед — прямо в воду! И я его темечко увидела. Голое, в тощих волосиках, красное, и какое-то не круглое, а овальное, как оранжевая дынька! И он выскользнул живенько, и ножками в воде забултыхал, я заорала от радости, а мамулька смотрела на него под водой, как он там кувыркается, как в аквариуме! И вопила, у меня аж уши заложило: «Юлька, он плывет! Юлька, у него глазки открыты!» Потом она на полотенце его чистое подхватила, а я еле из ванны выбралась, еще ждала, пока послед отойдет. В общем, канительное это дело, роды, но, короче, ничего ужасного нет. Даже весело.

Очухалась, отлежалась — и к Мишеньке поехала, в Квинс. Вынимаю из кармана записку с телефоном копа того. Мишенька копу позвонил. Покалякал с ним недолго. На меня зырит, как на алмаз «Шах». «Еж твою мать, Юлька, — говорит и затылок чешет, — там тебя чувак какой-то прикольный хочет устроить ни больше ни меньше в офис «Клиник»! В главный офис! Правда, уборщицей, но они там даже поломойкам платят будьте-нате! Они сидят в одной из башен Торгового центра!» Я уже знала, где эти башни. Красивое место! Самый центр! «О...уеть, — я Мишеньке говорю. — Я уже прибалдела!» Мишенька на меня смотрит подозрительно: «Ты с этим чуваком спала, что ли?» Ты офигел, говорю, какое мне спанье было, с пузом-то?! Он так хитро: да ты сейчас уже не с пузом! Улыбаюсь. Улыбаюсь так мечтательно. И выдыхаю, ну прямо как в фильмеце сентиментальном с Ричардом Гиром: ну, поцеловались мы, да, мне понравилось. Такие толстые губищи, сексуальные. А кто он, Мишенька пристал, как банный лист. «Он-то? — говорю и ржу сама внутри, да и снаружи тоже, — он-то кто?.. да так, мелочь пузатая!.. да он торговый менеджер фирмы «Клиник»! Специалист... по духам и помадам!..» Блядь, Мишенька говорит, завидую я тебе, теперь все у тебя будет зашибись, теперь будешь в духах купаться, в помаде кататься! Да не в духах и в помаде, ржу уже откровенно, как лошадь, во весь рот, а в долларах! Спасибо тебе, Мишенька, за-все-за-все-за-все! За то, что ты нас в Нью-Йорк этот очаровательный притащил! Я тебе этого — век не забуду!

Ну, ржет, надеюсь, что не забудешь.

И руку жмет. И мордой мне в шею тычет. И нюхает мои дешевые духи.

А я домой приехала сама не своя от радости! Мамулька, кричу, теперь мы спасены! Она: ах, ох! Папулька: ох, ах! Джереми орет как резаный! Бабка головой трясет в кресле! Короче, охрененная семья! И я теперь, я, Джули Белосельски, буду ее кормилица и поилица! Эх, напиться бы в хлам, да грудью кормлю!

Так что, мать, Нью-Йорк это город чудес. И я его так люблю уже, так люблю! Как Джереми, люблю! Но по Питеру — да, скучаю. А если бабок у меня будет много — так что ж мне туда-сюда не летать-то, а?! Вот и буду летать! И привезу тебе, мать, целый рюкзак всякой косметики от «Клиник»! Будешь краситься, мазаться и душиться всю, блин, оставшуюся жизнь! Ну ладно, пока, а то я уж пальцами по клавишам устала брямкать, а Джереми в кроватке вопит, ему кушать меня надо! Ты тоже пиши, не забывай! Целую тебя! Может, когда ко мне в гости прикатишь! Твоя безумная Юлька Б.»

* * *

А потом, через совсем скоро, через месяц после Юлькиного этого балдежного безразмерного письма, взорвали эти две башни Торгового центра. И я смотрела на всю эту пыль, грязь и жуть по ящику, на эту третью мировую войну, и меня всю трясло. Я думала о Юльке и думала: спаслась она или нет? И на каком этаже был этот офис великой, потрясающей, обалденной косметической фирмы «Клиник»? На первом? На сороковом? Какая, хрен, разница... Бедная маленькая кудрявая уборщица, кормящая мамка, матерщинница, скрабвумен... Обернется к окну. Луч ударит. Швырнет к стене швабру. Поправит пружину смоляных волос, отдует прядь от щеки. В одиноком луче блеснут пухлые, вкусные молодые губы, блеснет офигенная помада. Перламутр? Вишня? Коралл? Кирпич? Клубника? Что ты украла с заграничного прилавка, моя подружка? Смерть? Жизнь? «Они все там умерли, все», — шептала я себе. Мне приснилось, как обваливаются, обламываются эти небоскребы. Я во сне не слышала грохота и криков. Но я чуяла носом гарь пожара и ужас белой пыли, она забивала легкие, и я во сне не могла дышать, и заорала, и вспотела, и проснулась.

И еще долго слушала, как кровь туго, оглушительно, дико ударяет мне по ушам.

Я строчила Юльке письма в моем интернет-кафе, одно за другим, одно за другим. Она не отвечала.

* * *

А еще через месяц мне позвонил из Нью-Йорка Мишенька.

Он так и представился по телефону: «Ай эм сорри, гуд дэй, здравствуйте, это Мишенька». Мишенька, заорала я, Мишенька! Как вы там все?! Как Юлечка?! Как Двойрочка?! Как малышка Джереми?! Как вообще все?!

Долго он молчал в трубку. И я все поняла. И у меня слезы капали на колени и текли по подбородку и по шее.

А потом Мишенька тихо сказал, уже на плохом, с явным акцентом, русском языке: «Галичка, тетя Двойра перед смертью завещала мне найти вас. На столе у Юлечки осталась записная книжка, в ней ваш питерский телефон, вот я и звоню. Она была в офисе на шестом этаже, во втором здании. Она еще успела позвонить по сотовому дяде Сэму. И попрощаться. Я сам хоронил тетю Двойру. И дядю Сэма. Они не пережили гибель Юлечки. Только Юлечку я похоронить не смог. Они все так и остались под завалами. И она тоже. Там одна пыль. И больше ничего. Тетя Двойра велела мне найти вас и сказать, что она завещает вам маленького Джереми. Сейчас Джереми у меня. Я кормлю Джереми и синего попугая. Я кормлю их хорошо, они получают все необходимое для жизни. Вы как предпочитаете, чтобы я прилетел с маленьким Джереми в Петербург? Или чтобы я сделал вам вызов в Нью-Йорк? Это ваше решение».

Я слышала, как в трубке молча перекатываются тихие, беззвучные, страшные валы Атлантического серого, синего океана. И я разлепила чужие, будто мятные, холодные губы и сначала сказала: пусть это будет ваше решение. А потом что-то будто взорвалось внутри меня, и я заорала: я прилечу! Я прилечу! Конечно, я прилечу! Делайте вызов!

И Мишенька сделал мне вызов. И я стояла около посольства в небольшой, как мне объяснили, совсем маленькой очереди, а раньше-то тут давились, чтобы в Америку попасть, чтобы улететь по гостевой — или по рабочей — или по учебной визе, их там много этих виз, — и не вернуться, или вернуться и потом горько плакать, или вернуться — и заплакать от радости, что вернулся. Всяко ведь у людей бывает. Стою в очереди и думаю: а что ж Мишенька про бабку-то ничего не сказал, про Джереми сказал, про попугая сказал, а про бабку — не сказал?

А очередь о чем-то своем гудит, ну, надо же как-то развлекаться в ожидании. Но и молчит тоже. А еще думаю: и что ж на месте этих клятых взорванных небоскребов встанет? Другие небоскребы? Человечек так уж устроен. Разрушит на хрен, а потом опять построит. Муравей. А еще головой думает.

А может, муравьи тоже думают. Еще похлеще, чем мы.

Волнуюсь, виза-то гостевая, и лечу не к родне, а к друзьям. Могут и завернуть на

сто восемьдесят. Я вспомнила, как Юлька все время, на каждом шагу, молилась, — и помолилась тоже.

Помогло! Дали визу. Консул такой молоденький попался, клевый парень. Он меня всю обсмотрел, пока вопросы задавал. Даже подмигивал мне, паразит такой! Но я как каменная была. Он по-русски, по-моему, лучше меня говорил. Беленький, стриженый. Синие глаза. Все в порядке, сказал весело, можете лететь. Я встала, чтобы уйти. Он мне в руку визитку сунул. Я сказала вежливо: сэнкью вери мач!

А в голове билось, как у больного муравья: Юлька, Юлька, да где ж тебя похоронили? Да где ж всех-то похоронили? А может, и косточек твоих не нашли, безумка ты моя, родненькая...

Вывалилась из двери. Ко мне люди из очереди бросились. Кричат: ну как, пустили?! Не пустили?! Разрешили?! Не разрешили?! Я рукой махнула: разрешили, говорю, — а мне кричат: а что ж ты красная такая, и плачешь?!

Я не заметила, что слезы по лицу текли.

Я очень волновалась, когда летела. Я же первый раз вообще на самолете летела. Ну вот такой юмор, первый раз в жизни! Зырила на все, как беспризорница на приеме в Кремле. Уши зажимала, мне казалось, все громко гудит и трясется, а потом уши закладывало, я глохла и толкала соседа в бок: а скажите, пожалуйста, вы тоже оглохли или это только я одна? Сосед смеялся, подзывал стюардессу и шепотом говорил ей: принесите девочке чего-нибудь вкусненького, она боится. Я не боюсь, кричала я! «Вот видите, вы не оглохли», — смеялся этот юморной мужик и обмахивался газетой, а стюардесса улыбалась во весь рот и нежненько пела: «У нас кондиционеры включены, вам помочь, вас не тошнит?» На всякий случай я сказала: тошнит! И стюардесса услужливо дала мне пакет. Ну, для сблева, значит.

Пакет понадобился мне при посадке. А я выдержала десять часов и думала — уже не понадобится.

Десять часов я все таращилась в иллюминатор, все глядела вниз, а внизу были только облака и океан. Облака и океан. И я впервые увидела, сколько же на земле воды. И как мало на земле земли. Господи, как мало.

Я сразу узнала Мишеньку в толпе встречающих — Юлька присылала мне Мишенькины фотографии. Он сильно махал мне рукой и улыбался. Тут все улыбались. Я тоже на всякий случай улыбнулась. Так, чтобы зубы было видно. «Тут так надо», — подумала я. Мишенька подошел и крепко взял меня рукой за руку. Рука у него была теплая и крепкая. Он еще чуть-чуть сжал мне руку, и я сказала: ой! А он уже обнимал меня, и, да, да, он плакал. Улыбался во все зубы и заодно плакал. Вот такие пироги.

Мы нашли его машину среди стада других машин. Найти ее было очень просто: она была белая, да, белая! — когда-то, а теперь вся, ну живого места не было, была измазана, облита, выпачкана ну просто сверху донизу — и чем? Птичьим пометом! Я подошла ближе и расхохоталась. Мишенька, хохотала я и не могла остановиться, что ж это вы машину-то не помыли, а-ха-ха-ха-ха! — и ржу без остановки! Потом себе рот ладонью заткнула — у него лицо такое стало мрачное. Говорит: я утром из дома вышел, вас встречать ехать, а машина вот вся в дерьме. Помыть не успел. Птички тут такие у нас, да. Ну и что, цедит сквозь зубы, приеду и помою. Дверь резко распахнул. Опять улыбнулся с натугой: садитесь!

Я села, сумочка через плечо, без всякого багажа летела, на черта мне багаж, если меня тут живой багаж ждал! И мы поехали из аэропорта в Нью-Йорк.

А потом поехали по Нью-Йорку.

И Мишенька, пока мы ехали, все-все мне рассказывал. И про то, где едем. И кто из знаменитостей тут на какой улице жил. И про то, какое тут метро паршивое. И про то, какая тут красивая осень. И про то, как они тут с Радочкой хорошо живут, и как рады, что в свое время сообразили и сюда укатили. И про все такое. А про Юльку — ни слова. И про все семейство, которого больше нет, — тоже ни слова.

И я не спрашиваю. Не время, значит, думаю.

А когда мы приехали к Мишеньке домой, и он остановил этот свой обкаканный птичками «лексус» около дома, и я осторожно выбралась из него, чтобы не попачкаться, сумку к животу прижала и живот даже втянула, и когда тщательно вытерла ноги об коврик и вошла в дом, и когда прошла по белым-белым, как снеговым, коридорам, и

запах такой вдыхала странный, хороший и вкусный, будто смешали вместе духи и жареную курицу, и когда вошла в гостиную, нарядную, как, бляха-муха, царская спальня в Зимнем дворце, и вдохнула еще раз, глубоко-глубоко, этот волшебный запах не знаю чего, то ли «Клима» с жареной дичью, то ли «Кензо» пополам с румяным антрекотом, то ли «Ив Роше» вперемешку с мясом на вертеле, или еще хлеще, на каминной решетке, — я их увидела.

Всех трех.

Джереми весело возился в маленьком цветном манежике. Бабка сухо, деревянно восседала в кресле. Клетка с попугаем торчала у нее на коленях, и она уже напрочь высохшими, какими-то папирусными ручонками обнимала ее.

Солнце ударило через стекло высоченного окна, и мне почудилось, что клетка — золотая.

— Баба Маня, — сказала я потрясенно, — баба...

— Джереми, — сказал Мишенька, улыбаясь, — май литл бэби! Дарлинг!

И обернулся ко мне.

И я сказала ему:

— Мишенька, почему ж вы не сказали мне, что баба Маня жива? Я думала, она тоже умерла!

— А вам хотелось бы, чтобы она тоже умерла? — спросил Мишенька.

Он по-прежнему улыбался.

— Да бросьте вы улыбаться! — крикнула я и по-настоящему заплакала, навзрыд. — Бросьте вы сейчас же улыбаться!

— Я могу сдать грэндмазер, как это, в дом милосердия, — сказал Мишенька, но улыбаться не перестал.

И я крикнула:

— Никакого дома милосердия! Не будет!

— О'кей, — спокойно сказал Мишенька, — я так и думал! Пре-вос-ход-но!

Я подошла к манежику и взяла Джереми на руки. Он тоже улыбался, е-мое, и сверху у него было два зуба и внизу еще два! Он был тяжеленький такой! И я прижала его к себе и задрожала. Бабка неподвижно сидела в кресле. Синий попугай раскрыл кривой клюв и проскрипел натужно: «Гуд дэй! Гуд дэй! Гуд дэй! Твою мать!»

— Господи, говорить научился, — сказала я, и пот потек у меня по спине. — Чем это тут у вас таким вкусным пахнет?

— Это духи «Клиник», — сказал Мишенька. — Юлька нам всем надарила. — Он поправился. — Подарила.

Наконец он сказал про Юльку. Я зажмурилась. Джереми обнял меня обеими ручками за шею. Он гукал и ничего связного не говорил. Ни английского, ни русского. Попугай говорил лучше младенца. Мишенька куда-то назад шагнул и исчез. И быстро появился, я и ахнуть не успела. В руках он держал коробочку. Откинул крышку. Я подумала, что это патронташ, и попятилась. А потом думаю: ты, дура, это ж конфеты!

— Презент, — сказал Мишенька. — Подарок. Это от Юльки. Тетя Двойра сберегла для вас. Это помада «Клиник». Лучшая помада, — он подумал, — от «Клиник». Простите, я как-то стал забывать, как надо сказать. Вы хотите есть, Галя? Хотите в душ? Душ по коридору направо. Вы должны хорошо отдохнуть!

— Спасибо, — сказала я, — обязательно, да.

— Отдохнуть, и потом мы поедем на кладбище, — сказа Мишенька. У него от постоянной улыбки могли уже заболеть щеки. — А потом приедем и все обсудим спокойно. Нас ждет много формальностей. Мы все сделаем отлично. О'кей.

Я прижимала к себе Джереми, и Мишенька глупо стоял передо мной с этой коробкой в руках. Потом медленно поставил ее на край стола.

Я стояла, улыбалась и плакала, Джереми обнимал меня и гукал, бабка прямо, как на электрическом стуле, сидела в кресле, клетка светилась всеми золотыми ребрами, а попугай опять раскрыл клюв и противно, скрипуче прохрипел:

— Гуд дэ-э-э-эй! Гуд дэ-э-э-эй! Ай лав ю, твою мать!

И Мишенька осветил своей самой сверкающей улыбкой всю мою семью.

Максим Кронгауз

Кто отвечает за русский язык

Русских много

В январе этого года в Институте лингвистики РГГУ прошла конференция под названием «Русский язык зарубежья». На ней выступали лингвисты из Азербайджана, Армении, Израиля, Казахстана, США, Эстонии и других стран и рассказывали о том, что происходит с русским языком в этих странах. Среди множества обсуждавшихся тем я бы выделил одну. Во-первых, она интересна не только узкому профессиональному сообществу, но и, как принято говорить, широкому читателю, а во-вторых, вызывает у этого широкого читателя бурную и неоднозначную реакцию. Здесь уместно сделать одну важную оговорку. Тема, о которой я собираюсь писать, очевидным образом связана с политикой. Соответственно «бурная и неоднозначная» реакция обеспечивается непримиримостью политических взглядов, постоянным противостоянием, условно говоря, «патриотов» и «демократов» (с той же степенью условности их можно было бы назвать «государственниками» и «либералами»). Но попробуем на время забыть о политических пристрастиях (забыть совсем, к сожалению, не получится) и разобраться, в чем состоит проблема.

Речь идет о вариантах русского языка. Это ведь иллюзия, что русский язык един. Все слышали о диалектах русского языка, но ведь есть еще социолекты, то есть варианты русского языка, характерные для разных социальных групп. А еще есть такой страшный лингвистический термин, как идиолект, то есть индивидуальный язык. Иначе говоря, у нас у каждого свой отдельный язык, хотя между «нашими русскими» есть много общего. Это с одной стороны. А с другой стороны, некоторые из них различаются между собой довольно сильно. Забудем об индивидуальных языках и сосредоточимся на «географических разновидностях» русского. Их тоже достаточно много, и они тоже довольно разные. Что же позволяет нам считать, что все мы говорим на одном и том же русском языке? Ну, конечно, понимание. Правда, и понимание вещь условная, и юному москвичу не всегда удастся понять бабушку из сибирской деревни (он и свою-то бабушку не всегда понимает). Поэтому, пожалуй, главным фактором следует считать наличие общего литературного языка, которым, в идеале, должны владеть все. Когда мы говорим о литературном языке, то имеем в виду язык, в котором, как говорят лингвисты, проведена кодификация, то есть установлена норма. Норма означает, что в языке зафиксирована иерархия возможных ударений, написаний, грамматических форм, некоторые из которых — безусловно, существующие — признаются не вполне правильными, неправильными или, скажем, совершенно недопустимыми. Эта иерархия помогает установить иерархию и среди людей, разделяя их на знающих и не знающих норму (или не вполне знающих), образованных и необразованных. Так, образованные люди знают (их этому научили в

Кронгауз Максим Анисимович — лингвист, доктор филологических наук. Публикации в «ДН»: «Лексикографические мемуары: о времени, стихах и техническом прогрессе» (2011, № 2).

школе или в семье), что «надевают одежду», а «одевают Надежду», что надо «класть», а не «ложить», что в слове «звонит» ударение ставится на втором слоге (а с тем, кто говорит иначе, не надо дружить), что слово «кофе» мужского рода. Каково же возмущение образованных людей, когда они узнают, что норма меняется! Например, словари допускают средний род у слова «кофе». Это означает, что сосед, говоривший «черное кофе» и тем самым не вполне владевший литературным языком, теперь уравнивается с нами в правах, а мы лишаемся своего бесспорного преимущества — статуса носителя языковой нормы.

В последнее время часто вместо литературного языка лингвисты говорят о стандартном варианте языка или даже о стандартном языке, заимствуя выражение из английского — standard English. Имеют в виду при этом то же самое, но просто отказываются от литературы как эталона языка. Действительно, в современной литературе сталкиваешься порой с таким языком, что считать его литературным совсем не хочется. Но я уж по старинке буду говорить о литературном языке.

Тем не менее русский язык был в каком-то смысле более цельным, чем английский, французский, немецкий или испанский. До тех пор, пока он существовал в пределах одной страны. Конечно, огромное количество русских жило за рубежом, и как тут не вспомнить три волны эмиграции в советский период. Но все-таки совершенно особая ситуация создалась после распада СССР, когда русскоговорящие, не будучи эмигрантами, оказались разделены государственными границами. Это означает, что появились более или менее официальные «иностранные» варианты русского языка.

Эксперименты Василия Аксенова

Здесь, впрочем, надо прервать лингвистическое занудство и вспомнить Василия Аксенова, постоянно экспериментировавшего с русским языком. Его роман «Остров Крым» написан о другой России, какой она могла бы быть, если бы большевики не взяли Крым (в аксеновском художественном мире он был островом). Аксенов моделирует фрагмент России, где не победила Октябрьская революция, где не было советской власти, и мимоходом моделирует языковую ситуацию этой страны. Русские обитатели Крыма, врэвакуанты (временные эвакуанты), говорят на дореволюционном русском, правда, с вкраплениями английского, но молодежь предпочитает яки. Вот немного странный диалог главного героя Лучникова со своим сыном:

«— Ба, вот странность, только сейчас заметил, что я спрашиваю тебя по-русски, а ты мне отвечаешь на яки [...]

— Яки! Яки, атац!

Атац, то есть отец, типичное словечко яки, смесь татарщины и русятины».

Другие игры с языком Василий Аксенов затевает в романе «Новый сладостный стиль». Герои, эмигранты в Америку, говорят на русском языке, так сказать, испорченном английским. Этот вариант русского часто называют брайтонбичским диалектом, потому что именно в Брайтон-Бич, районе Нью-Йорка, выходцы из СССР живут компактно, сохраняют русский язык, но в довольно специфической форме[1]. Василий Аксенов, писатель чрезвычайно чуткий к языку, сопроводил книгу специальными комментариями, а по существу переводами с брайтонбичского, английского и других языков на литературный русский. Там было все: от слов «шатапчик» и «трехбедренной квартиры» до выражений «фиксануть брекфаст» и «как ты сегодня дуинг?». Позже этот язык оброс байками и анекдотами, а знаменитый вопрос в магазине: «Вам послайсить или целым писом?» (Вам порезать или целым куском?) цитировался многими авторами то как быль, то как анекдот. Самое смешное, что многие коммен-

[1] В штате Нью-Йорк русский — один из восьми иностранных языков, на котором публикуются все официальные материалы избирательных кампаний.

тарии Аксенова сегодня кажутся излишними: и «таун-хаус», и «тренчкоты» или «сникерсы» используются в сегодняшних журналах как обычные русские слова.

То, что в романах Аксенова было художественным приемом или, по крайней мере, некоторым художественным преувеличением, стало реальностью или даже обыденностью. Русский язык именно так существует и изменяется в Америке, Израиле, Германии и даже в бывших республиках СССР. В СССР русский язык в большей степени влиял на другие языки, сегодня же он подвержен довольно сильному влиянию со стороны государственных языков образовавшихся после 1991 года стран. Ситуация в этих странах отчасти отличается от ситуации в США или Израиле. Поскольку речь не идет об эмиграции, здесь неприменимы такие понятия, как диаспора и метрополия, и самое важное состоит в том, что положение русского языка довольно устойчиво: он не исчезнет во втором или третьем поколении (по крайней мере, во многих из этих стран). Это больше похоже на «Остров Крым», при всей условности сравнения жизни с художественным произведением[1].

Говорит Одесса-мама

Конечно, и в жизни есть место художественному образу. Так, больше всего описаний посвящено русскому языку Одессы, чье существование задолго до распада СССР было воспето Исааком Бабелем. Начнем с русской Википедии. Здесь есть статьи «Русский язык на Украине», «Русский язык в Латвии» и еще несколько. Охвачены далеко не все новые государства, но зато охвачена Одесса: «Русский язык Одессы». Передо мной компьютерный словарь «Одесса-мама говорит» и словари на бумаге, в том числе «полутолковый» в 4 томах. Нужно ли говорить, что это в большей степени юмор и эксплуатация одесского колорита, чем серьезные описания (есть, впрочем, и вполне научные исследования, но о них чуть позже). Цитировать одесские словечки и выражения можно до бесконечности, а можно открыть Бабеля или Жванецкого, посмотреть фильмы «Интервенция» или «Ликвидация». Одесский язык был, есть и, будем надеяться, будет, но лингвисты иногда пытаются отказать ему в статусе языка, даже регионального. Мол, это не язык у одесситов особый, а речь, язык — это все-таки система, а у одесситов бессистемный юмор. Я не хочу вдаваться в теоретические споры, но даже если различия касаются только лексики, то есть существования особых слов, этого достаточно, чтобы говорить об особом варианте языка, а в случае Одессы можно говорить и об отличиях на других уровнях. Тут я бы отослал читателя к книге одесского русиста Евгения Николаевича Степанова, наиболее авторитетному исследованию в этой области, да, к сожалению, она написана на украинском языке[2].

Например, Эстония

Особость русского языка в Одессе известна, как уже сказано, давно, а вот на особые русские языки в странах постсоветского пространства стали обращать внимание именно сейчас, спустя некоторое время после обретения ими независимости. Конечно, давно и хорошо известны суржик на Украине и трасянка в Белоруссии, но их никак нельзя назвать русским языком. Это смешанные языки преимущественно с русской лексикой, и украинской (для суржика) или белорусской (для трасянки) грамматикой. Так вот, на постсоветском пространстве русский язык испытывает заметное влияние государственных языков новых стран. Сам он имеет статус государственного, естественно, в России, где он единственный государственный язык, а

[1] Если говорить точнее, «Остров Крым» ближе к ситуации Китая и Тайваня (об этом пишет и сам Аксенов) или сосуществования двух Германий или Корей.

[2] *Степанов, Є.М.* Російське мовлення Одеси. Одеса: Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2004.

также в Белоруссии наряду с белорусским языком. В Киргизии у русского языка менее значимый — и менее понятный — статус официального языка. В Казахстане он «официально употребляется» в государственных учреждениях и органах власти. Особый статус есть у русского языка и в отдельных областях и регионах Молдавии и Украины. В общем, в большинстве стран говорить только по-русски, как было в советские времена, уже не получается. Межязыковые контакты стали плотнее, а свое выделенное положение русский язык потерял. Хотя в СССР формально государственного языка не было (до 1990 года), но фактически им был конечно же русский — и только русский — язык. Таким образом, влияние других языков становится все заметнее — говоря научным языком, происходит интерференция: в русский язык проникает чужая лексика, а отчасти и чужие грамматические конструкции.

Возьмем, к примеру, русский язык в Эстонии. На сайте DELFI[1] был проведен опрос русскоязычных читателей под названием «Какие эстонизмы вас раздражают?»

Вот некоторые примеры: «кюльмовато» (от kylm — холодный), «палька» (от palk — зарплата), «рабарбар» (от rabarber — ревень[2]), «максовать» или «максануть» (от maksma — платить) «квалитетный», например «квалитетный товар», «кандидировать», «реновировать». Часть корней, как мы видим, заимствована из эстонского, часть из других языков, но через эстонский. Встречаются и такие странные русские фразы: «я позвоню тебе назад» (вместо «я тебе перезвоню») или «это возьмет время» или «это берет время». Все эти словечки проникают в русский как бы случайно и незаконно, вспомните аксеновское «шатапчик». Как правило, они встречаются в речи молодого поколения, одинаково хорошо владеющего русским и эстонским (ну, или, по крайней мере, хорошо владеющего эстонским).

Но в Эстонии существует и государственное регулирование русского языка. Например, имеется запрет на перевод названия эстонского парламента «Рийгикогу» (Riigikogu – букв. Государственное собрание). Или еще более любопытное предписание, опубликованное на русскоязычном портале DELFI (не могу удержаться и не привести его целиком).

«8 января 2002 г.

Предписание Языковой инспекции

Обращаем Ваше внимание на то, что 3—4 января в русских новостях интернет-портала DELFI топоним TALLINN неоднократно транслитерирован на русский язык ошибочно.

Согласно части 1 параграфа 15 закона о топонимах, в нелатинских алфавитах написание топонима следует передавать в соответствии с буквенными таблицами. Исходя из установленных в них правил, топоним TALLINN следует по-русски писать с двумя буквами «н» на конце.

Вследствие вышеизложенного делаю Вам

предписание

писать впредь русскими буквами топоним TALLINN в соответствии с требованием закона о топонимах. В случае игнорирования предписания в отношении Вас будет применен параграф 170' законодательства об административных правонарушениях.

С почтением,
Урмас Вейкат,
заместитель генерального директора
Языковой инспекции».

[1] DELFI — сеть крупнейших новостных порталов в странах Балтии (Латвии, Литве и Эстонии), публикующая информацию на четырех языках: русском, латышском, литовском и эстонском. Сеть начала свою работу в конце 1999 года, когда были открыты первые две версии сайта — эстонская (www.delfi.ee) и латвийская (www.delfi.lv). Позже были запущены литовская версия DELFI (www.delfi.lt), а также русские версии в Латвии (rus.delfi.lv) и Эстонии (rus.delfi.ee). Здесь и далее речь идет о русской версии эстонского портала.

[2] Важное для Эстонии слово, всем советую попробовать пирог из ревеня.

И снова не могу удержаться и не привести иронический комментарий по этому поводу на сайте gramota.ru:

«Напоминаем, что суверенность государства не может влиять (тем паче — менять) грамматику, орфографию и пунктуацию какого-либо языка. В соответствии с установившейся традицией название столицы Эстонии по-русски пишется так: ТАЛЛИН.

Благодарим правительственные учреждения Франции за уважение к русскому написанию Париж (а не Пари)».

Но поскольку разговор неизбежно съезжает в политику, здесь я остановлюсь и попробую подвести промежуточный итог.

Итак, мы имеем дело, с одной стороны, со спонтанно возникающим в Эстонии вариантом русского языка, а с другой стороны, с государственным регулированием русского языка в Эстонии, который, напомню, никакого официального статуса в Эстонии не имеет. Конечно, так обстоит дело не только в Эстонии, но и — в той или иной степени — в других странах постсоветского пространства[1]. Эстонию я взял в качестве примера, потому что лучше ее знаю и постоянно общаюсь с эстонскими лингвистами. В действительности здесь есть две разные проблемы, и говорить о них стоит по очереди.

Запретить нельзя признать

Первая проблема состоит в том, что региональные варианты русского языка[2] в недавно ставших независимыми странах становятся все более заметными. Во-первых, как уже сказано, действуют центробежные силы, отличия от литературного языка постепенно накапливаются и становятся более или менее общепринятыми, то есть если не кодифицируются, то некоторым образом легализуются. Во-вторых, и носители языка, и лингвисты стали не просто обращать на них внимание, но и активно обсуждать их. Естественно, возникает вопрос, как к ним относиться: запрещать, признавать, поддерживать? И вот тут уж от политики не уйдешь. Сформулирую две крайние точки зрения. Первая состоит в том, что эти варианты признавать не надо: есть только литературный русский язык, а всевозможные модификации под влиянием других языков надо признавать порчей и с ними бороться. В соответствии же со второй точкой зрения формирующиеся варианты русского следует признать, назвать их национальными, описать и даже подвергнуть кодификации, то есть создать национальные литературные русские языки.

Где же правда? По-видимому, там, где нет политики. Прежде всего надо понимать, что невозможно сразу ввести четырнадцать национальных вариантов (а заодно — русский язык США, Израиля, Германии и т.д.), слишком уж отличается состояние русского языка в каждой стране. Русский язык в Белоруссии живет по другим законам, чем, скажем, в Латвии, но при этом его перспективы в этих странах более радужны, чем в Грузии или Туркмении (а в последней стране ситуация к тому же совсем плохо изучена). Говорить об отдельных вариантах, а не просто о региональ-

---

[1] Для сопоставления могу, например, порекомендовать книгу Н.Авиной о русском языке в Литве «Родной язык в иноязычном окружении», Москва — Вильнюс, 2006.

[2] Региональные варианты, конечно, существуют и в России. В последнее время лингвисты обращают на них все больше внимания. Назову один из интереснейших проектов в этой области «Языки городов», осуществляемый под руководством В.И.Беликова в фирме ABBYY. Его главный результат — словарь «Языки городов», причем речь идет о городах как России, так и ближнего зарубежья. Вот пример из русского языка Азербайджана: «**контур** — единица измерения денег на мобильном телефоне. *Связавшись с интернет-методом набора на сотовом телефоне 7575222, вы будете платить за время нахождения в электронной сети теми же контурами и по тому же тарифу, что и за телефонный разговор* (Айна-Зеркало, Баку; 09.09.2000)».

ных отличиях, имеет смысл только если ситуация достаточно хорошо исследована и стабильна. И только в том случае, когда накоплено много отличий на разных языковых уровнях, они постоянны для всей территории страны (или, по крайней мере, для большой ее части) и характеризуют разные слои русскоязычного населения (старых и молодых, образованных и не очень). Такие варианты могут называться национальными, ничего плохого в этом термине я не вижу. Для них надо составлять подробные словари (как для «одесского», только серьезно) и описывать отличия в грамматике. Однако подвергать их полноценной кодификации, на мой взгляд, не нужно, потому что мы все заинтересованы в сохранении единого литературного языка и единого коммуникативного пространства. Возникновение нескольких литературных языков (стандартов) усилит центробежные силы. Бывают, правда, и более сложные ситуации. Так, для английского языка существуют разные стандарты, например, британский и американский, но ведь английский является государственным и в Великобритании, и в США, и во многих других странах, где язык опирается на самостоятельную литературу и, более того, на самостоятельную культуру. С русским языком дело обстоит не так, и именно общий литературный язык, общая литература не только помогут сохранить русский язык в условно взятой стране на постсоветском пространстве, но и не дадут ему провинциализироваться. Правда, в этом случае мы неизбежно сталкиваемся со второй проблемой. Кто отвечает за современный литературный русский язык? Кто определяет норму? И как быть, если представления о норме расходятся?

Политика, политкорректность и русский язык

После перестройки русскому языку довелось пережить несколько политических скандалов. Сначала это волна переименований, но не настоящих, как в случае столицы Киргизии, когда город Фрунзе был переименован в Бишкек. А просто на смену русскому названию было предложено, по существу, это же название, но на другом языке, главном языке новой независимой страны. Так появились Алматы, Ашгабад, Таллинн (в этом случае речь шла только о написании на конце двух «н»), Кыргызстан, Молдова, Беларусь. После долгих и бурных обсуждений о том, кто и почему имеет право что-то требовать от русского языка, в большинстве случаев вернулись к старым написаниям: Алма-Ата, Ашхабад, Таллин, Киргизия. Но такие названия, как Молдова и Беларусь, все-таки приняты как официальные и присутствуют в российском официальном перечне названий зарубежных государств. Более привычные Молдавия и Белоруссия считаются неофициальными, и именно от них образуются соответствующие прилагательные, являющиеся по совместительству и названиями языка, а также названия жителей этих стран: «молдавский» и «молдаванин», «белорусский» и «белорус». Не буду заново обсуждать эти проблемы, слишком уж много слов сказано. Обращу только внимание на процитированное выше письмо Урмаса Вейката, заместителя генерального директора Языковой инспекции Эстонии (а кстати, хорошо бы нам тоже завести «языковую инспекцию»). Получается, что государственные органы в России предписывают писать по-русски Таллин, а в Эстонии — Таллинн. Конечно, позиции российских государственных органов в целом крепче, поскольку речь идет о государственном языке России. Право же эстонских властей регулировать не государственный, и даже не официальный, язык, каковым в Эстонии является русский, выглядит менее логичным. Но, тем не менее, это их право, и сомневаться в существовании закона, на который ссылается неизвестный мне чиновник, у меня нет оснований. Я, конечно, будучи гражданином России, могу не выполнять этот закон и иронизировать по этому поводу, но едва ли я имею моральное право советовать нарушать его моим эстонским друзьям и коллегам. Следовательно, я соглашаюсь на существование различий между русским языком России и Эстонии, проявляющихся не только в бытовой речи, но и в СМИ, и в официальных документах. Здесь речь идет об именах собственных, но также я соглашусь, что в Америке русскоязычные могут говорить вместо «негр» «афроамериканец» и считать первое оскорби-

тельным, хотя в моем языке оно таковым не является. Я продолжаю говорить «на Украине» и «на Украину», но признаю право украинцев, говорящих по-русски, использовать в данных конструкциях предлог «в»: «в Украине». Таким образом, я прихожу к неизбежности вариативности русского языка, которая может привести — и в некоторых случаях, по-видимому, приводит — к существованию устойчивых вариантов, распространенных в других странах.

Мы видим, что политики России и других стран вынужденно решают проблемы русского языка, причем выбор российского политика может зависеть от очень разных факторов: от его политической ориентации (государственник или либерал), от отношений с данной страной на данный момент, от отношения данного политика к данной стране и т.д. Мы видим также, что решения политиков не так уж важны для людей, далеких от политики, которые в основном продолжают писать и говорить так же, как делали это раньше. Правда, неизбежно возникает некоторый разнобой, особенно если учесть привычку проверять правильность написания с помощью поисковой системы. Ну-ка, подумает человек, проверю я, как писать столицу Эстонии, — и найдет в интернете оба варианта, хотя бы потому, что поисковая система находит и российские, и эстонские сайты на русском языке.

Политические (политкорректные) расхождения такого рода в русском языке единичны (с каждой страной это несколько слов). Заметны же они потому, что именно их обсуждение, а не, например, русско-эстонского слова «кюльмовато», происходит чрезвычайно бурно и сопровождается иронией, сарказмом, скандалами и руганью.

Вернусь к высказанному чуть ранее моему глубокому убеждению, что литературный русский язык должен быть один. Это ни в коей мере не мешает исследованию и подробному описанию вариативности и вариантов русского языка, используемого в разных странах. Зато встает другой вопрос. Кто именно будет определять, каким быть литературному русскому языку?

Главный по стандартам

Опять можно сформулировать две крайних точки зрения. Первая: решать, каким будет литературный русский язык, могут только россияне. Вторая: решать, каким будет литературный русский, должны все русскоговорящие (те, для кого русский является родным), независимо от места их проживания (хоть в России, хоть в Киргизии, хоть на Брайтон-Бич). Понятно, впрочем, что проблема литературного русского языка, его кодификации и норм, актуальна прежде всего для тех стран (а если честно, то именно для них), где существуют СМИ на русском языке, существует литература, театр и, возможно, кинематограф на русском языке, и главное — существует образование на русском языке. На постсоветском пространстве роль России в отношении русского языка конечно же совершенно особая. Русский язык в России не просто государственный, он — единственный государственный, и забота о нем в каком-то смысле естественная государственная обязанность. Кроме того, вполне очевидно, что русскоязычная культура (литература, театр, кинематограф) и качественно, и количественно сосредоточена именно в России. Англичане не станут спорить с существованием отдельной американской или австралийской литературы или кинематографа, а русский писатель в Швейцарии, будь то Набоков или Шишкин, не создает отдельной швейцарской русскоязычной литературы (а, например, швейцарская немецкоязычная литература существует).

Однако если мы — россияне — боремся за повышение статуса русского языка в мире и в отдельных странах, мы должны понимать, что это повышение неизбежно влечет повышение ответственности русскоговорящих иностранцев за судьбу русского литературного языка. Когда проводятся реформы орфографии немецкого или испанского языка, то это решается не в Германии или Испании, а во всем немецкоговорящем или испаноговорящем мире. Это, конечно, подразумевает и государственный (или официальный) статус языка в этих странах, и существование в них научных

институтов и комиссий. Французы могут иронизировать над французским языком канадцев или бельгийцев (верно и обратное), но они разделяют с ними ответственность за общий язык, права и обязанности[1].

Мы ведь хотим не просто сохранить общее пространство русского языка, оно сохраняется и без всяких специальных научных и политических усилий, например в интернете. Мы хотим сохранить авторитет литературного русского языка, который бы противостоял центробежным силам и неизбежному возникновению вариантов. Это противостояние не означает отторжения — напротив, литературный язык объединяет и, если хотите, скрепляет варианты, как бы далеко они ни расходились. А авторитет нельзя создать приказом или навязать государственным законом.

В этом смысле очень характерно обсуждение норм орфографии. Одно из мнений состояло в том, что нормативный словарь и сам свод правил должны подписываться премьер-министром или президентом России. Власть должна была бы санкционировать нормы литературного языка, придать им весомость и обязательность, а по существу — авторитетность. Но в этом кроется и определенная опасность. Обязательность и даже авторитетность распространяются в этом случае только на граждан России. Мы, конечно, понимаем, что Языковая инспекция Эстонии не может навязать нам правила русского языка (хотя граждане Эстонии ей и должны подчиняться). Но и российским законом нельзя навязать правила литературного языка гражданам других стран. Языковой стандарт и языковая норма принимаются добровольно, следуя высшему закону, основанному на авторитете литературы, культуры и языка. Как говорится, кесарю-то кесарево...

[1] Справедливости ради следует признать, что франкофонный мир устроен иначе, чем миры испанского и немецкого языков, и роль французской академии в формировании нормы необычайно велика.

Эмиль Паин

Иранская или турецкая?

Сравнительный анализ моделей и социальных условий управляемой модернизации

Цели и гипотезы

Революции в Тунисе и Египте в начале 2011 года, волнения в большинстве арабских государств, считающихся сердцем исламского мира, разрушают миф о его консерватизме и неподвижности. Стремление многих миллионов мусульман к переменам, к обновлению и в этом смысле — к модернизации является несомненным фактом. Другое дело, что начало перемен вовсе не означает, что модернизация состоится. Ее срывы порой оборачивались откатами к политической и социальной архаике, даже более мрачной, чем та, что существовала до начала процесса обновления. Этим закончилась, например, «белая революция» в Иране (1960–1970-е годы), как официально называли процесс модернизации в период правления там шаха Мохамеда Реза Пехлеви. Но были в исламских странах и успешные модернизации, как, например, та, которую проводил в Турции (1920–1930-е годы) ее первый президент Ататюрк (Мустафа Кемаль).

Иранская модель практически безоговорочно признается специалистами как один из наиболее очевидных примеров провала тех задач, которые ставили инициаторы реформ. Эти преобразования были сметены в значительной мере мощнейшим антиреформаторским движением — Исламской революцией 1979 года. Ее точнее было бы назвать контрреволюцией, поскольку она не только ознаменовала провал модернизационных реформ в Иране, но и вызвала к жизни рост исламского фундаментализма и экстремизма в глобальном масштабе. Турецкая же модель реформ, напротив, признается одной из наиболее удачных в мире и самой удачной в исламских странах. Именно она позволила полуразрушенной к началу XX века стране, развитие которой сковывалось архаичными имперскими и теократическими институтами, войти в число двадцати крупнейших по экономическому и политическому потенциалу стран мира и стать светской республикой, ориентирующейся на международные нормы и стандарты жизни.

Я не ставлю перед собой задачу подробно охарактеризовать с исторической точки зрения обе модели модернизации, сама канва этих реформ сравнительно хорошо представлена в исторических исследованиях[1], я хочу сосредоточить внимание на выявлении типологических особенностей двух типов модернизации. Такое сравнение дает богатый материал для выводов о роли социально-культурных условий в проведении модернизации. Оно позволяет опровергнуть целый ряд некоррект-

[1] См., например: *Frey F. W.* The Turkish political elite. Cambridge, M.T.T.Press, 1965; *Васильев Л.* История Востока. В двух томах. Т. 2. М., 1994, Высшая школа; *Васильев А.* Персидский залив в эпицентре бури. М., Наука, 1983; *Фадеева И.* Концепция власти на Ближнем Востоке. М., 1993, Наука.

ных оценок роли «исламского фактора» и этнических особенностей народов в процессе модернизации. Едва ли не большинство исследователей иранских реформ связывает их неудачу с особым исламским менталитетом, который якобы и стал основной причиной отторжения населением модернизационных начинаний шахского правительства. Между тем Турция — тоже исламская страна, в управлении которой до реформ Ататюрка роль исламской теократии была выше, чем в Иране. К тому же турецкая модернизация более жестко задевала исламские институты, чем иранская.

Моя же гипотеза состоит в том, что различия в результативности этих двух типов реформ обусловлены **не столько особенностями исламского менталитета или этнических культур персов и турок, сколько разным содержанием самих модернизаций, а также различиями их исторической обусловленности, их не одинаковыми историческими фундаментами.**

Сравнение двух этих типов модернизации весьма поучительно для стран постсоветского пространства и для современной России, где, как в свое время в Иране и Турции, предпринимается очередная попытка «модернизации сверху», инициируемая или, во всяком случае, декларируемая властями.

Эксперты, опрошенные нами, например, в Баку и в азербайджанском сообществе в Москве, отметили, что считают турецкий опыт модернизации одним из наиболее приемлемых для Азербайджана. Вместе с тем и анализ неудачного иранского опыта представляет, на наш взгляд, не меньший интерес для разработки модели эволюционной модернизации, предостерегая от возможных ошибок в моделировании социально-экономических процессов.

Модернизации: технократическая и социально ориентированная

Определение ***иранской модернизации*** как «технократической» может вызвать возражения, поскольку объявленный в 1963 году новый курс развития Ирана представлял собой комплекс из девятнадцати реформ, направленных не только на создание мощной промышленности, товарного сельского хозяйства и современной армии, но и на преодоление феодальных пережитков. Особое внимание уделялось формированию законодательной базы реформ, при этом за основу, как и в Турции, были взяты западные правовые нормы.

Иранская программа социальных преобразований была более масштабной, чем турецкая 1920-х годов. Она предусматривала земельную реформу, включавшую бесплатное наделение крестьян землей; национализацию лесов и пастбищ; приватизацию государственных предприятий с выкупом акций рабочими; введение всеобщего избирательного права; ликвидацию неграмотности. В перспективе планировалось введение бесплатного здравоохранения и образования, в том числе высшего; развитие доступного спорта, строительство библиотек, театров и картинных галерей. Все это должно было обеспечить народу Ирана достойное будущее. Программа иранских реформ получила всенародное одобрение на референдуме 26 января 1963 года. И это был как раз тот случай, когда в истинности народного волеизъявления никто не сомневался. После референдума программа иранских реформ была объявлена «революцией шаха и народа». Шах осознавал необходимость поддержки населением реформ, но рассчитывал не столько на идеологическую мобилизацию масс, и уж тем более не на поощрение его инициативы, сколько на **выкуп этой поддержки**.

Поначалу казалось, что иранская концепция модернизации имеет хорошие шансы на успех. Доходы от продажи энергоносителей росли на протяжении всего периода реформ, с 1963 по 1979 год. В середине 1970-х годов Иран по темпам роста экономики (в среднем более 10% в год) уступал только Японии. Реформы проходили в благоприятнейшей для Ирана геополитической ситуации. Шах заручился полной и безоговорочной поддержкой со стороны Запада, рассматривавшего Иран в качестве своего основного союзника на Среднем Востоке и противовеса нестабильным режимам арабского Ближнего Востока. Иран был стержневым участником Багдадского

пакта, а затем и военного блока СЕНТО. При этом у Ирана все эти годы были стабильно хорошие отношения с СССР, который строил на его территории электростанции, металлургические комбинаты и газопроводы. Членство Ирана в организации ОПЕК прочно связывало его и с арабскими странами.

И все же, несмотря на столь благоприятные для модернизации условия, она завершилась крахом. Прежде всего потому, что **ее социальный капитал — общественное доверие к власти и поддержка ее реформ — неуклонно таял.**

Сельскохозяйственная реформа наделила землей два с половиной миллиона крестьян, однако привела к результатам, прямо противоположным тем, которые ожидались. Крестьяне, ранее работавшие у помещиков на феодальных принципах, не имели навыков ведения фермерского хозяйства и хотя бы поэтому не рассматривали его как ценность. К тому же мелкие фермерские предприятия были нерентабельны в условиях преимущественно зерновой специализации. В результате крестьяне стали за бесценок продавать полученные ими наделы и устремлялись на заработки в города. Помещики, получившие от государства выкуп за переданные крестьянам земли, предпочитали вкладывать эти капиталы не в сельское хозяйство, а в более доходный бизнес — в торговлю и строительство, реже в нефтяную промышленность, доступ в которую был закрыт узкой группой высшего чиновничества, практически сразу же монополизировавшей эту отрасль. Иран, основу экономики которого до реформ составляло сельское хозяйство, вынужден был уже в конце 1960-х годов закупать большую часть сельскохозяйственной продукции за рубежом. Импорт продовольствия за годы реформ вырос в 80 раз. Затраты Ирана на этот импорт составляли в 1977–1978 годах два с половиной миллиарда долларов в год.

По мере свертывания сельского хозяйства естественно возрастал приток населения в города. Объем сельской миграции к концу периода реформ достиг полумиллиона человек в год.

Промышленность не могла переварить такой объем неквалифицированной, большей частью элементарно неграмотной рабочей силы. Нефтяная отрасль мало трудоемка, и к тому же ее объекты расположены далеко от крупных городов. Новые же отрасли индустрии (металлургия, гидроэнергетика и машиностроение) с момента их появления в Иране и впоследствии ориентировались на ввоз иностранной рабочей силы. Города, несмотря на бурный рост строительства, не были в состоянии предоставить новым горожанам, не имевшим средств на покупку квартир и оплату коммунальных услуг, полноценного жилья в требуемом объеме, поэтому обрастали трущобами, забитыми обнищавшим населением, которое представляло собой основную социальную базу радикальных популистских движений.

Обвальный приток сельского населения в города породил целую гроздь проблем, которые в конечном итоге и подорвали саму основу иранского проекта модернизации.

Как видим, эти процессы не имеют ничего общего с особенностями ислама, поскольку примерно в таких же формах проявлялись они, например, в католических странах Латинской Америки. Там тоже происходило разрушение традиционных социальных связей, ухудшавшее материальное положение граждан. Безработное население трущоб, фавел, не имело возможности обеспечивать старость даже своих родителей, не говоря уже о поддержке более дальних родственников. Во всех странах, избравших модель технократической и дисгармоничной модернизации, **деградировал культурный капитал *нации***. Государство не успевало, а зачастую и не могло привить населению новые культурные навыки, а традиционная система социализации и передачи культурных норм разрушалась. Города, переполненные недавними крестьянами, рурализировались и переставали выполнять функцию центров трансляции культуры.

Растущие доходы Ирана от продажи энергоносителей не компенсировали параллельно растущего обнищания населения по целому ряду причин.

Политика этатизма, сосредоточения в руках государства как экономических, так и политических рычагов управления, объявленная эффективным механизмом оперативного распределения ресурсов на важнейшие направления модернизации, в действительности оказалась скрытой формой олигархического присвоения нацио-

нального богатства. Фактически государственная собственность принадлежала семье шаха и сравнительно узкому классу чиновников — так называемой «*тысяче семей*». Большая часть доходов от экспорта ресурсов сосредоточивалась в руках реальных хозяев страны, которые вовсе не были склонны делиться ими. Элита не собиралась отказываться от быстрых и легких доходов (продажи сырой нефти и природного газа) и вкладывать средства в новые отрасли с отложенной отдачей капитала. Например, широко разрекламированный шахским правительством амбициозный проект строительства крупнейшего в мире нефтехимического комплекса, предусматривавший появление десятков тысяч новых рабочих мест, так и остался лишь на бумаге. Новые металлургические и машиностроительные заводы, построенные с помощью СССР, скорее, были витриной индустриализации, чем реальным сегментом экономики.

Замкнутый клановый характер управления страной и экономикой порождал экономический произвол, усиливал коррупцию. Даже в период, когда социальное недовольство приняло практически всеобщий характер и грозило уничтожением шахского режима, близкие ко двору чиновники продолжали скупать жилье и взвинчивать на него цены.

Ухудшение положения населения во многом было связано и с гигантскими военными расходами. Шах намеревался превратить свою полумиллионную армию в пятую по величине и силе армию в мире. Расходы на оборону за период с 1968 по 1978 год возросли в двадцать раз и достигали десяти миллиардов долларов в год (более 30% бюджета).

В стране не было политических сил, способных мирными парламентскими средствами хоть как-то ограничить произвол властей и волюнтаризм их политики. «Период с 1963 года и до революции представляет собой поэтапный переход шаха к абсолютной власти. Партии создавались и распускались по велению правителя, возглавлялись его приближенными, а с 1975 года и вовсе были запрещены в связи с организацией единственной всенародной «Партии возрождения иранской нации» («Растахиз»)... основным принципом ее программы была верность шахиншахскому строю, а также лично «вождю» и «свету ариев» Мохаммеду Реза Пехлеви»[1].

Чтобы выжить, иранский политический режим, его бюрократия должны были хоть как-то совершенствоваться, видоизменяться, проводить те реформы, которые были провозглашены на бумаге. Но режим окостенел. Он по-прежнему формировался либо по родственному признаку, либо по признаку личной преданности шаху.

Обновлению бюрократического аппарата могла бы содействовать конкуренция внутри элиты, однако она отсутствовала в Иране. Власть и «элита» стали синонимами.

Система обратной связи между элементарнейшими запросами общества и ответом на них со стороны истеблишмента была парализована. Власть не обладала достоверной информацией о ситуации в стране и, даже имея разветвленную секретную службу САВАК, созданную при участии зарубежных специалистов, фактически проглядела возникновение исламской оппозиции, почти до самой революции 1979 года она направляла основные усилия на подавление слабых левых просоветских группировок.

Уже к середине 1970-х годов шахское правительство полностью лишилось общественной поддержки, власть оказалась социальным банкротом. Она сплотила против себя почти все слои населения. У этой сплоченности были все признаки социального капитала — взаимное доверие, взаимопомощь, общие каналы информации и готовность к совместным действиям, но все это оказалось социальным капиталом контрмодернизации. Супермаркеты, рестораны и казино как символы господства прозападной либеральной коррумпированной бюрократии все чаще подвергались разгрому. Толпы противников режима вступали в столкновение с полицией и даже с армейскими подразделениями. Репрессии против лидеров оппозиции, осуществлявшиеся сотрудниками САВАК, только подогревали антишахские настроения.

---

[1] *Сотниченко А.* 2008. Великие реформаторы. Доступно: http://www.idelo.ru/508/23.html

В ***турецкой модели модернизации*** тоже было уделено немалое внимание развитию экономики. Экономический конгресс, созванный кемалистами в Измире в феврале1923 года, поставил задачу перехода от мануфактуры и мелкого производства к крупным фабрикам и заводам, создания отраслей промышленности, для которых в стране имелось сырье. Был образован государственный банк. В 20-е годы правительство стремилось расширить использование сельскохозяйственных машин. С этой целью был принят ряд законов, которые предусматривали поощрительные меры для крестьян, использующих сельскохозяйственную технику. **Собственно же городская индустриализация началась через 10–15 лет после образования республики.** Только в 1933 году был принят первый, а в 1937 году — второй план индустриального развития страны. Создание же конкурентоспособной на мировом рынке индустрии и вовсе отделено от реформ Ататюрка несколькими десятилетиями. **Это время было использовано на формирование социальной базы модернизации.**

Ататюрк был одним из первых лидеров современного мира, поставивших задачу создания социокультурного капитала нации (хотя и не использовал этого термина) в качестве важнейшей предпосылки модернизации. Этот капитал должен был со временем конвертироваться и в экономический. В этой связи одной из важнейших своих целей кемалисты считали изменение отношения турок к работе на промышленных предприятиях, прежде считавшейся недостойной. Существовало и скептическое отношение бывших осман к предпринимательству в этой сфере.

Предприниматели-турки составляли меньшинство в бизнес-сообществе. Те немногие промышленные предприятия, которые существовали в то время в Турции, принадлежали либо иностранному капиталу, либо турецким гражданам — представителям национальных меньшинств. Они же составляли и львиную долю работников, занятых в промышленности, общая численность которых в 1920-х годах была очень мала, она не превышала 40 тысяч человек. Нарождающаяся турецкая буржуазия возлагала надежды на опытную сильную бюрократию, на государство, которое создаст им благоприятный климат для развития, поможет преодолеть в неразвитом частном секторе монополию местных нетурецких коммерсантов и, особенно, иностранного капитала. Реформы Ататюрка как раз и должны были содействовать развитию национального частного капитала, класса собственников и предпринимателей, а также становлению национальной промышленности и банковской системы.

В таких условиях в основу экономической программы кемалистов был положен принцип этатизма, предусматривавший ведущую роль государства в реформировании политической и экономической систем, преобладание государственного сектора в экономике при вторичной на первых порах роли частного капитала. Кроме того, государство должно было обеспечить модернизацию военного потенциала страны и установить контроль над всеми важными отраслями производства, транспорта и использованием стратегических ресурсов.

Турецкая модель этатизма разительно отличается от иранской времен «белой революции». Шах, ставя задачу ускоренной индустриализации страны, делал ставку на привлечение прежде всего иностранного капитала, которому были предоставлены исключительно привилегированные условия. Например, с 13 октября 1964 года все подданные США (а не только дипломаты) пользовались правом экстерриториальности. Что бы они ни совершили, их нельзя было судить по иранским законам. На этот декрет шаха немедленно отреагировал аятолла Хомейни. Уже 25 октября 1964 года он заявил: «Иранский народ поставили в положение хуже американской собаки. Ведь если кто задавит американскую собаку, его привлекут к ответственности, даже если это сделает шах Ирана. Но если американский поваренок переедет на своей машине шаха — главу государства, ему ничего не будет». Проблема монополии иностранного капитала состояла не только в том, что опора на него вызывала раздражение части местной элиты, имевшей немалое влияние на население. Главное, что такой путь не помогал созданию национальных слоев общества, являющихся гарантом устойчивой модернизации.

Кемалисты, ставя задачу индустриализации Турции, тоже могли двигаться по накатанной колее, ведь с середины девятнадцатого века султан расплачивался за растущий государственный долг тем, что предоставлял иностранному капиталу кон-

цессии. Однако Ататюрк выбрал более длительный, но в конечном итоге более эффективный путь. Суть турецкого этатизма как раз и сводилась к формированию условий для возникновения именно национальной экономики и национального капитала. По мере того как в Турции складывался социальный слой, способный защитить модернизацию, она укоренялась в обществе, становилась исторически устойчивой, менее подверженной срывам и откатам.

По своему характеру турецкая модернизация во многом является антиподом иранской. Шах сохранял монархию, объясняя это тем, что она соответствует национальному менталитету персов. Эта догма была развенчана исламской революцией, установившей республику, но в уродливой форме наиболее теократического государства современного мира. Ататюрк двигался в противоположном направлении — от теократической империи к светской республике[1].

Все предшествующие этапы реформирования Турции, которые предпринимались, скажем, «новыми османами» в середине XIX или «младотурками» в начале XX века, и были направлены на конституционное ограничение власти султана, не посягали на имперские основы его власти. Более того, младотурки считали сохранение империи одной из главных своих задач и выдвигали принципы пантюркизма и панисламизма в качестве идеологических скреп империи.

Между тем имперская система уже с начала XIX века стала все в большей мере тормозить развитие модернизационных процессов. По мере роста государственного долга Османской империи содержание ее обширной территории становилось непосильной обузой. Рост национально-освободительного движения на Балканах требовал не только материальных затрат, но и значительных человеческих жертв. Войны истощали демографический потенциал турецкого народа, поскольку армия комплектовалась в основном из турок. Республика Турция с первого момента своего учреждения провозгласила в качестве важнейших принципов *народный суверенитет* («Суверенитет безусловно и безоговорочно принадлежит народу») и *миролюбие* («Мир в стране — мир во всем мире»), то есть принципы, противоположные имперским (суверенитет султана и имперская экспансия).

Мустафа Кемаль, стремившийся вывести Турцию на уровень современной цивилизации, инициировал и реализовал ряд реформ.

1. Политические и правовые преобразования:

Упразднение султаната (1 ноября 1922 года).

Провозглашение Республики (29 октября 1923 года).

Упразднение халифата (3 марта 1924 года).

Отмена свода законов, основывавшихся на шариате, и принятие нового Гражданского кодекса и других законов, в результате чего стал возможным переход на светскую систему государственного правления (1924—1937 годы).

2. Преобразования в общественной жизни:

Предоставление женщинам равных с мужчинами прав (1926—1934 годы).

---

[1] В результате Первой мировой войны Турция потеряла не только все свои колонии, но и значительную часть собственной территории, оккупированную к началу 1919 года странами Антанты, которая ввела свой флот в проливы. В мае 1919 года в добавление к этому Греция заняла Измир и прилегающие территории. В соответствии с Севрским договором (10 августа 1920 года), подписанным султаном Мухаммедом VI для сохранения своей власти, трона и династии, страны Антанты оставили Турции примерно треть ее нынешней территории. Турецкая армия был распущена. В августе 1920 года войска стран Антанты взяли под свой контроль Стамбул. Однако еще в 1919 году в Турции начался процесс стихийного формирования партизанских отрядов для борьбы с интервентами. Национально-освободительное движение возглавил генерал Мустафа Кемаль, выдвинувший лозунг: «Независимость народа будет спасена по воле и решению самого народа». Национально-освободительная война, продолжавшаяся около пяти лет, завершилась 24 июля 1923 года подписанием Лозанского договора. Таким образом, не осталось никаких преград для создания нового турецкого государства, основывающегося на национальном единстве. Это государство формировалось в границах нынешней Турецкой республики. 29 октября 1923 года была провозглашена Республика Турция.

Реформа головных уборов и одежды (25 ноября 1925 года).

Запрет на деятельность религиозных обителей и орденов (30 ноября 1925 года).

Закон о фамилиях (21 июня 1934 года).

Введение международной системы времени, календаря и мер измерения (1925—1931 годы).

Объединение всех органов образования под единым руководством (3 марта 1924 года).

Принятие нового турецкого алфавита (1 ноября 1928 года).

Упорядочение университетского образования (31 мая 1933 года).

3. Преобразования в сфере экономики:

Отмена системы ашара (устаревшего налогообложения сельского хозяйства).

Поощрение частного предпринимательства в сельском хозяйстве.

Создание образцовых сельскохозяйственных предприятий.

Издание Закона о промышленности и создание промышленных предприятий. Принятие 1-го и 2-го планов индустриального развития (1933—1937 годы), строительство дорог на территории всей страны.

В соответствии с Законом о фамилиях, 24 ноября 1934 года ВНСТ (Великое национальное собрание, то есть парламент Турции) присвоило Мустафе Кемалю фамилию Ататюрк[1].

Прививавшееся туркам имперское османское самосознание подрывало национальное турецкое. Знаменитые слова Мустафы Кемаля: «Какое счастье быть турком!» следует понимать именно как призыв к пробуждению национального самосознания. Ататюрк искал исторические аргументы, чтобы восстановить у турок чувство национальной гордости, подорванное за предшествующие два века почти непрерывными поражениями и болезненным распадом империи.

Задачу восстановления репутации турок в мире и их самоуважения Ататюрк считал важнейшим элементом символического капитала модернизации. При этом образ турок не противопоставлялся другим народам. Напротив, Ататюрк постоянно подчеркивал, что только национальная общность может войти в сообщество цивилизованных народов. Соответствие поведения турок принципам цивилизованных обществ постоянно подчеркивалось им в качестве критерия добродетельности и позитивной репутации турецкого народа. «Друзья! Цивилизованная международная одежда — достойная и подходящая одежда для нашей нации, и мы все будем носить ее». Это высказывание из его аргументов в защиту реформы головных уборов. Или другое его изречение: «Обычай закрывать лицо женщинам делает нашу нацию посмешищем». Мустафа Кемаль добивался в своей стране такого же уровня эмансипации женщин, какой те имели в Западной Европе. Более того, в Турции женщины получили право голосовать и быть избранными в муниципалитеты и в парламент раньше, чем во многих странах Европы.

Развитию национальной культуры должна была содействовать реформа в сфере языка. Турецкий язык был переведен на латиницу, более адекватную нормам национального языка. На турецкий язык был переведен Коран.

Кемалисты, мобилизовав общество после победы национально-освободительного движения на проведение дальнейших реформ, стали с огромным трудом прививать населению необычное для подданных Османской империи сознание национального гражданства. Официальная кемалистская доктрина противопоставила *пантюркизму* младотурок *тюркизм*, постулировав, что все население страны представляет собой одну гражданскую нацию — турок, при сохранении свободы этнокультурной и религиозной самореализации меньшинств. Меньшинства пользовались равными правами с турками и получали возможность продвигаться по государственной службе вне зависимости от своих религиозных убеждений и этнической самоидентификации. Это радикально отличалось от гражданских основ Османской империи, так и не предоставившей меньшинствам равных прав, например, в сфере военной службы.

---

[1] См.: *Васильев Л.* История Востока. В двух томах. Т. 2. М., 1994, Высшая школа.

Национальная доктрина Ататюрка может рассматриваться как одно из проявлений «гражданского национализма», подобного тому, какой закреплен в официальных доктринах большинства европейских стран и представляется отдаленной, пока недостижимой целью для такой страны, как Россия.

В сфере внешней политики при Ататюрке вместо идеи имперской экспансии был провозглашен принцип нерушимости границ Турции, определенных Лозаннским договором.

Итак, сердцевиной реформ Ататюрка было изменение имперской системы управления, формирование нации и ее социокультурного капитала — всего того, чем пренебрегала иранская модель реформ, провалившаяся в конечном сете в силу неподготовленности государства и общества к индустриальной модернизации. В Турции же **вначале создавались светское государство и общество-нация, способные к индустриальной модернизации. И такая последовательность во многом определила конечный успех турецких реформ.**

Элиты: модернизаторские и патримониальные

Сложившийся в Османской империи политический строй характеризовался многими чертами, позволившими Максу Веберу отнести его к универсальному типу — *имперско-патримониальному.* Вместе с тем османский патримониализм во многом был уникален. Его особенности были отмечены тем же Вебером, выделившим особый тип патримониальных отношений — «султанизм».

В политической социологии М.Вебера патримониализм рассматривается как переходная ступень между традиционным типом управления и современным — рационально-легитимным. Положение патримониального чиновника в обществе, так же, как и его функции в управлении государством, не регулируется ни традицией, скажем, принадлежностью к определенному социальному сословию (аристократии или дворянству), ни правовыми нормами. Они заданы только личными взаимоотношениями чиновника с правителем. Патримониальный чиновник — слуга, лично подчиненный правителю. Такой тип управления был характерен для многих абсолютных монархий, а также для тоталитарных режимов коммунистического типа (отчасти он сохраняется и в некоторых посткоммунистических странах). Однако в Османской империи патримониализм, повторим, имел свои особенности. Здесь не только личная военная гвардия султана (янычары), но и светская бюрократия (*капыкулу)* являлись «рабами султана» и первоначально набирались из числа зависимых людей — рабов, на повиновение которых он мог безоговорочно полагаться. Достигнув определенного ранга, они получали не только обширные полномочия в сфере управления, но и место за столом правителя. В какой-то мере высшая бюрократия, например, великий визирь, становилась частью семьи султана. Вместе с тем султан мог по личной прихоти, без объяснения причин лишить любого чиновника (включая и великого визиря) не только всех привилегий, но и самой жизни. Отрубленная голова визиря, набитая хлопком, служила устрашением для его преемников, напоминая им, что они всем обязаны султану.

К XIX веку капыкулу набирались уже не из рабов, а из свободного образованного населения, как правило, из среды потомственной бюрократии. Эти люди обладали обширными знаниями, полномочиями, фактически управляли империей от имени султана и зачастую накапливали немалые личные состояния, однако их положение все так же не было формализовано и целиком зависело от воли повелителя. Понятно, что именно этот слой постоянно добивался правового закрепления своего статуса. Именно он был жизненно заинтересован в ограничении власти монарха и при первой же возможности подталкивал султана к введению конституции.

Во всех исторических циклах турецких реформ их основной движущей силой выступала светская и военная бюрократия, в какой-то мере компенсировавшая отсутствие в Турции вплоть до середины XX века «третьего сословия» и класса независимых землевладельцев, заинтересованных в ограничении произвола центральной

власти. Это дало основания Ш.Эйзенштадту[1] назвать турецкую бюрократию «модернизаторской элитой», стремившейся на всех этапах турецкой модернизации XIX — начала XX века к *«формированию большей институциональной гибкости и автономности структур управления»*[2]. К похожему выводу пришли и некоторые российские исследователи, опровергающие советские представления о неизбежной оторванности бюрократии от населения и ее якобы заведомо контрмодернизационной роли. Так, И.Фадеева считает, что можно говорить о появлении в XIX веке консолидированной прослойки бюрократии, которая «с эпохи Махмуда II проявляет тенденции к объединению и взаимной поддержке. Эта же прослойка, выступая за реформы, уже в полной мере осознавала угрозу, таившуюся в собственном традиционном рабском статусе, и стремилась *к гарантиям безопасности, которые в законодательных актах распространялись не только на правящую элиту, но и на другие слои населения»*[3]. Мустафа Кемаль был представителем этой модернизаторской элиты как по происхождению (сын офицера, ставшего впоследствии таможенным чиновником), так и по идеологии (со студенческих лет он участвовал в философских дискуссиях младотурок, хотя и не принимал участия в их политических акциях).

Реформы Ататюрка, в отличие от реформ иранского шаха, не были «верхушечными»; они продолжали турецкую историческую традицию противостояния между модернизаторской элитой и имперской властью. Можно говорить о том, что Ататюрк опирался на *исторический капитал*, которого не было в Иране.

С XIX века сформировались идеалы модернизации. Они определялись культурными приоритетами сравнительно широкого социального слоя модернизаторской элиты, связывавшей позитивное будущее Турции с процессом ее европеизации (alafranga) и достижением идеала «современной цивилизации». Ничего похожего не было в Иране, где идея вестернизации сформировалась лишь в XX веке и поддерживалась крайне узкой группой приближенных шаха и так называемой компрадорской буржуазией, посредниками западного капитала.

Ататюрк, можно сказать, был одним из первых политических технологов XX века. Предпринимая радикальные изменения турецкой жизни, он постоянно подчеркивал связь реформ с исторической традицией. В обоснование всех своих реформ, включая, казалось бы, совсем эксцентричные, такие, например, как запрет ношения традиционного головного убора турок — фески, он непременно приводил исторические аргументы. Сама феска в свое время пришла на смену традиционному тюрбану. В середине XIX века после одной из проигранных военных кампаний султан решил не только перевооружить армию, но и переодеть ее в новую форму. Тогда и появилась феска как синтез традиционной одежды и новой — легкой, европейской.

Ататюрк осознавал или ощущал важную роль символического капитала модернизации. В этом смысле он чем-то напоминал Петра I, который стриг бороды своим боярам и переодевал их в европейскую одежду. Современные социально-психологические исследования (например, П.Бурдье) подвели под этот эмпирический опыт фундаментальную теоретическую базу, подтвердившую верность интуитивных догадок великих реформаторов о значении символов перемен.

Иная стратегия была у иранского шаха. Он проводил свои реформы, идя напролом, без малейшей попытки «упаковать» новации в традиционную оболочку, представить их как продолжение традиции, совершенно не заботясь о последствиях такого штурма для своей репутации.

Иранский шах расплачивался со своими приближенными тем, что предоставлял им защиту от закона. Иранский этатизм поставил чиновников шаха над законом. Например, председатель сената Дж. Шариф-Имами, прозванный за взяточничество «господином пять процентов», не только не привлекался к уголовной ответственности, но и получал награды от монарха. Уличенный в казнокрадстве генерал Ф.Джем

---

[1] Шмуэль Ной Эйзенштадт, или *Айзенштадт* (род. в 1923 г. в Варшаве) — израильский социолог. Основная область занятий — сравнительное исследование цивилизаций Запада и Востока в контексте перехода от традиционных обществ к модерным.

[2] *Эйзенштадт Ш.* Революция и преобразование обществ. М., 1999. С. 287.

[3] *Фадеева И.* Концепция власти на Ближнем Востоке. М., 1993. С. 154.

все же был наказан, но не слишком сурово — отправлен послом в Испанию. В Турецкой же республике именно к чиновникам государство предъявляло повышенные требования. Они первыми должны были демонстрировать готовность подчиняться законам и восприимчивость к реформам. Чиновники первыми должны были освоить новый алфавит и отказаться от фесок. Их жены первыми снимали чадру. Чиновники должны были демонстрировать готовность приобретать товары национальных производителей, например, шить одежду из турецкой ткани, которая в то время заметно уступала по качеству тканям зарубежного производства. А появившийся при Ататюрке независимый суд в 1960 году привлек к ответственности за коррупцию самого премьер-министра Турции Аднана Мендереса.

Провал иранской модернизации в значительной мере был связан с «ресурсной ловушкой», о которой мы уже говорили. В Турции такой проблемы не было.

Турецкий этатизм проявлялся и в политической сфере. Реализация правящей элитой задачи европеизации Турции «в короткие исторические сроки» требовала сохранения определенного уровня авторитарности. Элита была организована в единую правящую политическую партию, Народно-республиканскую, программа которой покоилась на упомянутых кемалистских принципах — *светскость, тюркизм, республиканизм, европеизация.* В то же время Ататюрк предпринял две попытки создать легальную оппозицию НРП, но обе кончились неудачно: оппозиционные партии, как магнит, притягивали самых ярых противников нового режима, включая и тех, кто был готов к вооруженным выступлениям против власти.

Важно подчеркнуть, что политика этатизма в Турецкой республике была недолговечной. Окрепшая к середине 1950-х годов турецкая буржуазия стала тяготиться избыточным государственным контролем и требовала приватизации раздутого, по ее мнению, государственного сектора экономики. Сформировался либеральный альянс представителей верхушки третьего сословия, чиновников и новых землевладельцев. В 1950–1960-х годах они оказывали заметное давление на режим Баяра — Мендереса, вынуждая его к частичной либерализации, по крайней мере, в сфере экономики. С 1960-х годов неизбежностью становился и переход к многопартийности, на которой особенно настаивали союзники Турции по НАТО. Однако длительное отсутствие каналов легального выражения протестных настроений и особенно репрессивная политика в отношении левых сил привели к тому, что новые оппозиционные партии складывались преимущественно как исламистские (в открытой или завуалированной форме).

Ислам и модернизация

Как в Турции, так и в Иране наибольшее противодействие модернизации оказывало исламское духовенство. На наш взгляд, излишне упрощенными и не адекватными реальности являются утверждения многих исследователей, связывающих это явление с особенностями самой исламской религии, его большей, чем в христианстве, регламентацией повседневного поведения человека и большей же ориентацией на корпоративизм, противоположный индивидуализму[1]. Исследования лауреата Нобелевской премии в области экономики А. Сена показывают, что ни одна из мировых религий не создает преград для экономической модернизации и вполне способна адаптироваться к ней[2].

В каких-то аспектах традиционный ислам даже в меньшей мере, чем христианство, способен оказывать противодействие реформам, проводимым государственной властью. Прежде всего потому, что в исламском мире не существует жесткой институциональной организации духовенства, подобной, например, католичеству,

---

[1] *Дюмон Л.* Homo Aequalis I. М., 2000. С. 16. Фадеева И. 1993. Концепция власти на Ближнем Востоке. М., 1993. С. 62—63.

[2] *Сена А.* 2004. Культурная свобода и развитие человеческого потенциала // Культурная свобода в современном многообразном мире. Доклад о развитии человека 2004. ПРООН. С. 17—25.

объединяемому папским престолом; в большинстве стран этого мира религиозные функционеры не образовывали сплоченного института. Осознавая эту институциональную разобщенность, шах Мухаммед Реза Пехлеви еще за несколько месяцев до исламской революции не мог представить себе саму возможность сплочения исламского духовенства в стране и превращения ислама в политическую силу. В этом отношении Османская империя представляла собой не столько правило, сколько исключение в исламском мире.

С 1517 года турецкие султаны сочетали титулы императора и халифа, формального лидера исламского мира. Это придавало легитимность как имперским завоеваниям в исламском мире, так и абсолютной власти монарха внутри собственно турецкой ее части. Как пишет И.Фадеева, «концепция государства в Османской империи имела смысл только в религиозном контексте. Религия обеспечивала не только законность политического руководства, но и его стабильность, что достигалось минимизацией упований на правительство»[1]. Кроме того, религия была связующим звеном между центром и периферией Османской империи, в которой все местное управление находилось под опекой исламского духовенства. Оно же выполняло функции контроля за деятельностью всех элементов управления. По существу османская бюрократия состояла из двух отдельных бюрократических структур. Одной из них была гражданская бюрократия капыкулу, а другой — «религиозная бюрократия», формировавшаяся из лиц, прошедших обучение в медресе. В сфере ответственности «религиозных бюрократов», улемов, находились три важнейшие области: система образования, судебная система и толкование шариата, являвшегося основой правовой системы империи. «Вся политическая власть в Османской империи была одним из инструментов применения шариата в государстве»[2].

Ни одна из исторических попыток модернизации Турции, предшествовавших реформам 1920-х — 1930-х годов, не ставила задачи полного отделения религии от государственного управления, что в значительной мере обрекало турецкую модернизацию на воспроизводство циклов реформ и контрреформ. Ататюрк первым выдвинул принцип *лаицизма,* то есть развития светского государства и его правовой системы. Такая политика была подготовлена анализом опыта поражений всех предыдущих попыток модернизации. Отчасти же к ней подтолкнули и конкретные обстоятельства становления молодой республики. В 1923 году султан Турции Мухаммед VI был низложен и укрылся на британском военном корабле. Однако вскоре его наследник, принц Абдул-Меджид, принял титул халифа. В течение полугода в Турции формально существовало двоевластие — власть президента республики и власть халифа. Лишь в марте 1924 года халифат был упразднен законом.

Лаицизм в Турции не имеет ничего общего с воинствующим атеизмом советских большевиков. Секуляризация затронула лишь сферу управления и образования. Ислам по-прежнему оставался при Ататюрке и до сих пор остается важной частью частной жизни граждан. Так, в преамбуле к действующей Конституции Турции подчеркивается, что «в соответствии с принципом светского государства на государственные дела и политику никоим образом не должны влиять священные религиозные чувства». В то же время в статье 24 предусмотрено, что каждый имеет право на свободу совести, вероисповедания и религиозных убеждений, а богослужение, религиозные обряды и церемонии должны проводиться свободно. Никто не должен принуждаться к отправлению религиозных культов или участию в религиозных церемониях и обрядах, к проявлению своих религиозных верований и не может быть обвиненным или осужденным за свои религиозные убеждения»[3]. Показательно, что в светской республике обучение религиозной культуре и этике является обязательным элементом в учебных планах начальных и средних школ, но осуществляется под контролем и надзором государства.

---

[1] *Фадеева И.* Концепция власти на Ближнем Востоке. М., 1993. С. 63.

[2] Там же.

[3] *Сюкияйнен Л.* 2009. Светский характер государства: конституционное закрепление принципа лаицизма и споры вокруг его толкования. Доступно в Интернете: http://ru.fgulen.com/content/view/2268/18/

Принцип лаицизма вызывал наибольшее в сравнении с другими принципами Ататюрка сопротивление в Турции. Неоднократно предпринимались попытки мятежей. И все же ни исламской революции иранского типа, ни гражданской войны, как в советской России, в Турции не случилось. Светский характер государства, как мы еще покажем, в основном выдерживает испытание временем.

После Второй мировой войны влияние ислама на политическую жизнь Турции стало возрастать. Неоднократные вмешательства в политику турецкой армии, бравшей власть для восстановления кемалистских принципов светского государства, не могли стать нормой в современной Турции. Такая форма борьбы за светский характер государства исключала возможность развития общественного контроля над властью. В новых условиях должны были появиться и новые доктрины.

Возрожденная в середине 1980-х годов гражданская власть вывела на политическую сцену Турции новых авторитетных лидеров, наиболее ярким из которых стал Тургут Озал. Он исходил из того, что исламизм нельзя подавить, а ислам нужно сделать союзником либерализации и модернизации. Так появилась новая доктрина *турецко-исламского синтеза.*

Важнейшую роль в ее реализации сыграл такой своеобразный политический институт, как Высший совет общества культуры, языка и истории имени Ататюрка. Это конституционный орган. Статья 134 действующей конституции Республики Турция определяет общие задачи этого идеологического органа власти, в числе которых основными можно назвать следующие: «развитие национальной культуры на уровне современной цивилизации» и «укрепление национального самосознания и единства». Обществу подчинены четыре научных объединения — Турецкое историческое общество, Турецкое лингвистическое общество (оба учреждены еще Ататюрком в 1928 году; этим же обществам он завещал часть своего личного состояния), Исследовательский центр по Ататюрку и Центр культуры имени Ататюрка.

Высший совет на своем заседании 20 июня 1986 года под председательством президента Турции Эврена и с участием премьер-министра Т.Озала, начальника Генштаба и многих других высших должностных лиц «*одобрил доклад на предмет принятия всей нацией понятия культуры, которое составляет основу турецко-исламского синтеза».* Подчеркивалось, что «*источниками национальной культуры Турции являются и тюркская культура, и исламская культура*»[1].

Обращает на себя внимание тот факт, что к обсуждению проблемы культурной идентичности в Турции привлекаются высшие должностные лица государства. Трудно вспомнить другую страну, в которой культурная доктрина становилась бы основой политической стратегии государства на многие годы.

Что касается сущности доктрины Т.Озала, то у нее есть противники, считающие, что «озализм» вытесняет кемализм. Вместе с тем у нее немало сторонников. Последние полагают, что современное турецкое общество уже достаточно созрело для того, чтобы использовать для целей модернизации потенциал исламских движений и одновременно предотвращать возможности прихода к власти религиозных радикалов, не прибегая к тактике военных переворотов. Крупнейший писатель Турции Октай Акбаль летом 1998 года писал: «Считается, что только военные выступают против сторонников реакции... Активные силы страны, ее различные организации, ее рабочие, предприниматели, преподаватели, все просвещенные народные массы являются защитниками республиканских реформ. Не будь этих гражданских сил, что могли бы сделать военные?»[2]

Известный турецкий политолог Токтамыш Атеш отмечает ослабление позиций прежней бюрократии, опорой которой служила государственная собственность, и появление новой турецкой элиты — «управляющая Турцией гражданская власть — это власть коалиции, составленной из тех, кто контролирует производство бытовой техники, автосборку и строительные подряды»[3]. Сильно окрепшая к концу XX века

---

[1] Цит. по: *Киреев Н.* Метаморфозы правящей элиты Турции//Политическая элита Ближнего Востока. М., 2000. С. 78—92.

[2] Там же. С. 90.

[3] Там же.

предпринимательская прослойка, и особенно ее верхушка, представленная ныне несколькими весьма влиятельными союзами предпринимателей, торговыми, промышленными палатами крупных городов страны и отраслевыми союзами работодателей, не заинтересована в крайнем исламизме. Решая, поддерживать ли какую-либо идеологическую инициативу активистов национально-исламского синтеза, они оценивают ее целесообразность для своего бизнеса и готовы выступить против радикализма как националистического, так и исламского, приводящего к конфликтам и угрожающего интеграции Турции в ЕС.

Исламская интеллектуальная элита также противостоит крайнему религиозному радикализму. Известный ученый-богослов, профессор Стамбульского университета Яшар Нури Озтюрк призывает соотечественников изучать ислам хотя бы для того, чтобы разоблачать политиканов от религии: «Народ должен на деле выступить против тех, кто эксплуатирует религию, кто под религиозным обличьем нарушает права человека. Нужно не охать, а разоблачать, осуждать, противодействовать»[1].

В современной Турции происходит заметная адаптация умеренных исламских партий к светской системе государственного управления и к целевым установкам турецкой элиты. Так, в официальной программе происламской Партии справедливости и развития (во главе с Т.Эрдоганом), находящейся ныне у власти, отмечено в качестве важной внешнеполитической задачи вступление Турции в ЕС[2].

Лишь время может показать эффективность новых турецких культурно-политических доктрин, что же касается большинства реформаторских идей Ататюрка, то они уже прошли испытание временем.

---

[1] Цит. по: *Киреев Н.* Метаморфозы правящей элиты Турции//Политическая элита Ближнего Востока. М., 2000. С. 90.

[2] Программа Партии справедливости и развития, раздел: «Внешняя политика» http://www.akparti.org.tr/program.asp?dizin=50&hangisi=2#top

Владимир Огнев

Каменная книга, или Посрамление Дон Кихота

Фрагменты из книги

Как я жил при коммунизме

Ну вот, кажется, жизнь прошла.

И пора подумать о времени и о себе в этом времени. Время было разное. И я, разумеется, бывал разный. О себе хочется думать лучше. Постараюсь напирать на факты. Так честнее.

Большую часть жизни я, как и все вокруг, строил коммунизм.

И хотелось видеть перспективу.

«Гренада, Гренада, Гренада моя!..». Но потом другой поэт сказал: «Не нужен мне берег турецкий. И Африка мне не нужна!». Выбирать не пришлось. За меня выбрали.

Выбирали так, что — не нужна: ни Турция, ни Африка, а нужна — одна Россия.

Все бы хорошо, но Эстония сказала, что ей не нужна Россия, а за ней — Латвия и Литва, а потом и Грузия с Украиной. А еще раньше — Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Болгария, Венгрия, а еще раньше — Югославия...

Россия обиделась.

А я растерялся. Я привык, что мне нужна Украина. И даже Африка.

И что я кому-то нужен. Но в почтовом ящике стало пусто.

Оказалось, что я жил в очень большом мире и не замечал этого.

И сама Россия стала какая-то другая.

Очень похожая на ту Россию, от которой мы когда-то решительно отказались.

Как говорится, от чего ушли, к тому и пришли.

А коммунизм?..

Не удивляйтесь, но при коммунизме я уже жил дважды.

Как это получилось и на какие мысли навело — вот об этом и расскажу поначалу.

Когда в Чехии началась их весна, не сразу перешедшая в лето, писатели в Праге собрали съезд. И там случился скандал. Имею в виду не главный, политический, а тоже политический, но не главный: словацкая делегация демонстративно покинула съезд. И увел ее мой друг, Мирослав Валек, поэт божьей милостью.

Огнев Владимир Федорович — поэт, критик. Публикации в «ДН»: «Блики памяти» (№ 1, 1998), «Ностальгия по Грузии» (№ 10, 2000), «Время и мы». Фрагменты из книги (№ 7, 2003), «Судьба рода и путь нации» (№ 4, 2004), «Две поездки в Италию, или Как мы стучимся в двери “Европейского дома”» (№ 8, 2004), «“Попутное” через тридцать лет». О жанре воспоминаний (№ 12, 2004), «Раздвижение пространства». Портреты Игнатия Ивановского и Николая Чуковского (№ 11, 2005), «Незасыпанный окоп» (№ 2, 2006), «”Лунорогие быки” воспоминаний». О Кайсыне Кулиеве (№ 8, 2006), «Уроки Александра Блока» (№ 9 , 2007), «Два поколения». Эссе (№ 3, 2008), «Прощание с иллюзиями» (№ 12, 2010), «На распутье эпох» (№ 4, 2011).

Этот факт смутил наши интеллектуальные кухни. В них начался ропот.

Смутился и я.

Юрий Левитанский — один из переводчиков Валека — сказал мне, что теперь мы не должны подавать ему руку.

Подавать ее было просто невозможно. Мы с Юрой жили в районе «Аэропорт», в Москве, а Валек в Братиславе.

Но смущение оставалось.

Что-то в то же время мешало поверить, что наш Миро изменил идее свободы, и я написал ему письмо. В нем я напоминал, что он говорил и как поступал прежде.

Я вспомнил ту ночь, когда решалась и удачно решилась судьба Дубчека, как он, Валек, будучи членом ЦК, участвовал в историческом совещании, повернувшем судьбу Чехословакии, а я не спал до утра в маленьком домике в словацкой деревушке, среди огромного виноградника, ожидая, когда вернется друг... Было это, казалось, совсем недавно.

Текст моего письма был осторожным, но не уклончивым. Адресат отвечал, что объяснить в письме происшедшее трудно, а надо, чтобы я и Надя (моя жена) просто приехали к нему, о приглашении он позаботится.

Я смутился еще больше.

Ехать — не ехать? Ромашки на Аэропортовской не росли, погадать было не на чем.

Решение: держать паузу.

Но все решил случай. Пришла телеграмма: «Буду Москве приглашению Министерства культуры России»...

Вот те на. Тут уж придется жать или не жать руку. (Тут, честно говоря, я даю петуха. Неправда. Так вопрос и не стоял.)

Я просто беспринципно обрадовался.

На перроне Белорусского вокзала встречающих почти не было, но условно напротив вагона № 6 я увидел Юрия Мелентьева, министра культуры РСФСР. Он улыбнулся мне словно мы были приятелями и сказал наигранно дружески: «Встречаем?». Будто догадался, кого встречаю я.

Миро, выйдя из вагона, пожал руку Мелентьеву и расцеловался со мной.

Я понял, что все в порядке, и наши кухни напрасно сделали стойку.

Укрепился в этом окончательно, когда мы садились в машины. Миро сел в мою (такси), а не в министерскую «Волгу»: «До встречи!».

Мелентьев преодолел растерянность. Помахал рукой.

Такси доставило нас в какой-то переулок, где притаился так называемый гостевой дом ЦК. Ну там — коверные дорожки, приглушенный свет лампионов, мраморная лестница и вежливая прислуга. В апартаментах Валек как-то смущенно сопел, улыбался. Сказал только, помню: «Сюда положи... Шторы откроем... Садись... Вечером — у тебя?». И все. Я ушел почему-то довольный.

Изменники не держатся так уверенно и весело. А его смущение?

Вечер у меня на Аэропортовской прошел замечательно. Миро показал на телефон и вышел на балкон. Там вполголоса и протекала наша беседа «о главном».

Но тут я говорю себе: «Стоп».

И вспоминаю. Это называлось «Пражская весна». И я, хоть чуточку, принимал в ней участие. Милан Юнгман, председатель чешского Союза писателей, а до этого главный редактор «Литерарных новин» (их «Литгазеты»), втянул меня в эту историю. Я писал «Дописы з Москвы» («Письма из Москвы») и пересылал их в Прагу. Успех был неожиданный. Его заметили в Кремле. И разразился скандал. Секретариат СП СССР растерялся, а на специально собранном заседании ЦК КПСС издали распоряжение прекратить вообще самовольную переписку со странами социалистического лагеря. Теперь вводилась цензура (для писателей — Инокомиссия СП).

Но присутствующий на секретариате работник ЦК И.Черноуцан молчал, чертил что-то непонятное пальцем по пыльной лакированной поверхности стола. В.Кожев-

ников, на этот раз председательствующий, не мог прочитать скоропись Черноуцана, и я легко отделался. Что-то, нехотя, промямлила «Литгазета».

Потом была поездка в Чехословакию. Это уже когда победил Дубчек, Милан повел меня к молодым редакторам «Литерарных новин».

— Это тот самый Огнев, — торжественно сказал он им. — Надо продолжить его публикации.

Но молодые смущенно молчали. Они не знали «того самого» Огнева.

Время было ускоренное. Новые люди опережали революции. Смущенно напечатали они только одно мое письмо. Юнгман потом писал мне, что им не понравилась моя ирония по отношению к рынку.

— Но я имел в виду тему: рынок и культура, — пытался оправдаться я.

— Они не знают таких тонкостей, — отвечал Милан.

И я представил, как вздохнул мой старый друг. Дело в том, что он был… старый. Молодежь пошла бойкая.

Она бежала уже впереди прогресса.

…Но вернемся к Валеку.

Вывод мой предварительный полностью подтвердился: Валек имел просто свой план действий по отношению к революционной ситуации в Чехословакии. Коротко: это был план Дубчека. Дальнейшие события показали, что идея постепенности перехода к новым формам жизни, как у нас, так и у него на родине, была абсолютно правильна и, как следствие, позволила Чехословакии избежать тех встрясок, исторически неподготовленных перемен, которые исказили потом у нас саму цель «перестройки»…

Но речь сейчас о другом.

Загудел электровоз, и с той же платформы Белорусского вокзала, на которой я встречал Валека, тронулся на Братиславу поезд, уносящий меня с женой на родину моего друга.

Поезд с торжествующим гудком уносил нас не только к новым поворотам судьбы Революции, но и к первой встрече с коммунизмом, знакомым нам лишь теоретически.

По обе стороны Дуная

Сначала все было, как раньше бывало.

Эйфория первой встречи (для Нади) с Дунаем, который был какой угодно, но не «голубой». Скорее даже от него пованивало. (Впрочем, теперь пованивает и от слова «голубой»).

На той стороне, нам говорили, видна Венгрия. Мы ее не видели. Но при чем здесь была Венгрия, скажу ниже.

Нас поселили в апартаменты знакомой уже мне по прежним посещениям Братиславы гостиницы «Девин». Только в прошлые приезды сюда я жил не в апартаментах, а в нормальных номерах с нормальным восточноевропейским сервисом.

Теперь все было иначе. Комнат на двоих растерявшихся персон было явно многовато. Был даже отдельный кабинет со всеми бюрократическими принадлежностями. Даже с давно позабытым у нас… пресс-папье на дубовом письменном столе с беломраморным чернильным прибором.

Но главным действующим лицом в дальнейшей истории оказался другой предмет — огромный холодильник. В его недрах хранились несколько тортов, батарея дорогих коньяков, шампанского, разнокалиберных бутылок и бутылочек с красивыми этикетками.

В одной из комнат мы увидели в стене застекленную метра в два шириной нишу, в коей на стеклянных же полках стоял ряд бутылок с марочными винами… Выставка?

К этому стоит прибавить вазы с фруктами, расставленные на разных столиках во всех комнатах.

Я, вздрогнув, отщипнул от виноградной кисти наверху ананасовой горки одну ягоду и предложил Наде погулять по набережной перед сном.

Жена как бы равнодушно пожала плечами, почему-то вздохнула и приняла мое предложение.

А вот теперь пришло время рассказать: при чем здесь Венгрия, которая так и не была видна за неголубым Дунаем...

А при том, что история с холодильниками имела в моей практике особое значение.

Как-то во время первого посещения Будапешта в отеле у начала моста Эржебет через тот же Дунай я получил начальный урок, связанный именно с холодильником, затаившимся в глубине номера. Наивный путешественник, я, обнаружив в его прохладных недрах аппетитные пирожные и серию мини-бутылочек, не долго думая, предался приятной трапезе, смакуя и дегустируя то и другое.

Каково же было мое удивление, когда на следующее утро миловидная горничная, восполняя содержимое холодильника, положила на его белоснежную поверхность счет. Такого количества форинтов я не мог и представить, у меня зарябило в глазах от цифр...

В довершение позора я осрамился еще раз — на плохом немецком серьезно предложил миловидной горничной... лечь ко мне в постель. Девица зарделась, прыснула, зажав ладошкой белозубый ротик. Имел я в виду, конечно, другое: что сам уберу постель.

Но тут я уже опасно уклоняюсь от темы...

Вернемся в Братиславу.

Когда, отужинав с Валеком в ресторане, мы с Надей решили все-таки выпить холодной минералки, удивлению нашему не было границ — холодильник был абсолютно пуст.

На следующее утро сквозь сон услыхал я звук ключа в двери, тихое шарканье и, приоткрыв один глаз, увидел старого официанта, беззвучно и осторожно загружавшего холодильник.

Двое суток повторялась эта странная процедура. Холодильник был полон с утра и абсолютно пуст к ночи. Когда я поведал эту историю Миро, он так расхохотался, что долго не мог остановить слезы: «Да прислуга же кутила за ваш счет, пила за ваше здоровье...»

Так впервые в жизни я узнал кодовое выражение: «открытый счет».

Блеснула заря коммунизма. Ее робкий лучик...

Тут потребуется важнейшее уточнение.

Как мы представляем этот самый коммунизм?

Пока его строили, как-то успели забыть про то, что кроме идеала есть еще и такая вещь, как достойное человека существование, скажем, трехразовое питание в сутки, к примеру, или, допустим, право на собственное мнение по поводу оценки удобства жизни в коммунальной квартире. Это как минимум.

Так вот, обнаружив однажды, что кроме идеала есть еще какие-то подобные мелочи, человек с удивлением замечает: его понимание коммунизма больше смахивает на ожидание теплой обуви зимой и чтоб не сосало под ложечкой после обеда.

Идеал, так сказать, получает как бы абстрактное значение, нас мало касающееся.

Одно дело — революционная увертюра. Тут все на своем месте. И звон литавр и даже восторг ожидания справедливости. А когда музыка смолкает и занавес поднят, а на сцене все идет не совсем так, как ожидалось... Стыдно признаться, но ждешь антракта, чтобы хотя бы сходить в буфет.

И наступает какая-то огорчительная пауза, когда начинаешь презирать себя за то суженное, поблекшее, зыбкое представление об идеале, который улетает от тебя все выше, подобно голубому шарику, о котором пел Булат Окуджава... И тогда слово коммунизм наполняется для тебя запахом сытой и праздной жизни. Ты гонишь этот проклятый запах в дверь, а он вползает через форточку...

Первый этаж рая

Понимаю, что это — умозаключение циника и потому тороплюсь выдать его за иронию. Так спокойнее.

Но вот вопрос. Если я так легко очутился в коммунизме, то как назвать положение обслуги, того же старого официанта, возраст или здоровье которого выдавали шумная одышка и шарканье по паркету? Или той же угодливой горничной, которая ежеутренне прошмыгивала как тень летучей мыши, неслышно и моментально уничтожая следы нашей (а вернее — моей) неаккуратности и бытовой оплошности? Или того невидимки-полотера, который дважды за два дня натирал и без того блещущие полы?

Нет, видимо, все-таки коммунизм — это когда одни проживают в нем по его законам, а другие при нем, но тоже по его законам.

Все, как всегда? Но на новом витке.

И тот факт, что официант, горничная и полотер пьют по ночам за наше с женой здоровье из-за того, что мы что-то не так поняли в коммунизме и еще не освоили разницу между «в нем» и «при нем», — мало что меняет по существу дела.

Но что означал «открытый счет по Валеку» мы в полной мере оценили позднее, когда красивая переводчица и веселый шофер иномарки пригласили нас с Надей осмотреть Словакию, как осматривают какой-нибудь магазин подарков.

Мы выехали ранним утром и тотчас въехали прямо в коммунизм, — уже почти настоящий, — который продолжался недели две.

Поначалу мы действительно стеснялись. Потом — делали вид, что стесняемся. А под конец привыкли. Человек ко всему привыкает. Но — к коммунизму...

Начать с того, что мы — граждане страны развитого социализма — перестали платить деньги. Мы стали уже забывать, какой цвет у каких купюр, что сколько стоит в этом мире.

Человек забывает легче, чем помнит.

Оказалось, две недели — срок вполне достаточный, чтобы перейти из одной социальной формации в другую.

В этой, новой, которую я, по причине небогатой моей фантазии или вследствие неразработанности соответствующих дефиниций упорно именую коммунизмом, — в этой формации, например, нам не давали думать (за нас думали), открывать дверцу автомашины (за нас открывали), закрывать (закрывали), поднимать тяжести, например, зонтик (поднимали), или крону из кармана (пока я подумал, что стоит опустить ее в шляпу нищему, — в нее уже опустилась монета красивой переводчицы)...

Кое-что нам оставили делать самим, например, мы без помощи раздевались, ложась в постель.

Мы сами *смотрели*. Мы видели в Высоких Татрах, как гордо взирал на нас горный козел с соседней скалы. Или как плескалась форель в прозрачном озере. Наконец, как вставало и садилось солнце. Или как живописно переодетые в разбойников официанты в ночной корчме взаправду стреляли в закопченные балки потолка. Как гончар лепил на наших глазах чудесной красоты кувшины и раскрашивал настенные тарелки.

Нам также разрешали слушать. Старинные песни словаков про несчастную долю и любовь пастушки. Мы слышали шум реки, засыпали под ночные крики птиц и, просыпаясь, лично слушали утренние петушиные голоса.

И как красивая переводчица говорила по-словацки веселому шоферу, когда мы вставали после обеда в каком-нибудь ресторане: «Они устали. А мы посидим еще. Что закажем?».

Открытый счет, оказалось, уравнивал гостей и хозяев.

...Отрезвление наступило только на обратном пути в Москву на пограничной станции, когда высокий офицер сказал маленькому таможеннику (на своем языке):

«Попались». Речь шла о картонных ящиках с керамическими «предметами искусства». Но, прочитав сопроводительное письмо Валека, маленький таможенник уважительно сказал высокому пограничнику: «Подарок министра». Оба взяли под козырек.

Прощание со сладкой жизнью произошло так же неожиданно, как и началось. В Москве я нечаянно столкнулся с носильщиком.

— Куда прешь? — сурово спросил он.

Второй этаж рая

Второй раз я жил при коммунизме уже на полностью загнивающем Западе.

Хоть Виктор Шкловский еще в 20-х годах утверждал, что кто-то видел, как на углу таких-то берлинских улиц догнивал Запад, на его иронию постарались не обращать внимания. Догнивает Запад и по сей день.

Через полвека после Шкловского я легкомысленно прошел мимо этого очевидного фактора.

Подозрительно пахло не с Запада — совсем с другой стороны.

Рейс на Брюссель несколько задерживался. Группа молодых иранцев, загородив выход на посадку, уселась на полу зала и громко скандировала: «Те — гран! Те — гран! Интернационал!» Что это значило, никто не знал.

— Студенты, — только и сказал спокойный дежурный.

Через каких-то полчаса студенты освободили проход, и я уже сидел в самолете, когда плюхнувшаяся за мною старушка спросила:

— Сынок, а идеть он до Амстремдама?

Вскоре выяснилось, что «не идеть». И то как старушка попала на борт — никто объяснить не мог. Ее вывели под руки. Вежливо и во время.

Летел я не один — с нефтяным магнатом, которого в отличие от другого (тоже нефтяного «Магната с сигарой», о котором речь пойдет далее) условимся называть «Просто магнатом».

История тут такая. Магнаты любили литературу, были людьми интеллигентными и предложили мне спонсорские услуги для издания журнала европейской литературы, который я задумал во времена перестройки. Журнал назывался «Феникс-XX» и стал известным сначала в узких, а потом и не совсем узких кругах. Спонсоров было несколько, но эти, нефтяные, особо солидные.

«Просто магнат» был милейший молодой человек. Он сидел в Москве и следил, чтобы к «Магнату с сигарой» (с коим мне еще предстояло познакомиться) вовремя отправлялись танкеры, а тот, в свою очередь, проживая в Антверпене, следил за тем, чтобы суда к нему вовремя приходили, и реализовал нефть в пользу великой державы на Востоке. Я уже тогда понял, что если раньше мы ласково поглаживали свои ракеты дальнего действия, то теперь — свои нефтяные цистерны. Эти агенты влияния на капризный и самонадеянный Запад работали ничуть не менее эффективно.

Так вот, мой милый спутник дремал рядом, а я думал о будущем своего детища, которое уже однажды оправдало свое рискованное название, после того, как лопнул один московский банк.

И еще, глядя в иллюминатор, я думал о том, что Земля с птичьего полета и его огромными (особенно это подчеркивает высота) городами похожа на... каменную книгу, которую — то внимательно, то небрежно — листает История...

Книги учат. Должны учить.

Вы заметили? С высоты не видно, например, памятников, Да, да. Они видны с малого расстояния, с уровня маленького в общем-то человеческого роста.

...И я вспомнил. Встает солнце. Мы с шофером Али мчимся по пустынному шоссе из Махачкалы в Баку. И вот под Дербентом, справа от дороги, видим фантастическую картину!

На горе стоят огромные... сапоги. Али говорит голосом, хриплым от вчерашней попойки у родственников Расула Гамзатова:

— Это товарищ Сталин.

Вспоминает, как стоявший на горе огромный монумент однажды ночью с помощью военных тягачей и стальных тросов, под светом десятка прожекторов, пытались свалить и ничего не выходило. Отец народов держался до последнего. Но все-таки сдался. Его распилили. Но не до конца. Сапоги остались.

Теперь, после ряда пертурбаций в стране, я думаю, кстати, что не только сапоги.

Но факт остается фактом. Фигуры, как таковой, на фоне гор времени все-таки не сохранилось.

Разве и это не каменная книга, которую нам еще читать и перечитывать?

...В Брюсселе наш самолет встречал «Магнат с сигарой». Он, не улыбаясь, распахнул дверцу «лендровера» и только тогда сказал: «С приездом. Тронулись».

И мы тронулись, да так быстро, что я не заметил, как мы очутились уже в другом бельгийском городе, Антверпене.

Из нефтяного офиса звоню в Москву, но тут же зовут в «лендровер». За рулем опять предупредительный, но молчаливый «Магнат с сигарой». Другой, «Просто магнат», рядом. Тронулись.

Машина летит куда-то с бешеной скоростью.

Границы я не заметил. Просто полил дождь стеной, и тот, что с сигарой, зевая, сказал:

— В Голландии дождь.

И я вспомнил, что Европа теперь едина.

Знаменитые мельницы, большие и неуклюжие, по обе стороны дороги стояли с опущенными крыльями — как мокрые курицы. На эти жалкие мельницы у Дон Кихота не поднялось бы копье.

С ходу влетели в парк.

В парке у туманного озера стоял отель. Я сразу заснул в номере под шум продолжающего ливня.

Разбудил «мой» магнат — тот что без сигары. Обедать.

Чудеса продолжались. В зал входишь, получая какую-то карточку. Привратники — почему-то японцы. Кланяются. Дальше — больше. Одна стена зала — стеклянная. Столик наш у этой стены, а за стеклом... бассейн, и то и дело рядом с нами выныривают почти голые женщины в ярких бикини. Они совсем рядом, эти наяды, и я только теперь понимаю поговорку насчет того, что аппетит приходит именно во время еды.

— А я их не замечаю, — перехватив мой взгляд, говорит «Магнат с сигарой».

К нашему столику подъезжает столик поменьше. Официант в роли факира зажигает на нем какое-то пламя.

Стол яств. Он длинный, в ползала, и мы берем с него то одно, то другое. Пьем долго и сосредоточенно.

Магнат с сигарой уже начинает смотреть в бассейн, повернувшись к нему вместе со стулом. Часа через два встаем и, сказав только спасибо (?!) официанту... просто выходим из зала. Чудеса! А вот в винной карточке нашей какие-то иероглифы. При выходе магнаты оплачивают только выпитое, но не съеденное.

Новое издание коммунизма по-нидерландски?

На следующее утро я гуляю сам — магнаты долго отсыпаются.

Потом все повторяется: карточка, бассейн за стеклом, безразмерный стол яств и только на выходе — штампик в пустой на этот раз винной карточке. Кто же пьет с утра?

Магнат — тот, что без сигары, — дал мне большую банкноту в 100 гульденов. Что на нее можно купить, я так и не узнал. Привез ее внучке для коллекции.

Через два дня — дорога обратно, в Антверпен. Там жена магната — того, что с сигарой, — на своей сумасшедшей красной машине с открытым верхом возит меня по музеям, книжным развалам, выставкам и знаменитым соборам.

В магазине детской игрушки покупаю (платит жена магната) музыкальную шкатулку для внучки. Услышав русскую речь, подбегают две туристки с большими пакетами:

— Здравствуйте. Хорошо, что свой! А где у них колготки продают?

— Ей-богу, не знаю.

— Он не знает.

— Где домик Рубенса — знаю...

— Остряк, — сердится ее подруга. — Пойдем, Нюра.

Мне их жалко: вид усталый, потрепанный, дома ждут подарков западных. Зачем им Рубенс?

Назавтра, созвонившись, еду в Брюссель к нашему послу, товарищу А. Знаю его по Парижу. Там он был советником — посланником. Показывал ночной Париж, возил по хемингуэевским местам.

На въезде в город — пробка, кто-то, как всегда на этом несчастном Западе, бастует. Против чего? Хобби такое здесь.

Посол ждет в резиденции. Ломберный столик в просторном холле. Сухарики, конфеты. «Чай? Кофе?»

Товарищ А. неузнаваем. Сух, холоден, официален. Что случилось? В Париже он был другой. Чего стоит одно лишь приключение в ночном ресторане «Ля Куполь», где он заговорщицки загораживал меня, пока я... присваивал фирменное блюдце ресторана для своей коллекции. А то же самое в «Ваграме», где он «отвлекал» официанта? И хохот на улице, когда мы бежали к машине на ночной площади Пигаль, пустынной под тусклыми огнями фонарей. Там, расхулиганившись вконец, я, выйдя из машины, раскинул руки и крикнул в никуда: «Не слышу предложений!». И тут, представьте, откинув бархатную занавесь перед входом, появляется здоровый амбал и на чистом русском: «Давай, заходи». Еле унесли ноги.

А теперь тов. А. молчит, рассеянно слушает меня, изредка кивая головой. «Феникс?». — «Да, вот как». — «Ассоциация «Европейский форум»?». — «Тоже интересно». — «Президент?». — «Хорошо». И все в таком роде.

А-а, догадываюсь я... И становится не то чтоб гадко, а грустно. Тогда, в Париже, у тов. А. в кабинете висел портрет А.Г.Ковалева, первого «зама» министра иностранных дел. (А Толя — мой друг еще со студенческих лет. Оба писали стихи, ходили к Илье Сельвинскому. Потом Толя нашел меня сам, мне навязываться было неловко — он стремительно подымался по лестнице карьерной дипломатии. Карибский кризис, Хельсинки, Мадридская встреча... И вот он уже первый зам. Все такой же умница, немножко идеалист, верный друг...)

Теперь за спиной тов. А. — Толиного выдвиженца — висит портрет незнакомого мне дипломата с залысинами. А Толя давно тяжело болен... Я быстро прощаюсь. Меня не удерживают.

Молчу на обратной дороге. Вдруг резкое торможение — заяц перебегает дорогу, и мой молчаливый водитель вскрикивает: «Пичка... матерь!».

— Югослав?! Србин?

— Так. Смедерево.

— Име? Презиме?

— Гойко. Дапчевич Гойко.

Ну, я едва не заплакал от счастья! Говорим обо всем — о Тито, о родине, политике, Европе и Балканах, музыке и книгах, общих, как оказалось, друзьях. Гойко знал даже авангардиста Оскара Давичо, правда, не как авангардиста, а комиссара отряда, в котором воевал в Народной армии его отец.

Издали мелодичный перезвон колоколов...

— Айда в Мехелен! — предложил Гойко, — айда, друже!

И мы свернули с автострады направо, в город, давно прославившийся своими колоколами. Отсюда: «малиновый звон»...

Но я, кажется, тоже свернул в сторону от темы, простите...

Рано или поздно, все, как известно, кончается.

Как детский сон со слюной на подушке закончилось и мое пребывание в Антверпене с открытым счетом и временно закрытыми глазами на окружающий мир.

Когда магнаты забирали меня из отеля, они небрежно подписывали некую длинную бумажку с птичками, стоящими перед каким-то непонятным словом или словами. Перед одним пунктом чернел прочерк. Я не мог не спросить, о чем шла речь в данном случае. Оказалось, что не пользовался я платным каналом телевизионного порно. На этом моем упущении, думаю, мои магнаты много не сэкономили. А в остальном я обошелся им в копеечку.

Услышав последнее, они долго и заразительно смеялись. «Магнат с сигарой», которого я не видел до этого даже улыбающимся, хохотал, впервые вынув сигару изо рта.

Загадки русской души

Пора признаться: чего-то в этой, иногда прекрасной жизни я все-таки не понимаю.

Например. Почему русскому интеллигенту стыдно, если ему при дележке буханки черного хлеба достается больший, чем другому, кусок, но совсем не стыдно, если он черную икру заедает красной?

Загадка русской души.

Да не русской только — человеческой.

Наверное, нас надо ограничивать в еде. Особенно интеллигенцию.

Власть это правильно поняла. К ней претензий нет.

Объяснение надо искать где-то в другом месте.

Совестливость — качество непростое. О совестливости русской натуры не говорил только ленивый. Совестливым был и Альхен в знаменитой книге Ильфа и Петрова. Он постоянно крал и постоянно стеснялся. Боюсь, что жизнь дает нам таких примеров побольше, нежели других, — когда человек красть стесняется, даже если без этого он просто ноги протянет.

В рассказе А.Яшина «Рычаги» — гениальном рассказе! — не только для «того времени» написанном, когда советского человека, как мы теперь говорим, душила система, а надолго и после «того времени», — главное для меня — та самая, тоже классикой порожденная, «диалектика души», которая может выражаться и таким уродливым образом: человек думает одно, говорит об одном, а потом и говорит другое и вроде как начинает думать иначе...

К сожалению, мы часто восторгаемся творениями ума и таланта, тесно привязывая их к моменту, ситуации, пускай даже эпохе. А перед нами — открытия долговременного, так сказать, пользования.

Не от этой ли нашей близорукости, например, нынешней зуд к сокрушению одних памятников и поспешному возведению на их месте новых? Памятники меняются, а постаменты — те же. Улицы переименовали, а в головах никакой перемены к лучшему.

Остановиться, подумать, добраться бы до сути событий... Да где там! «До основанья, а затем...».

А затем получается то, что уже было. Или еще хуже.

Зачем же было стулья ломать?.. Но я — о загадках русской души.

На Западе это вечная тема.

В последнее время она становится загадкой и для меня. Казалось, в стране, впервые в истории человечества сумевшей совершить гигантский скачок от идей Свободы и Равенства к вот-вот осуществлению их на практике, чувство первородства не могло не слиться с чувством национальной гордости, патриотизма. Но так только казалось.

На практике «патриотом» у нас именуется тот, кто громче других проклинает русскую Революцию, да что там Революцию, — если бы только ее! — всякое поступательное движение нации вообще. Сегодня договорились до того, что осью национальной истории считается допетровская Русь и Сталин. Не Петр Великий и великий Ленин, фигуры, ознаменовавшие пассионарную роль Российского государства, а напротив — времена и лица, отмеченные печатью мракобесия или контрреволюции.

Имперская закваска — в крови русского обывателя.

Западное принимается снисходительно, свысока. Но и тут не без парадокса. Западное так въелось в поры современной жизни, что впору вспомнить анекдотический случай. Едем в автобусе в Париж от аэропорта «Шарль де Голль» — я и некая детская делегация из России, по приглашению, видно. И вот в огнях вечерней столицы мелькнуло что-то неоновое. И крик в до того сонно притихшем автобусе — удивление, восторженное, детское: «Смотрите! "Макдоналдс". Как у нас».

Вот уже какая Европа — «наше все»...

Когда я годами пробивал журнал европейской литературы, свой «Феникс XX», отчаявшись, уже почти теряя надежду, перед целью моей маячило постоянное, нудное, однообразное: «Особый путь России»...

Собственно, в чем он — особый, никто не знает. Просто «особый» — и все тут. Аксиома. А ведь именно в революции, в гигантском эксперименте XX столетия на одной шестой планеты и сказался этот особый путь России! Понять это — значит, понять и действительно всемирно-историческое значение русской литературы — самой человечной, провидческой литературы в мире... Ее всечеловечность — смысл и значение образца единения людей всех рас на единой земле! Вот в чем истинная «гордость великороссов». А не в ракетах и претензиях на силовое лидерство, имперских амбициях.

Сила России — не в силе.

Загадка русской души разгадывается просто. Между добрыми хотениями и свершениями их — разница, равная территории, — непомерно огромная.

Насчет дураков — это, конечно, так, для красного словца. В России их не больше, чем в другом месте на земле.

А вот про дороги — верно. Но беда не столько в том, что их нет, а в том, что они никуда обычно не ведут.

О памяти

И не думай, читатель, что я уклонился в сторону. Да еще на целую главку. Тема-то наша — «каменная книга» — метафора. По сути, говорим мы все о том же — о памяти. О том, что после нас остается, а что уходит невесть куда.

У каждого свой тип памяти. Я, например, многое не помню совсем, жена удивляется, а то и сердится. А для меня, что не интересно, того вроде бы и не было. Зато как остро и даже мистически живо, с запахами, местом, цветом неба, тем нервным состоянием, которым тогда был охвачен, с невероятной остротой деталей помнится то, что потрясло, — такое навечно остается «сегодняшним» переживанием... И было это недавно или давно, вообще, бог знает сколько лет тому назад, значения не имеет. Сейчас, только что!.. Это, конечно, яркие события детства, войны, ссылки и в первую очередь личной жизни, где не обошлось без трагических потрясений. Смерти близких и того, что страшнее смерти...

Я прожил длинную жизнь, может быть, и не большую, но уж длинную — точно. Что уж говорить — в разных эпохах проверять свою веру, искать правду, бороться за нее в меру сил и характера.

Сухой остаток, как говорится, — разочарования, но новые надежды.

В этом я силен, оптимист по натуре.

Массовое беспамятство — мой первый враг.

И, простите великодушно, некоторая, может быть, доморощенная философия по этому поводу. Кажется мне, что История развивается толчками, а люди не могут удержаться при этом на ногах. Валятся, как в автобусе, друг на друга и кричат: «Тише надо ехать! Тормозить!». И когда водитель сбавляет скорость, а то и сворачивает туда, где дорога поспокойнее, его хвалят и гордятся им.

Оказывается, и слово «реформа», проклинаемая на чем свет стоит в применении к сегодняшней ситуации, может быть похвальным словом. То Александра III вспомнят, то Столыпина, а то и китайцев. Тише едешь — лучше будешь. Главное — не жать на педаль. Слюнявые, как его поцелуи, фильмы про Брежнева — отсюда.

И еще соображение Кулибина от исторической науки. Когда события эпохального масштаба резко меняют «карту местности», в ответ нарастает волна консервативных идей, словно бы стремящихся уравновесить положение.

Историю постоянно задерживает этот сигнал осторожности. Так было во все времена.

Но главная опасность, на мой непросвещенный взгляд, таится все-таки в другом.

В «тупиковом» понимании истории.

По распространенному взгляду История — это цепь тупиков, упираясь в которые общество возвращается в некую исходную точку развития, с которой любое движение вперед в данный момент считается «ошибкой».

Так, Революция 1917 года, о которую мы якобы «обожглись», на корню отвергается. И отсчет Истории начинается снова (как было бы, ах, если бы и т.п.). А точкой нового отчета назначается эта самая старая переломная дата. К примеру, февраль, а не октябрь 1917-го. Или же — ах, если бы мы не разрушили СССР (как будто это «мы» разрушили, а не История), ах, если бы Горбачев и Шеварднадзе не допустили объединения Германии (как будто это они, а не История разрушили «берлинскую стену»), ах, если бы Ельцин не сговорился с Шушкевичем и Кучмой в Беловежской Пуще и т.д. и т.п.

Еще смешнее сказки про случайность событий Истории. Про разные там «закулисы», «пломбированные вагоны». Уже (а современно-то как!) и американский «след» в Революции нашли. Не говорю о давно проверенном, удобном для новоявленных «патриотов» варианте: еврейские фамилии. Даже у Ленина кровь проверили. А что при этом раскладе исторических событий русский народ оказывается коллективным Иванушкой-дурачком — как-то никому не приходит в голову. А почему?

Я уже писал, еще в 1990 году в статье «Бегство от Революции», что и храмы рушила, и «мироедов» дрекольем охаживала, и барские хоромы крушила не какая-то «пятая колона» иноверцев, а самый что ни на есть типичный русский человек, обездоленный и доведенный до отчаяния.

Терпеливый (до поры до времени) русский народ.

И нынешний отказ от Свободы, бескровно доставшейся нам, так называемая Третья русская Революция уже подтачивается изнутри, стремительно перерождаясь в варварское потребительское общество нуворишей и оставшегося, как всегда, с носом народа России.

Колокола, пиротехнические ракеты, хоругви и снова ракеты — уже не пиротехнические — межконтинентальные...

Сны об Империи. Так сказать, Третий Рим вместо Третьей Революции.

Коротка память Истории...

И человеческая — не лучше.

Вид сверху

...Я смотрю на Париж сверху, с Эйфелевой башни. На каменную книгу, раскрытую предо мной наугад на одной из ее славных страниц.

Прямо передо мной — Йенский мост, а там — дальняя перспектива дворца

Шайо и садов Трокадеро с водопадами и множеством ступеней и площадок, круто сбегающих к подножию набережной Сены. А дальше, дальше, в туманном мареве, — Санта-Кёр.

Рядом со мной на смотровой площадке — тов. А., временный наш посол во Франции. Он улыбается. У него щербинка на переднем зубе.

На облицованной кафельной плиткой стене площадки кто-то нарисовал губной помадой не то фигу, не то сердце. У них вообще есть сходство.

Весенний ветер здесь, на высоте, свежее, чем внизу. И мне, вспоминаю, захотелось тогда вниз, в тепло, в толпу, чтобы видеть жизнь не сверху, а из ее глубины, взглядом человека, живущего рядом с другими, такими же, как он сам, людьми на этой общей теплой земле...

Все, кто забирается вверх, в конце концов чувствуют себя неуютно. Кто-то временно, впрочем, пока не привыкнет.

И еще. В Париже все как-то удивительно толерантно. То мост имени русского царя, победителя Наполеона, то невдалеке на Вандомской площади — чугунный монумент во славу того же Наполеона, сделанный из покореженных русских пушек. Есть площадь Сталинграда по имени города, которого сегодня нет на наших картах. И даже национальный гимн, «Марсельеза», остался от Революции. И ничего...

Сказать точнее: «Революция не прошла даром». А вот мы сделали вид, что у нас ее как бы и не было. Такой вот «особый» русский путь. Ну, ошиблись когда-то. Не впервой...

У них, французов, История. У нас, «самобытных», история «ошибок».

Простаки думают, что История, это когда одно событие сменяет другое, такая вот цепь развития, непрерывная, в известной степени предсказуемая. Но мы не простаки.

Мы живем только сегодня. И в масштабе «сегодня». Наше «вчера» — копилка ошибок. Наше существование как-то еще оправдано в собственных глазах разве что возвращением к позавчерашнему.

И я думаю уже о том, что «каменная книга», которую мы постоянно читаем в России, — это нечто неумолимо косное, прочным остающееся, даже несмотря на революцию, на перестройки (претендующие на звание революций).

И страницы ее перелистываются тяжело и с таким грохотом, что гул долго гуляет во Времени.

Может быть, и потому еще, что мы на все смотрим сверху?

С высоты идей, с вершин общих принципов. А жизнь, она копошится где-то внизу. Сама по себе, что ли.

А это совсем другое дело — смотреть с высоты.

Вот летел я раз на трескучем биплане «У-2» над Дагестаном из Махачкалы в Хунзах, на родину Расула Гамзатова. И удивился. На неприступной высоте гор, то там, то здесь, змеились пустые соты разрушенных аулов.

— Война была, — перехватив мой взгляд, прокричал на ухо мой спутник, молодой аварец.

— Здесь война? — удивился я. Знал я и помнил одну лишь из войн, Отечественную. Но немцы сюда не доходили.

А невдомек было: здесь, в горах, войны хранят свои шрамы веками. Сверху долгое видно. Давнее... В этом преимущество высоты. Но есть в русском языке и слово верхоглядство.

Это, конечно, не вид сверху, а взгляд по верхам, но любопытно, как и в чем сходятся эти понятия. А они порой сходятся.

Когда генсек Черненко дрожащей рукой выводил свои резолюции, он думал, несомненно, о том, что делает доброе дело, на пользу просителей. И они обращались к нему, безусловно, рассчитывали на что-то. Исполнитель, в свою очередь, не сомневался, что делает полезное дело, направляя «ниже» свои указания. И вот долгая череда резолюций, указаний, наставлений и рекомендаций веселым ручейком сбега-

ет по наклонной плоскости бесчисленных канцелярских столов, пока не упрется в последнюю инстанцию.

А эта инстанция — дядя Вася.

Он лежит под кустом малины и старается достать языком спелую ягоду. Поднять голову ему лень.

Я тоскливо стою над дядей Васей.

— Раствор не завезли, — заученно говорит он.

Не завозят раствор в России регулярно. С немецкой пунктуальностью. А еще есть по весне такой отрезок времени, когда не завозят блоки. Чтобы тяжелый транспорт не портил дороги. Я поначалу думал, что это шутка. Оказалось, нет. Но именно к этому отрезку времени, в сезон дождей, и отпускают блоки со складов.

А потом, когда разрешение на провоз крупногабаритных грузов начинает действовать, этих грузов как раз и не бывает на складах. Так как-то получается, что одного без другого не бывает. Либо дожди и есть блоки, либо есть солнце, но нет блоков. Такое совпадение.

Так что же это такое? Начинается все правильно, а в результате... нет результата.

И кто виноват?

Неужели дядя Вася? Но он скажет: «Им сверху виднее...».

Опять... Все вернулось туда. Наверх.

Начать с того, что человеку в общем-то не очень свойственно видеть свои недостатки. Зато твои другим — одно удовольствие. На этом и держится жанр «дружеского шаржа». Если б только вниманию других предстал твой длинный нос или выпяченная нижняя челюсть, а то ведь опытный шаржист подглядит и подтексты: что ты, например, гордец или сквалыга. Потому и не все разделяют добродушный взгляд на этот жанр:

Что там говорить, я о себе, например, неплохого мнения, а все, кто рисовал меня — наши Игин и Лисогорский или болгарин Димовский, к примеру, обязательно находили что-то еще, меня, прямо скажем, смущавшее...

Со стороны, говорят, виднее.

К чему это я? А к тому, что смотреть в зеркало, когда бреешься, и видеть себя — еще не означает знать себя. Какой ты есть на самом деле, нередко трудно понять и тебе, и ближним до самой смерти. Да и после нее, пожалуй.

Спасительно-кокетливое: я такой разный, разнообразный — не всегда ответ. Это понятно, что разный. Но при этом — и постоянный в чем-то. А это «что-то» и определяет твое «я». Стержень — он или есть у человека, или его нет. Вот, пожалуй, главное.

К примеру, возьмем такую штуку, как самоощущение. Тут немало нюансов. Одни склонны переоценивать себя, другие же, напротив, недооценивать. А есть такие, кто и тут не попадут ни в какую категорию.

Для нормального человека характернее балансирование на грани.

Разве, например, откровенность и скрытность — антиподы? Иногда — да. Чаще — нет. Они, я бы даже сказал, способны подпитывать друг друга, эти противоречивые качества. Желание прервать тягостную блокаду скрытности толкает человека на предельные откровения. Память об откровенности, однажды стоившей тебе дороже, чем ты предполагал, ведет к последующей скрытности. Это — как маятник.

И, пожалуй, самое интересное, скажем даже, загадочное в нас — различие нашего внутреннего «я» и того образа, который складывается у других в отношении тебя. Это не значит, что мы о себе непременно другого мнения, чем то, которое мы вызываем у других. Просто тебя порой обескураживает несовпадение представлений об одном и том же предмете.

Дружеский шарж, если вспомнить сказанное ранее, подчеркивает характерную черту и этим достигает узнаваемости. Обижаться на талантливого автора шаржа — нелепо. Ты, увы, скорее такой, каким тебя обнаружило перо художника, чем такой, каким кажешься себе сам.

Иное — восприятие другими твоей сущности, не в рисунке, где запечатлен некий момент проявления твоего «я», а в повседневной линии твоего существования в жизни.

Я не принадлежу к числу людей, полагающих, что внутреннее мое «я» видно лишь мне одному. Напротив, мне кажется, что я-то как раз и путаюсь в определении своего «я». Мне свойственно чувство неудовлетворенности собой, странно смешанное с редкими, но сильными вспышками гордыни. Они меня смущают, но я ничего не могу с ними поделать. А потому труднее всего ответить на вопрос: недооцениваю я себя или, напротив, переоцениваю. Рефлексирую — было бы самым, пожалуй, осторожным определением самооценки.

Так, например, вполне отдавая себе отчет в том, что я причинил немало страданий близким, я тем не менее острее воспринимаю зло, которое они мне причиняли. И это плохо. И я знаю, что плохо. Тем и утешаюсь. А последнее, наверное, еще хуже. Часто я, боясь причинить боль другим, жертвовал своей волей и желаниями, но при этом не замечал, что моя нерешительность несла страдания тем, кого я жалел, несравненно ощутимее той боли, от которой я их, казалось бы, оберегал.

Человек — странное существо. Он нередко совершает поступки, заведомо несправедливые, а потом удивляется, что поступил именно так.

Более всего меня поражает мысль о неблагородстве людей. Не могу взять в толк, почему остаются незамеченными примеры самопожертвования или вызывают недоверие мотивы бескорыстных поступков. С годами я все чаще замечаю эту непонятную мне несправедливость. Мне кажется, что некоторые факты говорят именно в пользу благородства. Но факты предстают почему-то и некой иной стороной, и тогда порой я склонен уже разувериться даже в себе и въедливо анализирую не только собственные поступки, но и помыслы, приводящие к ним. Эта разрушительная работа печалит и огорчает, вселяя чувство недоверия к справедливости вообще...

Внутреннее мое «я», тем не менее, остается моей крепостью, за стенами которой я чувствую себя вне опасности. И с этим тоже нельзя ничего поделать.

Но один, без других людей — я ничего не понял бы ни в себе, ни в других. Чтобы хоть что-то понять в этом мире, надо находиться в конгломерате взаимных зеркал, взаимных отражений.

Шкловский говорил так: евреи думают, что у себя дома все люди говорят по-еврейски, а только в гостях притворяются.

Очень смешно и не так уж анекдотично. Я замечал, что жадные и завистливые убеждены в том, что все люди похожи на них, а только в гостях притворяются.

И наоборот, щедрые и благородные люди почему-то не верят в низость и неблагородство остальной части человечества.

Это различие и заставляет мир теряться в догадках — кто мы такие на самом деле и какая нам цена, подлинная, не базарная.

«Тишайший»

Наверное, не ошибусь, если скажу, что Г.Марков[1] и время — близнецы-братья... Человек он типичный для своего времени. Не плохой, не хороший — такой, какой нужен был в то среднеарифметическое время, — не плохое, не хорошее. Недаром его и назвали застоем, то время.

Если бы я был верующим, то бы привел слова Христа о теплохладных: «знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но как ты тепел, а не горяч и не холоден, то, извергну тебя из уст Моих» (Откр., 3:15, 16).

Таких, как я, нетерпеливых, время это раздражало порой даже больше, чем

[1] *Георгий Мокеевич Марков* (1911—1991) — советский писатель и общественной деятель. С 1971 года — первый секретарь, с 1977 по 1989 год — председатель правления Союза писателей СССР (прим. ред.).

восточная тирания или нерешительная оттепель — наше давнее и недавнее прошлое.

Но многим нравилась эта затаившаяся эпоха, где были только сумерки, а не ночь, сумерки, а не рассвет. В такое время суток — ни день, ни ночь — появились первые герои забрезжившего капитализма, хотя это почему-то никому почти не приходит в голову. Ведь сегодня стало модным все такое валить на эпоху Ельцина.

А о «дорогом Леониде Ильиче» ставят добродушные фильмы.

Вот ему-то и обязан Георгий Марков своим возвышением. Я видел, как дорогой Георгий Мокеевич награждал дорогого Леонида Ильича медалью лауреата Государственной премии за книгу «Малая земля», написанную дорогим (уже в прямом смысле слова) журналистом Толей Аграновским, человеком весело лукавым и ироничным, ходившим в либеральных кругах за своего парня.

Незаметное возвышение скромного иркутского партийного деятеля в Москве началось с поселения в Шереметьеве на соседней с моей дачке «Литгазеты». Единственное, что я тогда отметил в его фигуре, — пиджачок с короткими рукавами. Как будто его забыли сшить на вырост. А рос он быстро. И сам как-то удивленно потом сказал ироничному Павлу Нилину:

— Вот вижу я тебя, Павел Филиппович, и удивляюсь. Ведь было время, смотрел я на тебя снизу вверх.

Сам, понимаешь, удивился. Произнес эти исторические слова товарищ Марков, первый секретарь СП СССР, на прогулке в Переделкине, встретив Павла Нилина на улице Серафимовича. Был Георгий Мокеевич в теплой шубе с норковым воротником и такого же меха шапке. Изо рта его шел пар, была зима. В воздухе запахло коньяком. Последнее я, правду говоря, подвергаю сомнению. Это скорее по части интересов Павла Филипповича. Его я любил за талант и постоянное ироническое комментирование окружающей пошлости.

Марков посулил мне как-то должность своего помощника. Услышал я это от Верченко. Кровь бросилась мне в лицо. Я едва сдержался, чтобы не ответить, что *мне* помощник не нужен. Но сдержался, набрав воздуха в легкие. Ответил:

— Есть такой человек. Пунктуальный и преданный Маркову. Мой однокашник, Шорор. Кстати, из Иркутска.

Володя Шорор потом благодарил меня за протекцию.

Я же вспомнил другое, более важное. Так как я занимался в «Литгазете» литературой краев и областей, меня в свое время ввели в Комиссию по литературам этих краев и областей при Союзе писателей. Возглавляла комиссию Л.Сейфулина, а членами были, кроме меня, дальневосточный писатель А.Гай, Павел Нилин, еще кто-то. Так вот я и рекомендовал советской литературе обогатиться за счет сибирских писателей, в том числе Марковым, автором романа «Сибирь», и С.Сартаковым, написавшим нечто саянское. Грех молодости. Многие годы я старался забыть этот свой сомнительный шаг. Забыли о нем и мои герои. Или постарались не вспоминать.

Не все понятно мне в таких людях, как Марков. Больше всего непонятны они своей невозмутимостью. Мокеич никогда не повышал голос, в его маленьких глазках ни разу не видел я не то что страсти — легкого возбуждения. А голос? Тишайший, ровный, без какой-либо модуляции. Законсервированность какая-то в одном состоянии — тихом, незлобивом, осторожно-выжидательном.

Как сейчас помню. Влетел я в его кабинет в крайнем возбуждении.

Дело было такое. По предложению А.Сырокомского меня оформляли членом редколлегии «Литературки». Согласование прошло не сразу, но визы все-таки были получены. А.Чаковский показал мне место за столом редколлегии, представил коллективу, которому меня представлять не было надобности — меня еще помнили старые кадры. Я нашел нового заведующего отделом зарубежной литературы. Получил полосу в свое ведение и вдруг... Узнаю, что ЦК не утвердил мою кандидатуру.

Чаковский смущенно показал рукой на потолок. Я машинально поднял глаза и ничего не увидел, кроме того, что потолок в одном месте протекает...

Марков, выслушав мою гневную речь об унижении, которое пережил по милости «верхов», сказал тихим голосом:

— Какие эти писатели нервные.

Это сказано было так искренне и удивленно, что я растерялся. Гнев улетучился. Мне просто захотелось смеяться.

Второй раз я видел столь же смущенного и растерянного Мокеича, когда положил писательский билет на его стол и сказал, что выхожу из Союза в знак протеста против издевательства надо мной властей при невмешательстве руководства СП СССР. На этот раз речь шла о запрете на выезды за рубеж. Без объяснения причин. Хотя я знал об этих причинах достаточно хорошо. Был некий на меня донос... Сейчас смешно вспоминать, как Марков буквально всовывал мне обратно в нагрудный карман писательский билет, мы боролись минуты две, пока я не сдался. И не потому, что Мокеич меня убедил, а потому, что мне стало его жалко. У него дрожали пальцы, а в глазах был ужас. Не хватало ему еще и огласки. Никаких резких движений. Тем более — политических скандалов. Такого он просто не представлял себе. Недаром, когда Сурков язвительно сказал мне о Маркове: «Тишайший», он попал в самое яблочко.

Прозвище прилипло к Мокеичу прочно.

Тихое окружение

Или становлюсь с годами сентиментальным, или годы проясняют многое, но я даже жалею Маркова больше, чем на него негодую. Чем дальше уходит время от той поры измельчания всего и вся, тем яснее и суть самого времени.

Фантасмагорическая фигура Сталина саму Историю ввела в заблуждение. Масштабы злодейства стали восприниматься как масштабы личности. Кощунственная запятая после имени Ленина постепенно утвердилась в сознании миллионов как законный знак равенства между истинным величием и жестокой пародией на нее. Контрреволюция стала восприниматься как наследование великой идеи. Стадность и вековая традиция рабства получили наименование коллективизма, подкожный страх — единомыслия.

Вырождение идей не может не сопровождаться вырождением человека. Чего же требовать от жалких представителей эпохи, которая мельчала до неузнаваемости!

...На улице Воровского, 52 копошилась своя мышиная жизнь.

По неслышному звонку ежедневно в свой кабинет бочком входил незаметный человек. Он натягивал серые нарукавники и садился за стол. Звали его Сартаков Сергей Венедиктович. Он ведал издательскими делами. Составлял графики, монтировал, «верстал» планы. Говорили, он и на родине, на Алтае был бухгалтером. Но писал пухлые романы. Говорил, как и Мокеевич, тихим голосом, был незлобив.

В другом кабинете обитал Виталий Михайлович Озеров. Ведал критикой. Холодные были глаза, затянуты задумчивой поволокой. Он писал большие статьи, толстые книги. Жил долго. В его трудах все было правильно. Ко мне относился снисходительно, мягко журил.

Юрий Иванович Суровцев годился Озерову если не во внуки, то в сыновья. Но в «Литгазете», где Юра носил гранки сначала как стажер МГУ, а потом как самый молодой начетчик и трудоголик, он как-то незаметно поставил рекорд карьерного роста. Суровцев быстро погрузнел, поважнел и незаметно, по-моему, и для себя, стал секретарем СП СССР. Если в «ЛГ» он надолго засиживался после рабочего дня, то в Секретариат являлся на работу задолго до прихода уборщицы. Был всегда вежлив, в меру эрудирован и, как все остальные секретари, незаметен и ровен в отношениях с посетителями. Статьи и книги писал солидные по теме и объемам.

Любил ездить за границу и если и отличался от прочих чиновников, то разве что одним: регулярно ложился на исследования здоровья в больницу ЦК КПСС. Его хобби было лечение. Помню, в Коктебеле он поразил меня: открыл большой ящик, оказавшийся до краев наполненным лекарствами. Но умер, бедняга, рано.

Был в Секретариате только один человек, который никак не соответствовал типичному образу секретаря. Миша Луконин. Из-за дверей его кабинета всегда слышался заразительный смех. Сидел он не в кресле, как другие, а на краешке стола, свесив одну ногу и помахивая ею. Решал вопросы легко и просто — звонил тут же кому-нибудь по телефону, заявлений не читал вовсе, бросая их в корзину радостно и беззаботно. Зачем он пошел в секретари, ей-богу, я так и не понял.

По коридорам аппарата бегали еще два-три человека — девочки и мальчики. Называть их не хочется. В девяностые, которые теперь принято называть «лихими», они стали ярыми демократами. А тогда, если судить по справочникам СП СССР, успели получить не один орден за свое беганье по коридорам власти.

О самых-самых из них еще вспомним. По другому поводу.

А пока продолжим тему застойных кадров.

Болото уже затягивало ряской, когда из почетной ссылки возвратился Юрий Воронов. Пострадал он за относительно смелые публикации в «Комсомольской правде», где был главным. И вот на Воровского, 52 появился новый секретарь. Его «посадили на соцстраны». Я поначалу обрадовался: моя область. Я вел тут «круглый стол». Был какой-то юбилей. Я пригласил Воронова на заседание. Воронов удивил: спросил совета у начальства и отказался побыть свадебным генералом. Дальше — больше. Честный человек, бывший ленинградский блокадник, стал робким и послушным. Он всего теперь боялся. Отводил грустные, все еще честные, глаза.

С ним все было ясно.

И вот начался неожиданный ренессанс. Секретарем стал Роберт Рождественский. Да, он. Юный новатор, голос которого звучал на переполненных стадионах. Товарищ уже во всю гремевших Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной. Один из славной четверки. Это, в том числе и о нем, сказала Белла: «А я люблю товарищей моих!». Откуда подул ветер — не знаю до сих пор. Но ветер был свежий.

Роб, как мы его звали, пришел в секретариат смело, но скромно, без рисовки. Он оставался самим собой! Это удивляло. Даже бывшие фронтовики, хоть внешне, но менялись, прислоняясь к начальству. Становились тише, что ли. Сергей Наровчатов, поднятый к начальственным высотам за критику молодых, смело подавших свои голоса в затхлом пространстве пресловутой «тишины», — пример показательный. Молодые таланты вызывали тайную ревность к смелости. У поколения, видевшего смерть каждый день и достойно с этим справлявшегося на фронте. Им не было стыдно теперь своей внезапной робости. Я с трудом воспринимал рассказы о том, как Наровчатов выносил с поля боя раненого Мишу Луконина... Казалось, тут сегодня все было проще. Легче. Ан нет. Поколение притихло. Я был смущен молчанием Сережи Орлова, в кулуарах рвавшегося было защищать меня от «партийной» критики.

Эталоном благородства и смелости фронтового поколения для меня оставался один человек — Борис Слуцкий. Но о нем нужно говорить в другом, конечно, контексте.

Так вот, Роберт.

Я перед ним в долгу. Он всегда нравился мне как человек, не сразу — как поэт. Потом я оценил и того, и другого. Боюсь, что поздно. В нем подкупали смущенная улыбка, юмор, которым он маскировал свою робость перед выражением чувств. Он был скромен и честен до несовременности. Но главное: он верил в идеал, был предан своей вере как никто другой в его поколении. Над ним подтрунивали, я был тому свидетелем. Ну как же: все оказались «трезвыми», а он, чудак, все продолжал цепляться за тень о всеобщем счастье! Делал он это настолько некрикливо, что и догадаешься не сразу. Последние годы его жизни были мукой сомнений. Но другие, рядом с ним, уже не сомневались и мысленно похлопывали Роба по плечу... А он-то и

оказался прав. Не они с их либеральными иллюзиями (а то и расчетом на перемену успеха в перетягивании одеяла. Таких оказалось больше, чем идеалистов).

Роберт сел в кресло Николая Федоренко, курировавшего до него иностранные дела Союза писателей. Дипломат Федоренко редактировал «Иностранную литературу» и, как говорили, влюбился в какую-то болгарку, переехал в Софию. Во всяком случае, пропал из виду. Роб перестроил дела в Инокомиссии на творческий лад. От слов переходили к делу. Открылись границы общения с Западом. Стало интересно. Одним словом люди дела постепенно переходили к реальным делам, сменив людей слова! «Тихие» деятели посторонились, впустив в свои покои беспокойных.

К последнему съезду писателей что-то изменилось в окружении самого «тишайшего». Понадобились специалисты для его доклада о «братских литературах». В «Литгазете» появились мои подвалы. Они стали конспектами его доклада. Я, к удивлению своему, получил должность председателя Совета по литературам социалистических стран при правлении СП СССР.

И вот я уже лечу в Берлин на съезд писателей ГДР, веду переговоры с руководителями писательского союза в Будапеште.

Опытный политик Юрий Верченко всплескивал руками: «Огнев! Почему вы сидите в экономклассе? Ваше место в первом». И пересаживает меня рядом с Михалковым и собой. Мы пили коньяк и говорили о высоких материях под гул моторов. Внизу проплывали облака. И я начал подозревать, что «седьмое небо» существует.

Время меняло окраску.

Земля под крыльями самолета казалась праздничной.

Михалков редактировал старые гимны.

Распад

Под таким названием в 2009 году вышла книга Наталии Громовой, посвященная судьбе советского литератора в 40—50-е годы XX века.

Книга, собственно, не об одной судьбе — критика А.Тарасенкова, хотя его имя поминается чаще других, а о типическом состоянии позднесоветского общества, его интеллигенции.

Двоемыслие — вот, пожалуй, главное слово, характеризующее состояние души, что царило в те годы. «Рычаги» — рассказ А.Яшина тех лет показал это состояние наиболее проницательно.

Я долго не мог понять, почему у многих моих современников «двоилось» зрение. Конечно, двоедушие как цинизм, приспособленчество — это в комментариях не нуждается. Но ведь и те, кто, как герои Яшина, на людях «думали» иначе, чем оставаясь наедине сами с собой, — они-то по сути своей не были дурными людьми, ищущими из такой своей позиции некую выгоду. Так в чем же дело? А дело в том, что общая система жизни, сплошь сотканная из большой лжи, не оставляла другого выхода для частной жизни как следование общим законам. Тот же, кто выпадал из этой системы, оказывался еретиком, в лучшем случае — чудиком, выпадавшим не только из общего потока жизни, но из самого общества таких же, как он, бедолаг, отторгавших его как отступника. Это происходило не на поверхности, где-то в подсознании и самого человека, и общества в целом. И вряд ли кто-нибудь из участников общей беды до конца понимал, что с ним происходит.

Это верно и для массового сознания. Впрочем, не совсем. Трудно представить, что интеллигенция, даже такой затурканной страны, как Россия, не ведала, что творила, создавая свои очередные мифы. Поражаешься не столько рабскому двоедушию талантливых людей, сколько тому, что эти люди понимали свои постыдные поступки и продолжали поступать постыдно.

Не отсюда ли и другой вопрос: люди боятся правды о себе? Скажем, в мемуарах. Вспомним запись из рабочих тетрадей Твардовского об одном случайном знакомом

по больничной палате — поэт подарил тому тетрадь, «имея в виду подвигнуть его на мемуарный труд», «жаль, что больно хитер и не захочет встречаться с самим собой наедине» («Знамя», 2004, № 9, с. 154). Я жил в то время, знал многое. Горько было быть свидетелем того, как Тарасенков, влюбленный в поэзию Пастернака, писал о нем гадостную неправду; как застрелился под тяжестью подписываемых им «расстрельных списков» покорный слуга Сталина — Фадеев, талантливый и верный Революции писатель; как томился и двоился Симонов; как ломались нестойкие Зелинский и Перцов, предававшие то, чему еще недавно поклонялись... О, сколько изломанных, малодушных, старавшихся забыть о чести людей прошло передо мной в годы писательского становления! Не буду повторять рассказанного мною в книгах «Амнистия таланту», «Фигуры уходящей эпохи». Не так это радостно знать, что был на высоте ты лично, когда люди, которых ты помнил и даже когда-то любил, не выдержали испытания временем. Хотя название книги Н.Громовой «Распад» — слово удачное. Не совсем удачен подзаголовок — «Судьба советского критика: 40–50-е годы». Судьба зависит от воли личности, не от обстоятельств. Последние могут способствовать и распаду, только если личность готова к этому. В те же годы, что дали множество примеров ущербности человеческого духа, жили и противостояли сталинскому извращению Революции такие писатели, как Каверин, Паустовский, Казакевич, Твардовский и другие, чьи судьбы никак не омрачены пресловутым распадом личности и чья линия поведения была тем лучом света, что выводил многих заблудившихся из темного тоннеля лжи и покорности.

«Патриоты» и «демократы»

А поезд этот почему-то всегда опаздывает на станцию «Демократия». Семафор был открыт и в 1917-м, и в 1991-м. Но в 1924-м, после смерти Ленина, что-то случилось с семафором — поезд медленно свернул совсем не на ту колею. Не туда указал семафор и в наши годы. Пришлось дать задний ход. Пару при этом напущено было много, гудок гудел красиво. Мы и не заметили, что пятимся назад с довольно большой скоростью, так уже мимо промелькнула и станция по имени «Революция». Сегодня она далека, как мечта о несбывшемся счастье...

В XIX веке думающие слои нации разделились на славянофилов и западников. Первые держались за родные устои, вторые видели свет в окошке там, где садилось солнце. Оно садилось каждый день, но почему-то снова вставало на следующее утро. Напомню, Шкловский писал уже в XX веке: «Запад — дежурная тема русского писателя и фельетониста.

Запад — гнилой.

А всё русские литераторы виноваты. Ведь это неправильно, что и Эренбург, и Николай Лебедев, которого никто не спрашивает, в предисловии к книжке о кино клянется, что видел, как Запад сгнил на его глазах на углу Таунциен и Нюренбергштрассе».

И еще так сказал Шкловский: «Мы ездим по дорогам Европы, едим ее хлеб, но ее не знаем. Только презираем на всякий случай».

История России — вечно разгадываемый феномен.

Суть его — в географии, прежде всего. Европы в России меньше по географии, но больше по содержанию понятий. Путь из варяг в греки — ось национальной жизни. Это утверждение Д.Лихачева я уже как-то приводил. И приводить не устану. За уральским хребтом — только территория. Ее завоевали или просто заняли, но так и не освоили казаки, пришельцы с того же запада.

Другое слагаемое национальной жизни россиян — ее история. Восток тут сыграл свою роль, не менее важную, нежели география. Да, скифы мы! И не только с раскосыми глазами — с менталитетом долгого рабства. Татаро-монгольского в русском человеке хватает с излишком. По сей день.

Такая вот история с географией.

«Русская двойственность — неустойчивость ее: одна нога на Западе — другая на Востоке». Это тоже «наше все». Мысль Жозефины Пастернак кажется мне достойным дополнением к моим рассуждениям на эту тему. В письме к Б.Пастернаку 1—14 мая 1924 года из Мюнхена она продолжает: «Рождается на Востоке (двойственность — русская *Вл.О.*) — в вечность и философии — стремится на Запад — в деятельность и жизнь — но не может — разочаровывается — но... лишние люди — и возвращается на Восток — в успокоенье — в конец, в покорность: в религию».

Совсем не случайно это, все ширящееся нынешнее бегство в религию, например. Трудно найти более близкие понятия, чем покорность и религия.

Наше русское «западничество» сегодня — и бегство от Революции. Это прискорбно.

А вообще-то былой «выбор» — «славянофилы», «западники» — неоправдан, по сути своей двусмыслен. Нам близка позиция Пушкина, олицетворявшего полноту русского культурно-исторического бытия. «У Пушкина не было нужды в Западе и Востоке, — писал Мераб Мамардашвили, — западничестве и славянофильстве, взятых отдельно». С еще большим историческим правом мы говорим сегодня: западничество — но как время, а не место. Время, поставившее пред человечеством (не одной Россией) задачи осознания единства цивилизации (и не одной европейской)...

Если вдуматься, славянофильство, антизападничество имеет прямое отношение к «скифству». И самое малое — к единству общеславянскому.

На наших глазах развалилась родина южных славян. Хорватия и Словения издавна тяготели к Германии больше, чем к Сербии. Дважды в истории Болгария выбирала в союзники Германию, а не славянского брата — Россию. Сдержанностью симпатий к русским отличается и чешский менталитет. О Польше и говорить не хочется. Сегодня даже Украина, получив государственность, смотрит на Запад...

В чем же дело? Почему единство славян так условно? Трезвому уму понятна и огорчительна эта истина. На этом фоне сама идея славянофильства предстает неким утопическим вымыслом. Утешающая иллюзия славянского единства, как всякая иллюзия, в наши дни попросту бесперспективна.

А потому и нынешние «патриоты» в России — явление странноватое. Почвенническое самоощущение их сродни идее национальной замкнутости, никак не соотносится оно с логикой времени — глобализацией в планетарном масштабе. А что она все ширится, эта всечеловеческая идея, не подлежит сомнению.

Запад собрал почти все страны Европы и продвигается на восток не столько ракетными установками — единой валютой, единым правительством, едиными идеями демократии, не «суверенной», а плохой ли, хорошей, но общей.

Наше же былое общее — интернационализм — мы отдали Троцкому, чтобы потом добить их обоих одним ледорубом.

Железный занавес поставил жирную точку в вековом споре нашей «самобытности» с идеями разных там «окон» в Европу. Главным русским «патриотом» оказался сын горийского сапожника. Не Петр Великий и Ленин. Их титанические усилия оказались тщетными. Россия осталась верна своей судьбе: сняла временные накладные парики, вновь отрастила бороды. Вернула кнут, разве что теперь его держит рука в белой перчатке (это, наверное, и называется «суверенной демократией»). И придумала ничего не обозначающую дилемму: патриотизм или демократия, как будто можно считаться патриотом, не будучи демократом! Нелепость эта очевидна. В основе ее — подмена понятий.

Ничто меня так не удивляет в этой катавасии исторических подтасовок, как уподобление Сталина великому Ленину. Как писал Твардовский:

И грубо сдвинув имена,
Мы заодно их возглашали
И записали на скрижали,
Как будто суть была одна.

И еще так записал поэт в «Рабочих тетрадях» своих: «Тенденция приторочить Его к Ленину»... «Приторочили».

С недавних пор девяностые годы стали именовать «лихими». Это верно лишь отчасти. Верно в том смысле, что и в самом деле Россия пошла не по тому пути, который ей открыла бескровная революция против азиатского тоталитаризма сталинской эпохи. Россия соскользнула с пути освобождения от гнета одной неправой системы, чтобы впасть в другую, едва ли не худшую — капиталистическую. Подмена понятий заключается в том, что демократия, забрезжившая в 90-е годы, оказалась обманным лозунгом для торжества буржуазных отношений в обществе, предательством надежд народа на справедливость социальную. Не некую «суверенную» справедливость, но подлинную, общепонятную, универсального значения справедливость.

Вот почему опошленным, искаженным оказалось и создание «демократии», вот почему демократия все чаще воспринимается как синоним антипатриотизма, разве что уделом наивных «правозащитников», пытающихся «расшатать» «разумную» действительность наших дней. Ну, а «патриоты», конечно, остаются становым хребтом общества, как всегда, как им положено, неся охранительную службу для любого консерватизма.

Правда, тут и они не всегда надежны. Им хочется поправить власть, сориентировать ее на большую жесткость по отношению к отступникам -либералам, сузить и без того узкие рамки дозволенной демократии. Этим патриоты оказывают порой своеобразную услугу власти. Она может и поиграть на противоречиях «патриотов» и «демократов», сделав порою успокаивающие жесты в обе стороны, поочередно.

Мы, сегодняшние, все корнями в путаных девяностых.

Но со всеми, однако, присущими тому переломному времени противоречиями.

Вместо послесловия

И чем дальше, тем больше я убеждался в том, что вовсе не случайно перо потянулось к бумаге...

Не случайно и то, что все начинается с представления о коммунизме как мечте о счастье. А доля иронии относится не столько к коммунизму, сколько к нам, неразумным существам, не всегда понимающим смысл самых расхожих слов.

Кажущаяся чехарда тем в этой книге тоже не случайна. Пока писал, я постепенно понимал суть времени, которое нам досталось. Я шел как ходит слепой, в поводыри которому напросился опыт. Но и он не всегда находил дорогу. Или был несовершенен.

Один честный критик — И.Дедков говорил: «Почему Александр Блок в двадцать первом году написал: «Но не эти дни мы звали»? Он жил там, в том миропорядке... но что-то не устраивало и он звал какие-то новые дни. Не те, что настали, но другие». Это ведь и о нас. Мы ждали от «перестройки»... перестройки. А случилась перелицовка. И новое платье оказалось несравнимо уродливее старого.

Мы так ждали обновления и в искусстве, а беспощадное Время забирало лучших... И обнаруживались бреши, невосполнимые потери тех, что оставались образцами таланта, совести, веры в будущее. Мустай Карим говорил: «Я начал писать, когда еще был жив Максим Горький. Мою творческую молодость приняли Фадеев, Твардовский, Гамзатов, Кулиев, признали другом. С кем же придется сидеть в стариковском кругу?».

А что же сказать нам, боже мой!

«Каменная книга» писалась долго и трудно.

За эти годы выходили и книги, так сказать, привычные. Книг пятнадцать, не считая переизданий. Я занимал разные посты в писательском сообществе и в кино. Красновидовская эпопея — строительство писательского городка, — занявшая в моей биографии четверть века, остается особым этапом становления личности.

«Красновидово» виделось моделью приложения силы духа к мертвой материи, но дух разбился о материю, оказавшуюся крепче, нежели представлялось прежде. Каменные стены домов остались и, надеюсь, простоят долго. Намного дольше моей жизни, во всяком случае.

А что ушло, ушло безвозвратно, оставив, в который раз, то, что всегда остается — опыт. Полезный хотя бы для других...

А теперь о второй части заголовка этой книги.

При чем здесь Дон Кихот и его посрамление?

Гегель считал донкихотством попытку «слишком рано ввести будущее в настоящее».

Этим грешил Маяковский и люди его породы, нетерпеливые разведчики будущего.

Находили сходство Дон Кихота с князем Мышкиным Достоевского. Русский гений пытался повторить героя с высоким моральным идеалом, не повторяя комической его трактовки.

Кстати, в «Идиоте» и «Подростке» Достоевский хотел сделать своих героев не смешными, но сделал их религиозными и смиренными, что в наши дни воспринимается с жалостью, но не с сочувствием.

Время меняет и оценку донкихотства. Так Гегель даже попытался противопоставить благородному образу Дон Кихота — «донкихотство» как явление сомнительного свойства.

У каждого времени свои приоритеты.

Прекраснодушному И.Тургеневу Алонсо Добрый явно ближе рассудочного Гамлета.

Непродолжительное губернаторство Санчо Пансы на острове Таратария вызывает у нас добродушную аналогию с судьбой Никиты Хрущева, кому чего-чего вдоволь хватало — так это здравого смысла.

Сегодня торжество этого «здравого» смысла постепенно дошло до анекдотизма. Суть капитализма именно в этом — в возвышении Санчо Пансы до уровня Героя нашего времени.

Дон Кихот же превратился в «лишнего человека».

Вот уж когда он стал смешным в полной мере! Мы все еще ссылаемся на первый том гениального романа... Как писал Шкловский: «Не будем скрывать, что при первом выезде Дон Кихот казался Сервантесу высокопарным безумцем».

И мы скрывать не станем: «Заговорив о свободе и рабстве, вставьте: non bene toto libertas vene retur auro («свободу не следует продавать ни за какие деньги»), как советовал автору пристав в прологе к «Дон Кихоту».

Наши отцы в Революцию воевали не с мельницами и бурдюками, видя в них великанов, а готовили нам свободу от рабства, которую мы предали, добровольно сунув шею в привычное ярмо.

Санчо говорит о своем хозяине в минуту просветления: «Он не безумен... он дерзновенен». «Безумие» Дон Кихота несравненно выше нашей телячьей покорности рабству обстоятельств.

Шкловский как-то писал, что много лет прошагал вместе с Санчо Пансо и его ослом для того, чтобы понять Дон Кихота.

Что же сказать нам?

Признать, что мы посрамлены временем?

Задумаемся, прежде чем покорно с этим согласиться.

Ольга Лебёдушкина

«ФРАМ» и окрестности

Пять комментариев к Максу Фраю

Этой осенью завершился один из самых долгосрочных, интересных и живых проектов в современной русской литературе: вышел итоговый сборник серии «ФРАМ» («Фрай+Амфора»). В начале года критика еще подводила последние жирные черты под первым литературным десятилетием двадцать первого века. И вот теперь снова появился повод на это десятилетие оглянуться и повторить вслед за издателями и Максом Фраем — автором и составителем серии: «Здесь был "ФРАМ"».

Заключительная «фрамовская» книга — путеводитель по десятилетней истории проекта, а кроме того — избранные тексты плюс комментарии составителя. Поэтому получается, что заметки, следующие ниже, — отчасти комментарии к комментариям — отрывкам из критических эссе Макса Фрая, отдельным высказываниям, интервью. При этом они не только о феномене проекта «ФРАМ», но и о литературном контексте, от которого, казалось бы, все, что делал на протяжении этих десяти лет Макс Фрай — автор и составитель, отстоит достаточно далеко. Но это только на первый взгляд.

Комментарий 1. Речь о критике

> *«Ну и мы, конечно, прекрасно помнили, что до нас был уже один "Фрам", в переводе с норвежского "вперед" — экспедиционное судно, сконструированное и построенное по заказу Фритьофа Нансена специально для плавания в полярных водах и дрейфа во льдах... Эту метафору можно развивать бесконечно. Говорить, к примеру, о том, как отважно дрейфовали мы все в вымороченном, не то ледяном, не то все-таки лубяном пространстве литературного контекста, данного нам в ощущениях. И это будет почти правдой, только мученический пафос тут неуместен. Мы просто жили и дышали, мы просто видели, слышали, запоминали и додумывали, мы просто записывали истории и иногда публиковали записанное. Все вообще довольно просто, даже в ледяной пустыне. Особенно в ледяной пустыне, собственно говоря».*
>
> *Макс Фрай. «Здесь был "ФРАМ"»*

Несмотря на то что последняя книга проекта задумана как «мемориальная», ее название ожидаемо не производит впечатления золотого письма по черному мрамору. Скорее уж, если что оно и напомнит, то граффити на глухой стене некоего учреждения: вовремя хулигана, намалевавшего свое «здесь был я», не поймали, а теперь и лезть высоко, и стирать затратно, лучше сделать вид, что никто ничего не замечает.

Собственно, это и есть одна из главных интриг, связанных с феноменом «ФРАМа»: как вообще нашей критике удалось не заметить целую литературу, существующую почти параллельно (или с минимальными пересечениями) тому, что у нас принято называть современным литературным процессом со всеми его иерархиями, премиальными дрязгами, скороспелыми литературными репутациями. Поскольку здесь, чтобы не заметить, надо было очень постараться. Первая книга под девизом «Макс Фрай представляет» была издана в 2001 году. За десять лет своего существования проект «ФРАМ» разветвился на несколько серий — «оранжевую», в которой выходили антологии короткой прозы (всего около 30 изданий, среди них — 4 выпуска «Лучших рассказов года» и 8 — «Русских инородных сказок»), «белую» — авторскую (9 книг прозы отдельных авторов, в том числе «Побег куманики» Лены Элтанг, «Забавные повадки людей» Галы Рубинштейн, «Тролли в городе» Елены Хаецкой, «Духов день» Феликса Максимова, «Лучшее лето в ее жизни» Леи Любомирской и другие). Плюс еще «пурпурная» серия — книги зарубежных авторов, в ряду которых достаточно вспомнить «Измеряя мир» Даниэля Кельмана, роман, страшно сказать, но действительно эпохальный и очень важный сегодня именно для русской литературы, если, конечно, будет по-настоящему замечен и прочитан. То есть литературные эксперты потеряли из виду около пяти десятков томов — целую длинную книжную полку или небольшой стеллаж.

Конечно, дело не в количестве, хотя и в количестве тоже, если попробуем сосчитать новые имена, открытые составителем, или имена уже известные, но появившиеся в неожиданной роли: например, поэт Андрей Сень-Сеньков — как прозаик, а фантасты Елена Хаецкая и Сергей Малицкий — как традиционные реалисты. Здесь, казалось бы, критике, при нынешней ее снисходительности к едва ли не каждому литературному дебюту и каждой мало-мальски стоящей публикации, и проявить интерес (благосклонный или нет — это уж дело вкуса), но не тут-то было...

«Макс Фрай? Ну, это же фэнтези для подростков», — отозвался один из коллег, регулярно и много пишущий о современной литературе, и тем самым объяснил свое «не читал». Хотя, честно говоря, непонятно, почему бы и не почитать это самое «фэнтези для подростков», особенно если уж тебе стопроцентно известно и про дядю с племянником, и про периферию-центр и прочие метафоры литературной эволюции. Я, разумеется, начала перечислять имена «фрамовских» авторов, и при упоминании Лены Элтанг, мой визави, наконец, оживился: «Как же, как же, помню — "Каменные клены", премия "НОС"!».

Так сложилось, что, при всем многообразии форм нынешней литературной жизни, критика у нас в своем большинстве по-прежнему признает только два способа, языком социологии говоря, легитимации литературного авторитета: первый, относительно старый, — «толстые» журналы и второй, относительно новый, — литературные премии. То есть все, что не попадает в этот очевидно узкий диапазон приема, рискует быть не замеченным. При этом за собственное институциональное право на создание литературных ценностей критика давно уже и не держится, предпочитая работать с заранее отобранными текстами. И здесь свою роль играет еще и активность издательских служб, занимающихся продвижением. «Пишу про то же, про что и все», — заметила другая моя уважаемая коллега. «А про что — все?» — «Про то, что присылают, а присылают всем одно и то же».

Впрочем, такой поворот разговора, кажется, уже превращается в почти ритуальный: недавно мне посчастливилось обсуждать тему «ФРАМа» с тремя замечательными собеседниками, и, очередной раз похвалив составителя серии и ее авторов, мы как-то вдруг дружно и сразу принялись ругать критику. Наверное, так происходит потому, что история с этим проектом действительно касается происходящего в отечественной критике в последнее время, причем в самом широком контексте.

Здесь важно еще и то, что Светлана Мартынчик, она же Макс Фрай, — не только автор культовой прозы в жанре фэнтези и создатель проекта «ФРАМ», но и литературный критик. Достаточно вспомнить «Книгу для таких, как я» (2002) и иронический «Словарь современного искусства». Критические занятия, впрочем, Макс Фрай несколько лет назад объявил своей «темной стороной», ограничиваясь небольшими аннотациями к очередному тому серии. Но в двух последних «фрамовских» томах —

антологии короткой прозы «В смысле» и уже упомянутом «Здесь был "ФРАМ"» — этот критик позволил себе выйти из тени. О каждом авторе сборника «В смысле» составитель написал короткие и очень точные эссе. «Здесь был "ФРАМ"», как было уже сказано, представляет собой развернутый критический комментарий составителя к избранным текстам. Так что завершение проекта «ФРАМ», похоже, одновременно стало для составителя возвращением в критику.

Впрочем, на самом деле из критики Макс Фрай никуда и не уходил.

Мечта каждого критика — выстроить собственную модель литературной ситуации, а если уж быть совсем честными — собственную литературу. Правда, никому из ныне существующих критиков не удалось то, что удалось Максу Фраю: в одиночку создать свою версию русской словесности. И не в виде описания, а в виде самой литературы.

Комментарий 2. Брендбилдинг и цветословы

«...Я очень хорошо представляю, чего добиваюсь по большому счету. Я хочу внести некоторые базовые изменения в облик современной русской литературы. Сделать ее более подходящей для меня, как читателя».

Из интервью Макса Фрая Дмитрию Дейчу

В руках Макса Фрая оказался куда более серьезный инструмент, чем традиционные приемы литературной критики. Понятно, что время статей и дискуссий, способных изменить облик русской литературы, и так безвозвратно прошло, если оно вообще когда-нибудь было. Но вряд ли случайно антологии и серии современной литературы стали чем-то вроде особого жанра литературно-критического высказывания именно в период упадка традиционной «обзорной» критики. Они во многом заменяют или дублируют ее функции, особенно — во всем, что касается выстраивания перспектив и ретроспектив литературного развития, и вообще — «длинной мысли», по выражению Сергея Чупринина, которой так не хватает современной критике. Включение или не-включение автора или текста в ряд антологии или серии становится частью общего сюжета, который создает составитель, причем сюжета живого, интерактивного, изменяющегося во времени, или способом оценки.

Поэтому стоит взглянуть под этим углом на минувшее десятилетие, которое, ко всему прочему, для российской словесности стало временем антологий и серий. Особенно это заметно на примере поэзии, но даже если мы ведем речь исключительно о прозе, то помимо «ФРАМа» можно назвать несколько серьезных явлений даже навскидку: серия «Самое время!», в которой в издательстве «Время» выходит современная словесность, «Художественная серия» и «Письма русского путешественника» «Нового литературного обозрения», «Русские цветы зла» Виктора Ерофеева, пятитомная «Антология прозы двадцатилетних» «Лимбус-пресс», антологии «Война. War», «Революция. Revolution» и «Десятка», составленные Захаром Прилепиным. Добавим сюда шеститомную антологию «Современная литература народов России», составленную при непосредственном участии редакции «Дружбы народов» (2002—2008), и серию «Уроки русского» издательства «КоЛибри» — о них отдельный разговор ниже.

При этом, если уж следовать жанровым определениям, антология и серия как явления современного литературного процесса вообще-то должны друг другу противостоять. Антология изначально воспринимается как избранное, как creme de la crème и «цветослов» по исходному значению. «Антология весьма сходна с хрестоматией», как сказано у Брокгауза и Ефрона. Не случайно в начале 2000-х, когда вышел в свет первый том «Антологии прозы двадцатилетних», собранный Ириной Денежкиной, слово «антология» резало слух. Потом, правда, все привыкли и согласились с тем, что речь не о самых прекрасных цветах литературного сада, а о репрезентативной выборке по тому или иному эстетическому или социальному признаку.

Серия, наоборот, изначально была феноменом чисто коммерческим. Тем не менее именно серьезная, некоммерческая, неформатная проза уже с конца 90-х у нас стала издаваться в рамках серий (вспомним хотя бы «черную» серию издательства «Вагриус»). Так что в определенном смысле антология и серия оказались единым целым, и тот же проект «ФРАМ» стал возможен как серия антологий.

В то же время у серий современной литературы появилась еще одна важная особенность. Они начали превращаться в альтернативный институт создания литературного авторитета. В этом отношении к сериям художественной прозы полностью применимо то, что достаточно давно было сказано о сериях поэтических: «Еще один важнейший фактор развития, который в сочетании с остальными используется для грамотного развития книжных серий, — это брендбилдинг за счет поддержания уникальности продукта. В случае с книжной серией ее ключевым свойством как рекомендательного органа, что ли, является авторитетность. Потребитель, в нашем случае — читатель, как профессионал, так и любитель, должен быть абсолютно уверен, что, приобретая товар под маркой, скажем, «Воздух», он не купит нечто абсолютно беспомощное. Пользуясь строго этим инструментом, год за годом наращивая свой авторитет за счет имен публикуемых авторов, развивались как бренды, поэтические серии «ОГИ» и «Пушкинского фонда» (Михаил Иванов. Сериал о сериях. Мультимедиа-журнал ZAART. http://mmj.ru/text.html?&article=706&cHash=7eef75dc3a).

Здесь любопытно то, что рыночный принцип «фирма веников не вяжет» предполагает наличие особого читателя. Традиционный читатель, взращенный русской критикой, тот, которому необходима «ариаднина нить», — то есть критик, «вслед за которым» стоит читать, — вполне может стать читателем, чей выбор следует за серией (или антологией, или серией антологий). И в этом случае на авансцену выходит главное действующее лицо — составитель.

Комментарий 3. Досье на составителя

«Составители литературных антологий неизбежно рассказывают о себе больше, чем авторы мемуаров. Когда берешься за повествование о своей жизни, можно скрыть некоторые обстоятельства и домыслить другие, но, составляя антологию, объединяя под одной обложкой чужие тексты, принимая парад собственных пристрастий и предпочтений, поневоле приподнимешь покровы — один за другим. Любая антология — досье на своего составителя. Боюсь, чем больше стараний он приложит для того, чтобы избавить книгу, составленную из чужих текстов, от собственного присутствия, тем точнее и беспристрастнее получится досье. Другое дело, что такого рода досье еще и расшифровать требуется...»

Макс Фрай. «Антология как разновидность бессмертия»

Составитель антологии или серии, действительно, демиург в своей литературной вселенной. Он намного свободнее критика-наблюдателя и, в отличие от него, имеет куда больше прав на то, чтобы что-то читать или не читать, кого-то знать или нет. Но именно мотивации отбора в каждом конкретном случае создают иные возможности видения литературной ситуации, которые не сводятся к редакционной политике «толстых журналов» или премиальным сюжетам даже тогда, когда пересекаются с ними.

В качестве такого примера можно вспомнить, антологию «Современная литература народов России» (2002—2008), которая выходила «под крылом» одного «толстого» журнала и во многом опиралась на другие «толстожурнальные» публикации. Как сказано в аннотации, в нее включена поэзия и малая проза последних двух десятилетий, представляющая этническое многообразие нашей литературы. В антологию вошли произведения 350 поэтов и 100 прозаиков, представляющих 40 народов России. Собственно, на этническом многообразии, поскольку задача выполнена полно-

стью, и можно было бы остановиться, и тогда получилась бы обычная антология — «почти хрестоматия», но собиратели поэтической и прозаической частей Леонид Костюков и Инна Борисова превратили собрания авторов и текстов в своего рода отдельные культурные сюжеты.

Инна Борисова — литературный критик, в прошлом — многолетний редактор отдела прозы журнала «Новый мир». Она начинала еще при Твардовском, и это тоже момент немаловажный. Мне уже случалось писать о том, что «прозаическая» часть этой антологии представляет собой срез уникального существования литературы в едином географическом пространстве и в разных культурных временах, когда дописьменные, мифологические, эпические ее формы соседствуют с современными техниками письма и новыми возможностями бытования текстов. Поэтому под общими разноцветными обложками можно обнаружить записи рассказов эскимосского шамана Ивана Ашкамакина, тексты сказительницы Лидии Мувчик, представительницы народа нивхов, ставшую хрестоматийной прозу Бориса Можаева и Валентина Распутина, а рядом с текстами уже известных авторов из относительно «новых» — Олега Павлова и Захара Прилепина — появляется рассказ сетевого автора Елены Одиноковой, пишущей в интернете под псевдонимом Упырь Лихой. Диапазон отбора — от устных шаманских рассказов до сайта объединения «Неоновая литература» — подчеркивает уникальность ситуации: тексты, которым положено располагаться в историческом хронологическом порядке, практически сосуществуют в реальном времени. Граница между вымыслом и нон-фикшн в этой ситуации тоже становится условной. Достоверность невымышленного не подвергается сомнению, наоборот, присутствие не-вымысла заставляет принимать традиционно художественные тексты как документ и свидетельство. Такую «правдообразующую» роль в этой антологии играют путевые очерки Эльвиры Горюхиной, наверное, одного из самых заметных публицистов последнего времени. Современная Россия глазами авторов и составителей видится как сосуществование несовместимых реальностей в границах общей судьбы. Реальности знакомые: вымирающие поселки в Башкирии («Усманские камни» Амира Аминева) и Карелии («Калевальская волчица» Яны Жемойтелите), молодежные неформальные группировки в больших городах («Антифа» Елены Одиноковой), война в Чечне (отрывки из «Патологий» Захара Прилепина). Судьба — трагическая, как и прежде.

Совершенно иная стратегия отбора — новая и успешная серия «Уроки русского», ориентированная, как явствует из издательской аннотации, на неформатную короткую прозу. За год с небольшим своего существования серия «Уроки русского» уже запомнилась двумя сборниками Анатолия Гаврилова. Первый получил премию Андрея Белого, второй, вышедший недавно, — не меньшее событие. Благодаря «Урокам русского» критика заговорила о новой «возвращенной» литературе — замечательная сюрреалистическая проза Александа Шарыпова чудом вернулась из 90-х годов, когда, казалось бы, печаталось все, и, тем не менее, этот автор едва не растворился в небытии. Николай Байтов из классика андеграунда превратился просто в одного из классиков современной короткой прозы. При этом рядом с представителями старших поколений оказались младшие — Дмитрий Данилов, Ашот Аршакян, Денис Осокин и другие.

Роль составителя серии — Олега Зоберна — здесь неоспорима. Тем интереснее взглянуть на «Уроки русского» как на очень личное переживание собственного писательского пути. Когда третьим в очереди — после «Берлинской флейты» Анатолия Гаврилова и сборника рассказов Дмитрия Данилова — вышел том прозы составителя, такой поворот дела несколько озадачил, и прежде всего — в отношении к общему пафосу серии. Гаврилов — безусловный теневой классик и мэтр по умолчанию. Но назначить на роль того, кто дает «уроки русского», составитель имеет полнейшее право кого угодно, только не самого себя, тем более, что проза самого Олега Зоберна пока представляет собой очень талантливое ученичество. В определенном смысле Зоберн — блестящий имитатор голосов, на которых в его рассказах говорит едва ли не вся русская словесность, да и не только русская. Один рассказ — один голос. Но неузнаваемого голоса в этой прозе пока не слышно, и в этом проблема.

Хотя в этом же, похоже, главный «нерв» и залог существования серии. В свое

время молодая «новореалистическая» критика причислила и Олега Зоберна к «новым реалистам» и тем самым выдала значительной части его литературного поколения индульгенцию на полное избавление от ненужных эстетических поисков. На эту санкционированно легкую жизнь многие и повелись. Но «Уроки русского» в литературном смысле представляют собой то, что лучше всего описывает известная фраза одного из героев Захара Прилепина: «Мы — безотцовщина в поисках того, чему мы нужны как сыновья». Контекст позволяет и поерничать: или племянники в поисках дяди, или подпоручики и рядовые, растерявшиеся в отсутствие своих генералов. Так или иначе в нелогичном внешне ряду «Уроков русского» все сильнее проявляется тоска по школе, направлению, эстетической платформе. И это очень многообещающее и творческое состояние.

С точки зрения эстетической — если бы не безвременная смерть в фактически доинтернетные времена, Александр Шарыпов вполне мог бы стать одним из авторов «ФРАМа». Абсолютно «фрамовские» по своей поэтике рассказы Ашота Аршакяна, Каринэ Арутюновой, да и «книги» Дениса Осокина вполне могли бы найти свое место рядом с ультракороткой поэтической прозой Андрея Сень-Сенькова. С другой стороны, «завораживающая чернуха» Романа Сенчина кажется абсолютно чужой в ряду самих «Уроков русского», высокая планка которого задана двумя книгами Анатолия Гаврилова.

Но при всем этом, возвращаясь, наконец, в сторону «ФРАМа», можно заметить принципиальные отличия проекта Макса Фрая от этих двух авторских проектов. И антология современной литературы народов России, и даже «Уроки русского» легче всего описуемы в привычных социологических категориях. Хотя во втором случае это не столь очевидно, проблемы одного литературного поколения рано или поздно выходят на поверхность. Ответить на вопросы о возрастной, социальной, профессиональной принадлежности «фрамовских» авторов, наверное, при желании можно: посмотреть годы рождения, места обитания, род занятий, потом все сосчитать и найти среднее арифметическое, — но вряд ли это что-то объяснит. Ни общей судьбы, ни общего отечества, никаких прямых выяснений отношений с тяжелым историческим прошлым и не менее тяжелым настоящим. Притом это вовсе не порок и даже не извинительный недостаток. Это просто особенность совершенно *другой* литературы, которая, перешагивая через социум, делает остановку в эстетическом (то есть собственно литературном), но оттуда упорно стремится в области экзистенциального — последних истин и главных человеческих вопросов. Потому и досье на составителя здесь нужно искать в сфере его литературных пристрастий.

Комментарий 4. И снова о Шатобриане, о червонцах и несбывшейся русской литературе

«Для несбывшейся русской литературы, той русской литературы, которой мне всю жизнь мучительно не хватает, один из важнейших, фундаментальных, базовых прозаиков XX века — Александр Грин. А в литературной реальности, которая пока что дана нам всем в самых разнообразных ощущениях, проза Грина — маргинальное явление, тупиковая линия, практически не получившая развития».

Макс Фрай. Из интервью Дмитрию Дейчу

Значение «ФРАМа» для современной словесности стало совершенно особенным прежде всего потому, что именно маргинальные явления и тупиковые линии рано или поздно превращаются в новый этап развития. В тех местах, куда приличные люди до недавних пор себе и заглядывать не позволяли, — в *Живом журнале*, *на Прозе. Ру* и *Самиздате*, то есть везде, где не было диктата общепринятых представлений о смысле и границах современной литературной ситуации, Максу Фраю удалось найти

дикорастущую, а значит, по своим внутренним законам и природным инстинктам развивающуюся литературу, всеми своими подземными корнями тянущуюся к тому времени, когда естественное литературное развитие было прервано, то есть в 10-е — 20-е годы прошлого века. Туда, где остался не только одиночка Грин с его другими мирами, но остались и так и не были по большому счету русской литературой востребованы, а значит — преодолены, «Серапионовы братья», проза Михаила Кузмина, Алексея Ремизова и Константина Вагинова, обэриуты. «ФРАМ» оказался еще одной попыткой возвращения русской литературы к фабуле, к виртуозности, изощренности и занимательности повествования, которое служит не развлечению, но прояснению духа и упорядочению мироустройства. Пойти по этому пути русская проза пыталась не единожды, но всякий раз ей роковым образом что-то мешало. Очень важная для европейских литератур сила фабулы как притчи или философской задачи в отечественной традиции не смогла противостоять правде «бедного сюжета», «психологизма» и «социальности». В своей не слишком длинной истории русская литература не могла пройти многовековую школу ренессансной новеллы. Не потому ли, кстати, в сборнике «Пять имен» нашла место «Книга снов Гуалтьеро Рота» Феликса Максимова — цикл стилизованных «флорентийских» новелл. Вообще проект «ФРАМ» в целом производит впечатление ролевой игры в самом лучшем и неуничижительном смысле этого слова. Название ее «Русская литература, которой не было», потому что в ней последовательно отыгрываются важнейшие эпизоды европейского литературного развития, которых русская словесность на своем особом пути не проходила или не захотела пройти, и тем самым заполняются и залатываются какие-то очень важные прорехи и зияния. Отсутствие в истории нашей литературы собственной традиции интеллектуального детектива аукнулось сборником «Куда исчез Филимор», участники которого по-своему пытались разгадать неразрешимую тайну известного конан-дойлевского сюжета. «Вавилонский голландец» для всех участников антологии стал очевидным признанием в любви к Борхесу. Которой, впрочем, и раньше никто не скрывал, и в первую очередь — составитель. Кстати, и составление антологий — занятие, как известно, совершенно борхесианское.

Чтобы найти предысторию и эстетическую программу проекта «ФРАМ», его своего рода манифест, лучше всего заглянуть в книгу критических эссе Макса Фрая «Книга для таких, как я». Среди авторов, о которых Фрай-критик пишет с интересом и восхищением, конечно же Борхес и Бьой Касарес, разумеется, Кортасар, а еще Конан Дойл, Жан Жене, Агота Кристоф, Ивлин Во, Туве Янссон. Из отечественных писателей отзыва Макса Фрая удостоились только двое — Грин и Хармс, второй, впрочем, с пометкой, что «русская литература его не заслужила». Разумеется, только в кошмарном сне может присниться: Макс Фрай — ненавистник русской словесности. Если присмотреться, это абсолютно точный перечень того, чего этой словесности не хватает. А если не хватает, значит, в этом направлении и стоит идти. И вряд ли здесь стоит бояться «вторичности». В отличие от открытых «серапионовских» воззваний 1920-х годов «На Запад!» и призывов формалистов «К фабуле!», этот ряд любимых авторов и книг просто задает ориентиры. А всем известно, что бывает в нашей стране, если кто-то упорно правит на запад — течение все равно снесет в какую-нибудь неизвестную и никем не открытую сторону света.

Говоря о прозе Марины Воробьевой, Макс Фрай называет ее представительницей средиземноморской литературы, которая пишется по-русски. Можно только гадать, представителем какой литературы, которая пишется по-русски, можно назвать Лею Любомирскую, живущую в Португалии и рассказывающую свои истории из жизни португальских «маленьких людей».

Перефразируя название известной статьи Эйхенбаума, я всего лишь хочу сказать, что снова настает время авторов, которые в родной традиции кажутся иностранцами. Но в этот раз они в иностранцев вовсе не рядятся, никем не прикидываются, а просто таковы, каковы есть. И это хорошо.

Комментарий 5. После «ФРАМа»

«Оно ведь как на самом деле обстоит: на фоне ритмичных и, как правило, невнятно аргументированных стонов об упадке русской словесности, непреодолимом кризисе и скверном запахе давно уж опочившего Автора вот прямо сейчас создается великое множество отличных текстов на русском языке. Чтобы убедиться в этом, достаточно уметь и любить читать.
В последние годы с русской литературой все настолько в порядке, что впору бросить свои дела и занятия, научиться жить на жалкое какое-нибудь пособие и посвятить дальнейшую жизнь внимательному и самоотверженному чтению, чтобы как-то успеть объять это восхитительное необъятное.
Я, впрочем, думаю, что дела всегда обстояли примерно таким же образом, просто сейчас с коммуникациями стало получше. Вот и отправляются новорожденные тексты не в письменный стол, не в пыльный сундук, а, к примеру, друзьям-приятелям по электронной почте, ну или даже сразу в Сеть выкладываются, на скромный, неприметный какой-нибудь авторский сайт, или, скажем, в livejournal, наитолстейший из литературных журналов — словом, ищущий да обрящет.
Вот и я ищу, обретаю помаленьку, кладоискательствую по мере скромных своих сил, на условиях поминутной оплаты интернет-доступа — не первый год уже. Я, в общем, довольно опытный старатель, но скверный классификатор, поэтому мне проще опустошить переполненный сундук, проследить, как ложатся мои сокровища под ноги читателю (акуратно ложатся, в алфавитном порядке, а как еще?) и отойти тихонько в сторону, чтобы не мешать.
Ну, словом, исцеляю литературную ситуацию наложением текстов, вы только, что ли, веки поднимите.
А то сколько можно.»

Макс Фрай. Из предисловия к сборнику «ПрозаК»

Осталось только понять, насколько изменилась русская литература за время десятилетнего пребывания в ней проекта Макса Фрая.

А ведь, оказывается, действительно изменилась. И очень сильно. Есть соблазн написать не расплывчатое «за время пребывания», а более определенное: «потому что в ней был "ФРАМ"». Впрочем, прекрасно известно, что, за редкими исключениями, мало кто из людей литературных любит открыто признавать чье-то влияние. Но в любом случае есть такое давно описанное биологами и многочисленными популяризаторами явление, как морфологический резонанс. Суть его состоит в том, что, если в аудиторию, заполненную тугодумами, решающими кроссворды, просто подсадить чемпиона-кроссвордиста, который никому ничего не будет подсказывать, а просто сидеть и решать свой собственный кроссворд, дела у всей аудитории пойдут значительно быстрее. Думается, что такую же роль подсадного чемпиона в русской литературе сыграл Макс Фрай со своим проектом.

Старательская работа по поиску секретов и сокровищ в Сети постепенно вошла в моду. Эпидемия блогерских книжек сейчас даже успела пойти на убыль, но прежде чем издательства стали запускать серии книг сначала «пятитысячников», а потом и «тысячников», приемы и навыки этой работы несколько лет и практически в одиночку демонстрировал Макс Фрай. Тексты с *Прозы. Ру* и других ресурсов, раньше воспринимаемых респектабельной литературной общественностью не иначе как исключительно графоманские, вдруг стали обнаруживаться даже в «толстых» журналах. То есть и журналы начали потихоньку искать своих авторов в интернете и вообще активно занялись поисками, перестав ожидать авторов, обивающих пороги редакций. Каким-то образом сработала категорическая убежденность Макса Фрая в том, что «качество текста не зависит от места его публикации».

Пока из «фрамовских» авторов сначала до шорт-листа, а потом и до победы в премиальной гонке дошла только Лена Элтанг. Но характерно, что в первом же сезоне премии «НОС», ориентированной, как известно, на поиск новых художественных языков, в список претендентов попал петербуржец Андрей Степанов с его «Сказками не про людей», и таким образом была отчасти и уже как бы под занавес признана тенденция, которую в течение нескольких лет в русской литературе формировали «оранжевые» «фрамовские» сборники, каждый год открывавшие читателю все новых и новых сказочников. Так что, когда о времени сказок в русской словесности устали

говорить даже ленивые, подслеповатый премиальный механизм успел захватить в поле своего зрения то, что давно было, но, наконец, показалось новым.

Издатели по-прежнему продолжают демонстрировать нелюбовь к короткой прозе, но регулярно ее издают в антологиях и авторскими сборниками. Более того, все чаще стали появляться переводы рассказов зарубежных авторов, которые вполне укладываются в «парадигму "ФРАМа"». Только в последнее время вышли книги рассказов Роберто Боланьо и Альберта Санчеса Пиньоля, а издательство «Текст» выпустило «Кровожадные сказки» бельгийца Бернара Кирини, эстетически очень близкие многим «фрамовским» авторам. И вообще, думаю, очень интересно в дальнейшем было бы проследить зарубежные параллели и контексты отечественного «сказочного бума» 2000-х годов.

Но самое главное — современная русская литература стала богаче на несколько десятков имен. Их так много, что в рамках одной статьи не получается написать о каждом авторе проекта, хотя это тот замечательный случай, когда о каждом есть что сказать.

Попробую выбрать хотя бы несколько примеров той литературы, которую уже «не вырубишь топором» и после «ФРАМа», поскольку она обрела свое книжно-бумажное существование, что у нас пока по-прежнему остается наиболее надежным.

Феликс Максимов появился на страницах антологии «Секреты и сокровища» с рассказом «Прекратили смерть» — не удивлюсь, если он войдет в топ-10 короткой прозы последних десятилетий, обойдя многих признанных мастеров. В прошлом году последним томом «белой» авторской серии «ФРАМ» стал его роман «Духов день», побарочному чрезмерный, многолинейный и многофигурный, но при этом не потерявший удивительной поэтической интонации, которая этого писателя отличает. «Духов день» родом из той же несбывшейся русской литературы, по сути это роман «серебряного века», которого автору во всей культуре «серебряного века» не хватило, поэтому он его написал сам. В книге есть подзаголовок — «роман-лубок», но это жанровая обманка, для лубочной наивности текст слишком изощрен и сложен, скорее, это пришедшие в движение картины Сомова с его кавалерами и дамами осьмнадцатого века, как бы их описали Кузмин, Ремизов, Белый, Сологуб, а может быть, ранний Алексей Толстой, будь у них возможность сделать это в наше время, с учетом всего опыта веков прошлого и нынешнего.

Елена Хаецкая, замечательный фантаст и автор еще одного рассказа, достойного войти в ту же десятку лучших коротких текстов, рассказа абсолютно традиционного, реалистического, в том простейшем смысле, что в нем нет ни троллей, ни подводной нечисти. Называется он «Дочь Адольфа», и это поразительно точный и объемный взгляд на первые постсоветские годы. Хотя это всего лишь, казалось бы, история детства героини, отец которой выступает в шоу двойников, где изображает Адольфа Гитлера.

Цикл «Южнорусское Овчарово» Лоры Белоиван — еще один пример того, как русская провинция из вечного предмета описаний «деревенской прозы» в современной литературе становится пространством чудес и превращений, в котором дома можно освещать и отапливать сгущенной тьмой, а бревно, которое вынесли волны на берег, может оказаться обломком волшебной палочки. Где-то рядом с прозой Лоры Белоиван — «Щукинск и города» Елены Некрасовой, одна из лучших прозаических книг последнего времени. Некрасова с рассказом «Вова четверодневный» — тоже среди «фрамовских» авторов.

Лея Любомирская, которая пишет о лиссабонских улочках и лавочках, об уличных кафе, где «осенние старички думают дождь», а молодые — «солнце, грозу и радугу», собачки носят красные шейные платки, и смертельные раны исчезают, если все время думать «Я не умру». При этом португальцы Любомирской почему-то разговаривают русскими каламбурами и пытаются вспомнить русскую скороговорку...

А еще Александр Шуйский, Виктория Райхер, Аше Гарридо, Татьяна Замировская, Дмитрий Дейч...

А еще, наконец, и сам Макс Фрай с рассказом «Черные и красные, желтые и синие», которому тоже место в нашей десятке лучших и бесспорная высшая ступенька поверх всех топ-листов за удивительную способность литературного текста мгновенно преображать действительность. Текстов с позитивным зарядом такой силы я, честно говоря, в современной словесности не помню.

С этим чувством, что современная русская литература есть, что есть тексты, есть авторы, есть книги, мы и остаемся после «ФРАМА».

Владимир Холкин

Странствие по внутреннему морю

Разрозненные заметки об одном странном романе[1] и не только о нем

«Так я и относился ко всякому, как к себе в другом. Гения из него вытягивал. Я возвышал его. Не до себя, Боже упаси. До нашего с ним нас понимания».

Николай Крыщук,
«Стая бабочек, или Бегство от биографии»

Писательство Николая Крыщука, многообразно воплотившееся в щедром, но и неспешно живущем слове «родной речи», прежде всего «с подлинным верно». Как с подлинным зорким взглядом в драматические наши дни, так и с подлинными чувством и мыслью этого писателя. При том что жанрово оно являет собой картину разноликую и сюжетно ветвистую.

Сначала писательство в его первом (строгом) смысле кроме рассказов включало в себя еще и сочинение стихов. Однако, пройдя филологическое испытание взыскательным блоковским семинаром профессора Максимова в Ленинградском университете, вот уже много лет как окончательно пришло к прозе, с ее «другими берегами», не чуждающейся многообразия жанров — не только в беллетристике и в истории литературы, но и в критике и художественно-философской публицистике.

Первым обширным прозаическим опытом Крыщука стало историко-литературное сочинение «Открой мои книги... Разговор о Блоке», выпущенное в 1979 году издательством «Детская литература». Книга, в ясной простоте, задушевности и умелом просветительском языке, очень живая и приметная индивидуальным пониманием судьбы и поэзии Блока. Спустя пять лет в свет выходит повесть «Первое мое "первое сентября"», а 1987-м — сборник эссе «Приглашение к размышлению». Именно в эссе писатель обретет для себя новую жанровую возможность непрестанного думанья, возможность размышлять и писать вольно, но и целеустремленно. Следующим по времени оказался большой труд «Искусство как поведение. (Книга о поэтах)», уже самим названием многое в особенностях культуры поэтического творчества пробующий объяснить. И, наконец, в 1991-м выходит книга «Не повышая голоса». Таков, условно говоря, первый период творчества Николая Крыщука, в основном своем направлении — филологический и культурно-философский.

Ко второй половине 90-х движение к художественной прозе оформилось окончательно. В 1997 году в «Звезде» появилось написанное в свободной, стилизованно дневниковой манере повествование под названием «Стая бабочек. Способ моего проживания». Оно стало частью вышедшей в том же году книги «Стая бабочек, или

[1] *Николай Крыщук*. Кругами рая: Роман-кино в двух частях. — М.: Время, 2010.

Бегство от биографии». Внутри состава этой книги содержался некий парадокс — имея психологически существенный подзаголовок «бегство от биографии», книга как целое словно бы спорила с одной из своих частей: «способ моего проживания» — и «бегство от биографии». Однако именно такие, говорящие о переменах в движении жизни и мысли столкновения смыслов бывают не только парадоксальны, но и плодотворны. В нашем случае плодотворным представляется само сравнительное сопоставление двух пар слов: «способ — бегство» и «проживание — биография». Иными словами, проживание как сложное, полное внезапностей течение живой жизни предполагает и требует именно способа — подвижного, готового сообразно отвечать неожиданным поворотам и острым порогам. Биография же — это заранее завершенное, неуклонное и неукоснительное движение по прямой. Одолеть биографию можно, только спасаясь от нее бегством. Попытку такого побега, попытку записывать и писать проживание, а не описывать биографию, и предпринимает Крыщук.

Тогда же он начинает активно сотрудничать с газетой «Первое сентября», изданием — как просветительское дело — незаурядным и ярким. И по сей день Крыщук регулярно публикует там эссе, предлагая читателю свои размышления о вопросах времени и культуры, и беседы — с Кушнером и Володиным, Рейном и Померанцем... Из этих бесед выросла его книга «Биография внутреннего человека».

Начиная с 90-х годов проза Крыщука (рассказы, повесть и, наконец, роман) появляется в московских и питерских «толстых» журналах постоянно. В 2007 году он получил литературную премию имени Сергея Довлатова.

Завершить это краткое «введение в контекст» я хочу цитатой из его эссе «Возвращение к чувству»: «...из нашей культуры и просто из восприятия жизни исчезло чувство значительности. Значительности чего угодно: любви, природы, смерти, музыки, слова, человеческой жизни. Как вернуть себе это чувство, без которого жизнь лишается радости, слабеет сознание ответственности, поиск целого, и мир неуклонно, под веселые песни, звон бокалов или, напротив, усердный тренинг и прочие оздоровительные мероприятия, приближается к своему концу? Целые народы и страны в этом состоянии не могут договориться о самых внятных, казалось бы, вещах, президенты валяют ваньку не хуже, чем мы в своих разнообразных тусовках. Как быть? Да кто же это знает?».

Вот как раз на эти вопросы и пытается ответить писатель в своем — своеобразно странническом — романе «Кругами рая». Вопросы от века простые, однако вряд ли успешно разрешимые лишь на путях только человеческих, без обогащения их чувством провидения и судьбы.

Не стесняя себя пиететом перед собранием маститых, юное студенческое жюри Букера-2009 выбрало в победители роман Николая Крыщука «Кругами рая». Книгу, по многим своим литературным отношениям вроде бы совсем не нынешнюю — зорко внимательную к «человеку внутреннему», с его пристрастием к мучительному самоанализу и беспощадной самоиронии страдания, и явно следующую путем Достоевского. А то и дорогой Стендаля, с честностью его прицельного самопознания и обстоятельным психологизмом сюжета. По отношениям же философским — книгу, словно бы вырастающую из безнадежности абсурда Камю. Или из психологически и нравственно правдивого интуитивизма Бергсона, с его утраченной верой в «человека внешнего» — то есть человека поверхности и «равномерного прямолинейного движения». Словом, книгу странную и притом бесстрашно откровенную, что, собственно, и является важнейшим ее свойством.

Роман этот явился в нынешнем литературном поле нежданным, внезапным и для нынешнего читателя непривычно трудным. Возникающий из глубоко залегающих корней индивидуальной, напряженно и честно рефлектирующей мысли, он оказался близким сегодняшним молодым и вольным скептикам. Людям, живущим скорее безоглядно вширь, чем сосредоточенно вглубь. И вот, поди ж ты, именно они стихийным своим чутьем правды приняли его концентрически-круговую, но и ветвистую, замкнутую изнутри, но и с распахнутым наружу окном, непростую композицию. Именно они, юные и неискушенные, охотно вняли «самоходному», безошибочно разговорному и, вместе, вдумчиво размышляющему слову, подвижно скрепленному с сегодняшней иронически насыщенной языковой стихией, но притом явно тяготеющему к поэтике классического «семейного» романа.

Однако самым ярким признаком выбора юных филологов явилась, кажется, та сосредоточенность интеллектуального сочувствия, с каким потрудились они вникнуть в «богоискательскую», если угодно, подоснову романа и внять особой, трагикомической, философской его иронии, отстраненно сочувствующей героям, но и причастно, с состраданием осмысляющей экзистенциальную природу того исступленного недоумения и не чаянной до поры растерянности мысли, в котором пребывают эти люди. Еще вчера любящие, а нынче далеко разведенные безлюбьем, они пытаются доискаться истоков и причин душевного ненастья. Пытаются тщетно, ибо ищут причины в разборе житейских воспоминаний, а не в осознании драматического сиротства своей духовной оставленности. И кажется, добавлю, что это один из основных философских мотивов непростой книги Крыщука. Книги, являющей собой внешне пеструю и густую, однако внутренне стройную сумму трагической иронии, терпеливой созерцательности, протестующего отчаяния, пытливой мысли и живого сострадания к людям. Книги о нелепых людях, что со спотыканиями и преткновениями ищут утраченного понимания себя и другого, вместившей в себя разветвленную «сумму житейской философии».

Фабула романа проста и незамысловата, едва ли не скудна. Жило-было счастливое семейство: мать, отец, сын. Семейство, крепкое дружеством, взаимно внимательным чувством и любовью. Любовью общей и нераздельной — отца и матери к сыну и сына к ним обоим. И отдельной — любовью мужчины и женщины. Семейство нравственное, интеллигентное, с устойчивой к размолвкам, творческой и чуткой к ближнему кругу душой. Важно, однако, что счастливая эта пора возникает и подолгу длится лишь в воспоминаниях героев, ассоциативно вплетенных в переживание разлада дней сегодняшних. Тех трех дней и ночей, в течение которых происходит дело в романе. Ибо теперь, спустя годы — будто внезапно, вдруг и беспричинно, — домашнее время этого семейства счастливым быть перестало.

Вот что думает об этих разрушениях, превращениях и преображениях Григорий Михайлович — отец распадающегося семейства и один из трех главных героев: «Ему казалось, что в их семейных отношениях была /…/не оговариваемая тайна, для которой они вместе вырабатывали домашний язык. /…/ Мужчина, женщина, ребенок. Муж, жена и сын. /…/ Последний рубль тратили вместе и весело, книги лежали на полу, дожидаясь нового шкафа, трехколесный велосипед проехал мимо Алешиного детства — сразу сел на двухколесный. /…/ Юмор позволял им избежать сентиментальности и делал невозможным высокий стиль. /…/ Как могло все это прекратиться в один момент и привести их едва ли не к вражде? Возможно, этот образ семьи и существовал реально только в его сознании и, дорожа сосудом, он не заметил, как из него исчез огонь?»

Но довольно быстро фабула досуха исчерпывается, и на ее месте возникает, доверху полнясь безысходным веществом существования, психологически и онтологически неразрешимый и оттого безнадежно обреченный на многоточие сюжет. Сюжет, в который, словно из глуби душевного колодца каждого из героев, хлынуло время, счастью изменившее. Время отчуждения и бегства — сердечного отчуждения и бегства в себя.

Время усталого бегства мужчины от женщины в мнимо спасительный покой творчества или в тягостное, разъедающей рефлексией, сознательное, но беспокойное одиночество. Или (как жест последнего отчаяния) бегства зрелого человека, пытающегося обрести в молодой возлюбленной дочь вместо утраченного душой сына. Его шалого бегства из кабинета в гущу уличной жизни, чтобы в конце концов отойти в тихую, нелепую, отмеченную нечаянным жестом самоубийцы смерть.

Время семейного отчуждения, явленного в скандальном уходе из дома сына Алеши, утратившего его (дома) участие и сознание к нему собственной принадлежности, изверившегося в надежном чувстве сыновства, вернуть которое он так и не сможет даже с помощью отчаянного действа: с веселой тоской созданного им мультипликационного персонажа Грини, пародийно повторяющего имя родителя, — иначе говоря, символического сына, придуманного взамен разлаженного духовного родства с отцом.

Словом, время «бегства всех ото всех» как последнего способа оберечь самость, не растерять волю к жизни и сохранить «душу живу».

Впрочем, речь у нас пойдет не столько об особенностях одного, пусть и яркого,

романа, сколько (на его примере и материале) о выборе пути и понимании человеком себя и другого. О всегдашней вероятности трагизма выбора — и трагически возможного за него воздаяния: трудных блужданий на кругах поиска такого понимания. Роман этот интеллектуально исповедальный и парадоксально умно и иронично философствующий. И потому хочется попытаться уяснить бытийную канву и почву, из которой вырастает основная экзистенциальная посылка всего повествования, мысль, что питает и корни его сюжета, и его психологизм, и слегка приподнятую над сюжетом и исповедями героев неустанную авторскую рефлексию.

В этой связи уместно обратиться к эссе Камю «Философия и роман: «...Давнее противопоставление искусства и философии произвольно. В строгом смысле слова оно наверняка ошибочно. /.../ Мне хотелось бы здесь поговорить о произведениях, в которых особенно велик соблазн объяснений, где иллюзия есть нечто само собой разумеющееся, а умозаключения почти неминуемы. Я имею в виду романное произведение. /.../ Сегодня, когда лучшей историей философии была бы история ее раскаяний, /.../отвлеченная мысль наконец-то соединяется со своей оболочкой. И точно так же романическая игра страстей и плоти все жестче подчиняется императивам того или иного видения мира. Сейчас больше не рассказывают «историй», а создают собственную вселенную». Последнее может быть вполне отнесено к роману Николая Крыщука. Трудности мыслительной и душевной жизни героев романа «Кругами рая», задающихся вопросами не столько житейскими, сколько жизненными, сродни тем, перед которыми ставил своих героев Камю, этот печальник абсурда.

Стержневым мотивом романа очевидно является трагизм утраты счастливым человеком духовного понимания другого как надежной опоры счастья. Притом человеком, который зачастую ведать не ведает, что искать пропажу следует именно в духе и совести, как единственной точке Бога внутри самого себя.

Роман «Кругами рая» — это по сути дела ветвистый путь обнаружения, вызволения и обличения такого «внутреннего человека», его отчаявшегося мирно поладить с «человеком внешним» бунтующего самовыражения. Как классическая семейная сага, он не обходит вниманием ни основных героев, ни действующих лиц второго ряда, ни героев нескольких вставных новелл. При этом автор идет не привычной дорогой внутреннего монолога или потока сознания, а дорогой крепкого повествовательного сюжета, выводя героев на путь столкновения с другими и прослеживая вынужденный поиск ими нового понимания самих себя. Одновременно выводя их на перепутья сюжета надбытного, на круги тягостного и с опаской таимого от других душевного безвременья, в котором пребывает один из главных героев. Состояния, экзистенциально историческим источником которого и сам герой, и его автор справедливо числят тот невеликий мирный промежуток, что выпал послевоенному советскому поколению. «Мясоедская эпоха его миновала, война не успела достать, жить выпало не в лагере и не в окопе, а в коммуналке, которая никак не походила на каторгу, но в то же время не давала поводов для иллюзий и расслабляться особенно не позволяла. Пройди он ГУЛАГ, все в нем наверняка выстроилось бы иным образом, хотя, возможно, и пришло к тому же».

Попытка раскрепощения в каждом из персонажей «внутреннего человека» удалась автору, однако дорого обошлась его героям. Крыщуку важно выяснить причины хлынувшего на них абсурда одиночества, внезапной разделенности и разомкнутости людей, еще недавно близких не только по крови, но и по духу и культурным корням, и обреченных отныне на трагическое взаимо-не-понимание. Мало того, людей, неполадками в этом самом «внутреннем человеке» принуждаемых к поискам истаявшего понимания другого в себе — и положивших, однако, обойтись в этих поисках без Божьего духа в чувствах и без Его помощи в трудах собственной души, уповающих лишь на умственную рефлексию, — что приносит, в конце концов, плоды безутешные и печальные. (Да и то сказать, ведь более всего мучительны и менее успешны бывают как раз наши отношения с самими собой. Вспомним Блаженного Августина и его «Исповедь», сочинение, где дано самое, пожалуй, проникновенное определение «внутреннего человека», место пребывания которого Августин определяет как некое средостение, пограничье между «внешней, вещной и вышней истинами».)

Возвращаясь к другим особенностям «Кругов рая», стоит заметить и его почти вызывающе пародическое, горько парадоксальное название, в котором сошлись и жалость к человеку, и сочувствие к безысходности круга его дней, и печальная на-

смешка автора, осмелившегося исповедовать своих нелепых героев, над собой. Речь не о драматически грустной игре в «добровольно-принудительное» опровержение привычных понятий. Ведь рай, согласно как Ветхому, так и Новому Завету, целен и храним как сад, небесный город, хотя (как толкуют его апокрифические описания) и разделен на девять взаимопроникающих небесных ярусов. Из кругов, согласно Данте и тому же Ветхому Завету, состоит лишь ад. И вот до той поры, пока герои романа пребывают в мирном поле совместности дома, согласия и семьи, они пребывают в бдительно охраняемом любовью раю. Но стоит прислушаться к голосу усомнившегося «внутреннего человека» — и рай начинает распадаться на отдельные круги и вскоре превращается в «рай потерянный». Или — если попытаться поспорить с максимой Сартра, что «Ад — это другой», — в «рай адский». Где, после разрыва еще недавно бывших «райскими» связей, «ад» — это уже не столько «Другой», сколько пестрое «Я» самого человека.

Внешняя жизнь невротичных персонажей романа до поры до времени течет цельно и благополучно. Однако души этих узнаваемо нынешних и вместе символичных героев, невемо отчего однажды смутившись, мятутся, внося в форму и идею всего происходящего в романе вкус и тон «фантастического реализма», воздух и стихию рискованного странствия в глубь собственного чувства и мысли. Но зато и теряют они в этом смятении неизменное до поры (и так естественно принадлежащее им до его потери) равновесие души и духа; освященный любовью покой и здравый смысл каждого дня. Взамен же приобретая бередящую и без того раздраженный ум рефлексию, гнетущие сны и вопросы без ответов. Выразительным обоснованием картины душевной смуты персонажей могут служить несколько характерных выдержек из финальной части романа — из подглавки «Теория ГМ» (т.е. уже упомянутого доктора филологии Григория Михайловича). И хотя сам писатель ставит после названия усмешливые скобки: «для прочтения необязательна», подглавка эта слишком важна для понимания не только этого героя, но и романа в целом. «Уже в молодые годы Гриша решил устраиваться в жизни самостоятельно. Тут сыграли свою роль гибель отца, война, долгое отсутствие друзей и не слишком приятная компания в коммуналке. /.../ ГМ стремился быть реалистом и при этом испытывал потребность в некоей философской вертикали, что само по себе отдает парадоксом: подобраться к Богу, миновав религию и сохранив полную автономность. Вообще говоря, всякий человек, если не приходит прямо к вере, рано или поздно обзаводится собственной теорией. /.../ Другое дело, что сама потребность в теории косвенно говорит о неудовлетворительности или полном неприятии окружающего /.../. Душа по природе своей христианка — кто это первый сказал? Личный Бог профессора был прежде всего продуктом его собственной, еще детской интуиции, к чему, как он знал, богословы относились с недоверием».

Даже по кратким этим отрывкам заметно, что вседневно прибывающее осложнение рефлексии героя и тщательная (и, словно бы вопреки иронии, выразительно участливая) рефлексия автора о герое по силе освещения почти совпадают. Однако интересно и другое: похоже, что в герое, настойчиво ищущем новый путь к внутренней судьбе, автор осмысляет собственные пути таких поисков — как кажется, вполне успешных. За это говорит и авторское сочувствие, что сродни братскому сочувствию странника, путь к Богу прошедшего, к товарищу, идти еще продолжающему. Сочувствию внимательному, хотя и чуть отстраненному, от прямой, расслабляющей волю героя, помощи воздерживающемуся. Впрочем, к «теории ГМ» вернуться нам еще придется.

Награждая роман Николая Крыщука, молодые филологи обосновали свое решение точно и своеобразно философично, хотя, возможно, формулировка кажется слишком романтично красноречивой: «за смелую попытку провести повествование по тонкой грани между мгновением и вечностью». И все же она правдива в понимании интересующей нас сложной связи мига жизни «человека внешнего» — мига, застигнутого и описанного автором, — с неотступным осмыслением жизни «человеком внутренним», «истинным человеком», могущим найти выход из лабиринта лишь с мыслью о себе, отыскав путь к внутренней судьбе, с помощью благодетельной нити любви и понимания выйдя на свет Божий.

Решение жюри подтверждает основные положения «символа веры» из его же манифеста: «Вопрос, какой должна быть книга сегодня, вечен. Ответ на него искали

вчера и не найдут завтра. /…/ Книга в наши дни — это в последнюю очередь источник знания. /…/ А значит, и роман должен заняться другим. Не злободневным, не насущным. /…/ Будучи феноменом искусства, роман должен создавать такое художественное и культурное пространство, в котором читатель проживает текст как жизнь, в котором отражается его собственная судьба». Таким своеобразным вместилищем нескольких зеркал книга Николая Крыщука в сущности и является. Зеркал, отражающих скрываемую от других (а зачастую и от себя самого) правду одинокой души человека, души-сироты, что вместе с утратой понимания себя и близких теряет и бывшие подспорьем во времени жизни надежные скрепы любви. Это роман, где сквозь злободневность и обыденность первоначальной заурядной фабулы прорастает глубоко экзистенциальный, смятенный сюжет.

Здесь стоит обратиться к упомянутой нами книге Крыщука «Биография внутреннего человека», куда кроме нелукавых, трудной искренности, исповедей известных людей нынешней русской культуры о путях собственной души входит и рассказ-опыт самого писателя «Дневник отца». Представляется, что именно два этих внешне ясных заглавия несут в себе первоначальные смыслы основных онтологических проблем, решаемых в романе «Кругами рая». Той, о которой мы уже говорили: столкновения и последующего обретенного согласия «истинного человека» со своей внутренней судьбой, и другой, давней (почти архаической), и неизбывной — проблемы преемственности и предания, наследования от отца к сыну живых ценностей родовой этики, трудностей сбережения немелеющей реки взаимного понимания — трудностей, зачастую неодолимых.

Для каждого из героев романа «Кругами рая» корнем первой из этих бытийных проблем является нарушение привычных жизненных порядков и вынужденное принятие новой правды «внутренним человеком». Причем принятие иной, сокрытой долей своей высоколобой, благоустроенной личности — нравственно одаренной, до поры до времени находившейся в равновесных отношениях с миром ближних и в ладу с самой собой, однако внезапно такое согласие и такие отношения утратившей и оттого испытывающей нарушение последовательной связи между «человеком внешним» (откровенным) и «человеком внутренним» (сокровенным) — как нарушение глубинное и труднообратимое. Когда наступает пора это событие освоить и смириться с мыслью, что такая связь не только неумолимо становится параллельной, но единственно такой лишь и может быть. И когда возникает необходимость выбора: либо, с ходу одолев нарушение открытым натиском доброй воли, восстановить последовательность обычая, либо, на время стушевавшись и отступив, попытаться все же свернуть на дорогу внутренней судьбы и доверия «истинному» в себе человеку.

Стоящая перед героями романа Крыщука проблема такого выбора сродни интеллектуальным переживаниям героев Камю. И здесь стоит сослаться на размышления автора романа «Кругами рая». «О Камю. По-молодости как-то не принял его из-за монотонной фактуры, а потом долго не мог вернуться. Но дневники как раз читал, и мне нравилось, но четкого впечатления не помню. Недавно впервые перечитал его «Постороннего». Меня поразила интеллектуальная объемность и психологическая небанальность выявленной им ситуации. /…/ Последний, недописанный роман мне нравится. Похожестью на русскую прозу и параллельностью существования героев». И еще. «Заглянул в Камю. Мне, думаю, в те годы это чтение было просто не по уму. Кроме того, меня оттолкнул, видимо, рациональный заход в тему абсурда, которую я и посейчас отказываюсь разглядывать со стороны, так как понимаю, что для моей плоти и ума это небезопасно. По существу, Камю, как мне кажется, говорит не столько об уместности философствования в художественном произведении, сколько о философской предпосылке его. Это, разумеется, так. Строго говоря, под его определение движущей силы героя у меня подпадает только ГМ. Он негатив Кириллова из «Бесов». У того логическое самоубийство, у ГМ попытка логической гармонии. Оба люди одной идеи, в своем роде страстной и одинаково гибельной. Алеша не человек идеи, даже и не теоретизирующий человек. Он аутически спасается в своей рефлексии, которая грозит ему скорее вялой смертью, чем сумасшествием, хотя он героически страшится именно последнего. На бесплодность и абсурдность этой ситуации ему намекает эпизодический сумасшедший, а подтверждает это вся история с отцом. Мать зациклена на своем призвании, что свидетельствует о глубочай-

шем нравственно-диабетическом обмороке. В каком-то смысле они все диабетики. Не знаю, имеет ли это отношение к сказанному у Камю».

Признания эти примечательны. Они указывают, с одной стороны, на авторское, самое достоверное, из первых рук представление о героях. А с другой — на опаску человека непрестанного творческого думанья перед тем беспощадным пессимизмом, с каким напрямую задается «последними вопросами» и напрямую же разрешает их Камю. Вопросами, возникающими как порождение абсурда жизни, когда их диктует отчаяние и когда ответы на них ищутся не на пути к Богу, а на пути к смерти. А с этим автор «Кругов рая» согласиться не может. Прежде всего потому, что, осмысляя экзистенциальное поражение своих героев, считает основной его причиной как раз желание путь к Богу миновать. А коли исходить уже из текста самого романа, то становится ясно, что природа их недоуменного отчаяния кроется именно в этом миновании.

В подтверждение этого — несколько важных для понимания как теории, так и внутренней судьбы главного героя романа его собственных мнений и признаний. Итак: «Вера, говорили они (богословы. — *В.Х.*), не заряженность бессознательного и наивное пребывание в настроениях, но духовная жажда, горение, искание, очистительное деланье. Эти доводы его не задевали. Он служил литературе, сама же литература, порой бессознательно, тоже искала пути к Богу. В своем путешествии он был не одинок». И вместе с тем: «ГМ понимал, конечно, сколь мало влияние, допустим, литературы на ход вещей. К тому же возможна ли передача, говоря упрощенно, из одной среды в другую, если они никак не сообщаются?». Стоит сказать, что так безнадежно задаваемый вопрос не риторичен, ГМ обращает его не к рассудку, а к душе, которая мается в поисках ответа на путях, где такого ответа найти и вправду невозможно. Ибо «среды» эти способны сообщаться лишь поверх замкнутых своих форм, в открытом для духовно не закрепощенных душ пространстве Завета, в «среде», напрямую сообщающейся с внутренней судьбой «сокровенного человека».

Завершая эти разрозненные заметки, попробуем взглянуть на роман «Кругами рая» отстраненно: как на своеобычно метафизическое описание одного несчастливого путешествия. Или — что вернее — драматического, но и душеполезного странствия героев этими самыми кругами.

У филолога и мыслителя В.Н.Топорова есть важное сочинение, названное по имени героя мифа и поэмы Вергилия «Эней — человек судьбы», потаенная парадоксальность которого состоит, в частности, и в том, что вторым центральным персонажем его выступает сам Вергилий. Домосед, сторонящейся перемен, славы и любого многолюдья, — человек если и судьбы, то судьбы тихой и благосклонной; человек своего неспешного стихотворческого дела и своего верного и устойчивого, одинокого места. Но главное — и в этом сердцевина парадокса — поэт в книге Топорова оказывается одного корня со своим героем-странником, становится узлом связи долга, покорности богам и сложно с ними сопряженным, внятным зовом внутренней судьбы.

Что же до романа как жанра (к каковому очень условно можно причислить и «Энеиду»), то когда-то Евгений Шкловский, рассуждая «о несходстве сходного», высказался в своей «Тетиве» в том смысле, что настоящим героем романа может быть лишь человек, столкнутый, сдвинутый или смещенный со своего места. Человек, пребывающий в состоянии неопределенном, зыбком, фатально нестойком и неуверенном в каждом следующем шаге, человек, случаем ли, жребием ли, судьбиной лишенный не только основания, но и опоры, а потому обреченный на скитания.

Герой романа Николая Крыщука на первый, пусть и неспешный взгляд — это очнувшийся от вязкого душевного непорядка, стыни и оцепенения человек взволнованного созерцания, а не глубинного переживания. Человек, нервно иронический, отрывочно обозревающий свое прошлое, а не одолевающий оторопь и растерянность перед настоящим. Притом герой непростого, насыщенного ассоциативными связями повествования, изрядно осложненного включениями в его ткань окрашенных в тона нынешнего, болезненно беспутного времени мотивов «романа воспитания». За такое толкование косвенно говорит не только название повествования, являющее прозрачную — горькую, но и усмешливую — аллюзию на движение «высочайшего поэта» кругами ада, где вожатым для него стал тот же Вергилий, но и сам философский и страннический, так сказать, склад романа «Кругами рая». Вернее, та его

плотная ироническая доля, что помогает автору удержаться от прямого откровенного сочувствия своим несчастливым героям, с трудом одолевающим тяготы одиночного плавания по своему «внутреннему морю».

Однако на взгляд более пытливый и внимательный основные смыслы романа «Кругами рая» складываются в картину своего рода онтологического, бытийного лабиринта. Тщательно прописанную картину заблуждения и растерянности, экзистенциального выбора и безысходного абсурда. Роман застает своих героев врасплох. Резко освещая философской вспышкой трех дней и трех ночей жизнь людей, пребывающих в состоянии бегства или упрямого ухода в одиночество; в напряжении холодных размышлений (как у ГМ) или истерике личностного и творческого самоутверждения (как у его жены Евдокии). И тогда становится внятным, что усилия их существа, нарушенного разладом понимания, устремлены не к последовательному познанию жизни, не к поискам истока ее вседневных испытаний, а к судорожным поискам своей внутренней судьбы. Раздумчивое ли это отстаивание одного из них с трудом выстроенного на жестких нравственных максимах покоя. Нелепое ли бегство другого из круга обыденности в отчаянной попытке выправить искажения внутренней судьбы и утишить тоскливый шепот ее надтреснутого голоса, затерявшегося в разноголосице и толчее неотзывчивого времени. Или, наконец, нелепые всплески исступления женщины (жены и матери), с бессильным изумлением глядящей, как из счастливого некогда дома уходит любовь.

Речь о людях, стремящихся одолеть в себе косное — влекущееся по заповеданному жизнью пути невольно или слишком податливо — духовно незрелое существо и, одолев, отыскать в душе силы решиться совместить путь и судьбу, вложив в эту решимость и раздраженную силу самосознания, таких поисков до поры робевшего. Отважиться на попытку зрелости, на высказывание вслух, движение к которому, требующее цепкого взгляда в зеркало, мучительно и ломко. Преувеличенным, психологически гротескным знаком такого высказывания одного из центральных героев романа — Алексея оказывается придуманный им для спасения от душевной смуты — вначале как внутренний собеседник — Гриня, о котором шла речь выше. Уже первое его появление отмечено «корневым», многое в философских и житейских событиях романа обнаруживающим монологом, из которого этот иронически горьковатый образ вырастает и в котором среди прочих признаний есть и такие: «Внутриполитическая обстановка в душе остается сложной, объяснял Гриня. Особенно остро стоит проблема жилплощади. Всем родным явно не хватает места, зато много приживалов и других неопознанных личностей. Антисанитария страшная, процветают панибратство и оскорбительная душевная близость. /…/ Отдайте мне мое, и я скажу, что из этого ваше. Секундная стрелка предостерегает нас от трат, намекая, что вечность — тоже время. /…/ Иногда хочется объясниться. Невозможно. Сочтут за педанта или безнадежно виноватого. /…/ Юмор давно выполняет исключительно служебную функцию — скрашивает длинноты. /…/ Подозрителен я стал ко времени. Не люблю его, опасаюсь. Редко когда удается его обмануть».

Продолжая вольное сравнение некоторых смыслов кружения персонажей романа Крыщука, обозначенного в подзаголовке как «роман-кино», и смыслов странствия Энея и его спутников, стоит заметить, что смыслы эти странно (хотя и противоречиво) близки. Мы знаем, что корабль Энея плывет по волнам Средиземного моря, моря не вполне внутреннего, ибо Гибралтаром оно все же проливается в океан. Однако путешествие это надиктовано судьбой (Эней-троянец должен споспешествовать основанию Рима), и потому герою нет дела до океана (да и вряд ли он о его существовании знает). Эней проходит (в том числе и кружа, и подолгу оставаясь на суше) путем, назначенным богами, — и здесь он покорен; однако осмысляет его самостоятельно — и здесь он терпелив в невзгодах и непреклонен даже в отказе от любимой. Герои же «Кругов рая» странствуют, а точнее, нервно кружат по морю внутреннему, бесконечно замкнутому. Поняв же, что странствие давно превратилось в кружение, они начинают — всяк по-своему — бунтовать, пытаясь прорваться за пределы, назначенные обычаем и внешней судьбой, пробиться в пространство судьбы внутренней — пространство, как в возможностях, так и в опасностях, почти безбрежного. Иначе говоря, пробуют отыскать свой Гибралтар. Так, подобно Энею, оставившему разрушенную Трою ради основания Рима, то есть по велению богов и внутренней судьбы, ГМ тоже оставляет

прежнее и родное, но невосстановимое целое жизни сообща, чтобы ради веления внутренней судьбы основать новое начало.

В этом смысле основными темами романа «Кругами рая» предстают темы экзистенциальные: бегства, тоски и бессилия. Что, скопившись, стали для его героев проблемами, мучительным смятением или тихой мукой каждого сущего дня. Бегство ли это от себя, тоска ли по утрате душевного родства с отцом и запоздалая горечь его необретения или бессилие вернуть ушедшую любовь и понимание любимого. Но прежде всего это темы выбора, понимания и цены, за эти самые выбор и понимание героями платимой. Роман Крыщука — «роман существования». Жанра, преемственно предваряющего в истории литературы роман экзистенциалистский, а в пределе его дальнейшего развития — и роман абсурда. Литературно-философского создания, открытого культурой XX века (в частности, Камю), вслед все большему пессимизму и нравственному ожесточению человека, растерявшего не только доверие к жизни, но и доверие к себе.

Примером же включений существенной толики «романа воспитания» в этот «журнал» путешествия «кругами рая» вновь может служить тот самый Гриня, вымысел, рожденный тоской одного из трех героев по былому сочувствию и со-быти*ю*, царившему когда-то в этом счастливом семействе, — как воплощение другой составляющей личности героя и едва ли не важнейшего для общего философского тона повествования его знака. Вкупе со взвинченным тоном рванувших вдруг из душевного плена самопризнаний. И это, повторим, знак нарушенного равновесия в вечно насущном отношении «отцовство — сыновство» (несмотря на мифичность и глубокую архаику его происхождения). Именно разрушительная утрата такого равновесия (или понимания себя в себе, а в пределе — другого в себе или себя в другом — то есть понимания взаимного) и порождает Гриню. И оттого рождение такого гротескного персонажа — что для нынешнего, изобилующего сериалами времени знаменательно — явлено в романе как страстная попытка возмещения за убыток: постепенно слабеющее, тающее и, наконец, вовсе исчезнувшее равновесие внутри Дома. И оттого самый замысел такого героя, возникший у Алеши, — это отчаянный порыв к замене ушедшего реального объема жизни иллюзорной плоскостью кино. Безуспешным опытом Алексея восстановить или хотя бы в воображении вновь обрести душевно важное отношение с жизнью.

Повторим — фабулу романа «Кругами рая» легко принять за хронику обыкновенной, хотя и драматичной семейной истории. Однако даже сама эта драматичность, обострившаяся в конце концов до скандала (в жанровом, вслед поэтике романов Достоевского, своем изводе), тоже несет в себе черты заурядной, но незадавшейся семейной жизни. Жизни, сгущенной в своей психологической нестерпимости до последнего предела. И жизни домашней — тайно распадающейся, и, так сказать, общественной — откровенно разухабистой и, в нынешнем стылом безвременье, особенно тягостной.

Исключениями же, что лишь подчеркивают местонахождение романа в классическом жанровом ряду, являются на его сцену девочка-подросток, в финале оказывающаяся, судя по всему, дочерью Алеши, да аспирант-филолог Клещук, ученик ГМ и, одновременно, своеобразный резонер. Эпизодический, но важный персонаж — воплощающий в своих высказываниях не только контрапункт к основной теме романа (теме последствий любых этических искажений), но и, по всем приметам, остраненный голос автора. Еще одним выразительным контрапунктом к историям жизни главных героев являются несколько вставных новелл, представляющих собой рассказы о встречах героев романа с мнимо же случайными людьми, как с некими внутренними своими ликами, — встречах, описываемых поэтому более выпукло, чем встречи реальные. Кроме того, представляется, что, как в случае встречи с местным сумасшедшим «странником», считающим и пересчитывающим листья на кустах и деревьях, это еще и своеобразные встречи с внутренней судьбой.

Напоследок вновь возвратимся к Камю: «От самых страшных мук нас спасает чувство, что мы одиноки и всеми покинуты, однако не настолько одиноки, чтобы «другие» не уважали нас в нашем несчастье. В этом смысле счастье часто есть не что иное, как чувство сострадания к собственному несчастью. /.../ Господь поместил рядом с отчаянием самолюбование, словно лекарство рядом с болезнью».

Над крестами и полумесяцами

Рубрику ведет Лев Аннинский

«Лететь, именно лететь — в бесконечность, в небо, над Казанью, над крестами и полумесяцами, лететь к единству...»

Равиль Бухараев
Раскрытие неопределенностей

Полет

Прилетел он в Америку, добрался до Чикаго, поднял глаза, ахнул: сиреневый город под осенним солнцем! Здание планетария на берегу озера похоже и на мечеть, и на синагогу. Подумал: вот за что люблю Америку! Люди здесь стараются держаться подальше от своего правительства и живут нужной им самим жизнью в полях, лесах и рощах, не обращая внимания на небоскребы...

Я, читая Бухараева, тоже подумал: а если, по нынешним временам, потому и могут эти люди жить одноэтажно-природно, что рядом гудит и работает Америка, скребущая небо, — не прожить ни тем, ни этим друг без друга? Единство горизонталей и вертикалей!

И с растущим любопытством наблюдаю дальше, как Равиль, стартовавший в небо над Казанью, приземляется в таких точках планеты, о которых мы когда-то могли только мечтать.

Индия. Детские сны сбываются. Кадиан — глубинка вблизи границы с Пакистаном. Улочки без названий. Закоулки и тупички. Обжитые крыши. Люди живут «*нужной им самим жизнью*». Но полно и гостей, пришедших босиком по заснеженным горным тропам — поучаствовать в ежегодной Всемирной встрече Ахмадийской мусульманской общины.

Настроившись на праздник Единения, Равиль не без легкой оторопи обнаруживает вокруг себя бородачей с автоматами. Обязательная охрана. Посты на каждом шагу. Статистика: ежедневно — 13 убийств, и так весь год. Все годы. Всеиндийская политическая и религиозная резня. «*Уже не со зла и почти не из мести, а только чтобы привлечь внимание Правительства...*» Да и без всякой мысли о Правительстве: «зверство будничное, немотивированное, когда человек — убьет и сам не в состоянии сказать: зачем?» Чума в мире. Чумное безумие распрей. Привычная, тысячелетняя, «на уровне лесов и рощ» — не от каких-то там крутых программ, а по привычному ходу естественного бытия — тихая оргия убийств.

Не перелететь ли нам, вслед за Бухараевым, в матушку Европу?

Германию оставим до особого случая — случай представится. И Англию оставим — она за десятилетия работы на Би-би-си стала для Равиля слишком привычна.

Но вот он в Испании.

Кордова. Тесные улочки старинных еврейских и мусульманских кварталов. Белостенные строения, завитые лозами винограда. Место, где «*некогда зародилось и погибло Единство человечества*».

Последнее суждение, разумеется, требует расшифровки.

Вот она:

«*Случайно ли, что земли, где более всего и коренилось гностическое мироощущение — Ближний Восток, Иран, Афганистан, Египет и страны африканского христианства, — так естественно перешли к мироощущению ислама, в котором нашлись вдруг прямые ответы на все вековые вопросы и умственные терзания гностицизма? Такие ответы, которые естественно соединили воедино разорванную было ткань цивилизационной наследственности и дали такой колоссальный толчок человеческому разуму, вдруг увидевшему мир, где Аристотель и Платон, Моисей и Иисус стали красноречивыми современниками всех жителей начального Омейядского Халифата, не говоря уже о позднейших величайших гениях мусульманского ренессанса испанского времени?*»

Все правильно по части историко-философской. Гностики думали, что тварь способна ответить на вопросы, доносящиеся из бездны бытия; агностики поняли, что — неспособна. Знание спряталось за веру. Христианство расщепило дух на части: это — Отцу, это — Сыну, а это — собственно Духу. Иудеи ответили, что Бог — един и Закон един, но — для избранного народа. Мусульмане уточнили: для всех народов! Прямые и ясные выходы в Единство забрезжили для всего человечества...

И пресеклись! Здесь, в Испании, эдиктами, во всей Европе — погромами, во всем мире — озверением просвещенства... вплоть до нынешнего тупика.

Нет, лучше самого Равиля, интеллектуала, взращенного на последнем вздохе советской учености, об этом не скажешь:

«*Дерзостное европейское неверие в Бога — с его язвительной вольтеровской усмешкой вначале и торжествующим обкомовским смешком в конце — привело туда, куда и полагалось: в беспросветный тупик тоскливого и обыденного одиночества человека во враждебном ему мире. А мы полагали, что так и должно быть, потому что в силу своего воспитания все время ждали, что солнце встанет с Запада*».

А оно встало — с Востока! И встало — когда-то — в лучах «*динамичной и блистательной исламской цивилизации*». И было сокрыто от людей по ходу кровавых крестовых походов там, в Палестине, и легендарной реконкисты здесь, в Испании.

Кем скрыто?

«*Кому-то ведь надо было скрыть от нас, что сам европейский гуманизм обязан своим происхождением именно мусульманскому гуманизму ранних веков ислама. Ведь европейскому Ренессансу предшествовал мусульманский Ренессанс, заложивший основы не только всех современных естественных наук, но изобретший само понятие университета. Я убежден теперь, что эволюция всякой позитивной творческой мысли берет начало в исламе или же проходит через его очистительный горн, обретая свои главные черты, именно потому, что ислам как идея Единства не отрицает изначальной истинности других религий...*»

Не отрицает. Но перехватывает и присваивает. С этим мне трудно согласиться...

«*...С этим трудно согласиться тому, кто полагает, что ислам всегда существовал где-то на краю ойкумены. Скажи такому человеку, что понятия алгебра, химия, алгоритм — это понятия, рожденные освободившим человеческий разум исламом, он не поверит. Так весь мир и его реальное осязание были украдены у нас*».

Да, где «простота», там и «воровство...» Все просто, как мычание, — так и вертится на языке словцо горлана-главаря, идущего во главе большевистских масс искать для всех путь ко всеобщему раю.

Разумеется, Равиль к этому не призывает.

Я подробно цитирую его проникновенные пассажи (художественное дыхание которых для меня как для критика самоочевидно), — чтобы читатель почувствовал их эмоциональную неподдельность и не подумал бы, будто я навязываю автору то, чего у него нет.

А есть у него — помимо глубины мысли и широты охвата — острое ощущение обиды за ислам, который сохранил когда-то для человечества *химию, ботанику и гигиену*, а теперь, когда пытается восстановить историческую справедливость, натыкается на непонимание и ненависть.

Равиль! Я отлично помню, чем обязано человечество Востоку. Я знаю, откуда произошла «алгебра» и кто научил нас смешивать спирт с водой. Но все-таки: непонимание и ненависть в наш век вспыхнули не из-за того, что «восток» вздумал восстановить историческую справедливость по части универсальных ответов на гностические вопросы. А из-за того, что 11 сентября 2001 года захваченные исламскими террористами самолеты обрушили в Нью-Йорке Всемирный торговый центр. Хотя и у этой беды — своя история. В том числе и недавняя.

Приведу поразительное рассуждение Равиля Бухараева на этот счет.

«Непонимание» и «ненависть» к исламу были налицо гораздо раньше недавних и нынешних трагических событий, эти события спровоцированы мировой политикой и идеологическими атаками, оборачивавшимися кровью в Палестине и Афганистане, да и прямыми антииранскими провокациями на манер книги Салмана Рушди. Нападение на Торговый центр было варварским, диким, но ответом на систематическое унижение и уничижение ислама...»

А оно что, фатально? — хочется спросить.

У Бухараева есть на этот счет вполне марксистское рассуждение.

«Дело в нефти. Не будь у мусульман стратегической нефти — о них бы в геополитическом раже и не вспоминал никто, ни с ненавистью, ни с любовью. Жили бы себе, как какие-нибудь аборигены и Аллаху молились. А тут — подо все нужно оправдательную базу подвести — и подводят уже лет сто с лишним.

База, — пишет Бухараев, — благополучная и надменная сытость обывателя, которой вдруг начало что-то угрожать в виде наплыва иммигрантов. Так не надо было баловаться с либеральными идейками в этом духе, да так, что теперь и ворот не закрыть. Они ж думали, это только слова в пику тюрьме народов, а СССР такую шутку с ними сыграл — взял, да и распался. И пришлось им есть, что сами наварили и узаконили. Эта сытая убийственная белокурая бестия в Норвегии — вот образ истинной ненависти к исламу. И чхать ему на башни Торгового центра — он своих сколько накрошил, и все ему мало. А хотел убить 10 000 — во имя счастья демократической Европы».

Сейчас о Норвегии лучше не говорить, у меня этот ужас просто зашкаливает. Я чувствую, что зря оступился я в чертову политику. Да простит меня Равиль. Я знаю, что он, как и я, в ужасе от терроризма новейшего времени и летает совсем по другим орбитам.

Вернусь же к его странствиям и выберу страну, что к нам поближе Кордовы, Мичигана и Кадиана, хотя и подальше во времени, чем Гренадский эдикт и прочие прагматические декреты Торквемады, отправившего мусульман вслед за иудеями вон из Испании.

Классик грузинской и мировой поэзии Шота Руставели. Поэма «Витязь в тигровой шкуре».

«Могучие из могучих, величайшие витязи Тариэл, Автандил, Нурадин-Фридон постоянно изливают слезы, плачут и падают в обморок от любви. Это также безусловно мусульманская традиция, коль скоро их земная любовь к совершенству возлюбленных — это на деле любовь к Богу, перед Которым не стыдно рыдать и лишаться чувств от переполненности сердца».

Я с огромным интересом воспринимаю мысль Бухараева о том, что слезы любви (нестыдные мужские слезы любви) — безусловно, мусульманская традиция (и потому не поминаю Ярославны, плакавшей на городской стене приблизительно в то же время, как и герои Руставели). Вместе с Бухараевым я вчитываюсь в заключительное четверостишие «Витязя» и в комментарий к нему:

Мы в стихах Мосэ Хонели Амирани узнаем.
Прочитав «Абдул-Мессию», дань Шавтели воздаем.
Диларгета пел Тмогвели, сожигаемый огнем.
Тариэла — Руставели, горько плачущий о нем.

«Зачем бы это перечисление, отнюдь не ударное для завершения величайшего труда, если в нем не было зашифровано нечто, направленное будущим поколениям? —

спрашивает Равиль. — *Не явлена ли в нем сама поступательная история духа грузинской литературы, в которой Амирани — эпическое грузинское язычество, «Абдул-Мессия» — грузинское христианство, Тмогвели — грузинское мусульманство, духовная вершина которого — Руставели?*

И если сказанное — правдиво (заключает Равиль свою мысль) *и Руставели воистину оказался бы мусульманином, разве пришлось бы стыдиться этого грузинам?*

Стыдиться — чего?

Родства нашего, братья?»

Всем сердцем присоединяюсь к финальной фразе и, однако, вспоминаю, что никогда в жизни, ни в пору юношеского чтения, ни позднее, в зрелости, не воспринимал Руставели как мусульманина. Как грузина — да. Как великого поэта — да. И только! Мне было неважно даже, был ли он казнохранителем царицы Тамар и уж тем более — ее возлюбленным (хотя эта легенда куда больше дает воображению, чем «грузинское христианство» или «грузинское мусульманство»).

Не знаю, многое ли изменит в моем отношении к «Витязю» объявленная ныне переадресация. Наверное, придется перестраиваться. Не впервой.

Но не повернуть ли нам следом за Равилем Бухараевым к таким точкам его странствий, которые действительно задевают нас с ним за живое?

Щель

Я имею в виду Татарию и Россию. Две культурные силы, между которыми, или, лучше сказать, в *щель* между которыми выпорхнула душа автора «Дневников существования» к зениту чаемого Единства.

И вот, в самой точке схождения русского и татарского начал его судьбы, мы слышим воспроизведенные в «Дневниках» следующие речи:

— Сказать по правде, в русском народе лучшие стороны его природы так неразвиты, что их и не видно: его верования хотя и крепкие, но неосмысленные, и он истину своих религиозных убеждений против возражений иноверца лучше готов защищать кулаком, чем резонами. Что такое обрусение? Совершенное уподобление русскому человеку: обрусеть — значит сделаться русским. Но вот русские пьяны, русские не умеют своей веры растолковать, держась только обрядов, русские не могли в триста лет растолковать своим соседям-татарам, что они (русские. — *Л.А.*), поклоняясь иконам, не боготворят доски...

— Унд дамит майнен зи, дас... — прерывает собеседник эту речь и, спохватившись, переводит (для нас): — Однако, мой дорогой...

Меж тем мой дорогой продолжает развивать свою программу:

— Мы обрусение понимаем глубже. Мы берем русского человека в идеале, и этот идеал стараемся усвоить инородцам. Русский идеал есть по преимуществу православие: вот почему на православии-то мы так и настаиваем...

— Это я прекрасно понимаю, — подхватывает собеседник по-немецки и напоминает: однако язык — язык татарский?

— Не в языке дело, сударь мой, по крайней мере, не в нем одном: вся суть дела в верованиях, понятиях, преданиях, которыми живет народ. Следовательно, нужно прежде всего работать против этих верований и убеждений, нужно, первое и паче всего, стараться о том, чтобы внутренне обрусить инородцев и в церковном, и в гражданском смысле, то есть научить их мыслить по-христиански и по-русски. Внутреннее обрусение неизбежно поведет к внешнему, для которого оно кладет прочный фундамент. Язык, нравы и обычаи, также прочие стихии народности дОроги теперь инородцам, как внешний отпечаток, как воплощение их верований и убеждений, но как скоро последние рухнут, как скоро последует объединение с русским народом в верованиях, то не будет более преграды и к внешнему объединению в языке и всем прочем...

Что же это за речи? — спрашиваю я. Кто это — за столетие до того, как выпускник Казанского университета и аспирант Московского университета Равиль Бухараев готовится писать диссертацию по теоретической кибернетике, — кто программирует такое последовательно жесткое, грубо-материальное обрусение татар? Николай Ильминский. Принципиальный православный миссионер-русификатор. От Синода. На этой адресной документальности построена вся эта грустная повесть. А грустна она оттого, что пути взаимодействия наций неисповедимы, и пути русификации тоже. И читается эта повесть у Бухараева как монолог персонажа вполне художественного. Кажется: профессор какой-то старорежимный. То ли Василий Васильич, то ли Вильгельм Вильгельмыч. (Кстати, великий тюрколог Василий Радлов, немец, известнейшая историческая личность, тоже принципиальный борец с исламом, а вовсе не кто-то...) Из университетского архива, в должной мере затуманенного временем, Бухараев извлекает не совсем русскую, а еще и слегка немецкую мелодию, доводя «обрусение» инородческих окраин до такой последовательной пунктуальности, какая русским никогда не давалась (хотя миссионеры-то над этим работали системно, особенно русские немцы): обрусение должно вывернуть на новый лад и быт, и традиции, и мысли «инородцев» — вот тогда это будет Единство!

Неужели дело в немцах? Из книги Бухараева можно извлечь и германскую национальную тему, связав ее с общей исламской мелодией, но я не хочу здесь и сейчас заниматься немцами (например, спорить о том, не являются ли по существу исламскими поздние «всемирно-экуменические» переживания Гете). Меня интересует русско-татарский контакт. В котором я хочу найти корни будущего исламского обращения мальчика, родившегося в 1951 году в Новотатарской слободе советского города Казани.

Никакого особенного атеистического нажима (реакцией на которое могло стать будущее обращение в ислам) я не нахожу. Гонение на ислам было — в недавние революционные годы, но православие расплатилось тогда перед оголтелым большевизмом едва ли не большей кровью, чем ислам... Кровь взывала — из более далекого прошлого. Но как-то уже стерпелось интеллигентское сознание советских времен с мыслью о том, что взятие Казани — страшная историческая рифма к взятию Рязани и что изверг Иоанн Грозный — такой же (через Елену Глинскую) потомок Мамая, как через мужское родословие — Рюрикович. Этот ужас продолжал ныть в памяти, но послевоенное время предъявило Равилю Бухараеву совсем новые условия: не столько дикий атеизм наступал на его душу, сколько просвещение, которое открывало всемирные интеллектуальные пути и разгоняло вековую тьму: родился ребенок в семье *студентов*, и как только родители остепенились, стал *профессорским сыном*.

А как же его раннее татарское детство, первые три года, дедушки да бабушки?

Неофициальная «черта оседлости» разделила в 1552 году русских и татар: «завоеватели» отправили «завоеванных»... нет, не в смертельный ГУЛАГ, как было бы 400 лет спустя (впрочем, дабы не разжигать ненужного огня, Равиль не говорит о том, что сорок процентов татарского населения Казани было физически уничтожено: в эпоху Грозного татар там было примерно столько же, сколько русских — Казань была крупнее Москвы). Грозный три дня ждал, когда Казань очистят от гражданских трупов, чтобы победно въехать в город, а население было сослано и за Каму, и за Вятку, и на кудыкину гору, а не только на городское озеро, и сто лет не имело права входить в стены собственного города под страхом смертной казни. Но есть у татар правило: «если даже рот полон крови — не сплевывай на людях», поэтому ограничивается Равиль только тем, что вспоминает «на противоположный берег озера» там же, около Казани, куда с превеликим плачем переселились когда-то его предки и худо-бедно устроили там мусульманскую полугородскую-полусельскую жизнь...

«Здесь держали коров, коз и овец, сажали картошку и сеяли хлеб на отступавших все дальше от города пашнях. Здесь же обретались купцы и ремесленники, кожевенных, ичижных, медных, ювелирных и прочих полезных дел мастера, а также славные на всю Империю казанские мыловары».

Куда все это делось?

«...Видна была с минарета... жестяная крыша дедовского очага, ничем не примечательное место, пятнышко, точка на земном шаре, центр отсчета, в котором совместились начало и конец всех моих снов, мечтаний, иллюзий...»

Дом деда. Опустевший. На короткое время — обиталище бомжей. Потом его снесли.

«У меня нет другой родины, кроме этой нищеты».

Нищеты?!

Да!

«Татарская слобода — родина, разоренная, утратившая разум и достоинство, равнодушная к собственной нищете и скудости... Повсюду со мною — этот невыносимый отзвук несбывшегося бытия, это эхо детского бессмертия, зов другой, всегда другой жизни, о которой лишь вспомни — и захлебнешься от слез и жалости, потому что ее никогда не будет, потому что она уже была — и прошла, а ты и не заметил...»

Это прощанье со страной детства написано пронзительным пером поэта.

Но такое прощанье суждено ведь каждому человеку, вырос ли он в «официальной» черте оседлости на берегу Днепра или без всякой черты — на берегу Москвы-реки, или на берегу Потомака, или Темзы, или Ганга, или озера Кабан... Везде, обернувшись на канувший в небытие пейзаж детства, вздохнет человек печально, а если обнаружит талант поэта, то добавит, что за эту *нищету* он готов отдать все остальное... ибо все остальное — морок, подделка. Наряды с чужого плеча:

«В русской шапке большой, но с татарской душой...»

Не снять ли шапку да посмотреть, какова?

Что дала русская культура Равилю Бухараеву, когда он решился ее принять?

Аттестат зрелости. Диплом о высшем образовании. Членский билет Союза писателей (в момент вступления Равиль оказался самым молодым членом Союза). Должность консультанта по республикам Поволжья и Калмыкии в Союзе писателей (и непременное место в почетных караулах на торжественных похоронах). Как-то Равиль перечислил всех тех писателей, которых ему пришлось видеть и нести в гробах, — получился, без преувеличения, список классиков.

Что еще?

Что-то архиважное, что и причислить как-то неловко к этому трудовому перечню, — настолько несоизмеримо...

Язык!

Русский язык, на котором оказалось возможно выразить все то, что хлынуло в сознание со всех сторон, и прежде всего — выразить отчаяние от того, что этот язык — не татарский.

А если бы не русский? Если бы оказался в базисе образованности какой-то другой? Все равно случилось бы то, что должно было случиться. Ведь могли же искатели истины в европейском средневековье объясняться на латыни и с читателями, и со Всевышним. А на арабском — великие умы восточного средневековья? Можно руку пожать Бухараеву за то, что он счел русский язык достаточным не только для освоения большого числа «домов» мировой культуры, но для компенсации своего изначального духовного «бездомья», из которого и рванул он в полет.

Да ведь и дар к тому был. Прирожденная способность к языкам — у юного ученика спецшкол (английской, потом математической), так что в итоге к непременному английскому он прибавил еще и немецкий. Прикрылся шуткой: «в те годы в Казани легче было выучить английский и немецкий, чем татарский» (могли-де припаять национализм). Может, и могли, но не припаяли. Сюжет оказался другим. «Второй язык — это как второе крыло»: можно лететь.

Использовав служебную возможность годичной переводческой практики в Венгрии, Бухараев обрел еще одно крыло: не просто выучил язык, но начал писать помадьярски стихи, издал их... Но не это оказалось главным чудом, а то, как «в дунайс-

ком тумане» он расслышал призыв к молитве. И если бы случился муэдзин в католической Венгрии, вопрос тогда бы и решился. Но он решился год спустя в Анкаре: услышав Азан — зов из ближайшей мечети, — верующий вошел в ислам как в родной дом; оставалось только притерпеться к непривычной нагрузке на пятки и ладони во время молитвы.

Не помогла русская реальность как лекарство от душевного бездомья — помог ислам.

Помог осознать изначальную готовность к кочевью. «Кочевье было вечным и всеобщим, музыка сфер звучала как колыбельная». Личность, изначально обнаружившая себя в «щели», в неофициальной «черте оседлости», — прянула из щели ввысь: причислила себя к странникам мира. *«В скитаньях ищу свой дом».* И поэт нашел свой жанр: путевой дневник. Дневник духовно-географических странствий.

«Ветер чужбины мучил и терзал меня как незаслуженная благодать».

Вряд ли он надеялся сделать чужбину *своей*. Но обозначить в этом чресполосье Единство — не только надеялся, но и обозначил, достаточно твердо и бесповоротно.

Решил ли он в этом странствии главную задачу? Достиг ли заветной цели? Нашел ли самый надежный путь к чаемому Единству?

Однозначных ответов на эти вопросы у меня нет.

Спор?

Это не значит, что я с Бухараевым собираюсь спорить. Я к самой стихии спора отношусь так же, как он:

«В спорах правда не рождается, а гибнет. Ведь споры происходят не от желания постичь Истину. Споры — это соревнование амбиций. Они хороши как светское развлечение, а в том, о чем у нас идет речь, Истина узнается не из споров, но из чистосердечного и искреннего желания понять друг друга».

В ходе спора задача — не доказать собеседнику, что он не прав, а выслушать его, а после, наедине с собой, обдумать услышанное и решить, *что* в собственном мнении надо откорректировать.

Вот с такими размышлениями о прочитанном у Бухараева я могу поделиться, не споря с ним, а взвешивая то, что принес он из своего полета.

«В мире нет ничего, кроме ислама, если, конечно, правильно понимать, что такое ислам».

Хорошая оговорка. А если зайти с другого края и попробовать сначала понять, что такое мир?

«Я знаю, что Истина есть. Но что есть Истина?»

Тоже хорошая оговорка. Она есть. Но не у нас. А где? Да везде.

«Живут люди без Бога, это верно. Да только вне Бога не живет никто».

То есть и Альпы — не преграда, но сопряжение. И время — не разделение, но целокупление событий. И молчание — выше всех речей.

Но тогда о чем речь?

Речь о *пути* через Альпы. О *пути* к Истине, к Единству, к Богу. Если ощущение Истины, которая «есть», ощущение Единства, которое тоже «есть», но пробивается через целокупление невообразимых событий, ощущение единого Бога, который тоже «есть» — независимо от того, с бородой Он или без, — если все это в сознании людей существует, то нельзя ли эту ситуацию прояснить, то есть упростить и поправить?

Спрямить путь к Богу. Упростить путь к Единству. Укоротить путь к Истине.

Этот прямой и ясный *путь* — ислам.

«Ислам не отрицает других вероучений и признает всех пророков человечества. Ислам как последняя Богоявленная вера вмещает в себя учения всех других религий в той их части, где они не отклоняются от Единобожия, и потому называет себя универсальной верой, данной всему человечеству на все грядущие времена».

На все времена — вы слышите?

«Говоря без мистики, людям, всему человечеству, расколотому на различные религии и религиозные или атеистические толки, этому разуверившемуся во всем, кроме денег, человечеству представляется последняя возможность осознать истинную цель своего существования: Служение Единству».

Всему человечеству — слышите?

«Выпавший из Единства природы Человек мучительно возвращает себе ощущение и смысл этого Единства, и в этом ощущении — духовная вершина исламского самосознания».

Весь смысл — слышите?

То есть все мы ТАМ будем, потому что в идеале все мы уже ТАМ, но есть ТУДА путь реальный, скорый, прямой.

Так и теперь: немедленно, навсегда и для всех.

Вот одно из доказательств, в устах Бухараева и впрямь теряющее мистическую окраску:

«АЛЛАХ, вернее, АЛ-ЛА: вдох и выдох, восход и закат, зеркало бытия, сама суть жизни заключена и обозначена в этом Собственном Имени. Прислушайся к своему сердцу, к тому, как оно, живое, бьется... Разве не говорит оно:

— АЛ-ЛАх, АЛ-ЛАх, АЛ-ЛАх.

Сама жизнь — подъемами и спадами, дыханием, сменой дня и ночи, биением сердца, нарастанием боли и угасанием ее — славит Его».

Допустим, это так. Имя Бога — просто, как вдох и выдох. Но почему эту простоту мы должны подмечать только у мусульман? А что, слово «Бог», подхваченное когда-то у индусов, не такое же свидетельство экономности, особенно если произносить его не по писаному, а по разговорному: «бох», — это ж выдох усталого существа, — неспроста же усвоенный полудюжиной славянских языков!

Но, положим, ислам — не единственная вера, дающая Высшему Существу такое кратко-практичное имя. Ну и что? Если человек иной веры, взывая, допустим, к Кришне, — затратит на это имя больше мускульных усилий, — это что, воспрепятствует Единению? А может, наоборот, придаст этому Единению еще большую цену?

Один из доводов, предъявляемый иноверцами христианам: зачем распятили Бытие Божье на троицу составных?

Так, может, в том и заключается потаенный, мистический смысл расчленения Бытия на составные, — чтобы пережить в условной автономности извлеченные из «жижи» начала: Божье и человеческое? Различить Отчее и Сыновнее, чтобы лучше пережить то Святое, что их соединяет... а отнюдь не сливает в «жижу»![1]

Это уж как судьба ляжет народу или божьему воинству: иным надо от реального распада соединить все напрямую и покороче, другим — в опасении всеобщей смази (сползания в общую «жижу») получше прочувствовать самобытность каждой составной... Как? А попробовать Закон без Благодати и Благодать без Закона... Неспроста же просторный халат удобен мусульманину — падать ниц пять намазов в день, а католику — устраиваться поудобнее на скамье храма, подобного университетской аудитории... а православному — стоять, не устраиваясь поудобнее, но и не падая ниц... но чутко вслушиваясь в призывы с Запада и с Востока, оттуда, где все яснее и проще: через Папу — к Богу, через Пророка — к Аллаху... Вдох — выдох, и ты в Раю.

Однако эти препятствия, эти петли и тупики, эти завалы и запруды, затрудняющие прямой и ясный путь к Единству, — что они такое? Досадные помехи, мешающие Истине, или умные знаки на пути к ней?

«Почему различны народы, почему различны их нравственные культуры? — спрашивает Бухараев. — *Бесконечно ли далеки друг от друга различные веры? И почему они различны, если практически все признают, что Бог — един?»*

Я бы поправил: *теоретически* — признают, а *практически* — продолжают путаться в различиях и мучиться в противоречиях.

---

[1] Зачем расщепили Бытие на божье и человеческое? — говорили мне иудеи. — Теперь уже не соедините: получится жижа.

Но зачем эти практические противоречия теоретически мыслимому Единому Богу?

Заводь

Вот как смотрит на эту чресполосицу-водоразделицу с высоты своего полета странник Бухараев:

«Единобожие — основная стремнина духовного развития человечества. Как у всякой реки, есть у нее главное русло и есть ответвления, протоки, заводи, старицы, где в виде пышной водной растительности и чудесных лотосов, кувшинок, лилий, ирисов и прочих водяных гиацинтов произрастает на спокойной, иногда подернутой ряской воде, — национальная культура! Мы привычны к проявлениям своей национальной культуры, и в верности ее традициям склонны забывать, что прекрасные ее цветы растут — только на заводях, и растут-то только потому, что всякая такая цветущая заводь содержит внутри себя слабое течение, оживляющее и освежающее воду. Это несильное течение и выносит сокровенность национальных философий из старицы собственной культуры в главную струю человеческой эволюции».

Оставим сокровенное течение и главную струю — мы об этом уже поговорили. Вдумаемся в оговорку, звучащую для меня мелодией Истины: *цветы культуры растут только в заводях*.

Значит, и заводи не случайны? И культуры в них растут — не от попустительства Творца? И многоликость этого культурного слоя — не от Его забывчивости?

Уже легче... А как же ислам, парящий над заводями?

«Ислам не скован знаковой системой какой-то одной человеческой культуры».

Вот как. Но если не будет культуры, — на кой леший и кому нужна тогда кодовая система умопостигаемого Единства? (Может, зря я про лешего?).

«Не задавайте слишком много праздных вопросов, — отвечает Равиль на мои сомненья. — *Аллах Сам говорит в Коране, что Он сделал явным одно и сокрыл другое, чтобы не приводить людей в страх слепящими истинами, все равно недоступными для них на этом Свете».*

Раз Аллах говорит, я умолкаю. Но если я «на этом свете» всю свою жизнь ощущаю русский язык и русскую культуру на перекрестке небесных истин и земных путей, — куда мне деться от «беды», которую один русский классик, ссылаясь на другого русского классика, назвал всеотзывчивостью?

Куда и Равиль денется, если уже заразился этой нашей бедой?

Так все-таки: чтобы все народы, все культуры, все люди очистились бы ради Единого, чистого и прямого осознания универсальности Бытия, — все, что выпадает, осложняет, затрудняет эту универсальность, — должно исчезнуть? Так, что ли?

Не исчезнет никогда! — мой ответ.

А если исчезнет, то это и будет конец всякого Бытия, с его универсальностью.

А что, если это многообразие и впредь будет доходить до запредельных, самоубийственных концепций?

Будет доходить, а потом от них же и шарахаться, и пятиться, как шарахнулось человечество от нацизма и отпятилось от коммунизма.

Скорее же всего будем мы и дальше торить пути меж крайностями, парить меж крестами и полумесяцами в вечном поиске их умопостигаемого Единства и практического взаимодействия.

И тогда нужны нам будут именно такие книги, как «Дневники существования» Равиля Бухараева.

Summary

The Open World

One of indisputable merits which "perestroika" brought to the new independent countries is the liberty of traveling. The world has swept open for the people and literature couldn't help react. More and more often the plots of literary works by Russian and not only authors become connected with other countries and their life experiences. It's pieces like this that mainly constitute the corps of prose, poetry and non-fiction of this issue.

In VLADIMIR SHPAKOV's novel "Mixed Marriage" the action jumps between Germany, Russia, Poland and Belorussia; in ELENA KRYUKOVA's story "The Stolen Lipstick" – between Russia and the USA; SLAVA SERGEEV's long short story "Evenings at a Khutor Near the Equator" is dedicated to India and the plot of IVAN NAUMOV's story "San-Khong" unrolls on some small exotic island.

The poet NAUM BASOVSKIJ who now lives in Israel "is looking over the pale-blue space in all sides of the view" which absorbs Georgia, the wreck of "Titanic" in the Atlantic waters and Moscow which also is the scene of action of NATALYA POLYAKOVA's poems; and the children's game of cities (Moscow – St-Petersburg – Yerevan – Konstantinopol) proposed by the Armenian poet ANAIT TATEVOSYAN is nothing else than the Rout of the Fortune which intercrosses with the poem of GLEB SHULPYAKOV "An Incident in Istanbul".

The Iranian pattern of modernization is recognized by the experts all over the world as one of the obvious examples of failure. The Turkish one on the contrary is considered to be one of the most successful. Comparison of these two models is very instructive for the post-Soviet countries and today's Russia. This becomes the subject of reflection for the well-known Russian politologist and ethnographer EMIL PAIN in his article "Iranian or Turkish?"

Who bears the main responsibility for the modern literary Russian language? Who determines the standard? And what to do if the ideas of the standard differ? These most important problems are being investigated by the well-known linguist MAXIM KRONGOUS in his article "Who Is Responsible for the Russian Language?"

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
В 2011 году
распространением журнала занимается
агентство «Роспечать».
Ищите «ДН» в его каталогах.
Наш индекс 70250

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях журнала.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой

Свидетельство о регистрации № 73 от 14.09.90 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Свидетельство о регистрации товарного знака № 288681
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 12 мая 2005 г.

Адрес редакции: 121827 ГСП Москва, Г-69, ул. Поварская, 52.
Телефоны: главный редактор, заместитель главного редактора — 691-62-27, заместитель главного редактора (производственные вопросы) — 695-52-03, зав. редакцией — 691-62-27, отдел прозы — 691-85-10, отдел поэзии — 691-63-63, отдел публицистики — 691-05-09, отдел критики — 691-64-50, факс: 691-63-54.
E-mail: dn52@mail.ru, http://magazines.russ.ru/druzhba/

Сдано в набор 20.08.11. Подписано в печать 20.09.11. Формат бумаги 70 x 108 $^{1}/_{16}$. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 19,60. Усл. кр.-отт. 20,30. Уч.-изд. л. 22,05. Тираж 2000 экз. Заказ 4176. Цена свободная.

Отпечатано в типографии ОАО «Издательский дом "Красная звезда"». 123007, г. Москва, Хорошевское ш., 38. http://www.redstarph.ru